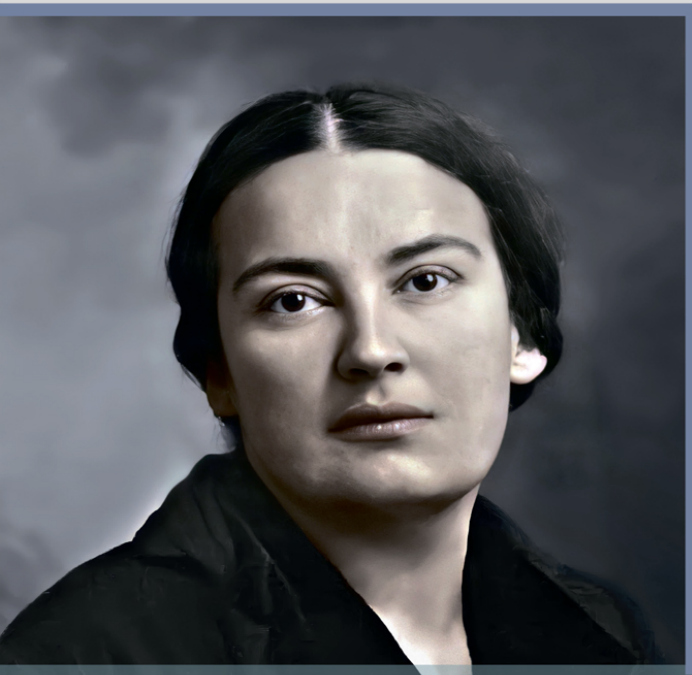
МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Е. Ю. КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА



ИЗБРАННОЕ

DirectMEDIA

Е. Ю. Кузьмина-Караваева

ИЗБРАННОЕ

DirectMEDIA
Москва
2023

УДК 82-94(47)
ББК 84(2=411.2)6-49
К89

Кузьмина-Караваева, Е. Ю.

К89 Избранное / Е. Ю. Кузьмина-Караваева. — Москва : Директ-Медиа, 2023 — 616 с.

ISBN 978-5-4499-3616-5

Автор этой книги, русская поэтесса и мемуаристка, общественный деятель Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (1891–1945 гг.) — человек нелегкой судьбы. Октябрьская революция, эмиграция, гибель детей, помощь по спасению от верной смерти множества людей в период оккупации Франции и трагический конец — концлагерь Равенсбрюк… Все это выпало на долю невероятно талантливой женщины, обладающей безмерным чувством сострадания к ближнему.

Жизнь свела Елизавету Юрьевну со многими людьми — символами безвозвратно ушедшей эпохи: поэтом Александром Блоком, государственным деятелем, обер-прокурором Святейшего Синода Константином Петровичем Победоносцевым, участниками литературных кружков начала XX в. Вячеславом Ивановым, Валерием Брюсовым и другими. Записи о памятных встречах, воспоминания о Первой русской революции, эпизодах Гражданской войны, бытовые зарисовки в прозе, письма и записные книжки о самом сокровенном — вере и пути к Богу — все это читатель найдет на страницах данного издания.

УДК 82-94(47)
ББК 84(2=411.2)6-49

ISBN 978-5-4499-3616-5 © Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2023

Оглавление

Воспоминания 5

Друг моего детства 5

Последние римляне 20

Встречи с Блоком (к пятнадцатилетию со дня смерти) 51

При первых большевиках (как я была городским головой) 80

Проза 142

Юрали 142

Равнина русская (хроника наших дней) 208

Клим Семенович Барынькин 343

Йота 422

Соседи 432

Жуткое 439

Непобедимая 446

Ряженые 452

Вадим Павлович Золотов 461

Канитель 469

Несколько правдивых жизнеописаний 521

Письма и записные книжки 588

Письма 588

К А. А. Блоку 588

1. 24 апреля 1912 г., Бад-Наугейм 588

2. <Конец апреля — начало мая 1912 г., Бад-Наугейм> 588

3. <27 ноября 1913 г., Москва> 589

4. 19 января 1914 г., Москва 592
5. 15 февраля 1914 г., <Москва> 593
6. <Начало декабря 1914 г., Петроград> 595
7. 21 декабря 1914 г., <Петроград> 596
7а. 12 апреля 1915 г., Петроград 598
8. 10 июля 1916 г., Дженет 598
9. 20 июля 1916 г., Дженет 600
10. 26 июля 1916 г., <Дженет> 601
11. 27 августа 1916 г., Дженет 603
12. 5 <сентября> 1916 г., Дженет 605
13. 14 октября 1916 г., Анапа 606
14. 22 ноября 1916 г., <Анапа> 607
15. 4 мая 1917 г., <Петроград> 608
К Б. А. Садовскому 3 декабря <1913 г., Москва> 609
К С. П. Боброву 27 февраля 1914 г., <Москва> 609
К И. С. Книжнику-Ветрову 4 июня 1915 г., <Анапа> 610
Из записных книжек 611

Воспоминания

Друг моего детства

События и люди, вошедшие в историю, становятся в глазах даже тех, кто одновременно с ними жил, какими-то закостеневшими фигурами: осуществляется неписаный канон, по которому каждое историческое лицо может быть изображено только соответственно этим закостенелым представлениям о нем. И в результате описываемое лицо приобретает значение скорее символа, чем живого человека.

Мои воспоминания относятся к человеку, может быть, в наибольшей степени ставшему символом. Я хочу рассказать о моих детских отношениях с К. П. Победоносцевым. Эти отношения протекали в период, когда мне было от 5–13 лет. Этим определяется то, что воспринимала я Победоносцева не как государственного деятеля, не как идеолога реакции царствования Александра Третьего, а исключительно как человека, как старика, повышенно-нежно относящегося к детям.

Сейчас изданы письма Победоносцева, дополняющие общий его канонический портрет — столп реакции, вдохновитель всей внутренней и церковной политики Александра Третьего, властный, холодный гаситель, знающий, чего он хочет.

Таким образом, историческое его значение определено вполне. Думается, что именно в этот момент мои воспоминания будут иметь интерес, так как обрисуют его облик с совершенно иной точки зрения, воплотят его немного в образ человеческий, лишенный всей определенности иконописного канона, грешащего всегда против жизненной правды.

* * *

Каждую зиму мы всем семейством ездили в Петербург на 1 — 1 с пол<овиной> месяца, — гостить к бабушке, тетке моей матери, Елизавете Александровне Яфимович.

После вольной и простой жизни дома, в маленьком городке на берегу Черного моря, бабушкина квартира казалась чем-то совсем другим, — сказочным миром. Петербурга мы с братом в эти приезды не видали: каждый раз еще в дороге получали насморки, и мать не решалась нас выпускать гулять на петербургскую сырость до самого отъезда.

От поезда ехали в бабушкиной карете. Потом, если и бывали у других родных, то тоже в карете, с выездным Иваном на козлах.

Таким образом, единственные мои ранние воспоминания о Петербурге, это — лифт на квартире у тетки, огромные две фарфоровые китайские вазы в окнах Аничковой аптеки на углу Невского и Фонтанки, два золотых быка на вывеске мясной против окон бабушкиной квартиры и «покойники». О них бабушка заранее вычитывала в «Новом времени» и оповещала нас. С утра мы ждали их у окон кабинета. В особенной чести были те, которых хоронили с музыкой. Они все распределялись по очереди, — бабушкин, мой и брата, и опять бабушкин, — уж кому повезет на покойника с музыкой.

Бабушкина квартира была огромная, в 14 комнат, на Литейном проспекте ном<ер> 57. На полах были натянуты ковры, не снимавшиеся 18 лет. В гостиной мебель была резная, работы Лизерэ. На стенах висели бесчисленные портреты. Великую княгиню Елену Павловну изображали, кроме портретов, и три бюста. Огромный портрет Екатерининского сенатора Алексея Васильевича Нарышкина, работы Анжелики Кауфман, — он сидит перед бюстом Екатерины, а на бумаге перед ним написано: «Лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невинного». Потом огромный портрет масляными красками бабушкиного мужа. Потом сама бабушка и ее сестра, — молодые, с кудрями на ушах, с открытыми плечами, — фрейлины Елены Павловны.

В каждой комнате стояло несколько часов. Во время боя вся квартира наполнялась своеобразной музыкой: низкий и медленный гул столовых часов перебивался и обгонялся серебристым звоном севрских, потом начинали бить часы с башенным боем, потом вообще нельзя было уже разобрать, сколько и какие часы бьют. По пятницам являлся часовщик их заводить. Бабушка всегда обращала наше внимание на то, как образцово он раскланивается.

Бабушка жила одна, окруженная, как ей казалось, минимумом необходимой прислуги. Лакей Иван и горничная Полина были существами обыкновенными, а буфетчик Антон Карлович, — бритый, во фраке, — внушал нам с братом большое почтение: являясь доложить, что обед подан, он останавливался всегда на одном и том же квадрате ковра и громко говорил на неведомом языке: «Diner ist servirt, gnedige Frau Excelence!»[1]

Раньше у бабушки был другой лакей, Франц. С ним вышла у нее целая история. Дело в том, что Франц носил усы. Когда же бабушкин муж умер, то ей сказали, что вдове неприлично иметь лакея с усами. И только возмущение маминой матери, бабушкиной сестры, по поводу того, что придворные дамы находят приличным заниматься лакейскими усами, спасло Франца от необходимости или лишаться места, или брить усы.

Вообще приличиям она придавала исключительное значение. Однажды мама застала ее запертую в самую дальнюю комнату, — она, оказывается, спряталась там, чтобы поесть крыжовнику, который страшно любила, но считала ягодой подлой, которую есть неприлично.

Бабушка была человеком, надолго пережившим свое время. Она часто говорила:

— Люблю я вас всех, друзья мои, а все же вы мне чужие. Близкие мои давно уже в могилах.

---

[1] Обед подан, милостивая государыня! *(смесь искаж. нем. и фр.).*

Родилась она в 1818 году в московской родовитой и богатой семье Дмитриевых-Мамоновых. Воспитывала ее ее бабушка Прасковья Семеновна Нарышкина, женщина большого ума. О ней наша бабушка рассказывала без конца.

Восемнадцати лет она стала фрейлиной в<еликой> к<нягини> Елены Павловны. Во всех ее воспоминаниях мало говорилось о той роли, какую играла Елена Павловна в царствование Александра Второго в качестве единственной за все время либеральной великой княгини. Больше рассказывала она о самом быте Михайловского дворца. (Кстати, по ее просьбе, я до самой ее смерти не была в музее Александра Третьего, — ей было бы неприятно слышать мои рассказы о дворце, ставшем всем доступным музеем.) Рассказывала она о том, как повар француз кормил великих княжон и фрейлин лягушками под видом молодых цыплят, о том, как Михаил Павлович называл ее «Маманоша», о том, как Николай Первый велел всем фрейлинам большого двора учиться у нее делать реверансы, приседая очень глубоко и не сгибая головы. К памяти Елены Павловны она относилась с настоящим обожанием. Но вообще все то, что ей пришлось видеть за свою долгую жизнь, было окрашено настолько в личное, что общий интерес как бы затушевывался. Уже после ее смерти я узнала, что она, например, хорошо знала поэтов Алексея Толстого и Баратынского. О Баратынском она упоминала в одном письме к своей матери. Писала, что была на вечере, устроенном в его честь: «Было очень весело и анимированно».

А все современное она мерила по своим воспоминаниям.

Любопытна была ее теория аристократизма. Я потом, смеясь, говорила, что от бабушки впервые узнала основные принципы равенства и демократизма. Она утверждала, что настоящий аристократ должен быть равен в отношениях со всеми. Только parvenu[2] будет делать разницу в своих отно-

[2] Выскочка; человек, достигший высокого положения и не усвоивший интеллектуального и морального уровня новой среды (*фр.*).

шениях к знатным и незнатным. А простой народ и аристократы всегда относятся ко всем ровно. И действительно, у нее в гостиной можно было застать принцессу Елену, внучку Елены Павловны, и бабушкину крестницу, дочь ее швеи, или нашего детского приятеля-репетитора, косматого студента, рядом со степным генерал-губернатором, — и нельзя было заметить ни тени разницы в обращении хозяйки со своими гостями.

Гости у нее бывали часто. Нас с братом вызывали тогда из детской. Я всегда должна была с чувством декламировать Жуковского. Последние строчки остались в памяти:

— «О, родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя?»

Оставаясь одна с нами, она уже не придерживалась правил высокого этикета. Помню, — заставила меня как-то протанцевать бальную лезгинку. Решила, что плохо, сняла с ног туфли, которые ей были велики, и начала мне показывать лезгинку настоящую, какой ее Нина Александровна Грибоедова обучила. И, действительно, танцевала по всем правилам, — голова не шелохнется, плывет. Моя мать в ужас пришла. А бабушка даже не задохнулась.

Среди частых бабушкиных посетителей ее ближайшим другом был и Константин Петрович Победоносцев.

Жил он как раз напротив, окно в окно. По вечерам можно было наблюдать, как двигаются какие-то тени у него в кабинете.

Дружба их была длительная. Еще от времени, когда Победоносцев впервые появился во дворце Елены Павловны в качестве молодого и многообещающего человека. Так, в бабушкином представлении, он и до старости был молодым человеком.

Я не знаю, что их вообще связывало: бабушка к политике никакого интереса не чувствовала. Думаю, что просто были они старой гвардией, которой оставалось все меньше и меньше.

Советов Победоносцева бабушка очень слушалась. Однажды она затеяла поступить в монастырь. Победоносцев, посвященный в этот план, восстал:

— Помилуйте, Елизавета Александровна, чем вы не по-монашески живете? Вы себе не представляете, какой ужас наши монастыри: ханжество, мелочность, сплетни, свара... Вам там не место.

А мои отношения с Победоносцевым, — отношения маленькой девочки и семидесятилетнего старика, — настолько не вяжутся с общепринятым его обликом, что сейчас мне нужно большое беспристрастие для того, чтобы восстановить все, как было.

Победоносцев страстно любил детей. Поскольку могу судить, он любил вообще всяческих детей — знатных и незнатных, любых национальностей, мальчиков и девочек, вне всякого отношения к их родителям.

А дети, всегда чувствительные к настоящей любви, платили ему самым подлинным обожанием.

В детстве своем я не помню человека другого, который так внимательно и искренне умел бы заинтересоваться моими детскими интересами. Другие из любезности к родителям или оттого, что я в данный момент говорила что-нибудь забавное, — слушали меня и улыбались. А Победоносцев всерьез заинтересовывался тем, что меня интересовало, — и казался поэтому единственным равным из всех взрослых людей. Любила я его очень и считала самым своим настоящим другом.

Дружба эта протекала так: мне, наверное, было лет пять, когда он впервые увидел меня у бабушки. Я присела, появившись в гостиной, прочла с чувством какие-то стихи и села на диване около бабушки, чтоб по заведенному порядку молчать и слушать, что говорят взрослые. Но молчать не пришлось, потому что Победоносцев начал меня расспрашивать. Сначала я стеснялась немного. Но очень скоро почувствовала, что он всерьез интересуется моим миром, и разговор стал совсем непринужденным.

Уехав, он прислал мне куклу, английскую книжку с картинками и приглашение бабушке приехать со мной поскорее.

Через дня два мы отправились.

К Победоносцеву, живущему напротив, ездили так: садились в карету, доезжали до Владимирского собора, там поворачивали и подъезжали к Победоносцевскому подъезду.

Толстый, седобородый швейцар Корней открывал дверцу. Этот Корней внушал мне гораздо больше уважения, чем сам Победоносцев.

Синодский дом, где он жил, был огромен. Бесчисленное количество зал совершенно сбивало меня с толку. Помню молельную комнату, всю заставленную иконами и сияющую лампадами.

Жена Победоносцева, Екатерина Александровна, сравнительно с ним еще очень молодая женщина, принадлежала к миру взрослых и потому меня мало интересовала. Гораздо позднее я заметила, что она очень величественна и красива. А заинтересовалась ею, перестав с нею встречаться: я узнала, что будто бы Толстой писал с нее свою Анну Каренину. Думаю теперь, что это не так уж просто по фактам ее жизни: она была, видимо, очень высокого мнения о своем муже, держалась царственно строго, ни о каких событиях, подобных в жизни Анны Карениной, никогда мне никто не говорил.

Великолепные были у нее волосы, заложенные низко тяжелыми жгутами. А на плечах она носила бархатную, такую особенную красную тальму, или уж не знаю, как назвать.

Была у них приемная дочь, Марфинька, моложе меня года на три. Ей завивали длинные букли, лицо у нее было очень тонкое и капризное.

И несмотря на то, что в Победоносцевском доме был ребенок, я никогда не думала, что меня возят в гости к Марфиньке. — Я ездила исключительно к моему другу Константину Петровичу.

Бабушка, бывало, сидит с Екатериной Александровной, чай пьет, а мы с Константином Петровичем.

Марфинька кричит ему:

— Победоноска, на колени.

Потом мы его валим на ковер и катаем.

Если есть другие дети, — и они почти всегда бывали, — помню двух девочек в красных платьях, которые рассказывали, что они родились в Константинополе, — тогда Марфинька с ними, а я неизменно с Константином Петровичем.

Помню, как он повел меня однажды в свой деловой кабинет. Там было очень много народу: огромная и толстая монахиня, архиерей, важные чиновники, генералы. Не помню, какие вопросы они мне задавали и что я отвечала. Но все время у меня было чувство, что вот я с моим другом, и все это понимают, и совершенно естественно, что старый Победоносцев мой друг.

Рядом с кабинетом была какая-то совсем особенная комната. В ней все стены были завешаны детскими портретами, а в углу стоял волшебный шкаф. Оттуда извлекались куклы, книги с великолепными картинками, различные игрушки.

Однажды я была у Константина Петровича на Пасху. Он извлек из шкафа огромное яйцо лукутинской работы и похристосовался со мной. Внутри яйца было написано:

«Его Высокопревосходительству Константину Петровичу Победоносцеву от Петербургских старообрядцев».

Это яйцо я потом очень долго хранила.

Однажды приехал Константин Петрович к бабушке какой-то необычайный. Она его спрашивает:

— Что это, Константин Петрович, вы как будто похорошели?

— Правда, — говорит, — похорошел: Государыня Марья Федоровна зубы велела вставить. Как ни отнекивался, а пришлось.

Вообще же к высочайшим особам относился он без всякого особого пиетета, как, впрочем, и ко всем людям. Я слыхала его беглые отзывы и о Витте, и о многих мне тогда

неведомых вершителях судьбы русского народа. Всегда без злобы, но с определенной усмешечкой — вот, мол, какие теперь умники нашлись, — не нам, старикам, чета.

Как-то приехал Константин Петрович в обычном своем засаленном сюртуке, бантик галстука криво повязан.

— Был я сейчас, любезнейшая Елизавета Александровна, у этой дуры, — он назвал имя, — и длинный разговор о том, какие люди раньше были, — Елена Павловна и другие, — и какие теперь пошли.

Я была страшно удивлена: цари тогда были для меня чем-то совершенно сказочным. Я была уверена, например, что царская карета обязательно должна по коврам ездить. И по аналогии с лодками, которые спускают в море, занося вперед уже использованные козлы, я была уверена, что особые слуги несут уже пройденные ковры вперед, на дорогу перед царской каретой.

А тут вдруг засаленный сюртук, кривой галстук и непочтительность выражения Константина Петровича.

Когда я приезжала в Петербург, бабушка в тот же день писала Победоносцеву:

«Любезнейший Константин Петрович, приехала Лизанька».

На следующее утро он появлялся с книгами и игрушками, улыбался ласково, расспрашивал о моем, рассказывал о себе.

Научившись писать, я стала аккуратно поздравлять его на Пасху и на Рождество. Потом переписка стала более частой.

К сожалению, у меня сейчас не сохранились его письма. Но вот их приблизительный вид и содержание: написаны они бывали на половинке почтового листа, сложенного вдвое, — каждая последующая строчка дальше от края бумаги, чем предыдущая. Обращение всегда: «Милая Лизанька».

Первые письма, когда мне было лет 6–9, — заключали только сообщения, что бабушка здорова, скучает обо мне, подарила Марфиньке огромную куклу и т. д.

Потом письма становились серьезнее и нравоучительнее. Помню одну фразу точно:

«Слыхал я, что ты хорошо учишься и много читаешь. Но, друг мой, не это главное, — а главное сохранить душу высокую и чистую, способную понимать все прекрасное».

В минуты всяческих детских неприятностей и огорчений я садилась писать Константину Петровичу. Думаю теперь, что мои письма к нему были самым искренним изложением моей детской философии.

Мать мою Победоносцев встречал у бабушки раза два-три. Отца ни разу не видел. Думаю, что отец не чувствовал к нему никакой симпатии.

И вот, несмотря на то, что семья моя была ему совершенно чужой, — он быстро и аккуратно отвечал на все мои письма, ощущая меня, видимо, не только как внучку своего друга, «любезнейшей» Елизаветы Александровны, а как человека, с которым у него есть определенные отношения.

Помню, как наши знакомые удивлялись всегда: зачем нужна Победоносцеву эта переписка с маленькой девочкой. У меня на это был точный ответ: потому что мы друзья.

Так шло дело до 1904 года. Мне исполнилось тогда 12 лет. Кончалась японская война. Начиналась революция. У нас в глуши и война и революция чувствовались, конечно, меньше, чем в центре. Но война дала даже и мне с братом ощущение какого-то большого унижения, — или, может быть, просто так передавались настроения старших. Я помню, как вошел отец в библиотеку и читал газету с описанием подробностей цусимского боя.

И началась революция... Она воспринималась мною, как нечто направленное лично против Победоносцева. И потому, поначалу, я относилась к ней совершенно нетерпимо.

Помню, как, узнав однажды случайно, что у одного нашего доброго знакомого хранится нелегальная литература, я мечтала тихонько забраться к нему и все сжечь.

И мечтала об этом, как о подвиге каком-то, и приблизительно так же азартно, как через год мечтала уже о революционных подвигах.

Однажды к отцу пришел по делу один грузин. Отец оставил его пить чай. Я слыхала от кого-то, что он революционер, и, что если что обнаружится, — ему несдобровать. Издали я решила, что так и надо.

Но когда я увидала, что вот сидит у нас молодой человек за чайным столом, а ему, мол, «несдобровать», я сразу представила, что это значит, «несдобровать», — и мне стало его очень жалко. Но тотчас же я решила, что это слабость.

Ушла в гостиную, достала портрет Победоносцева с надписью: «Милой Лизаньке», — и на портрете непокорный галстук с одной стороны выбился из-под воротничка, — села в уголок и стала смотреть на него.

Чтобы не ослабеть, не сдаться, не пожалеть, чтоб остаться верной моему другу.

Потом мы переехали в Никитский сад под Ялту. Отец мой был назначен туда директором училища садоводства и виноделия.

Начались события 1905 года.

Ученики ходили в Ялту на митинги. Однажды отцу по телефону сообщили, что на обратном пути их собирается избить черная сотня, — погромщики из Воронцовской слободки. Отец выехал в коляске им навстречу, — «выручать».

Отец мой был огромный человек, на голову выше всякого и более шести пудов веса. Я думала тогда, что он едет выручать, рассчитывая на свою физическую, действительно невероятную, силу.

Но расчет его, конечно, был иной. Когда хулиганы увидали всем известную коляску директора Никитского училища, а вокруг нее чинно идущих учеников, то, конечно, решили, что драка не пройдет безнаказанно, и ученики вернулись домой благополучно.

В моей же душе началась большая борьба. С одной стороны, отец, — защищающий всю эту революционно-настроенную и казавшуюся мне очень симпатичной

молодежь. С другой стороны, в заповедном стане Победоносцева, — погромщики из Воронцовской слободки.

Было над чем призадуматься.

Отец предложил ученикам организовать совет старост, разрешил митинги. Я слушала приезжающих из Ялты ораторов, подвергалась ежедневно распропагандированию учеников, и чувствовала, что все трещит, — все, кроме моей личной дружбы и любви к Константину Петровичу.

Долой царя? — Я на это легко соглашалась.

Республика? Власть народа? — Тоже все выходит гладко и ловко.

Российская социал-демократическая рабочая партия? Партия социалистов-революционеров? — В этом я, конечно, плохо разбиралась. Одна у меня немножко олицетворялась учеником Зосимовым и хромым ялтинским оратором, а другая, — учеником Ротанем и рассказами о всяческих подвигах и жертвах.

Но вообще, вся эта суетливо-восторженная и героическая революция была очень приемлема. Точно так же и социализм не вызывал никаких возражений. А борьба, риск, конспирация, подвиг, геройство, — все это было само по себе, вне зависимости от цели, привлекательно.

И на пути полного приятия всего этого нового для меня мира стояло только одно, но огромное препятствие, — Константин Петрович.

Увлечение революцией казалось мне каким-то личным предательством Победоносцева, хотя, конечно, ни о какой политике мы с ним не говорили, и ни о каких моих обязательствах перед ним не могло быть и речи.

И казалось невероятным, что я, зная его столько лет, будучи с ним в самой настоящей дружбе, проглядела, не заметила того, что известно всему русскому народу.

За то, что русский народ ошибается, а я права, — говорила моя близкая дружба с Константином Петровичем, возможность наблюдать непосредственно. А против этого

было то, что не может же весь русский народ ошибаться, а я одна только и знаю настоящую правду.

И эти сомнения теоретически не поддавались никакому разрешению.

Помню сатирические журналы того времени: на красном фоне революционного пожара зеленые уши нетопыря. Это меня просто уже оскорбляло.

Я любила старческое лицо Победоносцева с умными ласковыми глазами в очках, со складками сухой и морщинистой кожи под подбородком. И нетопырь с зелеными ушами, — это было в моем представлении явной клеветой.

Но протекало это так мучительно только в области теории и внутренних переживаний, о которых я рассказывала только отцу, дававшему мне исключительную свободу выбора и собственных решений.

А на практике все было гораздо проще.

Помню, отец уезжал на несколько дней. Мы его все провожали на пристани. Там же случайно был знаменитый ялтинский исправник Гвоздевич. Видимо, желая поглумиться над отцом, который уже прослыл чуть ли не революционером, Гвоздевич дождался, когда пароход начал отчаливать, и тогда крикнул отцу, что вот, мол, забыл раньше сказать, а сейчас в Никитском училище должен быть обыск и, наверное, некоторые аресты.

Отец беспомощно разводил руками на отчаливающем пароходе. Он знал, что у учеников в этом отношении не все благополучно и что он, как директор, должен был бы быть во время обыска в Никите.

Увидав его беспомощный жест, я сразу решила принять в этом деле участие. С пристани пошла в гостиницу, принадлежащую отцу моей одноклассницы, с которой мы очень дружили. По телефону вызвала кого-то из учеников и сообщила все слышанное.

Обыск, конечно, состоялся. Но от момента моего телефонного разговора до того времени, когда Гвоздевич успел

прибыть в Никиту, в училище топились все печи, — и предосудительного ничего не было найдено.

Таким образом, практически я уже изменила моему другу, — я была не с ним.

К весне 1906 года началась реакция. По доносу эконома и священника, служивших в охранке и поддержанных другими учителями, которым режим моего отца казался совершенно неприемлемым, он был уволен с должности директора.

Мы поехали в Петербург.

Я решила выяснить все свои сомнения у самого Победоносцева. Помню, с каким волнением шла к нему.

Тот же ласковый взгляд, тот же засаленный сюртук, тот же интерес к моим интересам. Мне казалось одно мгновение, что вопрос решен, и решен в пользу Константина Петровича.

— Константин Петрович, мне надо поговорить с вами серьезно, наедине.

Он не удивился, повел меня в свой кабинет, закрыл двери.

— В чем дело?

Как объяснить, в чем дело? Надо одним словом все сказать и в одном слове получить ответ на все. Я сидела против него в глубоком кресле. Он пристально и ласково смотрел на меня в свои большие очки.

— Константин Петрович, что есть истина?

Вопрос был пилатовский. Но он действительно все сказал. Победоносцев понял, сколько вопросов покрыто им, понял все, что делается у меня в душе. Он усмехнулся и ответил ровным голосом.

— Милый мой друг Лизанька, истина в любви, конечно. Но многие думают, что истина в любви к дальнему. Любовь к дальнему — не любовь. Если бы каждый любил своего ближнего, настоящего ближнего, находящегося действительно около него, то любовь к дальнему не была бы нужна.

Неспособные любить ближнего любят дальнего. Так и в делах: дальние и большие дела, — не дела. А настоящие дела — ближние; малые; незаметные. Подвиг всегда незаметен. Подвиг не в позе, а в самопожертвовании, в скромности...

Тогда же я сразу решила про себя, что Константин Петрович экзамена не выдержал: были правы те, кто смотрел на него издали.

Он, видимо, тоже почувствовал, что в наших отношениях что-то порвалось. Это была наша последняя встреча.

Вскоре мы уехали на юг, в наш маленький город. Умер мой отец.

Потом умерла бабушка.

Не помню сейчас точно, когда умер Победоносцев. Во время его смерти я была опять в Петербурге, но на похороны не пошла.

Вообще, с момента нашего последнего разговора и много лет, почти до времени, когда я стала взрослым человеком, у меня оставалось чувство какой-то затаенной обиды против него. Я не смогла почувствовать его сразу совершенно чужим человеком, не сумела опустошить того места в моей душе, которое принадлежало ему; и поэтому долго продолжала болеть нашим разрывом.

Ясно, конечно, что Победоносцев меня ни в чем не обманывал; но я сама обманывалась в нем, и этого не могла долго простить ему.

Сейчас все, что я пишу, — только воспоминание, и воспоминание бесконечно далекое от моего теперешнего мира, а потому и беспристрастное.

Мое желание, — рассказать о Победоносцеве то, что мало кому известно, и что немного сместит черты шаблонного облика его, данного нам неписаным каноном, о котором я говорила вначале.

Последние римляне

В прежние времена были остры и болезненны споры между отцами и детьми. Естественно ждать, что при нашем быстром темпе жизни спор этот должен дойти до полного отрицания друг друга.

И на самом деле, это отсутствие понимания уже начинает проявляться. В XIX книжке «Современных записок» Антон Крайний поместил «Литературную запись о молодых и средних» — статью, в которой ребром поставил вопрос: «каково поступательное движение и развитие нашей литературы за последние годы революции, *если оно есть*?» Последние слова, напечатанные курсивом, дают заранее повод предполагать, что автор статьи отрицает существование этого поступательного движения. Так оно и оказывается при дальнейшем чтении: автор «не утверждает, не думает, но боится, что развития русской литературы нет».

«Таланты стали употребляться на схватывание и передачу видимого, на извлечение из видимого черт наиболее кошмарных»...

«Юные... видели жизнь, как она есть в России... Сравнивать не с чем... Видели безобразие. Но не знают, что это безобразие, потому что не видели красивого. Чувства красоты они не могли утерять, — они его не имели...»

А Шлецер, рецензируя в XX книжке «Современных записок» 3-й т<ом> «Окна», говорит о том, что с положениями Антона Крайнего невольно приходится соглашаться, что, может быть, этому омертвению русской литературы есть объяснение в чисто социальных условиях, но это самого факта не меняет.

Одним словом, группа писателей, принадлежащих к последнему дореволюционному периоду русской литературы, дает совершенно определенный отзыв о следующем писательском поколении и с большой болью и искренностью говорит о гибели старых традиций, о перерыве в поступательном движении литературы.

О новой литературе я говорить не буду, потому что просто недостаточно знаю ее. Думаю, что вообще за пределами России ее трудно знать настолько, чтобы не рисковать ошибиться в ее оценке. Но о старой литературе скажу, потому что считаю совершенно ясным, что ее традиций продолжать *нельзя*.

Нельзя не потому, что новое поколение должно отрицательно относиться к старым авторитетам, не потому, что в последний предреволюционный период у нас не было больших и талантливых писателей, — а нельзя потому, что, — как верно замечает А. Крайний, — «русская литература никогда не шла вне жизни».

Жизнь же предреволюционного периода ничем и ни в какой степени не дает тех восприятий, какие дает период революции и какие, вне сомнения, будет давать следующий период.

Революции бывали в истории не раз; и часто вскармливались они идейно предшествующей литературой, связывались ею с прошлым, отбрасывали свой отсвет на грядущий литературный период, — таким образом оставалась целой и нерушимой связь всех литературных периодов. Так было во Франции в эпоху Великой Революции, вскормленной энциклопедистами и вскормившей Байрона и романтиков. Так оно естественно должно быть в исторические периоды, не отмеченные знаком перехода из одной эры жизни человечества в совершенно другую эру.

Но в периоды, обозначающие великие грани, таких постепенных переходов ждать не приходится. После Аттилы трава не росла, и нельзя было продолжать традицию римской культуры. Надо было начинать все заново, строить свою новую культуру. И только через большой промежуток времени, когда эта новая культура окрепла, она смогла воспользоваться достижениями предшествующей эры, принять их вдумчиво и объективно.

В области культуры, так же, как и во всех областях жизни человеческой, грань между двумя эрами истории лежит именно между годами, предшествующими войне и революции, и годами последующими.

Очень вероятно, что период борьбы двух этих эр еще не закончен. И совершенно достоверно, что в русской истории культуры большевизм должен был сыграть роль Аттилы, под копытами коня которого трава не растет. Теперь, после того, как это шествие Аттилы духовно изжито, несомненно должно обозначиться стремление у писателей «схватить и передать видимое», настолько оно ново, настолько оно не устоялось еще. В этом есть, может быть, известное сходство с каким-нибудь киевским древним летописцем, который одинаково бережно стремится занести на страницы своей летописи и то, что князь воевал с кочевниками, и то, что в Днепре нашли уродца о двух головах.

Но, повторяю, подробно останавливаться на литературе новой не считаю для себя возможным.

Теперь о литературе старой. А сначала о последних годах прошлой эры в истории человечества.

* * *

После революции 1905 года отход от общественной работы у молодежи обозначился очень определенно. Революционный подъем в русской интеллигенции переживал наиболее сильный кризис. Пожалуй, такой полной апатии к общественной работе не наблюдалось в течение всего прошлого века.

Но это не значило, что молодежь была довольна существующим положением вещей. Весь тот период был в жизни молодежи отмечен мучительным исканием новых путей, потому что «так дальше жить нельзя».

Трудно определить, что должно было измениться, только несомненным было одно, что данные условия жизни настолько тусклы, настолько мешают свободному выбору жизненного пути, настолько опостылели всем, что «так дальше жить нельзя». Это был основной лозунг у молодежи довоенного периода. Как бы ни строились планы на будущее, — во всех них неизменной была предпосылка: сначала все «это» должно измениться, а потом будет то-то и то-то.

— Период реакции, — скажут одни.

— Послереволюционная неврастения, — скажут другие.

Думаю, что ни то, ни другое, а скорее острое ощущение, что «время наше на исходе», что мы стоим у самой грани, что скоро начинается неведомое.

Конечно, не только молодежь чувствовала приближающуюся гибель старого мира. Этим чувством были до конца проникнуты все, — многие бессознательно.

Теперь, оглядываясь назад, с точностью и ясностью видишь, что все делалось тогда именно под этим знаком гибельности. Под этим знаком вошел в царский дворец Распутин, под этим знаком быстро разлагалась устойчивая обычно психология простого обывателя и он терял представление о должном, о понятном и приемлемом ходе жизни. Под этим знаком в некоторых кругах русской интеллигенции остро выросло чувство какой-то мистической веры в путь войны и очищения через этот путь.

Но отношение к этой гибельности было различное.

Молодежь еще слишком мало срослась со старой культурой, слишком уродливо восприняла последний лик этой старой культуры, чтобы о чем-либо жалеть.

Старшее поколение, несомненно, жалело, потому что видело более объективно и другие лики культуры, не затемняло их чрезмерным преувеличением современности и поэтому так или иначе стремилось что-то удержать, что-то спасти.

Молодежь чувствовала себя грядущими гуннами, а старшее поколение, при всех своих индивидуальных различиях, противопоставляло себя гуннам, даже относясь к ним неодинаково.

Вспомните только ожидание грядущих гуннов у Брюсова, приветствующего их, и стремление Вячеслава Иванова «унести от них свой светильник в катакомбы, в пещеры». Оба знали, что гунны близятся, оба знали, что они сметут все прошлое на своем пути, и, относясь к ним по-разному,

одинаково противополагали себя им. Вячеслав Иванов становился на защиту старой культуры, стремился уберечь ее от полного уничтожения, а Брюсов предавал ее и вместе с нею и себя, потому что чувствовал все же, что он-то лично с нею связан, а не с гуннами, которые, уничтожая старую культуру, и его вместе с нею уничтожат.

Они были оба в одинаковой степени последними представителями старой эры, они крепко срослись с ней, они дали завершение ей. Без их работы, без их достижений старый мир не сказал бы своего последнего слова. И они болезненно чувствовали, что к старой эре, т. е. и к ним, приближается смерть.

Сравнить их можно с последними римлянами, видящими уже гибель своего римского мира.

Как же они относились к грядущему?

Само собой разумеется, что я говорю не о политическом их отношении к событиям. В области политики все еще было подвластно каким-то якобы очень хорошо изученным законам. Тут продолжала царить простая человеческая логика и вера в постепенный ход событий, — даже и революционный способ разрешения политических противоречий не мешал логическому подходу к вопросу и не уничтожал возможности обсуждать программы и давать им трезвую оценку.

Но в другой области, в области интуитивного восприятия грядущей катастрофы, логический путь мысли оказывался совершенно бессильным. Вся напряженная волна мистики, характеризующая мысль символистов, определенно указывает, что они усиленно искали выхода из того тупика, в который их загнала современность.

Связанные кровными узами с прошлым, они в мистической глубине своей не могли не быть консерваторами, уносящими свои светильники в катакомбы.

А наряду с таким пассивным консерватизмом, с стремлением спрятать, уберечь несомненно развивалось и другое течение, — побороть грядущую стихию, найти новое слово,

тесно связанное со старыми словами, и новому этому понятному слову подчинить грядущее, заставить это грядущее принять старое наследство, связаться со старой культурой.

Обращусь к воспоминаниям личным.

Новичком, поистине варваром, пришлось мне бывать на «Башне», у Вячеслава Иванова. Там собирались люди, в полной мере владеющие ключами от сокровищницы современной культуры.

Ночное бдение до зари, какая-то непередаваемая прянность и утонченность всех речей.

Сам Вячеслав Иванов, прозорливый и умный, одновременно с этим поражал каким-то напряженным любопытством к каждому отдельному человеку, — каждого внимательно рассмотрит, точно и почти всегда правильно определит, отысповедует приемами тонкими и лукавыми, — потом только отойдет уже с большим безразличием.

И у меня было первое впечатление от этого нового мира такое, будто бы то, о чем мы таились даже перед самыми близкими, что нам казалось самым нашим глубинным достижением, — здесь обнажено, смакуется, является темой для остроумного и утонченного словесного турнира между Вячеславом Ивановым и Недоброво или Бердяевым, в дальнейшем Эрном и т. д.

Сначала мне казалось, что происходит это оттого, что наше сокровенное, — еще не подлинное достижение, что люди, достигшие больших высот, смотрят на наши холмики с долей презрения, что их достижение просто нам еще недоступно.

Потом наступила реакция: стало ясным, что сокровенного нет, что за покровом слов и цитат все стало обыденным, вера в новое и чудотворное слово утрачена бесповоротно.

Теперь вижу, что в обоих определениях была доля истины. Любопытство и даже известная жадность к каждому новому человеку определялась надеждой, что вдруг случайно в этом человеке откроется то, что так необходимо, — какая-то

мысленная ступень, связывающая знакомое и понятное прошлое, уж слишком изученное и от этого ставшее таким обыденным, с грядущим хаосом и мраком.

Сокровенного действительно не было, потому что перед лицом этого грядущего хаоса ничто не давало покоя и уверенности; но жажда этого сокровенного была искренняя, мучительная и очень сильная.

В этот период мне пришлось много заниматься философией. Очень по-студенчески одолевал я премудрость отдельных философов, вместе с Кантом торжествовал победу над философской мыслью, не постигшей еще тайн критицизма, от Канта шел дальше, к неокантианцам. И каждый вновь постигнутый элемент знания именно по-студенчески воспринимался, как нечто очень прочное, близкое по своей достоверности к математике.

А на «Башне» или на заседаниях Религиозно-философского общества чувствовалось, что Кант, даже Платон, более того — все мыслители всех времен и народов, — в известном отношении младенцы какие-то, ушедшие в свой переулок, не умеющие широко и всесторонне взглянуть на весь мир и отдающие свои силы на изучение одного ничтожного уголка этого мира.

Тут же, у наших современных мыслителей, не только Кантовский или Платоновский переулок, а весь город с птичьего полета виден. И достижения прежних веков, во всем их творческом разнообразии, суммируются в одно целое, в единое здание, совершенное и законченное.

О ком говорили?

О Григории Богослове, о Штейнере, о страдающем боге Дионисе, о Христе, о Марксе, о Ницше, о Достоевском, о древней мудрости Востока, о Гете, — и обо всем с одинаковым знанием, с одинаковой возможностью обозреть все с птичьего полета, взять отовсюду самое ценное.

И не только самое ценное, — довести все до парадокса, обострить и уничтожить, соединить Христа с Дионисом, Канта с Круппом и т. д.

Как пример, приведу толкование «Бесов» Достоевского Вячеславом Ивановым. Ведь без углубления особенного «Бесы» настолько глубоки, настолько мистичны, что об их каком-то двойном, даже тройном смысле спорить не приходится. Вячеслав Иванов разбирал символическое значение отдельных действующих лиц «Бесов». Ставрогин — «князь мира сего» — такое определение его с ясностью вытекает из слов Хромоножки, — сталкивается на пути своем с землей. Земная поверхность, доступная человеку, не углубленная мистическим значением понятия земли, выявлена в образе Лизаветы Николаевны, — недаром она в зеленом, символизирующем землю, платье описана в сцене в Скворешниках; там земля изображена в круге вечности, — комната, в которой происходит разговор между Лизой и Ставрогиным, — комната круглая, круг — символ вечности. Хромоножка — это недра земли, недоступные человеку, князю мира сего, от этого она изображена безумной, фиктивной женой Ставрогина, от этого она в высшей мудрости своей одна проникла в сущность его, — сущность князя мира сего.

Говорю я это по памяти; многие подробности уже ускользнули, может быть, и это передаю не совсем точно, но общий смысл толкования Вячеслава Иванова был именно таков. Характеризовать его можно так: уже мудрости Достоевского было мало, — он не разрешал смятения, которое все росло перед лицом грядущего, — хотелось эту мудрость углубить до беспредельного, найти на дне ее ключ к грядущей загадке.

К такому же явлению принадлежит трилогия Мережковского, в которой Юлиан Отступник, Леонардо да Винчи и Петр Великий слиты в какое-то среднее существо, напоминающее всего больше самого Мережковского, как мы его знаем по его творчеству. Факты жизни его героев доведены до парадокса, обострены в своих противоречивостях, — ясно указано, что простым логическим путем из этих противоречий

выхода нет, — только путем изощренного слова и перевернутого наизнанку понятия можно найти выход из противоречия.

До некоторой степени с этим можно сблизить переход от марксизма к церковности у Бердяева; когда логика стала изменять, надо было найти понятие определенное и находящееся вне простых логических построений и им оперировать там, где иначе ничего не выходит.

Кстати, о церковности этой. На «Башне» о ней очень много говорили, говорили о ней и в Религиозно-философском обществе.

Основным утверждением было то, что вот верим, верим, верим. Тут, мол, уж все остальное ни к чему, раз попросту, по-настоящему верим и чувствуем свою общность со всем остальным Христовым телом — церковью, — тут уж выход из всего.

Но все казалось, что упоминание Софии-Премудрости Божьей, ссылки на Соловьева, вера в Богочеловечество, — это все одно, а церковность гораздо более понятна и доступна любой старой салопнице, бьющей по воскресеньям поклоны в церкви. Утеряно было главное для этого пути: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Детскости не было, не могло быть, — была старческая, все постигшая, охладевшая ко всему мудрость.

И церковность стала одной из культурных ценностей, тщательно изученной, положенной в общую сокровищницу культурных ценностей.

Таким образом, было все, кроме веры, веры во что бы то ни было; была только сильная воля к вере.

Отчего же все складывалось так?

Уж кому бы, кажется, легче дойти до последней степени мудрости, где открывается самая ясная, самая чистая простота, — простота, дающая веру, простота целостного единобожия, — как не тем, кто вкусил от всех истин, кто приобщился всем учениям, был в храмах всех богов.

На самом же деле ни веры, ни подлинного творчества не было.

Более того, — не могло быть.

Всякое творчество питается жизнью и в свою очередь пробивает русло для будущей жизни. И, несомненно, что если бы мы жили в другое время, жизнь давала бы другое питание, — Вячеслав Иванов был бы не только мудрым, но и пламенным, Бердяев мог бы стать Лютером, Карташев — Аввакумом и т. д.

Но и в последние годы эры чем они могли быть, кроме эклектиков?

Жизнь мелела. Впереди стена. Для творческого порыва, для веры, проистекающей из творчества, — никакого питания. А из прошлого давит тяжелый груз многовековых достижений, чужих творческих подъемов, чужой животворящей веры.

Умирать же не хочется. Не хочется безропотно отдавать себя гибели, исчезать с исчезающей эрой.

И вот это былое творчество, былая вера, такая понятная, изученная, доступная, — комбинируется, сочетается в причудливых узорах, кромсается на осколки, спаивается воедино, — авось где-нибудь, случайно, вспыхнет новая искра, загорится новый свет, который преобразит мир, даст ему новый смысл, свяжет воедино уходящее и грядущее.

Но старые творения оставались по-прежнему неподвижными, но старая вера не могла родить новых заповедей, — и люди кончали тем, что возвращались к какому-нибудь острому парадоксу, утверждали его, вопили: «Веруем, веруем», не веря, только мучительно желая верить.

Мне случалось и тогда встретить точное и сознательное отношение к приближающейся гибели. При первой моей встрече с Блоком (в 1908 году) он говорил о том, что принадлежит к умирающему, он советовал всем, кто еще кровно не связан с этими умирающими, бежать от них, искать новых путей. Для меня сейчас вне сомнения, что он-то лично

меньше чем кто-либо принадлежал к тому миру, умирание которого видел; силою своего пророческого дара он перенес свое творчество из современности в годы грядущие.

Но о Блоке особо.

Замечу только, что вряд ли можно было кому-нибудь не чувствовать себя связанными кровно с умирающим временем, вряд ли кто-либо сумел в полной мере осуществить бегство.

* * *

Последние римляне, впитавшие в себя мудрость долгих веков, бессознательно все же чувствовали, как кровь холодеет в жилах.

Потом началась война. С наибольшей остротой поставила она вопрос о гибели всего того, что было до нее. Какими бы мудрыми философствованиями ни прикрывались люди тогда, как бы ни говорили о Царьграде и св. Софии или даже о том, что только вот теперь, мол, при царе его помазанность проявляется, — за всеми словами и самоутешениями чувствовалось, что уже больше отойти от основного вопроса, отсрочить его разрешение нельзя.

В этот период мне случалось бывать у Вячеслава Иванова в Москве. Сознаюсь, что во время ночных бесед с ним всегда чувствовалось, что он подавляет своей мудростью, своим всезнанием, своим уменьем утончить каждую мысль и найти ее корни. Каждый раз верилось, что и здесь течет вода живая; и только в сумеречном утре, уже на улице, опять и опять чувствовалось: «Были, — уже отошли»...

А война все настойчивее говорила о том, что скоро ничего не будет, что мы все обнищаем, обнищаем до конца, что останется только голый человек на голой земле, — образ, созданный провидчески именно в последнее время эры.

Об этом внутреннем грядущем обнищании говорили как-то с Вячеславом Ивановым. И о Царьграде рядом.

Говорилось о том, что до владения Царьградом Русь должна раньше очиститься от своих многовековых грехов, что крест на св. Софии не может быть результатом только победоносной войны, которая совершенных грехов не покроет, не искупит.

Для того, чтобы владеть св. Софией, необходимо раньше обнищать до конца, сознательно из глубины своего нищенства отказаться от Царьграда, отказаться от всякого нового венца, — и только тогда принять его, по Евангелию: «Се, раба Господня, да будет по слову Твоему», — т. е. полное отсутствие хотения или отказа, — а только — «да будет по слову Твоему», — из глубины сознания своего бессилия и своего нищенства.

Говорю об этом разговоре как об очень характерном для того времени. И самым характерным считаю, что вел его именно Вячеслав Иванов.

Может быть, все сказанное им было и верно, может быть, это и прозорливое указание на наше русское грядущее. Но ему ли обнищать, когда он сам заключил в себя неисчерпаемую сокровищницу культуры, когда все нищенство наше, уже наступившее, он иначе и не сможет рассматривать, как сквозь призму богатства своего, определять, классифицировать; до известной степени и будущую историю писать на основании прошлых традиций.

Будущая же история начинается со слов: в начале было... А до этого начала ничего не было... пустота. Копыто коня Аттилы.

Говорю я больше о Вячеславе Иванове по двум причинам: во-первых, считаю его индивидуально наиболее крупным представителем последних римлян, значение которого, может быть, главным образом личное даже значение, а не только значение его книг, — еще недостаточно оценено.

Во-вторых, с именем Вячеслава Иванова у меня ни в какой степени не связано ни малейшего отрицания. Я его

принимаю целиком, очень ценю, люблю даже, — и на этом основании, говоря именно о нем, совершенно отвожу от себя всякий упрек в стремлении кого-либо унизить и развенчать, в желании внести элемент злобы и пристрастия в свои слова.

Говорю я только о неизбежном умирании традиций старой эры. Тут отдельные люди, конечно, не в силах были что-либо изменить.

И еще одна оговорка: утверждая, что новая история начнется со слов: «в начале было», — я, конечно, не стремлюсь доказать, что и фактически земля вся вымрет, а потом вновь заселится новыми людьми, которые начнут строить себе шалаши в лесах, охотиться на диких зверей и т. д.

Я только думаю, что тот культурный слой русского народа, который был фактически творцом русской литературы и иных видов русской культуры, должен будет уступить место совершенно иным пластам русского же народа, психология которых совершенно иная, чем психология уходящих. На этом основании и учитывая к тому же, что и жизненный опыт у тех, кто теперь будет призван выражать мысль русского народа, совершенно другой и питается совершенно другими источниками, — можно утверждать, что новое строительство начнется со слов: «в начале было», и только оформившись и окрепнув, выявив нам еще неведомое лицо свое, сможет в полной мере воспользоваться достижениями прежней эры.

* * *

Вернусь к утверждению А. Крайнего, что чувство красоты неведомо молодым, и что поэтому литература сейчас не имеет никакого поступательного движения. Он объясняет это отсутствие чувства красоты тем, что нет возможности учиться на красоте, — молодые только по инстинкту, по наследству могут ее ощущать.

Не так это все, конечно.

Разве сейчас закаты не такие, как десять лет тому назад? А в Петербурге не такие же белые ночи? И не такой разве снег зимой, и не такая трава весной?

Не в этом дело.

Дело в том, что культурная сокровищница, открытая для всех, кто жил в старой эре, сейчас для новых заперта или в лучшем случае оказалась в музее. И культурные достижения, бывшие для прежних своими, вошедшие в плоть и кровь, стали музейными номерами, на которые можно смотреть, а почувствовать их своими нельзя, — они под стеклом.

Поэтому для старых все новое кажется лишенным красоты, не связанным с прошлой красотой, а для новых надо создавать новое, на новой зеленой земле, без традиций, без авторитетов.

Римлянам не понять варваров, а варварам не понять римлян.

Кроме того, видимо, эстетическая оценка у различных людей, переживших русскую революцию, стала чрезвычайно разнообразной.

Я лично, например, не знаю более кошмарного литературного произведения, всецело построенного на «схватывании в передаче видимого», чем дневник Зинаиды Гиппиус, помещенный в «Русской мысли». А Гиппиус целиком принадлежит к поколению старому, владевшему еще ключами от культурных богатств.

И именно самым отрицательным в этом дневнике является то, что весь он построен только на основе «схватывания и передачи», что нет в нем никакого внутреннего стержня, дающего известную оценку схваченному и переданному, группирующему факты по их внутренней значимости. Стержнем таким нельзя ни в коей мере признать ту чисто обывательскую злобу, которая все окрашивает в один общий цвет. Обыватель не доволен, что жизнь стала неудобной, — и хлеба мало, и купить все дорого, и людей расстреливают.

И на основании этого своего недовольства он поведал миру все, что было им схвачено: в общей мешанине сплетни кухарки и разговор по телефону с Блоком, все свои большие и малые горести, все свои брюзжания, все недоумение и неумение разобраться в общей картине происходящего.

И рядом с дневником кажутся до известной степени более содержащими элемент красоты даже ультрареалистические произведения молодых, где с большим усилием авторы стремятся выгрести из хаоса событий к берегу, найти какую-то свою основную линию, преодолеть внутренне кровь и ужас, найти и в грязи подлинную и полновесную душу человеческую.

Интересно отметить, что еще задолго до катастрофы, когда внешние знаки о ней не говорили, в среде последних римлян начали появляться варвары.

Конечно, всегда, во все времена литература впитывала в себя элементы, не принадлежащие по своему складу к правящему литературному пласту. Таким впитыванием был приход «разночинцев», например.

Но раньше происходила довольно быстро ассимиляция, замечалась средняя линия между линией бывшей и той, которую несли новые люди; эти новые люди воспринимались именно как новые, — теперь же они воспринимались как чужие, как варвары, знающие совершенно другой круг истин, поклоняющиеся совершенно другим богам, говорящие на другом языке.

И литературный мир, утонченно-культурный, бесконечно изысканный, встречал их всегда с повышенным любопытством и вниманием.

Да оно и понятно: ища во всем мире воды живой, пригибаясь под гнетом такой тяжелой культуры, какой была культура прошлой эры, хотели попытаться в варварах, в людях нетронутых, легких, найти пути к обновлению. И чем их духовный облик был более чужд, чем больше разнились их боги от обычных богов, тем сильнее возбуждали

они веру, что тут-то вот и лежит новое слово, которое, — стоит только понять, только вставить в логическую цепь старых слов, — чтоб желанный мост в будущее оказался найденным.

И так велика была эта страсть, — найти звено между уходящим и грядущим, что переоценивали варваров выше всякой меры; создавали большие литературные имена, где ничего по существу не было, кроме одного отрицательного признака, — отсутствия сходства с большинством.

Таков был приход на «Башню» Городецкого, отчасти Хлебникова. Позднее так же приняли Клюева и Есенина.

Их сразу определили: не наши, новые, кровь молодая. Радовались их культурной нетронутости, ждали от них настоящего, звонкого слова.

Этим объясняется нежность Вячеслава Иванова к Городецкому, этим объясняется чрезмерно высокая оценка стихов Клюева.

Но эти первые варвары обманули ожидания. Или их мало было и не осилили они стен старой крепости, или не подлинными они варварами были, — только произошло нечто, совершенно противоположное тому, чего ждали от них.

Вместо того, чтобы накинуться с враждою на древний мир и заставить его вступить в борьбу, — а в этой борьбе, может быть, и обновиться, окрепнуть, по-новому сознать себя, — варвары в первую очередь стали отрекаться от своего варварства — главного своего достоинства.

В то время, как подлинным римским гражданам опостылело уже это высокое звание, варвары стали добиваться признания и за ними римского гражданства. Ну, а в качестве таковых они, конечно, никому не были нужны, потому что выходили все время римлянами второго сорта, — и без них римлян было достаточно, — настоящих прирожденных.

А в жилах римлян ни капельки свежей крови от этих опытов с варварами не прибавилось.

Так кончилась и эта попытка ничем.

А жизнь мелела, мелела. Процесс перед революцией начал развиваться с головокружительной быстротой. Становилось все более душно. Слова звучали пустыми звуками. Вера умирала во всех окончательно. Ничего не было оправдано. Война давила сознание. И вместе с тем так мало чувствовалось всеми, что на войне люди умирают.

Как накипь, всплыла на поверхность жизни целая плеяда талантливых юношей, собиравшихся в «Бродячей Собаке», позднее в «Привале Комедиантов», одетых всегда чрезвычайно изысканно, читающих очень хорошо написанные, но такие пустозвонные стихи, всех их не перечислишь, — Георгий Иванов, Ивнев, — и не вспомнишь, — их было десяток, самое меньшее. Да и Игорь Северянин к ним принадлежал.

Уже и говорить им не о чем.

Отлетала уже душа от старой эры. Был гроб повапленный.

Был еще другой путь в последние годы эры. Путь, не обозначенный таким напряженным исканием, как путь мудрых. Путь более примиренный, более склонявшийся перед лицом грядущего уничтожения. Это путь крайнего эстетизма.

Да и не эстетизм это на самом деле, а просто взгляд такой на мир, когда знаешь, что смотришь в последний раз, когда любовно и точно стараешься запечатлеть каждую подробность уходящего.

Эстетизм этот наш был любовью ко всему, — к каждой вещи, к каждому звуку, к каждой мысли, к каждому движению души человеческой. Осторожно, чтобы не вспугнуть, чтобы не сместить случайных черт, все рассматривалось, все описывалось.

Ведь в последний раз, — завтра так не будет. Завтра все сместится в хаос и мрак.

И любя все, хотели эстеты наши изобразить это все так, чтобы и в будущем, когда ничего не будет, каждая вещь продолжала бы жить, каждую вещь можно было бы почувствовать, потрогать.

В форме совершенной стремились они изобразить умирающий мир, стремились создать своим творчеством «зеркало вещей», двойник мира.

Поэты делали это с напряженной любовью. Критики, учуявшие дух этого настроения, но менее, может быть, любовные, доводили такое отношение к миру до крайних пределов.

Мне помнится собрание в редакции «Аполлона». Разбирали стихи Ахматовой. Она сама, быть может, больше всех удивлялась тем открытиям, которые делали в ее строках критики. Она впервые узнавала, что здесь то следует традициям Пушкина и, кстати, именно таким традициям, которым до сих пор ни один поэт не следовал, что такое-то и такое-то сочетание звуков применено ею, чтобы передать такое-то и такое-то чувство, а данный ритм сознательно избран для передачи определенного настроения.

Непосредственное восприятие было заменено научностью. Может быть, это во многих отношениях и законно и правильно, но все же создавалось впечатление, что не современник подходит к современному поэту, а ученые археологи измеряют, классифицируют, упаковывают в ящики и отсылают в музеи произведение древнего искусства.

Это опять-таки уносили свои светильники в катакомбы. Распределяли их там по полочкам, чтобы сырость не попортила, чтобы ветер не развеял, чтобы не рассыпались прахом до того далекого времени, когда придет новый ценитель и сможет по осколкам нашего искусства воссоздать нашу жизнь.

Из общей линии эстетизма выделился акмеизм.

Акме — вершина, острие. Все поэты, примыкавшие к этому течению, могут быть разделены сообразно с этим двойным значением слова «акме».

Одни из них, подобно Гумилеву или Мандельштаму, приняли слово «акме» как слово, обозначающее вершину, — вершину творчества, стремление к творческому совершенству, к включению в свой сотворенный мир всего мира, видимого с творческой вершины. Для них акмеизм был крайним утверждением эстетизма.

Другие поэты, — главным образом Анна Ахматова и потом все ее бесчисленные подражатели, — приняли ближе второе значение «акме», — острие.

Оставаясь такими же эстетами, любовно культивируя отображение всего мира, — хлыстик, перчатки, каждая мелочь, каждая случайная вещь внимательно ими описывалась, бережно консервировалась, — они все же считали психологически неизбежным для себя среди этого мира милых вещей, на самом острие своего произведения, в минуту его творческого разрешения отобразить то жало, которое все время чувствовали в своей душе, которое повышало любовное отношение к миру.

Точно в светлой и уютной комнате, в которой человек прочно и хорошо обжился, — в окне случайно мелькнул ужас и страх, и на минуту всю комнату полонила жуть темной ночи, в которой совершается неведомое.

И это всегдашнее напоминание о жути, всегдашняя оглядка на окно, которое соединяет комнату с внешним миром, придает особую значимость стихам Ахматовой, увеличивает тайну и смысл тех простых и комнатных вещей и чувств, с которыми она имеет дело.

Смело можно сказать, что это еще новое отражение общего, — чувство идущей гибели, стремление или спрятаться от нее, или противопоставить ей свой мир, часто с полным пониманием, что противопоставить-то нечего.

А, впрочем, может быть, и верно, что описанные Ахматовой перчатки действительно останутся, будут долго, долго жить, когда всей жизни, во время которой они существовали, уже не будет.

Самым, пожалуй, ярким и завершенным представителем группы эстетов был Гумилев.

Когда читаешь его стихи, насыщенные любовью ко всему, о чем он пишет, насыщенные и любовью к тому, как он пишет, не кажется ли, что любовь эта корнем своим имеет желание запечатлеть все, все вобрать в свою память.

И с другой стороны, каждая вещь, каждое чувство, о котором он говорит, закостенело, застыло, стало чувством, бывшим давно, когда-то, — теперь его можно изучать, смотреть на него, удивляться красоте его, совершенству формы лучших стихов античного мира. И там и тут знаешь, что это ты читаешь последнее слово; если воспримешь все до конца, то больше в этой области не удивишься ничему, пройдешь мимо всего спокойно.

И вспоминается, как Гумилев убеждал молодого художника рисовать ковры, на которых были бы бабочки, птицы, цветы и пальмы, еще обезьяны, жирафы, — все, имеющее цвет, форму, неизменное, вещи.

Вопрос не в творчестве новых вещей, а в комбинации уже сотворенного.

Будто ясным ему было, что все элементы, которые можно комбинировать, уже созданы и не стоит тратить сил на поиски новых, — это неосуществимо — найти новое. Хорошо то, что уже устоялось, что будет красочной деталью целого.

Синдик Цеха поэтов и его создатель, создатель акмеизма...

Ремесло свое, ремесло поэта не понимал ли он как долг некий, — в совершенном творении отобразить мир, чтобы мир этот хотя бы только в совершенных стихах продолжал жить, — другой жизни ему не было суждено.

И из такого понимания значения роли поэта вытекает то, что единственным достойным делом на земле он считал быть поэтом. Остальное все принадлежит к умирающей современности; остальное все временно и сроки ему поставлены краткие, — поэт же один творит для грядущего, поэту

одному дано избавить современный мир от смерти и вынести осколки его в будущую жизнь.

Но Гумилев был сам, как индивидуальность, слишком живым человеком, слишком борцом, чтобы безропотно принять смерть и работать только для какого-то неведомого будущего ценителя.

Он все время пытался найти пути, пытался влить кровь в дряхлеющую культуру последних дней.

И искал он этих путей везде. Отсюда и «муза дальних странствий», отсюда и путешествия его по Африке, отсюда мечта о Синдбаде-мореходе, о конквистадорах, наконец, отсюда и ясное, героическое отношение его к войне, гордость георгиями своими солдатскими и, может быть, отсюда и смерть его от чекистских пуль.

Чего он искал?

Еще задолго до войны сам он это формулировал так:

«Я буду очень благодарен тому, кто меня напугает».

Что это? Молодая бравада? Стремление пококетничать своим бесстрашием? Желание быть зачисленным в число славных авантюристов, любимых им героев?

Нет, так кажется только с первого взгляда: ему хвастаться нечем, потому что и действительно трудно чего-нибудь испугаться среди мертвых вещей, неспособных воскреснуть и создать что-нибудь новое. Закон их мертвого существования изучен, пропорции измерены, свойства определены. Пусть часто они прекрасны. Но живому хочется живого, — хочется не смерти, — пусть даже прекрасной, — а бурь, риска, пытания.

И в этом отношении он гораздо больше видел, чем видели мудрые. Для него иллюзий не было. Слов старых он не сочетал, чтоб добиться чего-то нового, не искал животворящей веры, — слишком ясным для него было, что в этом, данном мире все равно такие попытки обречены на неудачу.

В иных мирах искал он дорог, но и они приводили роковым образом назад, к стене.

В комнате его пахло странно, — он говорил, что носорожьим жиром, которым натерты абиссинские картины, — на диванах лежали леопардовые шкуры, на стенах висели доспехи и браслеты из Африки.

Это все трофеи из борьбы с главным врагом, которого он определял так: «Седая, незолотая старина»... Старина ли? Не современность ли?

И странно то, что Гумилев, так трезво определивший бесцельность искания путей к обновлению в пределах нашей культуры, мог наивно мечтать, что какая-то маленькая и бессильная духовно Абиссиния или мертвая африканская пустыня со своими львами и одинокими оазисами может что-то изменить, может оказаться полустанком на пути в новый мир.

Всего вероятнее, что по-настоящему у него этой веры не было, — было просто стремление уйти, не присутствовать при разложении жизни.

«Я никогда не встретил дамы
Той, чье сердце непреклонно».

Кому же в мире быть верным после этого? Камни рассыпались в песок, жизнь разлагалась на составные свои части.

Потом появился Гумилев в защитной рубашке, с какой-то цветной кистью, принадлежностью того полка, в котором он служил, — с несколькими георгиевскими крестами...

А на самом деле незолотая старина уходящего мира не изменилась, не нашла новых путей, не сумела напугать неожиданностью Гумилева; человеческая кровь, — говорил он в стихах своих, — «не святей изумрудного сока трав».

Через кровь, значит, тоже ничего не узнавалось, была она тоже только одним из явлений, изученным, мертвым фактом в мертвой жизни.

Наконец, последний этап в жизни Гумилева. Чекистская пуля.

Страшно себе представить человека, идущего на смерть. Кажется, что наряду с волной душевной смятенности должна где-то в глубинах его обозначиться очевидная, ясная и простая истина, примиряющая все.

И несмотря на то, что не знаю я последних часов жизни Гумилева, думается мне, что и в этот последний свой путь на земле шел он с таким же чувством полной неудовлетворенности, полной невозможности найти подлинный выход, оживить старый мир, сочетать его с грядущим.

Так и ушел он одною из последних глав книги о том, что было: как росла трава, как мечтали люди о колокольчиках в желтом Китае, о высокой пальме в оазисе, о мудром Гуссейне, — обо всем, что обещало вывести на дорогу и привело опять все к той же стене.

* * *

Пока мне пришлось касаться тех представителей литературного мира, которые еще были тесно связаны со стариной, с прежней культурой. Они чувствовали смерть этой прежней культуры, многие даже понимали, что лежит перед ними не живое существо, а покойник, но все ассоциации были у них не со смертью, а с тем временем, когда этот покойник был живым и животворящим.

Смерть делала только их восприятие мира более острым. И верилось им, что еще не все кончено, разложение не коснулось любимого лица, старый мир может воскреснуть, может совершиться чудо.

За ними же шли те, кто видел только разложение. Прахом, гнилью, смрадом распадался старый мир, разлагался на простые элементы, терял связь между ними. И в этот недолгий период его разложения пришли новые люди, которые и отобразили его разъятым на части, лишенным гармонии, испепеленным и развеянным. Последними певцами старого мира были футуристы. Злой иронией над

ними звучит их наименование, — будущего они не знали и не чуяли даже. Пусть они действительно элементарны, как должен быть элементарным всякий художник первого периода эры. Но это еще не делает их действительно принадлежащими к первому периоду новой эры, — ведь в последние годы старого мира, в минуты его умирания, и он становится элементарным, распадается на части свои, теряет единство сложного существа.

И именно эта элементарность разложений свойственна и понятна футуристам, о ней говорит Маяковский, ею полно все творчество тех, квазиновых и квазимолодых, которые так много кричали в первый период большевистской революции о том, что они именно и есть подлинная новая культура, что они именно и выражают собой народные чаяния в искусстве.

Характерно, что большевизм, тоже претендующий на новое слово и на основоположение новой эры, так охотно признал их подлинными выразителями новой культуры, так охотно дал им патент на пролетарское творчество.

Эта характерная особенность объясняется несомненно тем, что самозванному выразителю чаяний народных масс, — большевизму, — уж совсем не с руки было обличить в самозванстве кого бы то ни было, — по пути оказалось всем видам самозванства в России. И кроме того, что по пути, наметилось в них основное сходство, — стремление выдавать себя не за могильщиков, каковы они на самом деле, а за истинных основоположников новой жизни, за первых строителей мира, за великих пионеров.

Думаю, что во всех областях теперь это самозванство уже разоблачено. Да и трудно было его скрывать. Слишком ясно, что в мире новом трава должна расти особенно буйно, — тут же она совсем перестала расти: из футуризма нет выхода в даль.

Описав все части разложившегося тела, сладострастно просмаковав все тление, которое его окружало, он новых тем для себя не выдумал и не мог выдумать.

Теперь с этим покончено, как бы последние эпигоны футуризма ни стремились заявлять о том, что они еще живы, и к каким бы вычурам они ни прибегали.

И не только покончено. Можно смело утверждать, что последняя страница истории прошлой эры будет посвящена не футуризму, а тем литературным течениям, которые ему предшествовали. Да оно и понятно. Течения предшествовавшие давали подлинный духовный облик своей эры, завершали свою культуру, выявляли ее особенности, — футуризм же, конечно, не имел дела с культурой прошлой эры, а только с теми чисто материальными ее составными частями, которые, выпав из цельного организма, перестали носить на себе его характерные черты.

Этим будет определена быстрая и никому не заметная смерть футуризма; этим определится и то, что он не оставит по себе наследников, да и наследовать-то нечему.

* * *

В революционный период казалось, что русская культура так, как она проявляется в лице своих наиболее ярких и талантливых представителей, бесконечно выше культуры Европы.

Да оно и естественно: во-первых, Россия первая подошла к рубежу, первая должна была напрячь все свои силы, чтобы противопоставить их грядущему напору, связать как-то прошлое с будущим. В этом процессе сказалась вся сила борьбы за существование старой культуры, все стремление уберечь себя от смерти.

Во-вторых, особенно высокая духовная напряженность русской культуры последнего периода объясняется свойством, которое отчасти и ускорило процесс умирания старого мира. Верхи русской интеллигенции, представители наиболее высоких достижений русского духа, могли выполнить эти достижения, потому что почти совершенно оторвались от народной массы. Ни в одной стране не было

такой разницы между культурным уровнем масс населения и культурным уровнем интеллигентской верхушки. Не ведя за собой массы, не считаясь с тем, что медлен и слаб ход культурного развития страны, наши русские «мудрые» могли проходить свой путь с исключительной быстротой, расплачиваясь за эту быстроту тем, что с каждым шагом становились все дальше и дальше от народа, пока, наконец, не стали народу совершенно чужими, говорящими на другом языке.

Но если в результате этого процесса отрывания от народного тела сейчас невольно напрашивается оценка последних годов эры как времени, лишенного творчества, как времени, пресыщенного чужими предыдущими творческими достижениями, способного только к талантливому пересказу, перепеву, углублению, лишенного живой и животворящей искры, — то это, конечно, нисколько не умаляет исторического значения этой эпохи. И не только исторического значения, но и индивидуального таланта всех деятелей той эпохи, индивидуальной воли каждого из них выбиться из заколдованного круга, найти творческий путь.

Странным было бы кого-либо обвинять, стремиться доказывать, что слава отдельных писателей прошлого не заслужена, преувеличена. Прошлое действительно вправе гордиться своими литературными именами. Слава их заслужена, значение их огромно. Без их работы не была бы закончена история прошлой эры.

Больше того, думаю, что мертвенность и творческая пустота времени делали все их напряжения и искания более трудными и мучительными, чем будут искания новых людей, исток которых, — грядущая полноводная жизнь, дающая сама своим полноводием творческий запас человеческому духу.

Но вместе с тем все же несомненно, что последняя страница перевернута, книга захлопнулась. Опыт того времени изжит до конца. Идут варвары творить новую, для прежних

варварскую культуру, — культуру следующей эры в истории человечества.

Исторический процесс привел мир к рубежу двух эр в жизни человечества. Рубеж этот обозначен великой всемирной войной и российской революцией, масштабом своим покрывающей понятие революции. Последний период старой эры был весь проникнут чувством скорого умирания.

Это чувство умирания отобразилось в полной мере в русской литературе, ждущей грядущих гуннов, но связанной идеологически и кровно не с гуннами грядущими, а со старой гибнущей культурой.

Гибнущая культура не могла дать новой творческой волны, и поэтому вся работа последнего поколения русских писателей обречена была быть лишенной подлинного творчества и подлинной веры.

Чисто инстинктивное стремление пережить, сохраниться, спрятать свои светильники от грядущей гибели породило, с одной стороны, стремление к формальному совершенству своих произведений, таким образом консервирующих жизнь, а с другой стороны, напряженные поиски путей к выходу.

Эти поиски, неизбежно лишенные творчества, окрашены печатью крайнего эклектизма, стремлением из бывших творческих достижений вызвать новую творческую искру.

Последний период прежней культуры несомненно был обозначен исключительным обострением и утончением культурных достижений всех предшествующих веков.

Следующий этап в искусстве должен был отобразить умирание, полный распад культуры. Таким отобразителем умирания явился футуризм, лживо приписывающий себе новаторство в искусстве.

Этим завершен окончательно весь цикл.

С этим процессом умирания культуры параллельно развивался процесс общественно-политического умирания старого мира. Распад Великой Русской Империи шел у всех на глазах.

Было бы чрезвычайно ошибочно считать в какой бы то ни было степени большевизм основоположником новой эры.

Большевизм — та катастрофа, которая разрушила окончательно здание старой культуры. Удельный вес его достижений совершенно ничтожен, если он есть. В политическо-общественной области его роль параллельна роли футуризма в искусстве: он — завершение процесса разложения. Он Аттила, под копытами коня которого трава не растет.

После большевизма, конечно, не останется каких-нибудь культурных наследств, — только голая степь, на которой надо заново начинать пахать, вернее, учиться пахать.

И если новый человек столкнется со старыми умными рецептами прошлой эры, с тем, что питало отцов, с тем, что комбинировалось и острилось уходящими, возьмет тот плуг, которым они пахали, то вряд ли он сможет этим плугом работать, вряд ли сможет применить старые рецепты к жизни, — другая она будет.

Но прежде чем говорить о той жизни, которая будет питать новое искусство, замечу, что с этой точки зрения и молитва М. Волошина «за тех и за других», за людей, стоящих по разные стороны фронта, принимает совсем другой характер, чем это кажется А. Крайнему. Старый мир, в лице своих представителей, — белых генералов, идеологов единой и неделимой России, московских колоколов, — в такой же мере стар, как и мир красного большевизма. Только белые еще верят в организованность своего мира, большевизм же учуял его смерть, — думает, что этим стал вне его смерти, а фактически является только моментом крайнего распада старого мира. По обе стороны фронта стояли люди обреченные, одинаково близкие смерти. И все их усилия были одинаково бесплодны, индивидуальные смерти отдельных борцов одинаково неоправданны. Одним словом, — все были представителями умирания, и в этом

отношении значение их невольно вызывает чувство горечи и боли, способной вылиться в искреннюю молитву «за тех и за других» — одинаково обреченных.

Думаю, что идейно погребальный период большевизма окончательно преодолен всеми.

Но, несмотря на это, большевистский опыт еще существует в быте, пройти мимо него нельзя, нельзя почувствовать себя еще освобожденным от большевистского кладбища.

Антон Крайний упрекает молодых в любви изображать «сверхкошмар». И, несмотря на эту любовь, сверхкошмара гораздо больше не у тех, кто создает новую беллетристику, а в книгах, оперирующих с сухими фактами и документами, в «Чека», у Мельгунова, у всех, кто исследует русскую жизнь, стремясь описать ее на основании цифр и абсолютно ничего к ним лишнего не прибавить.

Другими словами, большевистский период создал сверхкошмарный быт, от которого уйти нельзя. На этом основании вся перегруженность страниц новых писателей кровью, мукой, расстрелами является простым следствием того быта, в котором они живут. Оправдать его нельзя, конечно, но преодолеть, приняв как данное, введя в свой, органически с собой связанный мир, — и нужно, и неизбежно. Нужно, потому что, только преодолевая через утверждение его существования, можно найти утерянный облик человека, можно опять утвердить в звере человека. Нужно, потому что победа факта, голого и жестокого, над его объяснением, над его преодолением, — будет полная. Нужно, наконец, потому что из этого кладбища, сразу за пределами стен его начнется новая жизнь. Да и кроме того, — ведь многие, живущие сейчас, — даже дети, — творцы будущей жизни, — имеют настоящую жизнь как свой опыт и, исходя из этого опыта, начнут строить будущее.

Вот на этих-то основаниях можно утверждать, что сверхкошмар, проникший в новую литературу, не только вполне

законен, не только связывает жизнь с искусством, но и имеет свое великое оправдание, как фактическое преодоление сверхкошмара в жизни. Немудрено, конечно, и то, что первые отобразители этого быта ограничиваются его описанием, — данные слишком новы, чтобы их сразу теоретизировать.

Во всяком случае всякое отречение от изображения теперешнего быта в литературе создало бы произведение мертвое, не эстетическое, а эстетствующее.

Часто это законное желание отобразить новый быт достигает размеров гипертрофических. Но ведь такова всегда обратная сторона всякой новой медали, и неожиданного в этом ничего нет.

Ясно все же, что, за исключением этой чрезмерности, современные писатели говорят именно о том, о чем повседневно вынужден думать современный читатель.

Мне вспоминается, как в последний раз мне пришлось видеть Художественный Театр. Было это в годы Гражданской войны. Ставили «Дядю Ваню». Конечно, Чехов не стал хуже и «Дядя Ваня» по-прежнему прекрасен, и по-прежнему прекрасно играли художники, но у многих зрителей, с которыми мне пришлось говорить потом, осталось чувство какого-то недоумения, — будто не того «Дядю Ваню» мы все раньше смотрели, — что-то не то, — что-то или мы утеряли, или, наоборот, Чехов не знал. Вероятно, что и то и другое.

Конечно, мы многое утеряли, но многое нами приобретено, — и несомненно приобретена сила преодолеть ужас нового быта.

На этом основании то, что происходит сейчас с новой литературой, не должно никого путать: она идет по тому руслу, которое указано ей жизнью.

Старые рецепты неприменимы.

Надо сначала наглядеться вволю, наслушаться. И наслушаться всего: и птичьего свиста, и ружейной трескотни,

наглядеться и на солнечный закат, и на кровь и мерзость человеческую, — понять, вместить в себя, не испугаться, сочетать, — ну, а там, пожалуй, и другие рецепты появятся.

А из-за стены большевистского кладбища, на истоптанной Аттилой земле уже начинают обозначаться те, кто должен прийти на смену старым.

Кто же не обречен? Где должна родиться новая жизнь?

Думаю, что ответить на это не так трудно.

Старый пласт выразителей русской культуры умер, погребен большевизмом, — единственное дело, на которое он был способен, будучи сам по существу мертвым.

Новые общественные элементы, разбуженные войной, которую несли на своих плечах, наученные жестоким и горьким опытом русского большевизма, который тоже на их плечах держался, — в конце концов, ни в войне, ни в большевизме сознательного участия не принимали; да и в Гражданской войне были стороною претерпевающей, поэтому учащейся, но не активной и желающей этой Гражданской войны.

Период смерти старого мира ускорил темп роста народного сознания, освободил народ от спячки многих предшествующих веков, указал ему на его значение в историческом процессе.

И новое слово должно родиться в толщах народных. Новое слово должно быть понятным народу в его целом. На этом основании для нас, захвативших еще жизнь старой, оторванной от народа эры, многое покажется чрезмерно примитивным. Отображение нового быта испугает нас своей грубостью, — но нет сомнения, что в этом отчасти будет виновата наша причастность к утонченному умиранию старого, наше воспитание на старых его образцах. А вода живая именно там, в новом, внутренне преодолевающем себя быте, в новом человеке, освобожденном к жизни в последние минуты мировой катастрофы.

Встречи с Блоком
(к пятнадцатилетию со дня смерти)

Тридцать лет тому назад, летом 1906 года, в моей жизни произошло огромное событие, благодаря которому я стала взрослым человеком. За плечами было только 14 лет, но события того времени как-то быстро взрослили нас. Мы пережили японскую войну и революцию, мы были поставлены перед необходимостью спешно разобраться в наших детских представлениях о мире и дать себе ответ, — где мы и с кем мы. И впервые в сознание входило понятие о новом герое, имя которому, — Народ. Единственно, что смущало и мучило, — это необходимость дать ответ на самый важный вопрос: верю ли я в Бога? Есть ли Бог?

И вот, ответ пришел. Пришел с такой трагической неопровержимостью. Я даже и сейчас помню пейзаж этого ответа. Рассвет жаркого летнего дня. Ровное румяное небо. Черные узоры овальных листьев акации. Громкое чириканье воробьев. В комнате плач. Умер мой отец. И мысль простая в голове: «Эта смерть никому не нужна. Она несправедливость. Значит, нет справедливости. А если нет справедливости, то нет и справедливого Бога. Если же нет справедливого Бога, то, значит, и вообще Бога нет».

Никаких сомнений, никаких доводов против такого вывода. Так на рассвете жаркого дня, еще до появления солнца, вместе со смертью моего отца в моей детской душе умерла вера в Бога.

Бедный мир, в котором нет Бога, в котором царствует смерть, бедные люди, бедный народ, бедная революция, которая тоже умирает, бедная я, маленькая девочка, вдруг ставшая взрослой, потому что узнала тайну взрослых, — что Бога нет, и что в мире есть горе, зло и несправедливость.

Так кончилось детство.

Осенью я впервые уехала надолго от Черного моря, от юга, солнца, ветра, свободы. Первая зима в Петербурге. Небольшая квартира в Басковом переулке. Гимназия. Утром

начинаем учиться при электрическом свете, и на последних уроках тоже лампы горят. На улицах рыжий туман. Падает рыжий снег. Никогда, никогда нет солнца. Родные служат панихиды, ходят в трауре. В панихидах какая-то примиренность, а я мириться не хочу, да и не с кем мириться, потому что Его нет. Если можно было еще сомневаться и колебаться дома, то тут-то, в этом рыжем тумане, в этой осени проклятой, никаких сомнений нет. Крышка неба совсем надвинулась на этот город-гроб, а за ней — пустота.

Я ненавидела Петербург. Мне было трудно заставить себя учиться. Вместо гимназии я отправлялась бродить далеко через Петровский парк, на свалку, мимо голубиного стрельбища. Самая острая тоска за всю жизнь была именно тогда. И душе хотелось подвига, гибели, — за всю неправду мира, чтобы не было этого рыжего тумана и бессмыслицы.

Я начала читать Достоевского, о том, как в осенний день, на грязной улице, среди луж и слякоти, бьют лошадь поленом по большим беспомощным и кротким глазам. От одноклассницы я узнала о жизни петербургской улицы, о Первой Рождественской. Ее мать была швейкой, отчим носильщиком с Николаевского вокзала. Кто был ее отец, она не знала, студент какой-то. Квартира их была на втором дворе, на лестнице пахло кошками, окна выходили в желтую стену, в комнате были дешевые обои с цветочками. Тоска, тоска в мире, в котором нет Бога.

В классе моем увлекались Андреевым, Комиссаржевской, Метерлинком.

Я мечтала встретить настоящих революционеров, которые готовы каждый день пожертвовать своей жизнью за народ. Мне случалось встречаться с какими-то маленькими партийными студентами, но они не жертвовали жизнью, а рассуждали о прибавочной стоимости, о капитале, об аграрном вопросе. Это сильно разочаровывало. Я не могла понять, отчего политическая экономия вещь более увлекательная, чем счета с базара, которые приносит моей матери кухарка Аннушка.

Белые ночи оказались еще более жестокими, чем черные дни. Я бродила часами, учиться было почти невозможно, писала стихи, места себе не находила. Смысла не было не только в моей жизни, — во всем мире безнадежно утрачивался смысл.

Осенью опять рыжий туман.

Родные решили выбить меня из колеи патетической тоски и патетической веры в бессмыслицу.

Была у меня двоюродная сестра, много старше меня. Девушка положительная, веселая, умная. Она кончала медицинский институт, имела социал-демократические симпатии и совершенно не сочувствовала моим бредням. Я была для нее «декаденткой». Все просто: Бога нет, но зато совершенно точно доказано, и даже в микроскоп можно увидеть, — что есть микроб. В мире много зла, — но Маркс тоже совершенно точно сказал, как произойдет прыжок из царства необходимости в царство свободы, и т. д. По доброте душевной она решила заняться мной. И заняться не в своем, а в моем собственном духе.

Однажды она повела меня на литературный вечер какого-то захудалого реального училища, куда-то в Измайловские роты.

В каждой столице есть своя провинция, — так вот и тут была своя Измайловскоротная, реального училища провинция. В рекреационном зале много молодого народу. На эстраде певицы поют, виолончелисты и скрипачи играют, им аплодируют. Читают стихи поэты-декаденты. Их довольно много. Один высокий, без подбородка, с огромным носом и с прямыми прядями длинных волос, в длиннополом сюртуке, читает весело и шепеляво, — каша во рту, говорят — Городецкий. Другой — Дмитрий Цензор, лицо не запомнилось. Еще какие-то, — не помню. И еще один. Очень прямой, немного надменный какой-то, голос медленный, усталый, металлический. Темно-медные волосы, лицо не современное, а будто со средневекового надгробного памятника, из камня высеченное, красивое и неподвижное.

Читает стихи, — очевидно, новые, — «По вечерам, над ресторанами...», «Незнакомка». И еще читает...

В моей душе, — огромное внимание. Человек с таким далеким, безразличным, красивым лицом, — это совсем не то, что другие. Надо смотреть, смотреть. Надо понять. Передо мной что-то небывалое, головой выше всего, что я знаю, что-то отмеченное. В стихах много тоски, безнадежности, много голосов страшного Петербурга, рыжий туман, городское удушье. Они не вне меня, они поют во мне, они как бы мои стихи. Я уже знаю, что он владеет тайной, около которой я брожу, с которой почти уже сталкивалась столько раз во время своих скитаний по островам. Душа становится серьезной и напряженной.

Спрашиваю двоюродную сестру: «Посмотри в программе: кто это?»

Отвечает: «Александр Блок».

В классе мне достали книжечку. На первой странице картинка — молодой поэт вырывается на какие-то просторы. Стихи непонятные, но пронзительные, — от них никуда мне не уйти. «Убей меня, как я убил когда-то близких мне. Я все забыл, что я любил, я сердце вьюгам подарил...» Я не понимаю, не понимаю, но он знает мою тайну. Я читаю все, что есть у этого молодого поэта. Дома окончательно выяснено: я — декадентка. Я действительно в каком-то небывалом мире. Сама пишу, пишу о тоске, о Петербурге, о подвиге, о народе, о гибели, о тоске, о тоске, и о восторге.

Наконец, все прочитано, многое запомнилось наизусть, навсегда. Знаю, что он мог бы мне сказать какое-то почти заклинание, чтобы справиться с моей тоской. Надо с ним поговорить. Узнаю адрес: Галерная, 41. Иду. Дома не застала. Иду второй раз. Нету.

На третий день, заложив руки в карманы, распустив уши своей финской шапки, иду по Невскому. Не застану, — дождусь.

Опять дома нет. Ну, что ж, решено, буду ждать. Некоторые подробности квартиры удивляют. В маленькой комнате отчего-то огромный портрет Менделеева. Что он, химик, что ли?

В кабинете вещей немного, но все большие вещи. Порядок образцовый. На письменном столе почти ничего не стоит.

Жду долго. Наконец, звонок. Разговор в передней. Входит Блок. Он в черной широкой блузе с отложным воротником, совсем такой, как на известном портрете, единственном хорошем из всех изданных. Очень тихий, очень застенчивый.

Я не знаю, с чего начать. Он ждет, не спрашивает, зачем я пришла. Мне мучительно стыдно, — кажется, всего стыднее, что в конце концов я еще девчонка, и он может принять меня не всерьез. Мне скоро будет пятнадцать лет, а он уже взрослый, — ему, наверное, лет двадцать пять.

Наконец, собираюсь с духом, говорю все сразу. Петербурга не люблю, рыжий туман ненавижу, не могу справиться с этой осенью, знаю, что в мире тоска, брожу по островам часами, и почти наверное знаю, что Бога нет. Все одним махом выкладываю. Он спрашивает, отчего я именно к нему пришла. Говорю о его стихах, о том, как они просто в мою кровь вошли, о том, что мне кажется, что он у ключа тайны, — прошу помочь.

Он внимателен, как-то почтителен и серьезен, он все понимает, совсем не поучает и, кажется, не замечает, что я не взрослая.

Мы долго говорим. За окном уже темно. Вырисовываются окна других квартир. Он не зажигает света. Мне хорошо, я дома, хотя многого не могу понять. Я чувствую, что около меня большой человек, что он мучается больше, чем я, что ему еще тоскливее, что бессмыслица не убита, не уничтожена. Меня поражает его особая внимательность, какая-то нежная бережность. Мне большого человека ужасно жалко. Я начинаю его осторожно утешать, утешая и себя.

Странное чувство. Уходя с Галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюбленность. На сердце скорее материнская встревоженность и забота. А наряду с этим сердцу легко и радостно. Хорошо, когда в мире есть

такая большая тоска, большая жизнь, большое внимание, большая, обнаженная, зрячая душа.

Через неделю я получаю письмо, конверт необычайный, ярко-синий. Почерк твердый, не очень крупный, но широкий, щедрый, широко расставлены строчки. В письме есть стихи: «Когда вы стоите передо мной... Все же я смею думать, что вам только пятнадцать лет». Письмо говорит о том, что они — умирающие, что ему кажется, — я еще не с ними, что я могу еще найти какой-то выход, в природе, в соприкосновении с народом. «Если не поздно, то бегите от нас, умирающих...» Письмо из Ревеля, — уехал гостить к матери.

Не знаю отчего, — я негодую. Бежать, — хорошо же. Рву письмо, и синий конверт рву. Кончено. Убежала. Так и знайте, Александр Александрович, человек, все понимающий, понимающий, что значит бродить без цели по окраинам Петербурга, и что значит видеть мир, в котором нет Бога.

Вы умираете, а я буду, буду, буду бороться со смертью, со злом, и за вас буду бороться, потому что у меня к вам жалость, потому что вы вошли в сердце и не выйдете из него никогда.

Это была первая встреча с Блоком, самым удивительным моим современником, — не символистом, нет, — но символом самой удивительной эпохи в жизни моей удивительной страны.

* * *

Петербург меня победил, конечно. Тоска не так сильна. Годы прошли.

В 1910 году я вышла замуж. Мой муж из петербургской семьи, друг поэтов, декадент по самому своему существу, но социал-демократ, большевик. Семья профессорская, в ней культ памяти Соловьева, милые житейские анекдоты о нем, — как он предлагал дать полотерам три рубля, чтобы

они сразу ушли, как он падал в обморок от вида раков, как он писал стихи, поправлял ошибки в переводах с латыни моего мужа, тогда еще гимназиста.

Ритм нашей жизни нелеп. Встаем около трех дня, ложимся на рассвете. Каждый вечер мы с мужем бываем в петербургском мире. Или у Вячеслава Иванова на Башне, куда нельзя приехать раньше 12 часов ночи, или в Цехе поэтов, или у Городецких и т. д.

Непередаваем этот воздух 1910 года. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что культурная, литературная, мыслящая Россия была совершенно готова к войне и революции. В этот период смешалось все. Апатия, уныние, упадочничество, — и чаяние новых катастроф и сдвигов. Мы жили среди огромной страны, словно на каком-то необитаемом острове. Россия не знала грамоту, — в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура — цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую литературу своею, знали философию и богословие, поэзию и историю всего мира, в этом смысле были гражданами вселенной, хранителями великого культурного музея человечества. Это был Рим времен упадка. Мы не жили, мы созерцали все самое утонченное, что было в жизни, мы не боялись никаких слов, мы были в чем-то до наглости откровенны, в области духа циничны и нецеломудренны, в области жизни вялы и бездейственны. В известном смысле мы были, конечно, революция до революции, — так глубоко, беспощадно и гибельно перекапывалась почва старой традиции, такие смелые мосты мысли бросались в будущее. И вместе с тем эта глубина и смелость сочеталась с неизбывным тлением, с духом умирания, призрачности, эфемерности. Мы были последним актом трагедии — разрыва народа и интеллигенции. За нами простиралась всероссийская снежная пустыня, скованная страна, не знающая ни наших восторгов, ни наших мук, не заражающая нас своими восторгами и муками.

Я помню одно из первых наших посещений Башни Вячеслава Иванова. Вся Россия спит. Полночь. В столовой много народа. Наверное, нет ни одного обывателя, человека вообще, так себе человека. Мы не успели еще со всеми поздороваться, а уже Мережковский кричит моему мужу:

— С кем вы, — с Христом или с Антихристом?

Спор продолжается. Я узнаю, что Христос и революция как-то неразрывно связаны, что революция, — это раскрытие третьего Завета. Я слышу бесконечный поток каких-то последних, серьезнейших слов. Передо мной как бы духовная голизна, все наружу, все как-то бесстыдно.

Потом Кузмин поет под собственный аккомпанемент на органе духовные стихи. Потом разговор о греческих трагедиях, об «орхестре», о Дионисе, о православной Церкви.

На рассвете подымаемся на крышу, это тоже в порядке времяпровождения на Башне. Внизу Таврический сад и купол Государственной думы. Сонный, серый город.

Утром приносят новый самовар, едят яичницу. Пора домой. По сонным улицам мелкой рысцой бежит извозчичья лошадь. На душе мутно. Какое-то пьянство без вина, пища, которая не насыщает. Опять тоска.

И странно, — вот все были за революцию, говорили самые ответственные слова. А мне еще больше, чем перед тем, обидно за нее. Ведь никто, никто за нее не умрет. Мало того, если узнают о том, что за нее умирают, как-то и это все расценят, одобрят или не одобрят, поймут в высшем смысле, прокричат всю ночь — до утренней яичницы — и совсем не поймут, что умирать за революцию — это значит чувствовать настоящую веревку на шее, вот таким же серым и сонным утром навсегда уйти, физически, реально принять смерть. Мне жалко революционеров, потому что они умирают, а мы можем так умно и возвышенно говорить о их смерти.

И еще мне жалко, — не Бога, нет, Его нету. Мне жалко Христа. Он тоже умирал, у Него был кровавый пот, Его заушали, а мы можем об этом громко говорить, нет у нас ни

одного запретного слова. И если понятна Его смерть за разбойников, блудниц и мытарей, то как-то непонятна, — за нас, походя касающихся Его язв и не опаляющихся Его кровью.

Постепенно происходит деление. Христос, еще не узнанный, становится своим. Черта деления все углубляется. Петербург, Башня Вячеслава, культура даже, туман, город, реакция, — одно. А другое, — огромный, мудрый, молчащий и целомудренный народ, умирающая революция, отчего-то Блок, и еще, — еще Христос. Я даже не думаю, был ли Он Богом или нет. И, может быть, не хочу, чтобы Он был Богом, потому что Бог попустил смерть и несправедливость, а Христос — это даже как будто самая страшная жертва Бога. Он страдает, а Тот заставляет страдать. Нет, Христос, — это наше... Чье наше? Разве я там, где Он? Разве я не среди безответственных слов, которые воспринимаются постепенно как кощунство, как оскорбление, как смертельный яд? Надо бежать, освобождаться. Но это не так-то легко. Жизнь идет точною колеею, по башенным сборищам, а потом по цехам, по Бродячим Собакам.

Цех поэтов только что созидался. В нем было по-школьному серьезно, чуточку скучновато и манерно. Стихи были разные. Начинали входить в славу Гумилев и Ахматова. Он рыскал вне русской равнины, в чужих экзотических странах, она не выходила за порог душной, заставленной безделушками комнаты. Ни с ним, ни с ней не по пути.

А гроза приближалась. Россия была немая и мертвая. Петербург, оторванный от нее, — как бы оторванный от берега, безумным кораблем мчался в туманы и в гибель. Он умирал от отсутствия подлинности, от отсутствия возможности просто говорить, просто жить.

Никакой вообще революции и никаких революционеров в природе не оказалось. Если они и были, то Азеф раз навсегда заставил забыть о них, заслонил собою все.

Была только черная петербургская ночь. Удушье. Тоска не в ожидании рассвета, а тоска от убеждения, что никакого рассвета никогда больше не будет.

Таков фон, на котором происходят редкие встречи с Блоком. Вся их серия, — второй период нашего знакомства.

Описывая этот фон, я чувствую, что теми же словами могла бы передать и атмосферу стихов Блока того периода, — до того в этом смысле он внушаем, до того он медиумичен, как бы конденсатор всего нашего чувства гибели. И в этом его гениальность, конечно: он как бы труба времени, — эпоха говорит его голосом. Потом я это понимание Блоковской поэзии углубила и осложнила. Но об этом дальше.

* * *

Первая моя встреча с Блоком произошла в декабре 1910 года, на собрании, посвященном десятилетию со дня смерти Владимира Соловьева. Происходило оно в Тенишевском училище. Выступали Вячеслав Иванов, Мережковский, какие-то артистки, еще кто-то и Блок. На эстраде он был высокомерен, говорил о непонимании толпы, подчеркивал свое избранничество и одиночество. Сюртук застегнут, голова высоко поднята, лицо красиво, трагично и неподвижно.

В перерыве муж ушел курить. Скоро вернулся, чтобы звать меня знакомиться с Блоками, которых он хорошо знал. Я решительно отказалась. Он был удивлен, начал настаивать. Но я еще раз заявила, что знакомиться не хочу, — и он ушел. Я забилась в глубину своего ряда и успокоилась.

Вскоре муж вернулся, но не один, а с высокой, полной и, как мне сразу показалось, насмешливой дамой, — и с Блоком. Я не могла прятаться больше, — надо было знакомиться. Дама улыбалась. Блок протягивал руку.

Я сразу поняла, что он меня узнал. Действительно, слышу, он говорит:

— Мы с вами встречались.

И тогда, чувствуя, что погибаю, отвечаю:

— Не надо, не надо.

Опять знакомая, понимающая улыбка. Он спрашивает, продолжаю ли я бродить, как я справилась с Петербургом. Мне тоскливо. Отвечаю невпопад. Любовь Дмитриевна приглашает нас обедать. Уславливаемся о дне. Слава Богу, разговор кончается. Возобновляется заседание.

Потом мы у них обедали. По его дневнику видно, что он ждал этого обеда с чувством тяжести. Я тоже. На мое счастье, там был еще, кроме нас, очень болтливый и толстый Аничков с женой. Говорили об Анатоле Франсе. Я внимательно разглядела Любовь Дмитриевну. Поразило в ней полное отсутствие трагедии. Дама с хорошим вкусом, хорошего прочного быта. Любит настоящие кружева и старинный фарфор. Очень размеренна и уравновешенна. Слегка скучновата, и везде уместна. После обеда он показывал мне снимки Нормандии и Бретани, где он был летом, говорил о Наугейме, связанном с особыми мистическими переживаниями, и спрашивал о моем прежнем. Еще говорили о родных пейзажах, вне которых нельзя понять до конца человека. Я говорила, что мое — это зимнее, бурное, почти черное море, песчаные перекаты высоких пустынных дюн, серебряно-сизый камыш и крики бакланов. Он рассказывал, что по семейным данным фамилия Блок немецкого происхождения, но, попав в Голландию, он понял, что это ошибка, что его предки именно оттуда, — до того ему там все показалось родным и кровным. Потом говорили о детстве и о всяческих детских склонностях к страшному и исключительному. Он рассказывал, как обдумывал в детстве пьесу. Герой должен был покончить с собой. И он никак не мог остановиться на способе самоубийства. Наконец решил: герой садится на лампу и сгорает. Я в ответ рассказала о чудовище, существовавшем в моем детстве. Звали его Гумистерлап. Он по ночам вкатывался в мою комнату, круглый и мохнатый, и исчезал за занавеской окна.

Между нами все мосты сразу были выстроены. Но все же встретились мы как знакомые, как приличные люди, за приличным обедом, в приличном обществе. Не то, что первый раз, когда я с улицы, из петербургского тумана, ворвалась к нему. Теперь я была жена его доброго знакомого. Мосты были выстроены, прочные мосты. Блок мог прийти к нам в гости, у нас была масса общих друзей, у которых мы тоже могли встретиться. Не хватало только какого-то одного и единственно нужного моста. Я не могла непосредственно к нему обратиться, через и мимо всего, что у нас оказалось общим.

Все помнят Блоковские стихи о мертвеце, который ходит среди живых, бывает на службе, на балах, ведет беседы с живыми. И только изредка встречается с такой же мертвой, как он сам. Стихи передают их разговор, быстрый, полный намеков о ином знании, о иной жизни. В каком-то смысле наши встречи с ним очень точно напоминали эти стихи. С тою только разницей, что все было как бы негативом этих стихов. Среди мертвого и призрачного Петербургского мира, — среди мертвых служб и балов, в гуще мертвых разговоров обо всем и ни о чем, — мы встречались в тени какого-то заговора. Мне минутами казалось, что он единственный живой, и я, — о, я тоже живая. И намеками, понимающими полуулыбками, — мы давали друг другу весть, — это все так себе, это все немного нарочно, — а есть и настоящее и мы о нем крепко знаем.

Так кончился 1910 год. Так прошли 11 и 12. За это время мы встречались довольно часто, но всегда на людях, немного заговорщиками.

На Башне Блок бывал редко. Он там, как и везде, впрочем, много молчал. Помню, как первый раз читала стихи Анна Ахматова. Вячеслав Иванов предложил устроить суд над ее стихами. Он хотел, чтобы Блок был прокурором, а он, Вячеслав, адвокатом. Блок отказался. Тогда он предложил Блоку защищать ее, он же будет обвинять. Блок опять

отказался. Тогда уж об одном, кратко выраженном мнении стал он просить Блока.

Блок покраснел, — он удивительно умел краснеть от смущения, — серьезно посмотрел вокруг и сказал:

— Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом.

Все промолчали. Потом начал читать очередной поэт.

Помню Блока у нас, на квартире моей матери, на Малой Московской. Народу много. Мать показывает Любовь Дмитриевне старинные кружева, которых у нее была целая коллекция. Идет общий гул. За ужином какие-то речи. Я доказываю Блоку, что все хорошо, что все идет так, как надо. И чувствую, что от логики моих слов с каждой минутой растет и ширится какая-то только что еле зримая трещинка в моей жизни.

Помню рассказ Блока о Москве. О встрече с Брюсовым. Как тот назначил ему свидание в редакции, кажется, «Русской мысли», беседовали корректно и спокойно, а потом Брюсов стал извиняться.

— Простите, что к себе не зову, у меня дома неприятности, — ребенок умер.

Ни в каких воспоминаниях, вышедших за эти годы, я не встречала сведений о смерти ребенка у Брюсова. Так что почти колеблюсь, — был ли этот факт. Однако рассказ Блока, который помню отчетливо, убеждает, что был. Я даже вспоминаю, что особенно поняла всю горечь Блоковского рассказа в связи с тем, что у него незадолго до этого ребенок умер.

Помню еще, как мы в компании Пяста, Нарбута и Моравской в ресторане «Вена» выбирали короля поэтов. Об этом есть в воспоминаниях Пяста.

Одним словом, этот период, не дав ничего существенного в наших отношениях, как-то житейски приблизил нас, — этого даже, пожалуй, слишком много, скорее просто познакомил. То встреча у Аничковых, где подавали какой-то особенный салат из грецких орехов и омаров и где тогда

же подавали приехавшего из Москвы Андрея Белого, только что женившегося. Его жена показывала, как она умеет делать мост, а Анна Ахматова в ответ на это как-то по-змеиному выворачивала руки.

Наконец, этот период завершился приблизительно весной 12 года. В это время был один веселый и глупый вечер у Городецкого. Он чествовал французских профессоров, приехавших открывать французский институт в Петербурге, — Луи Рео и Поль Бойе. Народу было много, все безалаберно. Только что кто-то играл на рояле, и крышка осталась открытой. Городецкий угощал всех крымскими мелкими яблоками, разнося их на огромном деревянном, кустарном подносе.

— Кушайте, пожалуйста.

Ни тарелок, ни салфеток, ни ножей.

Мы с Блоком сидели за роялем и оттуда видели, как французы взяли по яблоку и не знают, что с ними делать. Потом решились, стали есть, доели до сердцевины, — и не знают, куда ее девать. Оглянулись, — видят, — рояль раскрыт. Заложили руки за спину, подошли спиной к роялю и неприметно бросили яблочные сердцевины.

У Блока припадок смеха. Он вскочил, подбежал к Любовь Дмитриевне, подвел ее к французам, начал заново знакомить.

— La jeune cosaque Liouba Block[3] — и еще какую-то ерунду.

И, наконец, еще одна встреча. Тоже на людях. В какую-то случайную минуту, неожиданно для себя, говорю ему то, чего еще и себе не смела сказать.

— Александр Александрович, я решила уезжать отсюда: к земле хочу. Тут умирать надо, а я еще бороться буду.

Он серьезно, заговорщицки отвечает:

— Да, да, пора. Потом уж не сможете. Надо спешить.

---

[3] Юная казачка Люба Блок (*фр.*).

Так напутствовал меня в жизнь этот заложник в стане, где все становилось мертвенным шелестом.

Вскоре он заперся у себя. Это с ним часто бывало. Снимал телефонную трубку, писем не читал, никого к себе не принимал. Бродил только по окраинам. Некоторые говорили — пьет. Но мне казалось, что не пьет, а просто молчит, тоскует и ждет неизбежного. Мне было мучительно знать, что вот сейчас он у себя взаперти, и ничем помочь нельзя.

Я действительно решила бежать окончательно весной вместе с обычным отъездом из Петербурга. Не очень демонстративно, без всяких громких слов и истерик, никого не обижая.

Куда бежать? Не в народ. Народ было очень туманно. А к земле.

Сначала просто нормальное лето на юге у Черного моря. Но осенью вместе со всеми не возвращаюсь в Петербург. Среди близких это вызвало толки, получила несколько недоуменных писем. Обычно никто из Петербурга не вырывался к земле.

Итак, тяга к почве. Осенью на Черном море огромные, свободные бури. На лиманах можно охотиться на уток. Компания у меня, — штукатур Леонтий, слесарь Шлигельмильх, банщик Винтура. Скитаемся в высоких сапогах по плавням. Вечером по морскому берегу домой. В ушах вой ветра, свободно, легко. Петербург провалился. Долой культуру, долой рыжий туман, Башню, философию. Есть там только один заложник. Человек, — символ страшного мира, точка приложения всей муки его, единственная правда о нем, — а может быть и единственное, мукой купленное, оправдание его, — Александр Блок.

Сейчас ни писать ему, ни давать о себе никаких вестей.

Но придет время, — встретимся.

* * *

Так проходит зима и лето 12 и 13 года. Осенью по всяким семейным соображениям надо ехать на север, но в Петербург не хочу. Если уж это неизбежно, буду жить зимой

в Москве, а ранней весной назад, к земле. Кстати, в Москве я никого почти не знаю, кроме каких-то старых знакомых моей матери.

Первое время Москва действительно не отличается от южной жизни. В квартире около Собачьей площадки я одна. Сдала комнату двум студентам-землякам. Слышу утром за стеной:

— Плохо, дорогой, понимаешь.

Это мой южанин не справляется с севером. Потом он долго рассуждает, видимо, следя по голым прутьям деревьев:

— Норд-вест, нет, даже норд-норд-вест.

Он знает море и привык считаться с направлением ветра.

В моей жизни затишье, пересадка. Поезда надо ждать неопределенно долго. Жду.

Месяца через полтора после приезда случайно встречаю на улице первую петербургскую знакомую, Софью Исааковну Толстую. Она с мужем тоже переехала в Москву, живут близко от меня на Зубовском бульваре. Зовет к себе. В первый же вечер все петербургское, отвергнутое, сразу нахлынуло. Правда, в каком-то ином, московском виде. Я сначала стойко держусь за свой принципиальный провинциализм, потом медленно начинаю сдаваться.

Вот и первая общая поездка к Вячеславу Иванову. Еду я в боевом настроении. В конце концов, все скажу, — объявлю, что я враг, — и все тут. Пусть будет борьба.

У него на Смоленском все как-то тише и мельче, чем было на Башне, он сам изменился. Лунное не так заметно, а немецкий профессор стал виднее. Не так сияющ ореол волос, а медвежьи глазки будто острее. Народу как всегда много. Толкуют о Григории Нисском, о Пикассо, еще о чем-то. Я чувствую потребность борьбы.

Иванов любопытен почти по-женски. Он заинтересован, отчего я пропадала, отчего и сейчас я настороже. Ведет к себе в кабинет. Вот, бой начинается.

Я не скрываю, наоборот, сама первая начинаю. О словоблудии, о предании самого главного, о пустой жизни. О том, что я с землей, с простыми русскими людьми, с русским народом, что я отвергаю их культуру, что они оторваны, что народу нет дела до их изысканных и неживых душ, даже о том, что они ответят за гибель Блока.

Вячеслав Иванов очень внимателен. Он все понимает, он со всем соглашается. Более того, — я чувствую в его тоне какую-то попытку отпустить, благословить на этот путь. Но ни отпуска не прошу, ни благословения не хочу. Разговор обрывается.

Вскоре опять, 26 ноября, мы вместе с Толстыми у Вячеслава на Смоленском.

Народу мало против обыкновения. Какой-то неведомый поэт, по имени Валерьян Валерьянович (потом узнала, — Бородаевский), — с длинной, узкой, черной бородой, только что приехал из Германии и рассказывает о тоже мне неведомом Рудольфе Штейнере.

Хозяин слушает с таким же благожелательным любопытством, как слушает вообще все. Для него рассказ в основных чертах не нов, поэтому он расспрашивает больше о подробностях, о том, как там Белый, Волошин и т. д. Оттого, что о главном мало речи, я не могу окончательно уловить, в чем дело.

А Толстой уже увлечен. Он вообще всегда жаждет авторитетов, правда, краткосрочных, — но на один вечер и Штейнера готов за авторитет почесть. Особенно оттого, что в рассказе о нем есть элемент таинственный. Он как ребенок сказки, — любит таинственное и мистифицирующее.

У меня, наоборот, какой-то неосознанный, но острый протест. Я возражаю, я спорю, не зная даже, против чего я спорю. Но странно, сейчас я понимаю, что тогда основная интуиция была верна. Я спорила против обожествления и абсолютизации человеческой природной силы. Многого можно добиться, пестуя и выращивая свою силу, но чем

большего человек добьется, тем окончательнее будет его невозможность получить самое главное. Тут человек человеку, — крепость, — и нет мостов между ними.

И в душе я знаю уже, что надо противопоставить такому непомерному культу человеческой духовной силы. Я знаю даже, как с ней бороться. Надо все крепости в себе разрушить, — чтобы была «се раба Господня» человеческая душа.

И нападает на меня не заграничный антропософ, а Толстой. Все это у меня коренной нигилизм, лишь бы не было авторитетов, ненависть ко всему, что не под общий рост.

И вот в нелепом и каком-то приблизительном споре я вдруг чувствую, что это все не случайно, что борьба у меня идет каким-то образом за Блока, что тут для него нечто более страшное, чем все туманы и метели его страшного пути, потому что враг из безличного становится личным.

Поздно вечером уходим. Продолжаем говорить на улице. Сначала это спор. Потом просто какая-то моя декларация о Блоке. Мы уже не домой идем, а скитаемся по снежным сугробам на незнакомых пустых улицах.

Толстой слушает и быстро сдается. А я уже не помню, что он меня слушает, — я просто говорю громко, в снег, в ночь, вещи для меня пронзительные и решающие.

Вот что я знала в ту ночь о Блоке.

У моей России, у моего народа родился такой ребенок. Самый на нее похожий сын, такой же мучительный, как она, такой же голосистый, такой же любимый.

Ну, мать безумна, — мы все ее безумьем больны. Но сына этого она нам на руки кинула, и мы должны его спасти, — мы за него отвечаем. Даже не какие-то мы вообще, а вот, в частности, я. И я просто утверждаю, что люблю Блока, самого страшного и удивительного сына моей страны, что за него отвечаю и никаким заморским мистификаторам в руки не дам. А что мистификаторы свои руки к нему тянут, — это я уже чувствую, хотя у меня никаких

данных и нет. Как его в обиду не дать, — не знаю, да и знать не хочу, потому что не своей же силой можно защитить человека. Важно только, что я вольно и свободно свою душу даю на его защиту.

Я, может быть, сейчас не очень точно вспоминаю эти мысли. Но одно точно, — была я тогда, как на крыльях, и в душе был огромный и всесильный восторг.

Потом Толстой ушел. Я продолжала скитаться по сонной Москве. Снег падал тихими мягкими хлопьями. И вместе с этим снегом, вместе с черным и мутным небом, я впервые молилась о моей стране, которая казалась мне живой, безумной, оставленной и голосящей в бескрайних полях. Я молилась о Блоке, — уже заблудившемся, уже потерявшем след.

На рассвете, крылатая, радостная и какая-то всесильная я вернулась домой.

1-го декабря, через четыре дня после этой ночи, я неожиданно получила письмо в ярко-синем конверте. Как всегда в письмах Блока, ни объяснений, почему он пишет, ни обращений, — «глубокоуважаемая», или «милая», или «дорогая». Просто имя и отчество, и потом как бы отрывок из какого-то продолжающегося разговора. Я наизусть не помню всего письма, но отдельные фразы остались в памяти точно. Он писал:

«...Думайте сейчас обо мне, как и я о вас думаю... Силы уходят на самую трудную часть жизни, — на середину ее... Я перед вами не лгу... Я благодарен вам, целую ваши руки...»

Может быть, сейчас мне трудно объяснить, отчего это короткое и не очень отчетливое письмо совершенно потрясло меня. Главным образом, пожалуй, потому что оно было ответом не на письмо, которого я не писала, а на мои ночные восторженные мысли, на мою молитву о нем. Я получила как бы некое мистическое утверждение в должности.

Я ему не ответила. Да и что отвечать письменно, когда он и так должен знать и чувствовать мой ответ? А чувствовать было что, потому что вся дальнейшая зима прошла

в мыслях о его пути, в предвидении чего-то гибельного и страшного, к чему он шел. Да и не только он, — все уже смешивалось в общем вихре. Мне казалось, что стоит голосу какому-нибудь крикнуть, — и России настанет конец.

Это была как бы третья встреча моя с Блоком.

Четвертая серия встреч стоит уже под знаком войны.

* * *

Опять юг.

Весной 14 года, во время бури, на Азовском море погрузились на дно две песчаные косы с рыбачьими поселками. В это время у нас на Черноморском побережье земля стонала. Мне рассказывали охотники, как они от этих стонов бежали с лиманов и до поздней ночи провожали друг друга, боясь остаться наедине со страждущей землею. А летом было затмение солнца. От него осталось только пепельно-серебристое кольцо. Запылали небывалые зори, — не только на востоке и на западе, — весь горизонт загорелся зарею. Выступили на пепельно-зеленом небе бледные звезды. Скот во дворе затревожился, — коровы замычали, собаки залаяли, стал кричать петух, курицы забрались на насесты спать. Пеплом было овеяно все.

Потом события, о которых все знают, — мобилизация, война.

Надо признаться, душа приняла войну. Это был не вопрос о победе над немцами, немцы были почти ни при чем. Речь шла о народе, который вдруг стал единой живой личностью, который с этой войны в каком-то смысле начинал свою историю. Мы слишком долго готовились к отплытию, слишком истомились ожиданием, чтобы не радоваться наступившим срокам.

Брат ночью пришел ко мне в комнату, чтобы сообщить о своем решении, — идет добровольцем. Мобилизовывали рабочих. Двоюродные сестры спешили в Петербург поступать на курсы сестер милосердия.

Первое время я не знала, что делать с собой, сестрой милосердия не хотела быть, — казалось, что надо что-то другое найти и осуществить. Странные решения приходили в голову. Основное, — как можно дольше не возвращаться в город, как можно дольше пробыть одной, — чтобы все обдумать, чтобы по-настоящему все понять.

Осенью, оставшись одна, отрезанная тысячами верст от всего мира, я особенно чувствую, какие события совершаются. На душе спокойно и вместе с тем все полно не только предчувствием, — все напряжено.

По ночам, когда в доме тихо, а за окнами плачут равноденственные бури, я начинаю медленно приближаться к новому открытию. Лично мне оно дается мучительно. Я вдруг начинаю видеть, что вся наша неразбериха, наша мука, потерянность, нелепость, — война, черные годы перед ней, — все это, — многоголосый зов, многорукий стук в закрытые двери. И ждет Россия Христа. И я вижу Его совсем рядом, — на полях сражений, у снежных русских могил, в поездах, наполненных заунывными песнями людей в серых шинелях, на ветряных проспектах суровой столицы, в моей отстоящей от мира на тысячу верст дыре.

Это называется религиозный смысл войны. Не войны только. Религиозный смысл и нашей довоенной муки, и нашей тысячелетней трагической истории, и не оправдываемой иначе моей маленькой жизни, и Блоковского пожара, — все вдруг становится смысловым, все связывается в один узел.

И вот, босыми ногами по каменному полу, ночью, иду Ему навстречу. Пора уже, мы заждались. Больше ждать нет сил.

Наши жизни, — они вериги во имя Его. Вся русская история, — единый крест, поднятый народом во имя Его. И бремя Его легко, и иго Его сладко.

Так проходит эта мучительная осень. Трудно сказать, что дала она мне, — но после нее все стало тверже и яснее. И особенно твердо сознание, что наступили последние

сроки. Война, — это преддверие конца. Прислушаться, присмотреться, уже вестники гибели и преображения бредут средь нас.

Брат мой воевал добровольцем где-то на Бзуре. Мать не хотела оставаться одна в Петербурге, — мне пришлось ехать к ней.

Как будто после долгого срока приближалась я к страшному городу. Поезд несся по финским болотам среди чахлой осины и облетевших берез. Небо темно. Впереди черная завеса копоти и дыма. Пригород. Казачьи казармы. Николаевский вокзал.

Еду и думаю. К Блоку пока ни звонить не буду, не напишу и уж, конечно, не пойду. Еще не время. И вообще сейчас надо по путям в одиночку идти.

Программа зимы, — учиться, жить в норе, со старыми знакомыми по возможности не встречаться.

Приехали к завтраку. Родственные разговоры, расспросы. День тихий и серый. Некоторая неразбериха после дороги.

А в три часа дня я звоню у Блоковских дверей... Горничная спрашивает мое имя, уходит, возвращается, говорит, что дома нет, а будет в 6 часов.

Я думаю, что он дома. Значит, надо еще как-то подготовиться. С Офицерской иду в Исаакиевский собор, — это близко. Забиваюсь в самый темный угол. Передо мной проходят все мысли последнего времени, проверяю решения. Россия, ее Блок, последние сроки, — и надо всем Христос, единый, искупающий все.

В 6 часов опять звонюсь у его дверей. Да, дома, ждет. Комнаты его на верхнем этаже. Окна выходят на запад. Шторы не задернуты. На умирающем багровом небе видны дуги белесых и зеленоватых фонарей. Там уже порт, доки, корабли, Балтийское море. Комната тихая, темно-зеленая. Низкий зеленый абажур над письменным столом. Вещей мало. Два больших зеленых дивана. Большой письменный стол. Шкаф с книгами.

Он не изменился. В комнате, в нем, в угольном небе за окнами, — тишина и молчание.

Он говорит, что и в три часа был дома, но хотел, чтобы мы оба как-то подготовились к встрече, и поэтому дал нам еще три часа сроку. Говорим мы медленно и скупо. Минутами о самом нашем главном, минутами о внешних вещах.

Он рассказывает, что теперь в литературном мире в моде общественность, добродетель и патриотизм. Что Мережковские или еще кто-то устраивают патриотические чтения стихов в закрытых винных магазинах Шитта, — по углам больших улиц, — для солдат и народа. Что его зовут читать, потому что это гражданский долг. Он недоумевает, у него чуть насмешливая и печальная улыбка.

— Одни кровь льют, другие стихи читают. Наверное, не пойду, — все это никому не нужно.

— И Брюсов сейчас говорит о добродетели.

— А вот Маковский оказался каким честным человеком. Они в «Аполлоне» издают к новому 15-му году сборник патриотических стихов. Теперь и Сологуб воспевает барабаны. Северянин вопит: «Я ваш душка, ваш единственный, поведу вас на Берлин». Меня просили послать. Послал. Кончаются так: «Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы. Ах, если б знали, люди, вы холод и мрак грядущих дней». И представьте, какая честность, — вернули с извинениями, — печатать не могут.

Потом мы опять молчим.

— Хорошо, когда окна на запад. Весь закат принимаешь в них. Смотрите на огни.

Потом я рассказываю, что предшествовало его прошлогоднему письму. Он удивлен.

— Ах, это Штейнер. С этим давно кончено. На этом многое оборвалось. У меня его портрет остался, — Андрей Белый прислал.

Он подымается, открывает шкаф, из какой-то папки вынимает большой портрет. Острые глаза, тонкий, извилистый рот. Есть что-то общее с Вячеславом Ивановым, но все резче, чернее, более сухое и волевое, менее лиричное.

Блок улыбается.

— Хотите, разорвем?

Я хочу. Он аккуратно складывает портрет вдвое, проводит по сгибу ногтем. Рвет. Опять складывает. Рвет. Портрет обращен в груду бумажек размером в почтовую марку. Всю груду сыпет в печь.

Моя очередь говорить. Сначала рассказываю о черноморских бурях, о диких утках и бакланах. Потом о том, что надо сейчас всей России, в войне, в труде и в молчании искать своего Христа и в Нем себя найти. Потом о нем, о его пути, о моей боли за него.

Мы сидим в самых дальних углах комнаты. Он у стола, я забилась на диване у двери. В сумраке по близорукости я его почти не вижу. Только тихий и усталый голос иногда прерывает меня, — значит, он тут. Да еще весь воздух комнаты полон какого-то напряженного внимания, — слушает, значит.

У меня мучительное чувство огромной ответственности и вдохновения. Я всю себя в каждое слово вкладываю, как будто камни ворочаю. И так просто все между тем. Вот уж воистину, от человека к человеку, без преград самолюбия, без преград какого бы то ни было духовного кокетства. Из глубины к глубине.

Поздно, надо уходить. Часов пять утра. Блок серьезен и прост.

— Завтра вы опять приходите. И так каждый день, пока мы до чего-то не договоримся, пока не решим.

На улице дождь. Пустота. Быстро иду по сонному городу. Надо его весь пересечь. Господи, как огромен и страшен Твой мир, и какую муку даешь Ты Твоим людям. У меня чувство, что грудь мою сковали золотые латы, что в руках меч, и помогает мне Некто могучий и крылатый.

На следующий день опять иду к Блоку.

У него опять такая же тишина. И так начинается изо дня в день.

Сейчас мне уже трудно различить, в какой раз что было сказано. Да и по существу это был единый разговор, единая

встреча, прерванная случайными внешними часами пребыванья дома для сна, пищи, отдыха.

Иногда разговор принимал простой житейский характер. Он мне рассказывал о различных людях, об отношении к ним, о чужих стихах.

— Я вообще не очень люблю чужие стихи.

Однажды говорил о трагичности всяких людских отношений. Они трагичны, потому что менее долговечны, чем человеческая жизнь. И человек знает, что, добиваясь их развития, добивается их смерти. И все же ускоряет и ускоряет их ход. И легко заменить должный строй души, подменить его, легко дать дорогу страстям. Страсть — это казнь, в ней погибает все подлинное. Страсть и измена — близнецы, — их нельзя разорвать.

И кончает неожиданно:

— Теперь давайте топить печь.

Топка печи у Блока, — священнодействие. Он приносит ровные березовые поленья. Огонь вспыхивает. Мы садимся против печи и смотрим молча. Сначала длинные, веселые языки пламени как-то маслянисто и ласково лижут сухую белесую кору березы и потухающими лентами исчезают вверху. Потом дрова пылают. Мы смотрим и смотрим, молчим и молчим. Вот с легким серебряным звоном распадаются багровые и золотые угольки. Вот сноп серебряных искр с дымом вместе уносится ввысь. И медленно слагаются и вновь распадаются огненные письмена, и опять бегут алые и черные знаки.

В мире тихо. Россия спит. За окнами зеленые дуги огней далекого порта. На улицах молчаливая ночь. Изредка внизу на набережной Пряжки одинокие шаги прохожего.

Угли догорают. И начинается наш самый страшный, самый ответственный разговор.

— Кто вы, Александр Александрович? Если вы позовете, за вами пойдут многие. Но было бы страшной ошибкой думать, что вы вождь. Ничего, ничего у вас нет такого, что бывает у вождя. Почему же пойдут? Вот и я пойду, куда

угодно, до самого конца. Потому что сейчас в вас как-то мы все, и вы символ всей нашей жизни, даже всей России символ. И все ваше нелепое и соблазнительное, — и не соблазнительно совсем, потому что и не ваше... Вот перед гибелью, перед смертью, Россия сосредоточила на вас все свои самые страшные лучи, — и вы за нее, во имя ее, как бы образом ее сгораете. Что мы можем? Что могу я, любя вас? Потушить — не могу, а если и могла бы, — права не имею: таково ваше высокое избрание, — горите. Но идти за вами, со-чувствуя, со-страдая, со-живя, — это я могу, и хочу, и буду.

В мире есть две муки, — мука Голгофская и мука меча обоюдоострого, пронзившего Сердце Той, которая муку Голгофскую пережила как со-муку. На это все муки распадаются. Вот Россия сейчас распинается или будет скоро распинаться. И вы, как образ ее, тоже распинаетесь. Дорогой Александр Александрович, ничем, ничем помочь вам нельзя. Но есть и у нас путь. Вот, ваш крест обоюдоострым мечом входит в нашу душу... Нет, не вождь вы, а ведомый, влекомый. И мы влечемся за вами, потому что связаны такой неимоверной любовью к вам и к вашей муке.

Он слушает молча. Потом говорит:

— Я все это принимаю, потому что знаю давно. Только дайте срок. Так оно все само собой и случится.

А у меня на душе все смешивается и спутывается. Я знаю, что все на волоске, что мы над какой-то пропастью, что моих сил недостаточно, — не удержу.

Наконец, все становится ясным. В передней, перед моим уходом, говорим о последних каких-то подробностях. Он положил мне руки на плечи. Он принимает мое соучастие. Он предостерегает нас обоих, чтобы это всегда было именно так.

Долго еще говорим. А за спокойными, уверенными словами мне чудится вдруг что-то неожиданное, новое и по-новому страшное. Я напрягаю слух: откуда опасность? Как отражать ее?

На следующий день меня задержали дома. Прихожу позднее обыкновенного. Александр Александрович, оказывается, ушел. Вернется поздно. Мне оставил письмо.

«Простите меня. Мне сейчас весело и туманно. Ушел бродить. На время надо все кончить. А.Б.».

Дверь закрывается. Я спускаюсь этажом ниже. Останавливаюсь на площадке. Как же я уйду? Как я могу уйти?

Подымаюсь назад. Стою долго у запертой двери.

Потом решаюсь. Сажусь на верхней ступеньке. Я должна дождаться, чтобы еще что-то раз навсегда закрепить. А потом, — пусть. Не важно, как все внешне будет. По существу знаю, что все это навсегда.

Сижу долго. Изредка хлопает гулко парадная дверь, — это возвращаются нижние жильцы. Я каждый раз вскакиваю, потому что боюсь, что это в дверь на той же площадке кто-то возвращается. Но потом на первом, на третьем этаже хлопает дверь квартиры. Опять все тихо. Идут не минуты, — идут часы. Уже далеко за полночь. Скоро, наверное, утро. Мне даже думать не о чем. Все совершенно ясно, все обдумано. Просто жду.

Наконец, долгий протяжный звонок внизу. Зажигается в пролете свет. Где-то шаркающие шаги. Наверное, швейцар вышел отпирать парадную. Отпер. Впустил кого-то. Слышу, — этаж за этажом кто-то подымается, тяжело дышит от быстрой ходьбы. Вот все выше. Сюда, на верхний этаж. Это Блок. Встаю навстречу.

— Я решила дождаться вас, Александр Александрович.

Он не удивлен. Только говорит, что нехорошо вышло, потому что у соседей в квартире скарлатина. Как бы я домой не занесла.

Отворяет двери. Входим. Я начинаю сразу торопиться. Он слегка задерживает.

— Да, да, у меня просто никакого ответа нет сейчас. На душе пусто, туманно и весело, весело.

А у меня на сердце мучительный восторг какой-то.

— Не знаю, может быть, оно и не надолго. Но сейчас меня уносит куда-то. Я ни в чем не волен.

Я опять начинаю торопиться.

Александр Александрович неожиданно и застенчиво берет меня за руку.

— Знаете, у меня есть просьба к вам. Я хотел бы знать, что часто, часто, почти каждый день вы проходите внизу под моими окнами. Только знать, что кто-то меня караулит, ограждает. Пройдете, взглянете наверх. Это все.

Я соглашаюсь. Быстро прощаюсь. По существу, прощаюсь навсегда. Я знаю, что в наших отношениях не играют роли пространство и время, но я чувствую их очень мучительно.

Ухожу. Будто еще новая тяжесть на плечи упала.

Со следующего дня начинаю нормальную, размеренную жизнь. Много читаю, — учусь. Никого почти не вижу. Война идет. В жизни мутно и предначально как-то. Я вне всего. Я не думаю. Я стараюсь много работать, чтобы легче было ждать.

По вечерам, когда голова устает от чтения и перед глазами огненные круги, часов в десять, почти каждый день выхожу из дому, сажусь на трамвай, — до конца Садовой, до Покровской церкви. Там пешком. Улицы все изучены. Я прекрасно знаю, с какой стороны лучше всего подойти. Иду к Пряжке глухой улицей, параллельной Английскому проспекту. Вот еще дом, который закрывает Офицерскую. Перехожу на другую сторону, чтобы площадь наблюдения была шире, потом замедляю шаги.

Вот. Смотрю на высокие стекла. Иногда в них тьма, иногда тусклый зеленый свет. Медленно, медленно прохожу по набережной, все время смотрю вверх. Потом дальше по Пряжке, ускоряю шаги, дохожу до Мойки, мимо Новой Голландии, опять на трамвай, можно домой, — дело сделано.

Бывал иногда перерыв, — кто-нибудь придет случайно, или какое-нибудь неотложное дело задержит, и самой надо

быть в другом месте. Но вот сейчас я думаю, сколько времени это продолжалось. Во всяком случае, до весны 16 года.

А в это время мрачней и мрачней становилась петербургская ночь. Все уже, — не только Блок, — чуяли приближение конца. Не все ли равно, как они его воспринимали? Одни думали, что конец будет, потому что на фронте не хватает снарядов, другие — потому что Россией распоряжается Распутин, третьи, как Блок, — может быть, и не имели никакого настоящего «потому что», а просто в ознаменование конца сами погибали медленно и неотвратимо.

И наконец, летом 1916 года последнее письмо от Блока.

«Я теперь табельщик 13-ой дружины Земско-Городского союза. На войне оказалось только скучно. О Георгии и Надежде, — скоро кончится их искание. Какой ад напряженья. А ваша любовь, которая уже не ищет мне новых царств. Александр Блок».

Это дословно.

С этим письмом в руках я бродила по берегу моря, как потерянная. Будто это было свидетельство не только о смертельной болезни, но о смерти. И я тут на юге, далеко (а если бы и не далеко, это тоже ничего не меняет), — ничего не могу поделать.

Это конец.

А потом мысль: такова судьба, таков путь. Россия умирает, Россия в ранах, — как же смеем мы не гибнуть, не корчиться в судорогах вместе с ней? И она тоже кончает свое искание Георгия и Надежды, она в аду напряженья. Скоро, скоро пробьет какой-то вещий час, и Россия, как огромный, оснащенный корабль, отчалит от земли, в Ледовитый океан, в ледовитую мертвую вечность. И на этом корабле повезет она мертвенный груз наших обледенелых душ.

При первых большевиках
(как я была городским головой)

I

Добольшевицкие настроения. Обыватели. Доктор Стальнов. Старая Дума. Партийные группы. Гражданский комитет. Демократическая Дума. Совет. Арнольд и Мережко

В таком маленьком городе, как Анапа, революция должна была почувствоваться не только как непомерный сдвиг в общерусской жизни, но и как полная перетасовка всех местных отношений. «Деятели», перед этим наперегонки стремившиеся добиться благоволения старого правительства и при помощи властей изничтожить друг друга, стали в революционном порядке искать новых возможностей и связей и ими пользоваться во взаимной борьбе. [В последние годы старого режима Анапой в буквальном смысле владел некий доктор Будзинский, владелец трех грандиозных санаторий, городской голова, не считающийся с Думой, свой человек у начальника области Бабича, в период войны наживающийся на выгодных контрактах с Красным Крестом и лечащий раненых так, что городской врач, назначенный на ревизию его санаторий, был поставлен в тупик: сказать о том, что там делается, — значит быть немедленно назначенным на фронт, — умолчать, — попадешь под уголовщину за соучастие. В первые дни революции доктор Будзинский презрел свои старые связи и решил рассчитаться со своим старым врагом полицмейстером, но тот ждал этого удара и, будучи уже арестован, предупредил, кого следует, что в особом деле за № 22 у него в архиве полиции хранятся документы, изобличающие уголовную деятельность городского головы. Эти документы послужили в дальнейшем материалом для комиссии гражданского комитета по расследованию злоупотреблений д<окто>ра Будзинского.]

Пока верхи старались, так сказать, оседлать события и заставить революцию послужить им на пользу, низы жили совершенно особой жизнью. Я говорю не только о массе анапских мещан, но и об интеллигенции — учителях, докторах, чиновниках, раньше в большинстве случаев стоящих далеко от политики. Настало время, когда все почувствовали не только обязанность, но и потребность совершенно забыть о привычном укладе жизни, о своих ежедневных обязанностях и делах и принять участие в общем деле революции. Пожалуй, именно в этом резком изменении привычного быта сказалась у нас революция. Все двигали ее, чрезвычайно сумбурно и непоследовательно, говоря целыми днями на митингах, в родившихся профессиональных союзах, в бесчисленных заседаниях и у себя дома, переживая заново весь длинный, полный событий день. Митинги шли в курзале, — как бы официальные; и около электрической станции, — менее людные и носящие более случайный характер. [Чрезвычайно активными оказались наши базарные торговки. Объединенные проходимцем доктором Стальновым, они проповедовали погром интеллигенции. И долгое время, пока не обнаружилась покража Стальновым микроскопа из городской амбулатории, он был совершенно неуязвим, так как благодаря известному демагогическому таланту, умел привлекать на свою сторону темную массу. Мы же все совершено не знали, куда он в конце концов тянет, — окажется ли он самым отъявленным черносотенником или перейдет в другую крайность. Уверена, что сейчас он большевик.]

На фоне этой новой, путанной и сумбурной жизни старая городская Дума теряла всякий авторитет. Сильная группа гласных, поддерживавших голову Будзинского — человека очень скомпрометированного, — конечно, не могла думать взять движение в свои руки. Будзинский принужден был подать в отставку. Дума доживала последние дни. А ей на смену спешно выбирался гражданский комитет.

Положения о выборах гражданского комитета были нам присланы из центра. Голосование должно было быть всеобщим, прямым, равным и тайным. Не привыкшие еще к организации граждане валом валили голосовать. Но так <как> предварительного сговора о кандидатах почти не было, то каждый голосовал за нескольких ему лично хорошо известных соседей и приятелей. В результате на 40 мест членов комитета было более тысячи кандидатов, причем большинство их получало 10–20 голосов. А победителями в этом деле вышли лица, заранее столковавшиеся и успевшие отпечатать листки с наименованием кандидатов. Делала это группа противников доктора Будзинского. Получился такой результат: граждане, получающие такой листок, вычеркивали из него только тех, кто был для них заведомо неприемлем, и вписывали особо желательных на их место. Но так как каждый вычеркивал и вписывал разных лиц, а безразличные кандидаты не вычеркивались, то в общем почти весь список прошел.

Гражданский комитет был выбран ранней весной 1917. В то же время начали сорганизовываться партийные группы. Не помню сейчас, имели ли свою организацию немногочисленные анапские кадеты, — кажется, что нет, а большинство их вошло в аполитичный, но достаточно по отношению к революции оппозиционный, союз домовладельцев. Народных социалистов было в группе 5–6 человек. Несмотря на это, группа имела значительный вес, так как ее членом был бывший депутат 1-ой Гос<ударственной> думы выборжец Морев — человек очень талантливый и опытный в общественной работе, но, к сожалению, благодаря своей болезни, — он был в последнем градусе чахотки, — абсолютно неуживчивый и желчный. Морев чужих мнений переносить не мог и выражал свое неприязненное отношение ко всем инакомыслящим настолько резко, что создавал себе везде личных врагов.

Меньшевики насчитывали неск<олько> больше членов, — человек до 15. Но их слабость заключалась в том, что

эти 15 человек делились на плехановцев, интернационалистов и т. д. Кроме того, лидера у них не было, а все члены принадлежали к средним интеллигентским кругам, представителей народных масс у них тоже не было. [О некоторых из них, — о ветеринарном враче Надеждине и его жене, о землемере Шпаке, Мережко и т. д. — мне еще придется говорить.]

Наконец, самой многочисленной группой была группа партии социалистов-революционеров. И в то время, как другие группы страдали от безлюдия, эсеры, насчитывавшие до 500 членов, этим именно и ослаблялись. В партию эсеров повалили все. Шла в нее та масса, о которой я уже упоминала, раньше стоявшая далеко от политики, а тут вдруг почувствовавшая известную психологическую необходимость принять участие в общем деле и стремящаяся найти к этому делу пути через партию; шли лица, желающие забронировать свою мещанскую сущность ярлыком партийной принадлежности, шли из-за моды, шли, наконец, потому, что это было самое левое, самое революционное, проникнутое ненавистью к старому строю и, значит, способное ломать. А ломать — это было то, что постепенно заполняло все мысли.

Конечно, ни о какой партийной идеологии не приходилось говорить. В минуты уж слишком явного уклонения от общих линий поведения партии приходилось ссылаться на постановления ЦК и на партийную дисциплину. Незначительная часть членов партии, старых работников, чувствовала себя в меньшинстве. На них надо остановиться: учитель Соколов и его жена, очень принципиальные и честные люди, через которых события перехлестнули сразу; инженер или техник, — не помню, — Милорадов, более или менее способный руководить партийной массой; штукатур Соловьев, раньше увлекавшийся террором, исключительно преданный партийным делам человек, единственный, может быть, настоящий эсер из всей группы; слесарь Малкин,

скорее эсер по воспоминаниям молодости, очень обуржуазившийся и обросший огромной семьей, — это все группа будущих эсеров — примыкающих к партии; и будущие левые эсеры, — Инджебели, студент, ловкий и беспринципный человек, демагог, провокатор и предатель; и Арнольд, председатель группы, бывший максималист, каторжанин, благодаря своему прошлому абсолютно и непререкаемо авторитетный среди массы, захваченной революционным угаром, мстительный, неорганизованный, бесчестный и демагог.

И после бурных партийных собраний мне иногда становилось страшно. Ведь это было лето 1917 г.; партия эсеров была фактически самой мощной в России. И авторитетность партийного центра, а отчасти и Временного правительства, покоилась ведь фактически на таких вот, как анапская, мелких группах, разбросанных по всей России. Из центра не видно, может быть, а на местах совершенно ясно, что все идет хорошо, пока нет ничего более сильного, чем Вр<еменное> пр<авительство>, но в момент любой, самой незначительной неустойки, все здание может рухнуть, потому что фактически на поддержку местных людей рассчитывать не приходится. И крушение будет тем сильнее, чем сильнее сейчас переоценка своих сил.

Я знала летом 1917 г., что наша анапская группа может рассчитывать только на единицы. При мало-мальски сильном толчке большинство, — мещанское, — просто отойдет, а другая половина уклонится в любой вид максимализма, — о большевизме мы тогда мало думали, но теперь-то ясно, что именно большевицкие элементы составляли значительную часть нашей группы.

И любопытно расценивалось это все анапскими интеллигентами из обывателей. Меня, например, не спрашивали, отчего я состою в партии эсеров, а только недоумевали: «Как вы можете состоять в одной группе с Арнольдом?» И на самом деле это было очень трудно и несносно.

В августе была избрана новая Дума. Выборы шли уже по твердым спискам. Большинство получили эсеры. Но так как у нас не было кандидата, который в смысле опытности мог бы конкурировать с Моревым, то он и был избран гор<одским> головой; товарищем был избран с<оциал>-д<емократ>, бывший секретарь Думы Сумцов, вскоре, впрочем, уехавший в Екатеринодар, а членами Управы эсер Милорадов и беспартийный малограмотный анапский мещанин Зубенко.

А раньше новой Думы был сорганизован Совет солдатских и рабочих депутатов.

Солдат у нас, правда, — не было тогда, кроме сотни пограничной стражи; да и рабочих не было, потому что подавляющее количество анапских ремесленников были собственниками своих предприятий и наемных служащих в них не имели.

Но все же Совет сорганизовался. Каждая партийная группа дала в него по три представителя, профессиональные союзы дали представителей пропорционально своей численности. Председателем Совета был избран некий Мережко, человек, истинную сущность которого я не берусь и сейчас установить. Называл он себя с<оциал>-д<емократом>. В выступлениях своих проявлял тот же уклон к анархическому максимализму, по профессии был частным поверенным и владел многими домами в Петербурге на Охте. Как он у нас появился, я не знаю. Только помню, что доверия он нам не внушал с самого начала. Это чувство еще усилилось после одного случая. Дело в том, что наша анапская буржуазия, раздраженная тем, что первыми лицами в городе стали люди типа Арнольда, Мережки и т. д., начала против них поход, и надо сказать, что довольно удачный. Виноградарь Клюй предъявил Мореву письма Мережки, из которых с очевидностью явствовало, что до революции Мережко занимался освобождением от военной службы молодых людей, взимая за это немалую мзду. Морев

официально снесся с Советом на этот предмет, и Совет был фактически поставлен в необходимость вынести суждение о деятельности своего председателя.

Опять голоса разбились. В меньшинстве остались старые партийные работники, без различия их партийной принадлежности, и главным образом люди интеллигентные. Громадное большинство Совета, люди, в политике новые, а часто и вообще малограмотные, [под предводительством Арнольда] постановило не судить Мережку и вообще не обращать никакого внимания на это дело.

Мы настаивали только на разборе дела, не предрешая нашего к нему отношения. Этого требовало элементарное желание охранить Совет от всяческих нареканий. [Я думаю, что электричество уже потухло (его тушили во всем городе в 12 ч<асов> ночи), а Арнольд все продолжал свою речь, в которой он собственно ничего не стремился доказать, а просто говорил, что на его руках были цепи, и что он уйдет из Совета, если делу Мережко будет дан ход.]

Опять подымалось чувство какой-то безнадежности. Очевидно, народная масса, составлявшая большинство Совета, совершенно по-иному, чем мы, воспринимала даже такие бесспорные вещи, как необходимость общественному деятелю себя реабилитировать в случае брошенных ему обвинений. И вывод, который тогда и не делался, пожалуй, потому что слишком сильна была вера в правду революции, — но вывод ведь напрашивался сам собой, — массе с нами не по пути. Придут люди, которые сумеют развязать ей руки, и тогда она польется по совершенно другому руслу. В этом была неизбежность большевизма. И в нашей маленькой Анапе, как в капле воды, отражалось все, что делалось во всей России.

К осени, таким образом, в Анапе было три законных власти, — городская Дума, гражданский комитет и Совет. Очень трудно было разграничить компетенцию этих властей, и на этой почве происходили всяческие трения.

В конце августа я уехала по делам в Москву и Петроград. Там были иные настроения. Основное было, конечно, то, что и раньше мне казалось неизбежным, — полная оторванность от нашей низовой психологии; и оторванность эта не сознавалась; думали, что на низы именно и опираются. Должна сказать, что настолько это заблуждение было сильно, что, пожив некоторое время в центре, я тоже решила, что, очевидно, мои анапские впечатления или ошибочны, или являются результатом каких-нибудь особенно неблагоприятных стечений обстоятельств в Анапе, и Анапа не правило, а исключение.

Теперь, оглядываясь назад и часто слыша упреки по адресу правящей тогда революционной демократии, я всегда считаю, что главным пунктом ее защиты от обвинения в том, что довели дело до большевицкого восстания, надо было бы выдвинуть общую настроенность русского народа, которую изменить нельзя было. И этот пункт слишком мало использован, потому что, может быть, и до сих пор лидеры и вожди не учитывают в полной мере, над какой пропастью они стояли и каким подвигом было это стояние, — пусть подвигом и не осознанным ими до конца.

II

Появление первых большевиков. Общественная и партийная работа. Развал группы. Инджебели и афоризм Егорова. Соловьев. Протапов и местные большевики. Мое избрание тов<арищем> гор<одского> головы. Отставка Морева. Стадник. Умирание Думы

Всю осень я провела в разъездах. Другие дела отвлекали меня от жизни Анапы, и только на Рождество, отрезанная от центров России, я вынуждена была опять осесть и заняться анапской жизнью. За это время многое изменилось. Расслоились настроения. Многие, первое время революции захваченные общим течением, совершенно отошли от

политики, общая подавленность чувствовалась во всех. Оторванность от центров сказывалась в полной невозможности понять и оценить события.

Должна только подчеркнуть, что в конце декабря 1917 г. у нас на всю Анапу был один большевик Кострыкин, сиделец казначейства, бывший городовой. К нему относились, как к чему-то чрезвычайно комичному и нелепому, и, несмотря на общую преднастроенность к развалу, все же не могли понять, каким образом этот развал осуществить.

Жизнь замерла. Ждали событий. На Рождество пришел первый эшелон солдат с Кавказского фронта. Так как Анапа лежит далеко от железной дороги, то и солдаты у нас появились только свои, — с детства мне известные Ваньки и Мишки. Но теперь они были неузнаваемы. Все они были большевиками, все как бы гордились тем, что привезли в город нечто совершенно неведомое и истинное.

Апатия, охватившая местных жителей, давала этим солдатам возможность голыми руками взять власть. Но беда в том, что они великолепно понимали, что брать власть у них некому. И на этом основании ограничивались устройством бесконечных митингов.

[На митингах выступали все по очереди. Самым талантливым оратором был солдат Иван Кособрюх. Он доходил во время своих речей до какого-то экстаза, плакал, бил себя в грудь, бросался на колени. Афоризмы его были неподражаемы. По поводу нашей несчастной Думы он говорил: «Ее надо разогнать, потому что ее выбирали только женщины и беспощадные старцы, а мы, солдаты, были на фронте». О старом режиме он всегда заявлял: «Кошмарская рука царизма» и т. д.] Надо сказать, что вообще при ближайшем рассмотрении все эти пророки новой веры, за небольшими исключениями, оказывались людьми очень искренними и совершенно невероятно темными, с таким винегретом в мозгах, что просто бывало не знаешь, с какого конца начинать с ними спор. И весь винегрет подкреплялся таким авторитетным тоном, такой уверенностью, что именно так думают Ленин и Троцкий, что просто диву приходилось даваться.

Убедившись, что при полной возможности взять власть в свои руки, у них не хватает вождей, солдаты послали за варягами в Новороссийск. В конце января оттуда прибыл некий товарищ Протапов, латыш, молодой еще человек, бывший в ссылке, имеющий известный опыт и очень талантливый диктатор. Этот неведомый нам человек был призван владеть городом.

Первый же митинг, руководимый им, постановил организовать военно-революционный комитет — будущую полноправную власть города. С удивлением узнали мы, что кроме Протапова и нескольких большевиков солдат в состав военно-революционного комитета вошел и наш партийный товарищ Инджебели. (Арнольд к тому времени исчез, после сильной драки с солдатами в пьяном виде. Он был арестован начальником милиции Домонтовичем, а потом скрылся в Новороссийск и принял там командование какой-то красной частью. Домонтовичу этот арест по пьяному делу стоил жизни, — но об этом потом.)

Соловьев, Милорадов и я в экстренном порядке созвали собрание группы для обсуждения поведения Инджебели.

Группа собралась, — увы, — теперь состав постоянных собраний не превышал человек 20.

Я была главным обвинителем Инджебели. Я цитировала постановление ЦК о том, что члены партии, входящие в состав руководящих большевицких организаций, тем самым исключаются из партии, я предлагала мирно разойтись, — с тем, чтобы Инджебели заявил, что он левый эсер, — и пусть даже за ним пойдет большинство, — лишь бы хоть незначительное ядро оставалось в партии. От прямых ответов он уклонялся, но заявлял, что считает необходимым присутствие в военно-революционном комитете своих людей, что за Учредительное собрание будет сейчас манифестировать только буржуазия и т. д. Группа молчала. Только Соловьев, Милорадов и Соколов поддерживали меня. Да еще один член группы, анапский мещанин

Егоров, поразил удивительно точным определением разницы между эсерами, с одной стороны, и большевиками и левыми эсерами, с другой. «Эсеры говорят: пусть вчерашний господин и вчерашний раб будут сегодня равными. А большевики говорят: пусть вчерашний господин будет сегодня рабом; а раб господином. Эдак мы, товарищи, никогда не кончим, потому что господин в рабах очередь отбудет, опять менять придется, — и так без конца».

Во всяком случае собрание наше не дало никаких результатов.

На следующий день я встретила на улице Протапова. Он меня остановил и серьезно сказал: «Вы имейте в виду, что о вашем вчерашнем выступлении против военно-революционного комитета я уже осведомлен и очень вам советую бросить это, — для вас же лучше». На мой недоуменный вопрос, о чем идет речь, он ухмыльнулся и заявил: «Вчера в час ночи Инджебели примчался ко мне и рассказал мне обо всем, что у вас происходило, прося принять меры против вас. Будьте довольны, что он попал ко мне, а не к товарищу Конверскому, например. Я доносчиков не люблю».

Картина была совершенно ясной. Наша группа, конечно, не могла дальше существовать, раз она не имела силы выбросить из своей среды предателя.

А большевики, сорганизовав военно-революционный комитет и охранную роту, постепенно стали забирать всю власть в свои руки. Дума еще держалась. Но под ударом был городской голова Морев, благодаря тому, что личное отношение к нему было у всех отвратительное.

Надо было как-то иначе оберечь Думу и противопоставить большевицкой политике не брюзжание и желчь Морева, а политику защиты тех культурных ценностей, которыми владела городская Дума.

Мне предложили выставить свою кандидатуру на пост товарища городского головы. Я согласилась, тем более, что в моем ведении должны были быть отделы народного здравия и образования.

После избрания, — в конце февраля приблизительно, на том же заседании Морев подал в отставку. Должна сказать, что если бы я эту отставку, да еще в такой <момент>, сразу после моего избрания, предвидела, я бы, может быть, не согласилась на выставление моей кандидатуры. С уходом Морева я становилась сразу заместителем городского головы. Вся административная часть работы Управы, все городские финансы, — ложились на меня. Но это, пожалуй, в тот период не должно было особенно пугать, потому что практическая работа Управы постепенно доводилась до минимума. Страшнее и ответственнее было то, что я фактически олицетворяла в себе ненавистную большевикам демократическую власть, что я была поставлена одна лицом к лицу с ними. Мои товарищи по Управе не были сильной поддержкой: Милорадов начинал леветь и постепенно приближался к позиции Инджебели, оставаясь по существу просто порядочнее его, а Зубенко был струсивший обыватель. Дума тоже не давала мне прочного большинства, т<ак> к<ак> партийная наша фракция явно раскалывалась, а беспартийные, которых было порядочно, относились к моему избранию так, что гласный Стадник был прав, когда заявил: «Що мы наробыли? Голову скинули, тай бабу посадилы, тай що молодую бабу». Сознаюсь, что и я сама была с ним в большой степени согласна: действительно, «наробыли».

Приходилось на свой страх и риск вырабатывать линию поведения. Во-первых, я установила для себя, что должность городского головы, — должность непартийная и что ввиду этого я обязана вообще быть представителем интересов города. Во-вторых, так же ясно мне было, что говорить при общей политической обстановке того времени о творческой работе не приходится.

Главной моей задачей было — защищать от полного уничтожения культурные ценности города, способствовать возможно нормальной жизни граждан и при необходимости отстаивать их от расстрелов, «морских ванн» и т. д. Это были достаточно боевые задачи, создававшие иногда невозможные положения. А за всем этим шла ежедневная жизнь

с ее ежедневными заботами, количество которых, правда, постепенно уменьшалось, так как большевики все прочнее захватывали власть и к нам обращалось все меньше народу.

Городская дума медленно умирала.

В этот период был создан новый, уже большевицкий Совет с председателем Протаповым.

В ведение военно-революционного комитета отошли только военные дела. Фронт Корнилова уже обнаружился, и военная работа у большевиков кипела.

Надо только сказать, что наш большевицкий Совет имел некоторые особенные черты. Все партийные группы, в том числе и большевики, были в нем представлены на равных началах. Большинство голосов большевикам давали представители солдат и профессиональных союзов. Причем многие из них не были ни большевиками, ни даже большевицки настроенными людьми, а просто будто решили, что время требует от них голосования за большевицкие резолюции.

Партийные же люди, под влиянием оторванности от центра, заняли такую позицию, — входить, не называя партии, во все большевицкие учреждения невоенного характера и тем самым получать там большинство, — так называемое «взрывание изнутри».

III

Дума слагает с себя полномочия и передает их Управе. Моя работа в качестве исп<олняющего> обязанности городского головы. Управские заседания. Дело Домонтовича. Раздача участков для постройки домов. Мобилизованные женщины. Поездка за нефтью. Матросы. Надеждин. Дело Разумихина. Революционный трибунал. Ответственность за учителей. Санатории и аптека. Участок Будзинского. «Трудовая интеллигенция». Лекция Сиповского

Недели через две после моего избрания положение Думы стало настолько двусмысленным, что надо было ре-

шаться на какие-нибудь экстренные меры. Надо было выбирать, — или испить чашу унижения до конца и влачить свое существование, пока его будут терпеть большевики, или вступить с ними в решительную борьбу, не останавливаясь перед возможными жертвами и будучи уверенными в окончательном поражении, или, наконец, сделать красивый жест и сложить с себя полномочия.

У Думы хватило мужества отказаться от первого решения. Для второго не было достаточно сил, и по существу гласные не представляли из себя однородную массу, — без чего вопрос о борьбе сам по себе отпадал. Остановились на третьем решении. Дума вынесла постановление, что, ввиду создавшегося положения, ввиду засилья большевиков, она считает ниже своего достоинства продолжение своего существования, и на этом основании все гласные слагают с себя полномочия, передавая их Управе. Основной задачей, завещаемой Думой Управе, является отстаивание материальных и культурных ценностей, находящихся во владении города, и налаживание мало-мальски возможного нормального существования граждан.

Причин к такому решению было много: и стремление оградить Думу, как учреждение демократическое, от насилия советской власти, и желание выйти из двусмысленного положения при помощи красивого жеста, и полное отсутствие веры в свои силы, и, наконец, личный страх многих гласных оказаться чрезмерно одиозными перед большевиками.

Как бы то ни было, решение было принято единогласно. Управа не протестовала. Отчасти разношерстный состав гласных не давал нам необходимой поддержки, а отчасти, пожалуй, и на самом деле было легче исполнять думскую программу в небольшом управском составе. Мы были гибче и подвижней. Мы могли решать каждое конкретное дело, не прибегая к шумным и вызывающим резолюциям.

Обычная управская работа постепенно совершенно исчезала. Всегда полные народом коридоры Думы пустели.

Жизнь помимо своей воли пробивала себе иное русло. Наши ежедневные управские заседания носили довольно нелепый характер. Сотни дел прошли в них. И, вынося резолюции по этим делам, мы великолепно понимали, что по существу этими резолюциями все дело и ограничится, потому что исполнительный аппарат ускользал из наших рук.

Сначала это положение заставило меня задуматься вновь о целесообразности моего пребывания в должности городского головы. Я было хотела уйти. Но потом количество дел иного порядка, решительная необходимость противопоставить советской власти хоть что-нибудь и определенная потребность у граждан иметь в лице Управы хоть какую-нибудь защиту заставила меня остаться.

Прежде чем говорить о конкретной работе, которую приходилось вести, я хотела бы указать на одно чрезвычайно любопытное явление, отмеченное тогда многими.

Мое положение было достаточно прочным, и я могла многого добиваться, главным образом, потому что я женщина. Объяснить это можно различно. Главным образом, на мой взгляд, объясняется это тем, что большевицки настроенная масса в самом факте существования женщины — городского головы видела такую явную революционность, такое сильное отречение от привычек старого режима, что как бы до известной степени самим фактом этим покрывались, с большевицкой точки зрения, контрреволюционные мои выступления. Я была, так сказать, порождением революции, — и потому со мной надо было считаться.

С другой стороны, мне прощалось многое, что бы большевики не простили ни одному мужчине. Между нами шла известная конкуренция. Если я открыто заявляла, что считаю какое-нибудь постановление Совета глупостью, и доказывала, что я права, — им было обидно, что женщина оказалась умнее их, и в этой плоскости и велась вся борьба.

И, наконец, третьим элементом в их отношении ко мне была просто уверенность, что я достаточно смела. Не берусь

утверждать, что на самом деле это так. Но фактически это могло так казаться, благодаря тому, что только таким образом можно было работать: если я в результате какого-нибудь спора с Советом чувствовала, что дело идет к моему аресту, я заявляла: «Я добьюсь, что вы меня арестуете». На это горячий и романтический Протапов кричал: «Никогда. Это означало бы, что мы вас боимся».

Чтобы дать представление о моей работе того времени, я ограничусь перечислением тех дел, в которых приходилось принимать участие. Многие из них были полны подлинного трагизма, но большинство давало материал для анекдота. Ни о каком плане в работе, разумеется, не могло быть и речи. Приходилось отвечать только на потребность каждого дня.

Самым анекдотическим случаем была история с союзом жен запасных. Это был самый многочисленный у нас профессиональный союз. Он насчитывал до трех тысяч человек. Женщины в огромном большинстве были настроены большевицки. Они вообще имели бы большое значение в жизни Анапы, если бы поддавались хоть какой-либо организации.

Помню их первое, еще до большевиков общее собрание, на которое первоначально не допускались ни мужчины, ни женщины не жены запасных. Но после двух часов бесплодного крика по поводу выборов президиума пришлось это строгое правило отменить: в качестве варягов были приглашены я — председательствовать, и учитель И. К. Милашенко, — секретарствовать. Помню, что обращались ко мне «Мадам председательша». А результаты собрания были все такие же сумбурные.

Эти самые жены запасных получали в начале каждого месяца известное пособие от казны в Управе. Сумма пособия по сравнению с растущей дороговизной была ничтожна и колебалась в зависимости от количества членов семьи. Получали по 22 руб. 50 коп., по 35 руб. 25 коп. и т. д.

А в казначействе, захваченном уже большевиками с комиссаром Кострыкиным во главе, мелких денег почти не было, и на все мои требования они выдавали тысячерублевые билеты.

Однажды дело с разменом этих билетов приняло такой оборот, что я не шутя испугалась полного разгрома всего управского здания. Женщины требовали мелочи и грозили расправой.

Мне пришла в голову мысль использовать их настроение, чтобы получить мелочь из казначейства. Я вышла к ним и предложила им строиться по десяти в ряд, чтобы идти в военно-революционный комитет с требованием мелочи. Моя грандиозная армия только что начала выстраиваться, когда за мной прибежал служащий звать к телефону; военно-революционный комитет, оказывается, уже услыхал о мобилизации женщин и просит в срочном порядке распустить их, а кассира прислать в казначейство для получения мелочи. Я победила таким образом. И убедилась, кроме того, что есть способы довольно верные, для того чтобы проводить свою линию.

Перед своим роспуском Дума рассматривала проект раздачи огромного количества городской земли на окраинах по дешевой цене для участков и для постройки на них домов. Анапа, благодаря своей курортной известности, росла быстро. Планы анапских мещан скупались дачниками, а местные жители оказывались бездомовными. С возвращением с фронта большого количества солдат вопрос о квартирах встал очень остро, и Дума решила с торгов распродать часть городской земли.

Но митинг, организованный Советом, к сожалению, нас предупредил. Он вынес резолюцию о необходимости немедленного приступления к землемерным работам и к немедленной раздаче участков в 150 кв. саженей всем, кто не имеет еще в городе планов. В первую очередь бумажки с номерами участков должны тянуть фронтовики, потом все

бездомовные. Плата за участок — 25 руб. — столько, сколько стоит землемерная работа. Дума должна санкционировать это решение, потому что, если что и изменится в будущем, — участок должен быть законно приобретенным, продавать его нельзя. Незастроенные в течение десяти лет участки отходят опять к городу. Как будто это и все правила.

Дума восстала. Во-первых, она считала, что 150 кв. саженей, — слишком мало для одного плана; и что таким образом мы застроим площадь почти равную всей Анапе совершенно малоценными постройками. Анапе же принадлежит известная будущность как курорту, и об ее благоустройстве поэтому надо особенно заботиться. Дума предлагала делать в отводимых местах широкие улицы, большие площади для садов, более обширные планы для школ, сами участки увеличить, сразу же приступить к мощению улиц и к проведению электричества, что займет безработных, вернувшихся с фронта, а для проведения этих работ взимать за каждый участок не 25 рублей, а по разверстке то, что будет стоить устройство там различных культурных начинаний. Гласный Соколов размечтался даже о городе-саде. Но митинг заявил, что широкие улицы, площади и большие участки слишком отдалят крайние планы от города, всяческие удобства являются буржуазным предрассудком и что гражданам совершенно достаточно 150 саженей. Если Дума не согласна с этим постановлением, пусть пеняет на себя. Дума подчинилась. Этот инцидент был, пожалуй, решающим в деле ее самоликвидации. Уж очень все нелепо выходило.

Надо сказать, что анекдоты получались не всегда по инициативе большевиков. В Анапе, как в тихом городе, далеком от всяческих центров, скопилось очень много беженцев с севера. Сначала они получали откуда-то деньги, потом стали проедать свои вещи, наконец, и вещей не осталось. Приходилось приниматься за работу. Интеллигентного

труда не было. В Управе лежали десятки прошений на должность учителя. Приходили ко мне ежедневно целыми толпами в поисках заработка. Наконец, сорганизовали «союз трудовой интеллигенции». Представители союза пришли ко мне. Они просили участок огородной городской земли на песках. Я обещала. Они просили также всяческих сельскохозяйственных орудий и лошадь. Я и на это согласилась. Просили еще картошки и других семенных материалов. Тоже согласилась. Тогда обратились с самой неожиданной просьбой: им нужны деньги, чтобы оплачивать поденных рабочих, так как большинство из них работать не может. Эту просьбу я, конечно, уже удовлетворить не могла. Дело рассыпалось. И только потом союз выделил артель чернорабочих, поденно ходивших перекапывать виноградники. Я видала их на работе. Впереди шел всегда нотариус из Николаева, потом наши привычные анапские девчата, а далеко сзади вся трудовая артель. Помню, что я обратила внимание на то, что во время работ из-за виноградных кустов у девчат совершенно не видно лопат, а у интеллигентов все время ручки лопат над кустами. Оказывается, девчата суют лопату в землю наклонно, мелко копают и каждый раз переворачивают значительное пространство земли, подвигаясь вперед более, чем на четверть аршина. Интеллигенты же суют лопату перпендикулярно к поверхности, входит она у них глубоко, и каждым ударом они поэтому подвигаются не более чем на один-полтора вершка.

Надо сказать, что вообще эта приезжая масса страдала невероятным паникерством. Помню, устраивали мы в пользу нашей партийной группы лекцию профессора Сиповского. В день лекции сначала ко мне, а потом и к Сиповскому прибежал в полной панике один присяжный поверенный — беженец — с предупреждением, что ему достоверно известно, что лекция будет большевиками сорвана, а организаторы и лектор арестованы.

Я сначала не поверила ему. Но потом с теми же вестями примчались две дамы. Наученная уже опытом, что с большевиками надо действовать напрямик, и кроме того,

сильно разозленная, я пошла в военно-революционный комитет. Там было только несколько солдат, — его членов. Не давая возражать себе, я накинулась на одного из них, Шабарина. Я возмущалась тем, что даже при полной бедности Анапы на культурные развлечения, такое прекрасное и полезное начинание, как популярная лекция, встречает к себе дикое отношение большевиков.

В ответ на мою длинную речь смущенный Шабарин заявил, что они действительно виноваты, — до сих пор не взяли билета, но они думали, что это можно сделать при входе, а пойти собираются все. Я была посрамлена на этот раз.

Вообще все мои столкновения с интеллигентным беженством создавали полную уверенность, что среди них крепких людей искать не приходится.

В стремлении оградить нормальную жизнь анапских граждан я наткнулась на то, что в поисках всяческой контрреволюции большевики очень часто тревожили учителей, арестовывали их на несколько дней и тем самым останавливали занятия в школах. В одном училище в подвале обнаружили патроны, в библиотечной книге другого училища нашли какую-то глупейшую прокламацию. Надо было как-нибудь прекратить эти поиски и дать возможность детям учиться. Я созвала учительский союз, выяснила им обстановку и свои задачи и предложила им комбинацию, что они воздерживаются от лишнего фрондерства, а я перед лицом большевиков беру всю ответственность за их благонадежность на себя. Собственно, по существу я в данном случае и не рисковала, потому что основным настроением анапского учительства в тот момент была обывательская трусость, а с другой стороны, даже в случае каких-либо осложнений наши большевицкие романтические верхи на многое могли посмотреть сквозь пальцы благодаря моему жесту. Фраза и жест были вообще наивысшими добродетелями у них.

Но все <же> некоторые осложнения мне приходилось ликвидировать довольно трудно. Помню одно из них. Однажды ко мне в кабинет пришла одна учительница с

просьбой помочь ей. Муж ее, тоже учитель, накануне встретил на улице двух незнакомых матросов. Разговорились. Они назвали себя делегатами черноморского украинского флота. (Тогда у нас была довольно сильно распространена легенда о грядущем украинском десанте и об украинском флоте.) Учитель, как на беду, оказался ярым украинцем. Пригласил к себе земляков, распоясался и наговорил им с три короба о надеждах анапских граждан на освобождение при помощи украинцев. Выслушав все его речи, матросы заявили, что пойдут доносить на него в военно-революционный комитет.

С этим делом пришлось повозиться основательно, доказывая комитету, что, во-первых, никакого украинского флота не существует, а, во-вторых, сами эти делегаты — лица достаточно недостоверные.

В этот приблизительно срок начал у нас действовать военно-революционный трибунал. Как я уже говорила, идея «взрывания власти изнутри» была у нас широко развита. На этом основании трибунал сорганизовался из представителей всех партий, по 2 человека от каждой. Такой состав обескровил его с самого начала, и действительно, ни одного судебного процесса они не довели до конца, т<ак> к<ак> суд не мог сговориться. Только по одному делу вынесли какое-то общественное порицание и арест на один день. Причем ночью в каталажку (тюрьмы у нас не было) члены трибунала принесли арестованному собственные простыни и подушку.

В этот же период случилось событие, которое потом чуть не кончилось для меня катастрофически.

Митинг постановил реквизировать санатории доктора Будзинского в пользу города. Началось там нечто невообразимое. Тогда более благоразумные из анапских граждан предложили передать заведование санаториями Управе, имеющей для этого дела готовый аппарат. Я колебалась. В реквизиции я, конечно, ни за что не стала бы принимать участия, — ни лично, ни от имени Управы, которая на это

не имела права. Но нас поставили перед совершившимся фактом. С одной стороны, принять имущество в свое ведение напоминало сохранение заведомо краденой вещи, а с другой, — общее положение об охране культурных ценностей, находящихся в городе, диктовало необходимость взять и это дело в свои руки, чтобы не дать возможности разграбить ценное медицинское имущество санатории.

И хотя за отказ от этого дела говорило кроме всего и то, что при ликвидации большевиков доктор Будзинский не постесняется обвинить меня на этой почве в чем угодно, я согласилась от имени Управы временно вступить в заведование санаториями.

Мы назначили туда врача и сестер милосердия. По описи приняли все имущество и установили минимальный порядок в использовании его.

Несколько меня подбодрила в моем решении обращенная ко мне просьба аптекаря Назарова принять также в ведение города и аптеку, потому что в противном случае она может быть разгромлена по постановлению какого-нибудь митинга. До сих пор не знаю, как бы я поступила теперь в подобном случае. Думаю, что правильно понятое гражданское мужество и точное следование своей программе защиты культурных ценностей подсказали бы мне опять то же решение.

Вот еще один характеризующий работу случай, имевший место немного раньше. В городе на электрической станции кончилась нефть. Я решила поехать в Новороссийск и попытаться раздобыть там нефти. Одновременно со мной выехал солдат Лысенко, председатель продовольственной Управы, занимавшей какое-то среднее место между Советом и нами.

В Новороссийске местные власти согласились отпустить нам нефть только в обмен на пшеницу, которой в Новороссийске был большой недохват. Но условия обмена были совершенно безбожные. Я запротестовала. Лысенко сначала

тоже не соглашался. Потом вдруг хитро мне подмигнул и стал уступчивее. Я продолжала протестовать. Тогда он вытащил свои советские полномочия, заявил, что я являюсь представителем старого режима, и предложил писать договор.

Сначала он по поводу каждого слова начинал спорить, потом начал поглядывать на часы, потом попросил распорядиться заранее выдать ордера на нефть, так как нам надо спешить на поезд, а десятский ждет.

Ордера были выданы. Десятский отправился получать нефть. Условия были почти написаны.

Тогда Лысенко сорвался, заторопил меня и заявил, что нам надо бежать на поезд, — иначе мы опоздаем.

На улице я начала ругать его за уступчивость. Он расхохотался. «Ведь условия не подписаны, — заявил он, — нефть-то мы даром получили».

Трудным моментом в работе были взаимоотношения с отдельными служащими, которые в случае каких-либо недоразумений являлись в военно-революционный комитет и оттуда шли ко мне с приказаниями. Существовал закон, по которому все служащие, мобилизованные на фронт и замененные другими, по возвращении имели право получать свои старые места. В таком положении был городской садовник Иван, человек скромный и знающий. Но за время его отсутствия его место было занято пьяницей и хулиганом, — имени не помню. Все мои попытки водворить Ивана на старую службу разбивались о нежелание его заместителя уйти. Когда я решила прибегнуть к более серьезным мерам, этот человек обратился за защитой в комитет, и тот ультимативно потребовал от меня не увольнять его. А в частной беседе один из членов комитета сказал мне, что садовник докладывал комитету о моих непочтительных выражениях по его адресу и что вопрос об оставлении садовника стал для комитета вопросом принципиальным. Пришлось вести длительную руготню прежде, чем удалось развязать себе руки.

Этот же закон дал в результате одно из самых трагичных событий этого периода. У анапской Управы был свой юрисконсульт, пом<ощник> пр<исяжного> поверенного Домонтович. Он был мобилизован и поступил в Московское юнкерское училище. Во время большевистского восстания бежал и оказался в Анапе.

Морев назначил его начальником милиции. Когда, благодаря аресту Арнольда, о котором я уже упоминала, и благодаря славе московского юнкера положение Домонтовича пошатнулось, Морев просил его все же оставаться на своем посту и обещал ему полную поддержку и защиту. Авторитет Морева был настолько велик, что Домонтович не только уверовал в свою прочность, но и стал держать себя достаточно агрессивно.

Я видела, что вопрос идет, в конце концов, о жизни Домонтовича, и решила, что Управа должна сама его уволить, чтобы положить конец той борьбе, которую большевики вели вокруг его имени. Он подчинился, но, во-первых, обиделся, во-вторых, стал просить содержания за три месяца вперед. Служил же он меньше месяца.

С трудом удалось уговорить его в интересах личной его безопасности быть умереннее.

Но через несколько дней он явился в Управу с требованием назначить его опять юрисконсультом, ссылаясь на тот же закон, что и садовник Иван. Юрисконсульт получал у нас вознаграждение из процентов от выигранных дел. В это время все судебные дела стояли. Материальной заинтересованности Домонтович в этом месте не имел. Но видно, кто-то настраивал его на фрондерски боевой лад. Он с принципиальной точки зрения подходил к вопросу о своем назначении. Надо сказать, что Домонтович был человек далекий от политики, веселый, почти всегда пьяный, прожигатель жизни. Жажды геройства мы в нем раньше не замечали.

Я с ним имела долгий разговор наедине. Вместо назначения юрисконсультом я предлагала ему немедленно

скрыться, указывала на безопасное место у виноградарей, предлагала деньги и подводу. Для него момент был достаточно критическим, и я была об этом в полной мере осведомлена, да и от него ничего не скрыла. Но он с непонятным упорством настаивал на своем.

Может быть, все бы и обошлось благополучно, если бы в это время не прибыли в Анапу из Новороссийска делегаты Черноморского флота — пьяные матросы во главе с Пирожковым.

Начались повальные обыски.

Случайно я узнала о существовании проскрипционного списка, привезенного матросами. В нем предназначались к потоплению все наши бывшие городские головы, — среди них и Будзинский, и Морев, потом Домонтович, потом еще несколько человек. Список был составлен рукою давно исчезнувшего Арнольда.

Не только граждане, но и Совет были окончательно терроризированы.

Матросы потребовали с Совета контрибуцию в 20 тысяч рублей. Совет боялся отказать, но и согласиться на эту выдачу не решался. Протапов — председатель Совета — решил созвать митинг и тем самым перенести ответственность на безличную массу граждан.

Я на этот митинг пошла. До начала, походив между нашими стариками-мещанами, я установила, что соглашаться на контрибуцию ни у кого желания нет, но что и никто первым об этом не заявит.

Пришел, наконец, президиум Совета и матросы. Протапов доложил о требовании «красы и гордости революции». В зале царило молчание.

Я попросила себе слово. Когда я проходила к трибуне мимо Протапова, он остановил меня и шепотом сказал: «Вы полегче. Это вам не мы. Не постесняются».

Но я твердо была уверена, что при той опереточной декоративности, которой охвачены были тогда все большевики, есть способ наверняка с ними разговаривать.

Я подошла к кафедре и ударила кулаком по столу: «Я хозяин города, и ни копейки вы не получите!»

В зале стало еще тише. Протапов опустил голову. А один матрос заявил: «Ишь, баба».

Я опять стукнула кулаком: «Я вам не баба, я городской голова».

Тот же матрос уже несколько иным тоном заявил: «Ишь, амазонка».

Я чувствовала, что победа на моей стороне.

Тогда я предложила поставить мое предложение на голосование. Митинг почти единогласно согласился со мной. В контрибуции было отказано. Любопытно, что матросы хохотали.

Я считала, что успех мой кратковременный, и даже подумывала, не уехать ли мне на несколько дней на виноградники.

Но перед вечером пришел ко мне учитель Рудский, народный социалист, и еще кто-то, — не помню.

Они только что узнали о проскрипционном списке и решили просить меня, ввиду утренней удачи, попытаться еще раз воздействовать на матросов.

Я чувствовала почти полную невозможность что-нибудь сделать, но была принуждена согласиться.

Вечером состоялось заседание Совета. Я присутствовала на нем в качестве публики.

Выяснилось, что на рассвете матросы уезжают. Ночь, значит, имела решающее значение. Помню, что беседу в одиночку с матросами я вести не решилась: пригласила себе в компаньоны Соловьева, человека верного и честного. Он должен был быть живым свидетелем всего происходящего.

Заседание кончилось около 12 ч. Надо было приступать к моей дипломатической задаче. Матросы, Соловьев и я вышли из городского училища, где шло заседание. Отправились на высокий берег, к кладбищу. Я не помню сейчас, что я говорила. Знаю, что среди шуток моих спутников фигурировало часто предложение «одной, но хорошей морской

ванны». Знаю, что у меня были попытки тоже шутить. Я говорила, что когда придет Корнилов (а о нем все чаще и чаще стали упоминать), то никто другой, как я, буду их всех от виселицы отстаивать. Были и попытки серьезного разговора. Один раз мы остановились уже около подъезда моревской квартиры, — они хотели приступить к аресту. Работала не голова, а перенапряженные нервы. Кончилось все же тем, что они дали мне формальную расписку никого из тех, кто обозначены в проскрипционном списке, не трогать.

Я вернулась домой совершенно разбитая. А утром узнала, что матросы еще не уехали, но успели арестовать меньшевика Надеждина, учителя Рудского, акцизного чиновника Ковалева и Домонтовича.

Я за ночь слишком устала, да и имела глупость поверить в их обещание. Поэтому проявила недостаточно активности.

Надеждин, глухой, с трубкой в ухе, узнав, что при аресте они украли у него серебряный ветеринарный значок и поели все соленые огурцы, начал ругаться и называть их жандармами. Руготня и смелость дали свои результаты. Они его отпустили.

Жена Ковалева принесла им выкуп в несколько сот рублей. Ковалева тоже отпустили.

А Домонтович и Рудский остались на катере. Рассказывали мне потом, как жена Домонтовича, учительница, с дочерью Никой стояли на пристани; как она с бодрым видом спрашивала матросов, надолго ли увозят ее мужа, а они смеялись и отвечали, что он на днях будет освобожден.

Потом катер отчалил. Между Анапой и Новороссийском Домонтович и Рудский были потоплены. Тел их не удалось разыскать.

Жены долго не верили в их смерть.

Это трагическое событие заставило меня сильно задуматься. Я решила бросить свою неблагодарную работу.

Все эти отдельные эпизоды достаточно ярко рисуют обстановку, в которой приходилось работать. Но это все быт.

А помимо быта были еще исторические события, которые окончательно определяли нашу работу.

IV

Внешние события. Совет упраздняет Управу и членов ее делает комиссарами. Участок Будзинского снят. Моя отставка. Саботаж. Бегство с Худаниным. Новороссийская конференция

Весь наш юг начинал все сильнее и сильнее волноваться развивающимся фронтом Гражданской войны. В начале и середине февраля только глухо упоминалась фамилия генерала Корнилова; потом о нем забыли и стали больше говорить о борьбе с Кубанским краевым правительством. На устах у всех большевиков были имена атамана Филимонова, генерала Покровского, Бардижа, Быча и Рябовола. Общую характеристику давали всей этой «звездной палате», — контрреволюционеры, казакоманы, душители народа. Надо сказать, что большинство местных жителей слабо разбирались даже в своих кубанских делах и очень легко ставили знак равенства между всеми деятелями казачьей власти.

К началу марта разговоры приняли более конкретный характер. Правительство и Рада оставили Екатеринодар. Командующим краевых войск назначен Покровский. Начинается Гражданская война.

Большевики шли на эту войну с легким сердцем: подавляющее количество войск обеспечивало им, казалось, полную победу в кратчайший срок.

Даже дошедшие до нас сведения о соединении кубанцев с Корниловым не меняли картину. У них было, по большевицким данным, три тысячи бойцов при трех полевых орудиях, а у большевиков, — до 70 тысяч бойцов и более тридцати орудий.

Кроме того, и в смысле расположения сил преимущества были на стороне большевиков. Они все время пополнялись приходящими из Трапезунда в Новороссийск

частями. С северо-востока пополнения шли к ним из Закавказья по железным дорогам; с севера центральная власть посылала якобы тоже подкрепления.

Несмотря на долю недоверия к большевицким источникам у нас всех все же было чувство, что дело Корнилова обречено. Оставалось совершенной загадкой, на что рассчитывают вожди его. Единственным объяснением казалось, что людям все равно нечего терять и идут они в порыве «мужества отчаяния».

Чуть ли не ежедневно приходили сведения, что Корнилов уже убит. Говорили о том, что кадры его, — помимо незначительного количества офицеров, — исключительно текинцы и горцы, что войска идут под зелеными знаменами пророка, что идет он защищать Учредительное собрание, что с ним в<еликий> к<нязь> Михаил Александрович, что зверствам белых нет предела и т. д. Вышелушить хоть крупицу истины из всего вздора, который приходилось слышать, было очень трудно. Единственное, что не подлежало сомнению, — это самый факт существования фронта Гражданской войны.

У нас была произведена мобилизация. Шли довольно безразлично. Образовалась шестая рота, заслужившая потом довольно громкую известность.

Кажется, под станицей Полтавской она была введена в бой. Не знаю отчего, но вышла она из боя победительницей и вскоре вернулась в Анапу. Солдаты были нагружены награбленным добром. Тащили коров, навьюченных подушками и самоварами. Первая удача очень способствовала упрочению воинственного духа среди наших мещан; второй отряд сорганизовывался добровольно, бабы заставляли своих мужей идти воевать. Небольшой кадр местных буржуев был тоже мобилизован. Среди них во время недельного обучения выделялся непомерно толстый лавочник грек Эйбов, никак не могущий держать винтовку одновременно у колена и у плеча, — мешал живот.

Двинулось на фронт к станице Афипской человек 150.

Дня через четыре вернулись. Было около 80-ти человек раненых. Добычи не везли.

Раненых разместили в санатории.

Утверждаю, что среди них был самый незначительный процент большевицки настроенных людей. Общая масса поддалась какому-то гипнозу, что, вот, настало время, когда все можно, когда грабить и убивать, — совершенно позволительно, когда вообще все расхлесталось; и шли на грабеж и убийство с какой-то непонятной наивностью и невинностью.

Я много беседовала с ранеными. В сущности моральным оправданием им было то, что большевики вели их, как стадо баранов, на убой. Любопытно, что в наших ротах было очень мало солдат, — основного большевицкого кадра, — они предпочитали оставаться в Анапе в охранной роте во избежание восстания местных контрреволюционеров.

А наши мобилизованные мещане рассказывали такие чудеса, что у меня впервые мелькнула мысль о том, что дело Корнилова далеко не безнадежно.

Один контуженый говорил мне о том, как его огромный снаряд прямо в спину ударил, — до сих пор болит отчаянно.

Другой повествовал, как где-то в камышах они окружили Корнилова со всем штабом.

С вечера навели в середину кольца всю артиллерию и начали палить. Палили до утра, в полной уверенности, что все, находящиеся в кольце, уже убиты. Утром кинулись в атаку, а в кольце никого не оказалось. Корнилов успел незаметно прорваться.

Рассказывали много про каких-то сестер Орловых, живших у себя на хуторе. Подошла наша анапская рота к хутору; никого нет, а пулемет так их и поливает. Наконец старушку какую-то встретили, — она им сказала, чтобы на чердаке смотрели. Обходным путем отправились на чердак. Там старуха Орлова с одной дочерью у пулемета, а другая ленты подает.

Свели их вниз и спрашивают: «Что же с вами, товарищи, делать?» А барышни красоты удивительной. Один из солдат предложил, что он женится на какой-нибудь из них, чтобы избавить их от смерти. Но на него прикрикнули. А потом всех троих женщин «как капусту» порубили.

Была я в эти дни однажды в городской школе. На перемене прислушалась к разговору нескольких учеников. Один повествовал: «У кадетів діты бшые, білые. Наши их "як капусту" порубили».

Видимо, неудача второго отряда заставила наших главарей задуматься. Решили мобилизовать офицеров.

У меня в Управе был брат, офицер, когда пришел Протапов и с усмешкой заявил, что вот, мол, решено заставить офицерство советскую власть защищать.

Мой брат спокойно заявил, что он не пойдет.

Протапов закипятился и стал грозить расстрелом.

Брат сказал: «Уж это ваше дело. Меня не касается».

Видимо, Протапов поверил в его твердость и вместе с тем не хотел быть принужденным расстреливать.

Когда во время регистрации по алфавитному порядку он дошел до фамилии моего брата, то остановился и сказал: «Нет, впрочем, достаточно. Остальные свободны».

А зарегистрированных объявили особым офицерским отрядом. Замечу, что все наши будущие добровольческие контрразведчики не проявили того мужества, как мой брат, и честно отмаршировали до Тоннельной, откуда были возвращены высшим начальством в Анапу по причине своей неблагонадежности. Были у нас, конечно, и офицеры другого типа. Но они, уворовав в большевицкой пулеметной школе несколько десятков пулеметов, скрывались.

Четвертый отряд мобилизованных потребовал, чтобы во главе его стоял человек, знакомый с военным делом. Выбрали прапорщика Ержа, из наших анапских мещан. Ержу, видимо, очень не хотелось быть начальником отряда. Отряд предполагался конный. Он заявил, что если в отряде будет

300 человек и только 299 лошадей, он не пойдет. Начальство заверило, что найдет все 300 лошадей. Тогда он сказал, что не пойдет, если хоть у одной лошади не будет уздечки. Начальство сразу же начало реквизировать уздечки, и начало с нашего управского обоза. И так как без уздечек обоз не мог работать, то большевики кстати мобилизовали всех обозных служащих, — в большинстве своем пленных турок. И турки эти получили винтовки, чтобы воевать во славу Красной армии.

В дальнейшем Ерж держал себя вполне лояльно: предупреждал всех офицеров о готовящейся мобилизации или аресте, т<ак> ч<то> они всегда успевали скрываться на некоторое время.

Забыла рассказать, что Эйбов, вернувшись из похода, очень интересно рассказывал, как он был в плену у Корнилова. Во время бегства не смог удрать, т<ак> к<ак> увяз в пахоте. Привели его в станицу, в хату, где был сам Корнилов, — по описанию Эйбова, видимо, фантастическому, — большой, толстый бородатый генерал, весь в орденах. И хотели уже Эйбова повесить, но он стал говорить, что он не большевик, а коммерсант. Тогда его отпустили со смехом.

Наконец, слухи о смерти Корнилова стали упорны. Приехавшие из Екатеринодара говорили о той оргии, которая там была, когда тело Корнилова было туда доставлено. Надругательства над мертвым, мишурная и шутовская церемония, шествовавшая по городу и <несшая> тело Корнилова, не поддаются описанию.

Все происходящее тупило нервы, приводило в какое-то странное состояние. Терпеть было почти невыносимо. Теперь, пожалуй, ясно, что вся моя затея с охраной культурных и материальных ценностей совершенно не соответствовала силам одного человека и несла черты большого донкихотства. Но тогда, при всякой моей попытке бросить дело, являлись различные люди — учителя, врачи, беженцы-интеллигенты, — и просили меня остаться до

конца. Собственно, они переоценивали мое значение и мои силы. Но, видимо, была потребность иметь между собой и властью хоть какой-нибудь буфер, рассчитывать хоть на какую-нибудь защиту.

Наконец, этому был положен предел. В середине апреля Совет постановил упразднить Управу, а членов ее сделать соответствующими комиссарами: меня по народному здравию и образованию; Милорадова — по техническим предприятиям города, а Зубенко — по городскому хозяйству.

Я на этом заседании не присутствовала и узнала о своем высоком назначении только утром на следующий день. Тотчас же я отправилась в Совет и на заседании Совета народных комиссаров заявила, что мои политические убеждения не позволяют мне быть большевицким комиссаром и что на этом основании я прошу меня считать выбывшей совершенно.

К моему удивлению, никто другой, как мой бывший партийный товарищ Инджебели, заявил, что мой способ действия называется саботажем, и на этом основании он предлагает Совету отставки мне не давать и силком заставить меня принять должность.

Я подтвердила, что работать не буду.

Выходя из заседания (оно происходило уже в Думском помещении), я встретила, между прочим, сына Будзинского, студента. Он просил меня, ввиду чрезвычайно тяжелого материального положения их семьи, помочь его отцу в следующем деле. Доктор Будзинский в свое время купил дачный участок у города, но сделка не была до сих пор оформлена. В данный момент он имеет возможность неофициально продать этот участок, — кажется, 400 кв. саженей — за 15 тысяч, для чего необходимо у нотариуса оформить сделку с городом. Для последнего дела необходима подпись городского головы. И доктор Будзинский прислал своего сына просить меня об этой подписи.

Я спросила его, знает ли он, что Управа упразднена, и что я рискую, давая подпись по должности, которая фактически не существует. Он ответил, что знает это и что вообще просит дать подпись задним числом.

В конце концов, это было мое дело. Я согласилась.

Чтобы отойти от дел, я уехала на несколько дней в сады. Вернувшись дня через три, чтобы взять в моем управском письменном столе кое-какие свои вещи, я на управской лестнице встретила Протапова.

Он заявил мне, что за время моего отсутствия пришло на мое имя письмо из Новороссийска. Он его распечатал и узнал, что это приглашение на эсеровскую губернскую конференцию для выборов делегата на Совет партии в Москву. На этом основании им уже выдано распоряжение меня из города не выпускать. Глумление начиналось самое явное.

Вместе с Протаповым я вошла в бывший кабинет городского головы. Там оказался какой-то мне незнакомый человек. Протапов познакомил нас, назвав его новороссийским комиссаром труда Худаниным, а меня комиссаром просвещения. Таким образом в глазах Худанина я смело могла сойти за большевичку.

Я открыла своим ключом ящик письменного стола, извлекла из него свои резолюции и начала отбирать некоторые бумаги.

Протапов вышел.

Я спросила Худанина, когда он едет обратно в Новороссийск. Оказалось, что сейчас, через полчаса и на своем комиссарском автомобиле. Я попросила его взять меня с собой. Он согласился. Я успела только позвонить по телефону домой.

Провожать знатного гостя собралось все начальство, — т. е. все те, кому был отдан приказ меня не выпускать. Протапов, видимо, не подозревал о моем трюке и спокойно разговаривал с Худаниным.

В последний момент, когда Худанин уже сидел в машине, я вскочила на подножку и на глазах у всех моих сторожей

уехала. Впечатление у них было сильное. Но, видимо, не хотели подымать истории перед знатным гостем.

[Приехали мы в Новороссийск вечером. Все гостиницы там реквизированы. Остановиться негде. Адреса конференции или какой-либо точной явки у меня не было, т<ак> к<ак> о приглашении я знала только со слов Протапова.

Но история моего бегства с Худаниным настроила меня настолько азартно, что я предложила ему отправиться ночевать к каким-нибудь товарищам, а мне уступить свою комнату.]

На следующий день, разыскав нужных мне людей и попав на заседание конференции, я рассказала всю историю своего путешествия. Видимо, в Новороссийске дело было серьезнее и большевицкая власть не носила того опереточного характера, как у нас. Мои партийные товарищи были очень удивлены всеми этими приключениями. Надо сказать, что у них настроение было совершенно подавленное и к активности их было трудно возбудить.

На конференции я была избрана делегатом на 8-ой Совет партии.

Но до поездки в Москву я решила еще заехать домой, не в самую Анапу, а на виноградники, думая, что удрать я всегда сумею, а такая трудная поездка, как в Москву, требует все же приведения в порядок некоторых дел дома.

V

Волкорез. Смерть Протапова. Суд над убийцами. Необходимость отъезда

До Тоннельной я доехала на буфере товарного поезда. На станции извозчиков не оказалось. Мне сообщил знакомый носильщик, что местный начальник гарнизона Волкорез едет в Анапу, и что, может быть, с ним можно устроиться. Это у нас обычное явление, — искать попутчиков. Я отправилась к Волкорезу, и мы условились о совместном путешествии.

[Это была середина апреля. Ввиду моего экспромтного выезда, я не успела взять из дома каких-нибудь теплых вещей и мерзла отчаянно. В Новороссийск я ехала в бурке Худанина. Теперь попросила у Волкореза какую-нибудь шинель.]

Выехали часа в 4.

В галерее типов большевицких деятелей, с которыми мне приходилось встречаться, Волкорез занимает совершенно особое место. Казак станицы Варенниковской, человек малограмотный и некультурный, он принял большевизм как некое откровение. Тайна его глубокой убежденности имела ключом ту кипучую энергию, которой было проникнуто все его существо и тот незаурядный и активный ум, который заставлял его стремиться так или иначе проявлять себя в событиях. Никакой другой режим при его полной безграмотности не дал бы ему возможности развернуться. Большевики же учли и его энергию, и его практическую сметку, и назначили его на ответственное место начальника ближайшего тыла своей армии.

Как все большевики того времени, он не скупился на жестокие слова, но при самом минимальном знакомстве выяснялось сразу, что на жестокие дела он не способен. Вообще он принадлежал к несомненно положительным типам большевизма.

Еще одна особенность, которую мне приходилось часто наблюдать. Он как-то по-мальчишески, с долей особой, я бы сказала, «влюбленности» относился к старым партийным работникам, а среди них, между прочим, и к нашему анапскому диктатору Протапову. А наряду с этим презирал откровенно шкурническую массу примазавшихся солдат и обращался с ними поистине диктаторски. Так как эти черты в той или иной мере встречались мне у многих большевиков, то распознать истинную сущность Волкореза было не трудно за трехчасовое путешествие до Анапы.

[У меня вообще очень сильно стремление к наблюдению и к коллекционированию человеческих типов. И очень часто, если человек являет собой какую-либо ценную с точки

зрения наблюдателя черту, я не могу не простить ему многого. Волкорез был ценным экземпляром. Кроме того,] подход Волкореза к большевизму, несмотря на то, что по существу он был мне враждебен, — возбуждал жалость к нему. Чувствовалось, что он принадлежит к тем искренним, судьба которых сначала разочароваться, а потом и погибнуть.

[Дорогой мы разговаривали очень много о Протапове. Я уже часто упоминала в своем рассказе его имя, но думаю, что общего облика нашего диктатора не дала. А на его фигуре тоже следует остановиться подробнее, потому что и она чрезвычайно интересна.

Молодой человек лет 28, перенесший ссылку, видевший гибель своего старшего брата и отца, — они в 1905 г. были «лесными братьями», — латыш, говорящий слабо по-русски, — он являл странную смесь неврастенической демагогии и дипломатической хитрости с самым ярым романтизмом и любовью к красивой позе и громкой фразе, — любовью очень бескорыстной, — позы ради позы и фразы ради фразы. Со всем тем, всей своей предшествующей жизнью он был кровно связан с партией большевиков. Массу большевиствующих обывателей презирал глубоко и в довольно частые минуты откровенности говорил о том, что опоздал умереть, потому что нет ничего ужаснее, чем быть свидетелем победы. Самое больше счастье, — это смерть в момент победы. Харкал он кровью отчаянно, и не было сомнения, что смерти ему ждать недолго, — но он ее ускорял, совершенно не считаясь с опасностями, выходя ночью на прямые выстрелы и единолично отнимая винтовки у разбушевавшихся солдат.

Его большевики боялись и постепенно начинали ненавидеть. Особенно сильно начало расти это чувство ненависти, когда он обнаружил, что председатель военно-революционного комитета солдат Конверский вместе с несколькими членами комитета работают на паях с грабительской шайкой, начавшей действовать у нас довольно энергично.

Он свое открытие держал в тайне, желая найти неопровержимые доказательства преступления, но по отдельным его намекам шайка догадалась о его работе, и он стоял определенно под ударом, что и сознавал сам в полной мере.

Отношение его к анапской интеллигенции было довольно забавно. Не было тех слов, на которые он поскупился, особенно в присутствии солдат. Но по существу можно было всегда рассчитывать на его защиту.

Вот характерный пример. Однажды он пригласил к себе в кабинет профессора Сиповского, который был тогда у нас директором гимназии. Беседа шла в самых мирных тонах и на общие темы. Но вот за дверью раздались шаги солдат. Он шепнул Сиповскому: «Сейчас я буду на вас кричать». И действительно, при солдатах обрушился на него с дикими ругательствами.

Вообще же Протапов любил борьбу. Личное состязание с людьми, несогласными с его доктриной, доставляло ему удовольствие спорта. Думаю, что многое в моей работе проходило безнаказанно именно благодаря его этой черте.

По человечеству, больной, разочарованный, одинокий и стоящий всегда на романтических ходулях, — он производил впечатление жалкое. Обреченность в нем чувствовалась сама по себе, а он еще любил ей рисоваться и позировал всегда на жертву.]

Приехала в Анапу вечером. Добираться домой на виноградник нечего было и думать, и я решила переночевать в санатории у моей приятельницы, сестры Веры.

Она мне с ужасом сообщила, что днем Протапов прислал ей полную корзину тюльпанов, прося положить их ему на гроб, т<ак> к<ак> он будет убит. Я, конечно, посмеялась над этим мальчишеством, но она продолжала оставаться в ужасе.

У нее в комнате мы засиделись долго.

Часов в одиннадцать ночи в городе раздался взрыв, а потом частая трескотня револьверов. Кто-то зашел и заявил, что это начался обстрел Анапы знаменитым украинским флотом.

Но потом опять все стихло, и мы не знали, чем объяснить взрыв.

Вскоре Веру вызвали к телефону. Оттуда она пришла бледная и подавленная. Просили, оказывается, прислать санитаров с носилками: Протапов ранен, а с ним и два брата Разумихина, младший, — гимназист Сережа. Лежат они в случайной квартире, у зубного врача Вернера.

Целой толпой отправились люди из санатории.

Я вышла позднее. Улица была безлюдна. На Пуш<кин>ской только я встретила двух солдат, не узнала их, но инстинктивно вынула свой револьвер. Один из солдат сделал то же самое, и мы встретились так в упор, а потом еще долго шли, пятясь с наведенными револьверами.

В доме Вернера была страшная суета. На полу лежали раненые. У них были совершенно зеленые лица, — очевидно, таков был состав взрывчатого вещества в брошенной бомбе. С трудом удалось их перенести в санаторию.

Был вызван врач Шабанов для извлечения пуль. В то время, как он производил операцию Протапову, ворвалась шайка солдат со штыками наперевес. Все мы были в таком нервном состоянии, что я начала кричать на них и за штыки их выпихивать. Это удалось.

Протапов умер через полчаса, не приходя в сознание.

Старший Разумихин, у которого пуля застряла в животе, умер на рассвете.

Младший же был ранен не так сильно, и была надежда на его спасение.

Это была самая дикая и страшная ночь за все то время. В санаторию врывались ежеминутно пьяные солдаты; кто-то истерически плакал, доктор и медицинский персонал метались в панике.

К утру начали готовиться к торжественному перенесению тел в залу.

Меня отозвал один солдат, Степанов, очень близкий к Протапову, и сообщил совершенно невероятную вещь.

Оказывается, за мое отсутствие Протапов арестовал троих солдат, причастных к грабежам, имевшим место за последнее время. А так как центром грабительской организации был военно-революционный комитет, и члены его испугались, как бы и до них очередь не дошла, то они и решили убить Протапова. Во время покушения бой был настоящий. Протапов выпустил все свои заряды из нагана и парабеллума, но только ранил одного, все же успевшего скрыться.

Теперь идет вопрос о виновниках убийства. Есть две версии, поддерживаемые военно-революционным комитетом, т. е. фактическими убийцами. По одной, — в убийстве виноваты ранее арестованные Протаповым три человека, что хотя фактически и немыслимо, зато дает возможность главарям сразу от них отделаться и избавиться от опасных свидетелей.

Другая версия, — увы, — поддерживаемая главным образом Инджебели, обвиняет в убийстве анапскую контрреволюцию, — то ли в лице буржуазии, то ли в лице разогнанной Управы, то ли в лице меньшевиков и эсеров.

Но так как фактически все три названные группы были достаточно пассивны, то они были персонифицированы мною. Инджебели выдвигал версию, что я являюсь если не исполнителем, то организатором убийства.

Нужды нет, что я приехала из Новороссийска за полчаса до убийства. Нужды нет, что у меня лично с Протаповым были очень приличные отношения.

После этих предупреждений Степанов скрылся. Я пошла в зал, где уже стояли два гроба с целой стеной красных знамен над ними.

В ту минуту я не знала, на что решиться.

Вечером происходило заседание Совета. Говорили о кандидате на пост председателя. Называли имя Инджебели.

[Даже не знавшая тайны его часть анапской интеллигенции была подавлена этой новостью.]

Он начинал уже разворачиваться вовсю, коварно и низко набрасывался на интеллигенцию.

Сиповский, как человек, бывший со мной в приятельских отношениях, был арестован и сидел уже в одной камере с мнимыми убийцами. Его допрашивали, наведя на него пулемет.

[Я понимала, что надо удирать. Но этим вопрос не исчерпывался. Привычка всеми способами все же налаживать какое-то сносное существование города заставила меня и в данном случае попытаться избавиться от Инджебели, который был, конечно, не только моим личным врагом, но и врагом всей интеллигенции.

Я решила еще не скрываться, думая, что первые дни будут достаточно суетливые.

На следующий день были назначены похороны.

Распоряжался всем Инджебели. Я видела, что хотя его все не любят, но другого кандидата у Совета нету.

Тогда мне пришла мысль найти варяга и всучить его Совету. Единственный, на ком я могла остановиться, как на человеке новом и импонирующем нашим массам своей энергией, — это был Волкорез. Я пошла к нему и рассказала все, что знала и о шайке, и о версиях военно-революционного комитета насчет убийства. Говорила и об обвинениях по моему адресу. Наше совместное путешествие делало в глазах Волкореза мое алиби совершенно достоверным. А та любовь к Протапову, о которой я упоминала, заставила его прийти в ярость. Я предложила ему выставить свою кандидатуру на пост председателя Совета. Он согласился. Через того же Степанова и кое-кого из беспартийных я и стала говорить о его кандидатуре.

Он был военный, — это много значило в глазах солдат из Совета. Кроме того, он друг Протапова и, наконец, человек новый.

Должна сказать, что до последней минуты я не была уверена в поражении Инджебели. А мое участие в борьбе против его кандидатуры было ему уже известно, и, в случае, если бы он был избран, мне надо было немедленно исчезать.

Но избранным оказался Волкорез.]

Митинг, созванный для суда над убийцами, приговорил арестованных Протаповым грабителей к расстрелу. Тела их валялись долго на площади перед Управой. Но эта смерть прошла довольно незаметно, потому что те дни вообще были сумасшедшими и никого нельзя было уже ничем удивить.

Хоронили Протапова и Разумихина пышно. У могилы Волкорез говорил речь, указывая пальцем на убийц и обвиняя их иносказательно.

Мне же делать было больше нечего. Я решила немедленно уезжать, потому что дальше выносить этой обстановки не было сил.

Полулегально я выехала в конце апреля.

VI

Москва

Полгода, проведенных мною в Москве, и та работа, в которой мне пришлось принять участие, не входят в план этих воспоминаний.

[Дам только несколько отдельных настроений, очень ярко характеризующих, как трудно для всей необъятной России найти хоть какую-нибудь общую формулу не только в вопросах принципиальных, но и практических.]

Я проехала до Москвы через Царицын дней в 10. Все, что мне приходилось наблюдать дома, подтверждалось впечатлениями дороги: вся Россия, от Черного моря до Волги и от Волги и до Москвы — весь русский народ, — болен большевизмом. Это не значит, что весь русский народ сочувствует большевикам, а просто произошло какое-то психологическое передвижение ценностей, и говорить против большевиков нельзя, потому что неприлично. Может быть, это результат их демагогических лозунгов, а может быть, это массовый самогипноз, потому что, несомненно, такие же

явления бывали и без демагогических лозунгов. Пожалуй, на большевиков просто была мода, и ей не следовать психологически обыватель не мог.

[Это неприличие антибольшевицких настроений в связи с теми сведениями, которые были у меня о скитании ничтожной кучки добровольцев по Кубанским и Донским степям, предрешало мое убеждение, что в данный момент об открытой борьбе с большевиками нельзя думать, потому что массы на нее не пойдут. Надо было или вести борьбу подпольно, или ждать. Если личный террор казался мне тактически приемлемым,] все разговоры об образовании фронтов и чехословаках казались полным незнанием реального настроения народных масс.

На Совете партии именно с такими разговорами я и столкнулась. Первое впечатление они произвели на меня оглушающее. У меня ясно стояла перед глазами кучка безумцев-добровольцев и несоизмеримая с ними масса солдат, окружившая их со всех сторон.

Я первое время отошла совершенно от работы, но частые встречи с людьми, верящими в дело освобождения при помощи фронтов, и частичные успехи этого метода борьбы, заставили меня поколебаться. Быть может, мои наблюдения имели только местный характер и в общероссийском масштабе неприложимы.

В июне я вошла в работу и до конца октября не оставляла ее.

[В конце сентября я выехала по командировке в Самару. Полтора месяца пропутешествовала на подводе, стремясь пересечь фронт, и к Самаре подъехала к моменту ее сдачи красным.]

В конце концов, в середине октября я была опять дома.

И опять любопытное несоответствие настроений. Я приехала, чувствуя себя, во-первых, и главным образом активным борцом против коммунистов, т. е. до известной степени контрреволюционером. Но все то, что определяло

мою антибольшевицкую работу в советской России, по эту сторону фронта оказалось почти большевизмом, во всяком случае чем<-то> достаточно с точки зрения добровольчества преступным и подозрительным.

VII

Возвращение. Ростов. Екатеринодар. События за время моего отсутствия. Казнь большевиков. Приезд домой. Арест. Каталажка и ее обитатели. Контрразведка и следственная комиссия. Военно-полевой суд и мое освобождение. Дело Сулькевича. Провокация Вознесенского. Настроения

Уже в Ростове люди понимающие советовали сначала запросить своих в Анапе, а потом уже ехать. [«Выпорят или повесят».] Я совершенно не представляла себе обстановки. Да и полуторамесячное скитание на подводе настолько утомило, что особенно рассуждать не хотелось, — просто об отдыхе думала.

В Екатеринодаре предостережения были еще настойчивее. Начинала обрисовываться картина событий за мое отсутствие.

Большевики были изгнаны из Анапы 15-го августа. Генерал Покровский, взяв Анапу, поставил сразу перед Управой виселицу. Выборные от граждан еле убедили снять ее. Началась расправа с большевиками и вообще со всеми, на кого у кого-либо была охота доносить.

Случайный анапчанин сообщил мне, что доносительством, среди других, особенно усердно занимается доктор Будзинский. Из этого я могла бы, конечно, заранее сделать соответствующие выводы.

Некоторые казни поражали своей нелепостью. Казнено было 14 человек.

Казнили Инджебели. После вынесения приговора он, говорят, валялся в ногах у пьяного генерала Борисевича и кричал: «Ваше превосходительство, я верный слуга Его Величества». Генерал отпихнул его сапогом.

Казнен был Мережко, меньшевик, за то, что был председателем Совета еще при Временном правительстве. Я знаю, что был он человеком непорядочным, но любопытно, что, когда мне пришлось потом возмущаться его казнью и говорить, что она была несправедлива, выходило, что его именно за непорядочность и казнили.

Перед смертью он получил записку от жены: «Не смотри такими страшными глазами на смерть». Когда потом, через несколько месяцев, тела их откопали, чтобы похоронить одного из казненных на кладбище, в руке у Мережко нашли эту записку, залитую кровью. Его жена взяла ее и носила потом на груди.

Казнили начальника анапского отряда прапорщика Ержа и помощника его Воронкова. Я уже говорила, что Ерж не был большевиком и помогал офицерам. Во время отступления он дошел с большевиками до Тоннельной, а там вместе с Воронковым решил бежать к добровольцам. В коляске они приехали прямо к помещению городской стражи и были тотчас же арестованы. Доводам их о том, что они добровольно решили перекинуться, никто не поверил. Судили их отчего-то с Малкиным, эсером, вместе. Разговаривать не дали и вынесли смертный приговор. Малкин только успел спросить, а как же он, — тогда офицеры судьи, бывшие до того пьяны, что не заметили, что перед ними не два, а три подсудимых, отпустили Малкина на свободу. Говорят, что Ерж умирал с исключительным мужеством.

Казнили Жинкина, винодела. Его вина заключалась в том, что он поступил в качестве винодела на службу в реквизированный большевиками подвал общества «Латипак».

Казнили солдата Михаила Школяренко, тоже за службу в этом подвале. Дополнительно его обвиняли в том, что он украл 200 тысяч рублей у «Латипака», и, доискиваясь, где он спрятал эти деньги, избили его так, что он сошел с ума и сам разбил себе череп об угол печки в камере. Везли его на казнь разбитого, лежащего плашмя на подводе, сумасшедшего и громко орущего песни.

Казнили еще матроса, — фамилию забыла, — он перед смертью говорил офицерам, что сам бросал офицеров в топки.

Волкорез, Конверский и многие другие успели скрыться.

Арестное помещение при городской страже (милиции) — в просторечии каталажка — полно.

Конечно, все эти новости произвели на меня удручающее впечатление.

Но, с одной стороны, полугодовая работа против большевиков как будто обеспечивала меня от чрезмерных кар, а с другой — податься было некуда, и я просто устала.

С Тоннельной позвонила по телефону домой. Брат долго не мог поверить, что это я с ним говорю, а потом мог только спросить: «Зачем ты приехала?»

Моя семья жила еще в саду в 6 верстах от Анапы. Я поехала туда, не заезжая в город. Общее настроение домашних было таково, что я решила не томить их ожиданием и на следующее утро отправилась в город и прописалась в адресном столе, что по нашим нравам было далеко не обязательно. Во всяком случае, я подчеркнула, что не скрываюсь. А после этого зашла еще к сестре Вере, которая служила в гарнизонном госпитале. У нее познакомилась с начальником гарнизона полковником Ткачевым. После этого вернулась домой.

Вечером во дворе раздался какой-то шум.

Брат вышел из комнаты и через минуту вызвал меня.

Оказывается, приехал взвод конных казаков под командой вольноопределяющегося Бескоровайного для того, чтобы меня арестовать.

Было уже темно, и брат предложил мне использовать свое офицерское право и отослать казаков, с тем, что он на следующий день сам доставит меня в каталажку.

Я чувствовала, в каком он неприятном положении, и решила ехать сейчас же.

Запрягли подводу. Вокруг скакали казаки с винтовками, впереди вольноопределяющийся. Брат вызвался меня проводить. Мы с ним мало разговаривали. Перед городом он сказал мне только: «Если это кончится плохо, я своего Георгия и свои погоны с почтением отдам Деникину».

Приехали ночью. В каталажке освещения не полагалось. Поместили меня в большой камере для вытрезвления пьяных. На нарах не было даже соломы. Окно было разбито и из него немилосердно дуло. Утром к этим подробностям прибавилась разбитая печка, угол у которой был весь в крови: тут, оказывается, бился сумасшедший Школяренко.

Глазок в мою камеру все время был в тени: местные офицеры, устроившиеся при контрразведке, наблюдали для любопытства.

Во время умывания, — мылись во дворе, набирая из бутылки воду в рот, а потом выливая ее на руки, чтобы мыть лицо, — познакомилась со всеми обитателями «дворца комиссаров». Священник Сокольский, некстати служивший панихиды и бывший уже без меня комиссаром по бракоразводным делам, человек мало нормальный, и дьячок из его церкви; комиссар финансов Егоров, чахоточный молодой человек, служивший писарем у податного инспектора; старик какой-то, обвиненный в том, что для сигнализации большевикам спалил свой собственный хутор, а хутор стоял цел и невредим и не горел даже; а главное, — все убийцы Протапова, все большевики-уголовники, — они не расстреляны и будто чувствуют себя лучше, чем наш брат.

Потянулись медленные дни. Самое лучшее было, когда моя камера была заперта, потому что иначе являлся Сокольский и повествовал о том, как нас будут расстреливать.

На свидания ко мне пускали ежедневно мать, брата и тетку, которая в это время вообще очень энергично защищала перед всяческими властями осужденных и подсудимых.

Однажды во время прогулки один из убийц Протапова, здоровенный детина Ревученко от имени всей общей камеры обратился ко мне с просьбой.

Ждали прибытия начальника тылового района, генерала Борисевича, — в первой камере он всегда дерется. Арестанты предлагали мне просить начальство сесть в первую камеру, потому что, авось, он не решится бить женщину. К счастью, он не приехал.

Однажды я узнала, что арестован один из трех братьев, — фамилию забыла, — солдат, хромой сапожник, фактический убийца Протапова и участник всех бывших у нас грабежей. Я была уверена, что дело кончится расстрелом. В момент, когда у меня на свидании были мать и брат, в соседней камере его пороли. Он стонал и вопил немилосердно, но потом на прогулку вышел. Оказывается, он был арестован только за то, что в пьяном виде на базаре обнял начальника контрразведки князя Трубецкого. Его скоро выпустили.

И Ревученку выпустили. Ему Трубецкой сказал: «Какой ты, братец, большевик, ты борец цирковой. Любо-дорого смотреть на такие мускулы». Он быстро скрылся, получив свободу.

Мое дело было в ведении двух учреждений: военной контрразведки и следственной комиссии.

Начальник контрразведки Трубецкой с глазу на глаз в моей камере давал мне совет уговорить мою мать отпустить ему по дешевой цене вино, которое у нее было не продано. Я, смеясь, ответила ему, что боюсь, что даже дешевую плату он уплотит квитанцией от прошлогодней телеграммы.

Председатель следственной комиссии, старый следователь по особо важным делам или что-то в этом роде Назаров, был более умелым взяточником.

Брату моему он предложил внести 10 тысяч как залог за меня. Но предлагал он это с глазу на глаз, а брат имел наивность принести деньги при свидетелях. Он заявил тогда, что ничего подобного он брату не предлагал.

[На допросах он рассказывал мне, что получил 4 бутылки старого вина, очевидно, от моей тетки, как взятку за

меня. Я сказала ему на это, что моя тетка не так наивна и понимает, что 4 бутылки, — мало. Он пригрозил занести мою фразу в протокол. Но угрозой дело и обошлось.

В дальнейшем этот Назаров был избит каким-то московским богачом пустой бутылкой от шампанского. Он хотел сделать этого богача большевиком и получить с него большую взятку.

После этой истории дело о его взяточничестве выплыло, и он отравился.]

Но пока что он действовал. На допросах я выяснила, что главным свидетелем обвинения по моему делу фигурирует Будзинский со своими служащими, — с одной стороны, и представители акционерного общества «Латипак» со служащими — с другой. Обвиняют, помимо факта моего невольного комиссарства, в том, что я была инициатором реквизиции санатории и подвалов «Латипак».

Дело по существу дутое, но совершенно очевидно стремление Будзинского заставить меня сидеть до суда в каталажке. Сулькевич, б<ывший> комиссар лесоохранения, Милорадов, комиссар труда, и другие были под залог и под подписку о невыезде отпущены на свободу. Все же просьбы моих родных о том, чтобы и меня до суда отпустили, встречали отказ со стороны Назарова.

В это время перед нами стоял вопрос о моем суде. Надо было искать защитника. Суд мог состояться в самой Анапе, так как туда ждали выездную сессию военно-полевого суда.

Этими заботами занялась моя тетка.

Однажды она сообщила мне, что одна наша родственница, очень близкий Будзинскому человек, звонила ей по телефону и просила ее пригласить защищать меня находящегося в Анапе московского присяжного поверенного Вознесенского, наверное, человека талантливого, но беспринципного. Он был гласным Московской думы от п<артии> эсеров, при большевиках в Анапе держал себя двусмысленно, а его поведение при добровольцах покажет в дальнейшем, что он из себя представлял.

Зная его близость к Будзинскому и зная близость к Будзинскому дамы-советчицы, я просила тетку передать им, что именно по этим причинам я их предложения принять не могу.

Между тем выяснилась довольно забавная подробность. Следственная комиссия, получив из Темрюка уведомление о выезде сессии суда в Анапу, немедленно выслала мое дело в Темрюк. Таким образом, в ближайшую сессию дело не могло слушаться.

Объяснение этому очень простое. Очевидно, мои доброжелатели были слишком уверены в моем оправдании и хотели оттянуть дело, а пока продержать меня в каталажке. Этот факт меня очень разозлил. И когда председатель суда появился у меня в камере, я ему открыто рассказала, что считаю все следственное производство делом нечистым, и привела кое-какие данные.

Он сам сказал мне, что по существу считает для меня выгодным уклониться от военно-полевого суда и попасть в краевой суд, потому что у них только два приговора: расстрел или бессрочная каторга, а защитников они не допускают.

Кроме того, выслушав историю с моим освобождением на поруки, он сказал, чтобы я прислала к нему брата с тремя тысячами залога.

Брат отнес ему эти деньги, и вечером я была свободна, дав предварительно расписку о невыезде.

Было поздно, и я не могла взять с собой матраса и других вещей, которыми я обросла за полтора месяца в каталажке.

Вечером отмылась от грязи и вшей, а на следующее утро должна была идти заканчивать каталажные дела.

Брат с утра уехал в сад. А я зашла в Управу, где должен был происходить суд. Там увидела подсудимого Сулькевича, спокойного, в сюртуке, он был уверен в своем оправдании, т<ак> к<ак> кроме лесоохранения при большевиках ничем не занимался.

Потом я прошла к знакомым.

Через час было там получено сведение, что Сулькевича приговорили к смертной казни. Мы все этому не поверили.

Я на извозчике отправилась за матрасом в каталажку. В кордегардию посторонних не пускали, но меня пустили, так как знали, что там лежат мои вещи.

В углу я увидала Сулькевича. Он был бледен, галстук съехал набок. Вокруг него стояла стража с винтовками. Я подошла к нему.

Он начал быстро говорить: «Через 24 часа меня расстреляют. Скажите жене, что я хочу есть, а главное, курить, курить». Я дала ему свои папиросы и побежала к его жене.

Там я застала полную растерянность. Жена была вне себя; одиннадцатилетняя дочь рыдала. Несколько дам не знали, с какого конца приняться за дело.

Я передала просьбу Сулькевича и предложила сейчас же составить телеграмму Мореву, который был в Екатеринодаре в качестве члена Рады от Анапы. Он и Сулькевич были партийными товарищами, — народными социалистами.

Жена Сулькевича просила меня диктовать ей, так как она ничего не соображает.

Я продиктовала: «Муж приговорен к смертной казни...» В соседней комнате раздался страшный крик. Оказывается, от дочери она скрыла приговор и сказала ей, что отец приговорен к четырем годам тюрьмы.

Вернувшись домой, я узнала от матери, что в мое отсутствие приходил Милорадов. Его дело должно было слушаться за делом Сулькевича. Он был на суде. Услыхав приговор над Сулькевичем, он решил скрыться и по дороге зашел ко мне, с советом — тоже немедленно исчезнуть, потому что ему достоверно известно, что этой ночью я буду опять арестована и что, пожалуй, до каталажки меня не довезут, знает это он от Вознесенского.

Кроме того, дома лежала записка к моему брату от нашего семейного друга священника Преображенского.

Я записку прочла, т<ак> к<ак> в ней могло быть что-нибудь экстренное. О<тец> Николай просил брата немедленно прийти в суд.

Мы с матерью решили пойти туда, так как брат был все еще на винограднике.

В Управе была толпа, но тишина царила подавляющая. Когда я вошла в коридор, передо мной люди расступались и смотрели мне вслед, как обреченной.

Слушалось дело комиссара почт и телеграфа. Его чуть было тоже не укатали к казни, но даже военно-полевой суд, в конце концов, подверг сомнению правильность следствия, и дело это, так же как и остальные дела, было направлено на доследование.

Но в тот момент суд только начался.

Я вызвала отца Николая. Он вышел из зала суда, отвел меня в сторону и стал говорить: «Зачем вы пришли сюда? Разве вы не понимаете, чем вы рискуете? Я вас умоляю этой же ночью скрыться. Если вам в голову не приходит, как это сделать, то у меня есть верные люди, которые вас передержат. Не будьте ребячливы, не бравируйте».

Я ничего не понимала.

Он стал уговаривать мою мать, чтобы она повлияла на меня.

Я просила рассказать, что ему известно. Оказывается, его заверили, что из контрразведки выданы три ордера на арест, и заранее известно, что арестованные при попытке к бегству будут расстреляны. Один из ордеров на мое имя.

В тот сумасшедший день все это казалось очень вероятным.

Я только догадалась спросить его, кто ему это сказал. Оказывается, присяжный поверенный Вознесенский. Будзинский будто бы тоже об этом знает и предупреждал. О<тец> Николай добавил от себя, что хотя он, как и я, Будзинского не любит, но в таком деле надо думать, что и у него есть же человеческие чувства.

Но для меня было достаточно знать, что в этом деле, в качестве контрагента Будзинского участвует Вознесенский, чтобы я решила не бежать.

А так как вопрос все же этим не решался и можно было легко предположить, что в данном случае я ошибаюсь, я прямо из суда отправилась к коменданту и начальнику гарнизона полковнику Ткачеву.

Он меня принял. Я ему предложила арестовать меня немедленно, так как я не хочу потеряться по дороге.

Он с удивлением смотрел на меня. Ему о моем аресте ничего не известно. Я же настаивала.

Тогда он вызвал к себе Трубецкого, а меня отправил к сестре Вере, жившей в том же помещении.

Через двадцать минут он пришел к нам и сообщил сведения, имеющиеся в контрразведке. Трубецкой получил донос, что в эту ночь я собираюсь бежать, и принял меры уже, чтобы поймать меня на дороге.

«При этом, конечно, возможны всякие случайности», — добавил полковник Ткачев.

Таким образом, я чуть было не стала жертвой самой отчаянной провокации. Каково было бы положение моих друзей, — о<тца> Николая и Милорадова, — если бы я послушалась их совета и они оказались бы слепым орудием в руках Будзинского и Вознесенского.

Комендант дал мне на ту ночь охрану из одного офицера и двух казаков.

На следующий день суд уехал.

Морев ходатайствовал о смягчении участи Сулькевича. Казнь ему была заменена пожизненной каторгой; потом и это заменили немедленной отправкой на фронт.

Милорадову мы сфабриковали документы, и он уехал в Батум.

Я жила под надзором без права выезда.

[Часто вызывали к допросам. Особенно много возился с моими показаниями приехавший контрразведчик, кокаинист полковник Крым-Шамхалов. Перед допросами он

очень красочно рассказывал, как он казнил известную Ге. Вообще старался запугать до полусмерти. Но в Анапе была такая тоска, что все эти запугивания казались развлечениями, а кроме того, уж очень трудно запугать словами.

Когда он резюмировал свои рассказы: «У меня тактика такая: как тигр, одним ударом, со спины», — и при этом предлагал мне кокаину, я и злилась, и веселилась, и отвечала: «А моя тактика — прямо в лоб», — и показывала пальцем на его лоб. После этого он держался ближе к существу дела.]

Вообще же это время было исключительно тоскливым. Помимо всяческих политических и экономических показателей того, что добровольчество мертво, самым ярким показателем было то чувство безысходной апатии и тоски, которое царило в добровольческом тылу.

Впечатление создавалось какой-то всеобщей общественной и моральной инвалидности. Никаких планов на будущее, никакой тяги к работе.

Анапа была мертвая. Было так, что в курзале после благотворительных вечеров несколько дней стоял запах винного перегара.

[Пили все: контрразведчики и бывшие комиссары, раненые офицеры и дамы-беженки, гимназисты и старик комендант.]

О нем только еще несколько слов. Казачий полковник, не дурак выпить, ругатель, — он по существу был за этот период единственным «человеком» в Анапе, с больной и измученной душой. Мы с ним очень сдружились, несмотря на разницу в возрасте и в убеждениях. И до сих пор я ему очень благодарна, т<ак> к<ак> во время всего моего дела он проявил максимум справедливости и активности, и исключительно сердечное отношение к моей матери, которая была совершенно подавлена всеми событиями.

Я готовилась к суду. Списалась с присяжным поверенным Каплиным в Екатеринодаре. Он в первую очередь постарался

передать мое дело из военно-полевого суда в окружной военный. Там было больше законности и гарантий.

Подбирали свидетелей защиты. Часто являлись ко мне незнакомые люди и предлагали свои услуги. Какие-то две дамы, мне неизвестные, слышали, оказывается, случайно, как я спорила с Инджебели по вопросу о поддержке Учредительного собрания и о борьбе с большевиками. Один офицер присутствовал при моем разговоре с аптекаршей, которая просила, чтобы Управа реквизировала у нее аптеку. Один молодой человек случайно знал, будучи в Москве, чем я занималась там и т. д.

Будзинский, в свою очередь, не останавливался на полпути. Когда до него доходили сведения о том, что я просила кого-нибудь быть свидетелем, он к этому человеку отправлялся, сначала пытался убедить его в моем большевизме, а в случае неудачи — недвусмысленно угрожал ему. Таким путем ему удалось отвести несколько свидетелей.

Вообще наряду с незнакомыми людьми, предлагавшими свои услуги, многие друзья определенно уклонялись. У меня в Анапе кроме друзей личных, связанных со мной общностью взглядов, есть еще друзья семейные, знающие меня с детства и относящиеся ко мне хорошо, потому что они хорошо относятся ко всей моей семье. Многие из них дрогнули. Шутка ли защищать большевичку. Ведь даже в Екатеринодаре адвокаты на просьбы моей тетки выступить в мою защиту очень многие уклонились. Один из них, <Никифораки?>, — многим обязанный моему отцу, — уклонился довольно демонстративно. Не мудрено, — был период, когда было неприлично не быть архидоброволь-цем и контрразведчиком.

Я забыла еще упомянуть, что в приготовлениях к суду очень трогательную роль играл бывший сослуживец моего отца, бывший председатель какого-то окружного суда, старик Лабунский, живший в Анапе в качестве беженца. Он чуть ли не ежедневно являлся к нам и устраивал репетиции

суда. Он изображал всех: и председателя, и прокурора, и защитника, и свидетелей, и всеми силами старался меня сбить, а я должна была защищаться. Он так и входил в комнату с возгласом: «Подсудимая, ваше имя, возраст и т. д.». Все это было и трогательно, и забавно, а мне дало достаточное представление о процессе, что мне очень пригодилось. В конце концов, я жалела, что пригласила защитников, — могла бы справиться и без них. Главное их значение — моральная поддержка.

VIII

Суд. Свидетели защиты и обвинения. Способы защиты. Приговор. Отклики советской прессы

Наконец был назначен день суда на 29 января. Со всеми своими бесчисленными свидетелями я выехала в Екатеринодар.

За это время мой защитник Каплин стал членом правительства и просил взять мое дело прис<яжного> поверенного Коробьина, члена Рады. Тот в свою очередь пригласил пр<исяжного> пов<еренного> Хинтибидзе.

[Самым сложным делом было разместить всех свидетелей в Екатеринодаре, положительно переполненном. До поздней ночи я развозила их по различным знакомым. Сама остановилась в семье почти незнакомой, у дочери анапской начальницы Мариинского училища.]

При открытии заседания выяснилось, что кроме Будзинского, все свидетели обвинения отсутствуют. По требованию прокурора дело было отложено.

Пришлось всем опять возвращаться назад.

Я задержалась в Екатеринодаре и через несколько дней зашла к Хинтибидзе. Он сообщил мне, что только что получил сведения из суда, что по требованию Будзинского суд решил изменить меры пресечения по отношению ко мне и постановил меня арестовать.

Коробьин по этому поводу обратился к Кубанскому правительству. Арест удалось отменить.

Вторично мой суд был назначен на 2-ое марта.

Опять выехали со свидетелями на четырех экипажах. Опять размещала их по знакомым.

Пришлось основательно поспорить с моими защитниками. Они, во-первых, настаивали, чтобы я не выступала на суде иначе, как по их просьбе; на это я была согласна. Но, кроме того, я настаивала, чтобы они базировали мою защиту на моей принадлежности к партии эсеров. Они же возражали, что этот факт сам по себе с точки зрения состава суда достаточно предосудителен и гарантирует максимально недоброжелательное отношение судей.

В конце концов, я настояла на своем. А они, да и другие адвокаты, предупреждали меня, что я должна быть готова минимум к четырехлетнему пребыванию в тюрьме. Мне все же не верилось в это, хотя и судили меня по нелепому приказу № 10 Кубанского правительства, за подписью Быча и Кулабухова. По статье, по которой я обвинялась, наказание колебалось от смертной казни до трех рублей штрафу.

Но перейду к самому процессу. Должна сказать, что он удивительно умело построен. Несомненно, каждый подсудимый с волнением поднимается на свое место. И весь процесс построен так, что дает возможность подсудимому не только успокоиться, но и разозлиться настолько, чтобы азартно защищать себя.

Ответив на вопросы о своем имени, возрасте и т. д., подсудимый остается как бы в стороне. Начинается длинная процедура приведения к присяге свидетелей. Уже за это время можно значительно привыкнуть к обстановке и почувствовать себя зрителем.

Потом допрос свидетелей обвинения. Успокоившееся внимание направлено только к нахождению слабых мест в их показаниях. Но конечно, подряд свидетели обвинения заставляют настроиться довольно пессимистически.

И только свидетели защиты уничтожают это настроение. Начинаешь верить в удачный исход дела.

Свидетелями обвинения у меня были: Будзинский, двое его служащих и Келлер, представитель общества «Латипак». Все они, кроме Будзинского, чувствовали себя неловко, были явно втянуты в дело и ничего особенного, что нужно было бы опровергать, не говорили.

Зато Будзинский не стеснялся.

К моему удивлению я узнала, что в порыве большевицкого экстаза отдала земельному комитету свое имение, которого, кстати сказать, у меня никогда не было. Узнала я дальше, что происхожу из чрезвычайно почтенной семьи, которая чувствует себя опозоренной моей деятельностью, узнала, что Будзинский собирается предъявить ко мне иск в 800 тысяч рублей за убытки в реквизированной санатории.

Кончил он оглашением убийственного для меня письма, в котором один из его служащих сообщает ему, что вот, мол, зашел на огонек на заседание анапской Думы, происходившее под председательством городского головы такой-то (т. е. под моим председательством). Она настаивала на необходимости реквизировать санатории, и под ее давлением Дума постановила это сделать.

Суд, видимо, отнесся к этому письму как к очень вескому доказательству. Защитники зашептались и предложили мне самой ответить на все обвинения Будзинского.

Мне пришлось коснуться всей истории нашей борьбы. У меня были в руках документы, по которым явствовало, что в конце декабря 1917 г. он обращался из еще небольшевицкой Анапы в Петербург, в уже большевицкое Управление Красного Креста, прося разогнать живущих у него в санатории офицеров как явных контрреволюционеров. Делал он это потому, что первоначальные его условия с Красным Крестом, ввиду непомерно возросшей дороговизны, оказались ему совершенно невыгодными.

Вообще в общих чертах очертив деятельность Будзинского и мотивы моей борьбы с ним, я подробнее остановилась на письме, которое он огласил.

Не входя в оценку обвинения по существу, я только просила судей обратить внимание, что такое письмо могло быть инспирировано человеком, хорошо знакомым с законом о старом самоуправлении и совершенно не знающим закона о демократических Думах. Раньше городской голова был в то же время и председателем Думы, — Будзинский именно такую практику знал в период своего головинства. По новому же закону власть исполнительная не смешивается с властью законодательной, и на этом основании председательствовать на заседаниях Думы может, за отсутствием ее председателя и его товарища, кто угодно, только не городской голова и вообще не член Управы. На этом основании совершенно бесспорно, что я председательствовать на заседании Думы не могла. Утверждение же обратного является не случайным недоразумением, а той практикой, которую слишком хорошо знал человек, которому это письмо понадобилось.

В публике раздались аплодисменты. Собственно, этим разоблачением была сильно подорвана достоверность всех показаний Будзинского.

Свидетелями защиты были люди очень разнообразные. Был тут офицер, которому я указывала, как ему пробиться к Корнилову. Была жена учителя украинца, о котором я упоминала уже. Был случайный свидетель моего разговора с аптекаршей, была начальница гимназии, которая очень подробно рассказала случай с дачным участком Будзинского и комментарии, которые тогда давались мною к этому случаю, — необходимость всеми мерами отстаивать интересы всех граждан перед большевиками. Были люди, которые, увы, — слишком откровенно и даже преувеличенно говорили о моей деятельности в Москве, несмотря на все знаки, которые я им делала. Были представители беженцев, был Сиповский, наконец, был полковник Ткачев, заявивший, что весь мой процесс — плод доносительства Будзинского и подкупности следственной комиссии.

Показания свидетелей защиты были очень характерны, так как ярко рисовали ту панику, в которой находились при большевиках анапские обыватели.

Из-за этого общий тон показаний делал мою работу гораздо более героической и рискованной, чем она была на самом деле. Совершенно исчезал момент спорта и азарта, которым сопровождались все соприкосновения с тогдашними большевиками.

Часто в известных мне фактах я все же не узнавала себя, до такой степени моя роль в них принимала гипертрофические размеры.

Мне даже пришлось один раз реабилитировать память убитого Протапова и указать, что без его доброжелательства мне вряд ли удалось что-либо сделать.

Во всяком случае, приходилось скорее сдерживать свидетелей, чем развивать их показания. После каждого из них я давала небольшие комментарии фактической стороне дела.

Прокурор произнес довольно вялую речь. Зато мои защитники разразились целыми декларациями, Коробьин противопоставлял две психологии, — мою и Будзинского. Поскольку он выявил склонность Будзинского к доносительству и т. д., я не возражала, но когда он начал говорить, что великий Кант в свое время, во имя защиты науки и культуры, остался в Кенигсбергском университете во время нашествия Наполеона, а я с теми же целями осталась при большевиках городским головой, то я начала его потихоньку сзади дергать за фалды, — это было до беспредельности слишком сильно.

В последнем слове я просила суд принять во внимание, что, будучи членом партии эсеров, я считаю для себя обязательными все постановления ЦК партии эсеров. Среди них (я его прочла) есть постановление об исключении из партии всех, принимающих активное участие в большевистском государственном строительстве. Я же исключена

не была, а, напротив, в Москве принимала самое активное участие в партийной работе.

Судьи хлопали глазами. Для них казалась невероятной работа эсеров против коммунистов. Но, во всяком случае, точного приказа о привлечении к суду за принадлежность к партии эсеров у них тоже не было.

Когда суд ушел совещаться, меня окружили адвокаты. Они считали ошибкой мое признание своей партийной принадлежности. Общий вывод был один: надо рассчитывать на четыре года каторжных работ.

Суд совещался часа два. Самое томительное мгновение в процессе, — это момент чтения постановления суда. Чувствуешь себя центром внимания и, не зная еще приговор, не знаешь, проявление каких чувств сдерживать: радости ли по поводу оправдания или огорчения по поводу сурового приговора.

Суд постановил все же считать меня виновной, но ввиду целого ряда смягчающих обстоятельств приговорил меня к двум неделям ареста. Дело кончилось в два часа ночи.

Потом я попала под амнистию.

О моем процессе все екатеринодарские газеты печатали отчет три дня. Любопытно было, что анапчане были в эти дни лишены газет, т<ак> к<ак> Будзинский скупал все номера, где были все разоблачения его работы.

Адвокатский мир считал этот процесс одним из самых интересных за все время существования Добрармии. Самым интересным, по их мнению, был способ защиты своей партийной принадлежностью.

Вскоре выяснилось, что и в советской прессе мое дело имело отклик.

В московских «Известиях» был подробный отчет о процессе. Моя антибольшевицкая работа приняла формы уже совершенно гипертрофические.

Похищала у большевиков золотой фонд для Колчака, способствовала Фанни Каплан в покушении на Ленина и т. д.

Советское радио по этому поводу сообщало так свое извещение: «Суд приговорил ее к двум неделям штрафа. Как же иначе мог приговорить добровольческий суд своего лакея».

Дома, в Анапе, большинство было удовлетворено моим процессом. Выяснялась возможность рассчитывать не только на расстрел, но и на минимальную справедливость.

Тем, собственно, и кончился эпизод моего головинства.

Оглядываясь теперь назад, я все же уверена, что была права, противопоставив большевицкому натиску стремление как-то охранить права анапчан на существование.

Думаю, что по точному смыслу должности городского головы я должна была это сделать, — таков был мой гражданский долг. Думаю, что так я поступила бы, если бы и не было даже некоторых благоприятных обстоятельств в нашей анапской действительности.

Кроме того, в масштабе государства или большого города различная партийная принадлежность влечет за собой безусловную вражду и полное непонимание друг друга по человечеству. В масштабе же нашей маленькой Анапы ничто не может окончательно заслонить человека.

И стоя на почве защиты человека, стремясь только к этой цели и отметая все остальное, я могла рассчитывать найти «человеков» и среди своих партийных, и принципиальных врагов. Таким человеком оказался Протапов, такими людьми были многие солдаты большевики. А позднее таким же человеком по отношению ко мне оказался анапский комендант полковник Ткачев.

И, пожалуй, именно самое страшное в революции, — и особенно в Гражданской войне, — что за лесом лозунгов и этикеток мы все разучиваемся видеть деревья, — отдельных людей.

Проза

Юрали

1. Приближается моя смерть, и не хочу я, чтобы вместе со мной исчезли те слова учителя, которые я слышал.

Оглядываясь на долгий путь свой, вижу я, что многим, как и мне некогда, облегчат они дорогу, сделав зрение — ясным, сердце — бестрепетным, а руку — уверенной. Ибо, изнемогая на пути, встретил я Юрали и родился вторым рождением.

Вам, изнемогающие, пишу я и верю, что слова и жизнь его будут вам источником воды живой.

Ясен и безбурен мой вечер. Мирно гаснет заря. Сердце — свиток, исписанный рукой мудрого. Как плод созревший, отдаю я жизнь свою вечности. Дети мои, узнайте, что близится жатва.

И еще узнайте, что здесь, среди нас, живущих и юных даже в старости, был тот, кто обречен. Обреченным назовете вы Юрали, узнав слова его и деяния.

Память моя, видя в тумане настоящее, сохранила мне каждое его слово, дабы поведать о нем мог я.

2. Среди горных пастбищ рос Юрали. Крутые скалы делали эти пастбища почти недоступными. Только в самые жаркие месяцы, когда весенние потоки пересыхали, отвесная тропа могла вывести через несколько дней пути к селеньям, находящимся в долинах.

Начиная ранней весной и кончая дождливыми осенними днями, отец Юрали пас свои стада на зеленых лугах, перегоняя их все выше и выше. Зимой с первым снегом скот запирался в низкие сараи; там же за перегородкой жил и Юрали с отцом.

Дни были так похожи один на другой, что казалось Юрали, — всегда жил он в горах и вечно будет жить там.

Часто бродил младенец по лугам, собирая цветы и наблюдая птичьи стаи: к солнцу потянутся птицы, — и знал он, что скоро белым снегом будут покрыты луга; и с весенним перелетом ждал он первой травы.

К полдню, когда отец задремлет, Юрали садился над обрывом и наблюдал, как внизу живут люди, — пашут нивы, меряют пыльные дороги, собираются толпами у дверей низких домов своих.

Длинными же зимними вечерами просиживал Юрали у тлеющих поленьев напротив отца, слушая, как коровы за перегородкой мерно дышат и пережевывают жвачку, а в окна бьется и гудит ветер. И молчал младенец Юрали, мудрый неведеньем своим.

3. Однажды пропала из стада корова. Отец послал Юрали отыскать ее между скалами. С полдня вышел он. Долго виднелись с вершин пастбище, и тихо бредущее стадо, и отец с длинным бичом в руках. Но за последним поворотом скалы окружили его тесно; и уже склоняющееся солнце косыми лучами позлащало желтые зубцы. Юрали вглядывался в тропинку, ища следов копыт.

Наступила ночь. Бесстрашно брел Юрали, не узнавая скал и еле различая дорогу при слабом блеске звезд.

Уже и предутренним холодом потянуло, и вновь зазолотились вершины скал.

Крутой тропой спустился он, ведомый следами копыт, к ручью. Еле различил в утреннем сумраке на берегу остов коровы, обглоданной хищниками. Надо было поворачивать; но скалы были так похожи одна на другую, что не знал Юрали, откуда пришел он.

Наугад начал он карабкаться вверх. Но куда ни поворачивал он, нигде не было видно следов копыт, которые привели его к ручью.

Долгие часы бродил он, то спускаясь, то вновь карабкаясь по крутым уступам; а скалы все теснее окружали его, и казалось, — конца им нет.

Не боялся ребенок. Тайное знание осенило его: куда бы ни привели шаги, — везде будет его родина ждать, — родина еще неведомая. То же солнце будет освещать путь его; то же небо ласково раскинется над ним; те же звезды тихо запылают ночью.

Извечная родина, ласковая колыбель лелеет усталого от пути Юрали; тихая мать нежит ноги его: мать земля зеленая.

И к восходу или к закату, в страну ночи или в страну солнца поведет его дорога, — везде он желанный сын мудрой земли, везде он любимый брат зверям и злакам земным.

4. Поздним вечером на следующий день вернулся Юрали к стадам своим; случайно вывели шаги его к родному пастбищу.

Дремали коровы, отец тихо сидел у потухающего костра; и Юрали, уже отрок Юрали, рассказал ему, как скитался он между скалами, как узнало сердце, что везде родина любимая ждет его.

И впервые стал говорить ему отец как равный равному, ибо в одиночестве своем двухдневном стал Юрали отроком мудрым и знающим.

«Юным принадлежит земля, тихая мать их; глаза отроков видят невидимое, и очи [4] слышат неслышимое. И только тот, кто однажды услышал слово мира сего и запомнил его, только тот становится глухим, и не трогает его ласка родимой».

«Милый отрок мой, Юрали тихий, о себе хочу поведать я. Некогда и я, как ты теперь, юный и не ведающий, жил с отцом среди зеленых пастбищ».

«Сердце мое не знало ни радости, ни горя; сердце мое ведало, что после ночи будет восход солнца, что зима предшествует весне; уши мои слышали рост трав; и голосом своим мог я призывать птиц и зверей земных».

---

[4] Так у автора.

«Но кончилось мое отрочество: к селеньям в долины вывел меня отец и ушел от меня. Долгие годы жил я между людьми, питался их пищей, слушал их слова; из селений хлебопашцев пришел я к городу и узнал тайну его».

«Там впервые встретился я с матерью твоею, Юрали, и полюбил ее. И поразила любовь зрение мое и слух мой: только в ней видел я жизнь любимую, в ее голосе слышал пение птиц; когда же она, оставив мне тебя, ушла, показалось мне, что смертельно ранена душа моя, что солнце больше не будет меня веселить, что птицы немы и трава не зелена».

«Несла она тайну города; влила в меня яд, которым отравлены люди, слепые и лишенные слуха».

После этих слов просил Юрали отца, чтобы он открыл ему тайну иных жизней, тайну, убивающую людей.

Но с улыбкой возразил отец ему: «Не спрашивай, ласковый; еще долги годы твоего неведения. Но знай, что настанет час, когда и ты поймешь тайну тех, кто живет в долинах».

«Знай также, что вернулся я на родные пастбища уже дряхлым. И хотел вопросить ручьи, но не поняли они вопроса моего; и хотел голосом тихим призвать к себе птичьи стаи, но с громкими щебетаньями мимо пролетали птицы. И показалось мне, что умер мир: мертвая лежала земля, мертвые шелестели травы».

«Так стал я старцем, Юрали; каждый день с восходом солнца просыпаюсь я, надеясь, что вновь будут меня радостно приветствовать братья. Но молчаливо лежит земля».

«Так тянулись годы; и я, чужой всему, что меня окружало, знал только одну радость: твою молодость, Юрали, твою юную мудрость».

И замолк старик. Юрали же начал ему рассказывать о тех тайнах, которые поведали ему травы и звери, скалы и звезды. И с грустной улыбкой слушал старик слова далекой, утерянной родины.

Снова потянулись весенние дни; снова бродил Юрали, радостный и тихий, по родимым лугам; снова ласковые речи шептало ему солнце, и сказки рассказывали пестрые цветы, и весенние песни пели птицы.

Только по вечерам, сидя у костра, возвращался Юрали к расспросам об иной жизни, о любви, о старости, о времени, о смерти.

И много думал он над ответами отца, и говорил ему так: «Если люди долин не знают и не слышат родину свою, то к ним хочу, отец; им хочу рассказать тайну живую, научить их тому, что сам знаю».

Но просил отец еще подождать Юрали, потому что придет его время, — время первой смерти.

Юрали же не верил, что может душа его умереть, и хотел идти к людям, чтобы воскресить их.

5. В тот год была сильная засуха; весенние потоки пересохли раньше, чем когда-либо; русла горных ручьев, прежде бушующих, были покрыты пылью; небольшие речки, ворочавшие камни, пересохли так, что их можно было перейти в брод. После долгих лет горные пастбища стали доступными людям; в течение нескольких летних месяцев, вдоль по пересохшим руслам, как по тропе, можно было пройти, минуя отвесные, всегда неприступные скалы.

Однажды в жаркий полдень приблизилось из-за уступа к стадам несколько путников. Впереди шли два старца, а за ними утомленные женщины, некоторые с детьми на руках. Отроки, девушки и дети постарше теснились дальше, удивленно взирая на Юралиного отца, на мирное стадо и на Юрали, тихо наигрывавшего на сопелке птичьи песни.

Отец Юрали встал к ним навстречу с приветом.

О приюте пришли просить они: неожиданный набег соседних племен разрушил их селенья; все мужчины, способные держать оружие, сейчас в бою; а они, — слабые, — решили искать спасенья в бегстве; несколько дней шли они и уже изнемогают от усталости.

Пастух предложил им пищу, а Юрали с любопытством наблюдал и слушал пришельцев. Он не мог понять, отчего женщины плакали, рассуждая о войне. Чуждыми казались мудрому отроку слова их, и думал он, что говорят они о тайне иной жизни.

Уже несколько дней жили люди долин на пастбище. Юрали рассказывал своим сверстникам сказки, которые он узнал в своем одиночестве, затевал с ними игры, водил их по зеленому лугу, называя странными именами цветы и кликая птиц.

Дети сначала с любопытством слушали непонятного им отрока и хотели научиться у него умению распознавать травы и кликать птичьи стаи; потом постепенно стали привыкать к нему и полюбили его даже, чуя в нем непонятную им силу и мудрость.

И в свою очередь говорили они ему непонятные слова: мальчики мечтали о том, как они вырастут и станут воинами, играли в игры, где одна сторона шла на другую; на все же вопросы Юралины не могли объяснить они, отчего на словах и играх их лежит печать смерти; и тогда казалось ему, что они уже знают тайну, что они уже испытали то, что отец его назвал первым умираньем.

Юрали любил их, но был среди них одиноким и чужим.

6. Среди детей были две девочки: одна — горбунья, а другая — ласковая и злая; маленькой змейкой казалась она Юрали. Они особенно привязались к нему.

Горбунья впервые видела, что уродство ее не пугает, что Юрали так же ласков с ней, как и с другими детьми.

Часто говорила она ему так: «Ты как солнце, Юрали; солнце светит и добрым и злым, прекрасным и калекам. Ты на меня смотришь так же ласково, как и на других; ты не боишься моего уродства. Это потому, что ты мудр и ясен, Юрали; только тот боится уродства, кто сам уродлив. Мой прекрасный, тихий Юрали, я люблю тебя».

И нежно гладила горбунья его руки, и заглядывала ему в глаза.

Тогда Юрали говорил ей, что тоже любит ее, что сестра она ему желанная, что зеленая земля — извечная мать их. И учил он ее понимать птичьи голоса и ласкать стебли, говоря, что каждый злак земной тоже, как и он, Юрали, — брат ее. И потом удивленно замечал Юрали: «Только многих твоих слов не могу понять я. Разве не все знают, что и ты, горбунья, единая из светлых детей нашей матери?»

И после этих слов великая радость посещала девочку, потому что впервые чувствовала она, что и для нее, как и для других, светит солнце и пахнут цветы, что так же нежно и ей поют птицы, что в сердце Юралином равна она травам и зверям, звездам и людям, — всем братьям любимым его.

А Юрали с улыбкой внимал радости ее, и в сердце его была пустота, потому что впервые узнал он жалость. И новым, еще неведомым чувством казалась ему нежность к горбунье: иначе любил он других детей своей матери земли.

7. Другая девочка рассказывала ему о городе, о матери своей, и тогда казалось Юрали, что о страшном сне слышит он.

«Я могла бы быть такой же ясной, как ты, — говорила она. — Но люди сделали меня старой и мертвой. Когда я была еще совсем маленькой, приходили они к моей матери и говорили ей ласковые слова, и нежно обнимали ее, и давали ей денег. Я думала долго, что они любят нас, и знала, что после нескольких дней голода придет кто-нибудь и будет у нас хлеб. Часто смеялись они и гладили меня по голове. Мать к приходу их одевала лучшие одежды и становилась красивой и молодой. И долго, засыпая, слышала я рядом смех и веселье».

«Иногда к матери приходили подруги, и тогда эти ласковые люди и им давали деньги, угощали сладкими винами. Ко всем всегда одинаково нежные, они любили всех.

Как солнце, Юрали, светили они и добрым и злым, прекрасным и калекам».

И при этих словах девочка хохотала и злилась.

«Потом я узнала, что мать и ее подруги продают себя им; что они никого не любят, потому что любят всех; что, ласковые, они не пустили бы мать на пороги домов своих; что, твердя слова любви, они презирают; что за стенами нашего дома они забывают нас».

«О, Юрали, Юрали, ты, улыбающийся всем, ты воистину подобен солнцу, греющему и добрых, и злых; и ты подобен тем, кто приходил к моей матери и говорил слова любви, никого не любя».

«Разве ты не видишь, неразумный и неведающий Юрали, что нам всем ты нужен безраздельно? Если ты хочешь улыбаться мне, то не смей улыбаться другим; если же другие увидят твою улыбку, то бей, мучь, не замечай меня, — только не смотри ласково, потому что не верю я, что в твоем сердце есть любовь».

«Я не хочу быть равной птицам и цветам для тебя. Я хочу быть солнцем твоим, дыханьем твоим, — всем, что ты видишь и слышишь. Ты слеп и глух, ты не мудр, Юрали».

И казалось тогда Юрали, что он не видит и не слышит, что он — как маленький зверь.

Тогда он обнимал нежно подругу свою, и сердце его наполнялось мучительной любовью; немудрые, простые слова говорил он ей, и на душе ее становилось тихо и радостно.

«Будь моим, только моим, Юрали; никто в мире не знает таких слов, как ты; никто не умеет так ласково заглянуть в глаза. Я знаю, Юрали, что не встречу любви большей, чем твоя любовь».

А у Юрали вновь становилось на душе ясно и холодно. Подходили другие дети, и он забывал о той, которая только что переполняла его любовью.

Несколько раз было так. Девочка мучилась, глядя на Юрали, когда он улыбался другим; мучилась, когда он, задумчивый, уходил в скалы, не замечая никого.

И любовь сменилась в сердце ее ненавистью.

«Никогда не подходи ни к кому слишком близко, Юрали, — говорила она, — ибо никто не может подойти ближе тебя, и никто не будет потом дальше, чем ты».

8. И Юрали поверил ей; каждый раз, когда кто-нибудь обращался к нему со словом более ласковым, чем обычные слова, он говорил: «Бойся, если я отвечу тебе лаской на ласку, любовью на любовь, потому что безмерна моя любовь, но не моя она. Не тебя одного буду любить я, а всех в тебе».

И многие отходили от него после этих слов.

Некоторые же отвечали ему: «О, Юрали, мы знаем, что ты, как солнце, светишь и добрым и злым. Но не ревнуем мы солнца. Единый раз улыбнись нам, и мы уйдем с улыбкой твоей. Любя нас, ты берешь нашу тяжесть, нашу смерть; и вечно юным остаешься ты, Юрали».

И чувствовал Юрали, что с каждым словом, с каждой улыбкой уходит из души его часть великой силы, которой жив он. Но улыбался ласковый отрок.

И видя, как расцветают детские души от слова его, решил он, что такова судьба; вечным странником будет брести он; и каждый возьмет у него, что надо, и уйдет.

Обреченной была душа отрока.

Узнав это, пришел он к отцу. Пастух сидел с другими старцами и мирно беседовал о делах минувших, вспоминал свою жизнь в приморском городе Гастогае.

И просил его Юрали, чтобы отпустил он его к людям свершать судьбу свою.

Но старик запечалился и снова стал говорить, что в долинах ждет его первая смерть.

Тогда один из старцев сказал: «Отпусти его, ибо никто не властен изменить предначертанного; разве не видишь ты, что обречен он на путь земной?»

Долго еще уговаривал Юрали отца отпустить его; и согласился наконец с печалью старик.

9. Последние летние дни приходили к концу. Скоро вместе с гостями своими должен был покинуть Юрали родимые пастбища.

Тихо бродил он по любимым местам; в последний раз перекликался с птицами. И тайная грусть обняла его; и уже тосковал он о родине зеленой; но знал, что судьба должна исполниться, что обречен он нести в мир радость минутную и горькую.

Так подошел последний день. С печальной улыбкой обнял его отец. Еще раз окинул Юрали взором пастбище и бодро двинулся в путь, к новому миру, к неведомой тайне, неся в сердце тайну свою и зеленую родину.

10. Уже несколько дней бродил Юрали по Гастогаю; давно оставил он спутников своих и чувствовал себя потерявшимся среди незнакомого ему мира.

В первый же день, скитаясь по городу, пришел случайно Юрали к храму; внизу под скалой расстилалось море; у берега высоко поднимали корабли свои неоснащенные мачты, и суетились корабельщики.

Юрали вошел в храм. Сизый сумрак окружил его со всех сторон. По крутой лестнице взобрался он на башню; в косых лучах солнца встали перед ним каменные чудовища, окружавшие башню тесным кольцом.

Утомленный от дороги и одинокий, Юрали лег на каменных плитах и задремал. И приснился ему сон.

Снилось ему родное пастбище, по-весеннему зеленое; синее небо без единого облака низко нависло над ним; сам он, уже дряхлый пастух, сидит на камне; а перед ним, повернувшись к нему спиной, стоит его стадо, — каменные чудовища с башни храма приморского города Гастогая. И косые вечерние лучи солнца золотят их каменные, выщербленные спины. Низко опустили они головы, так что

у некоторых резко выступают лопатки, а у других горбом выдается хребет.

И с трудом поднялся тоже каменеющий Юрали, чтобы оглядеть внимательно свою странную паству. Знал он также непонятным знаньем, что и им всем имя — Юрали.

И когда он начал обходить их по очереди и всматриваться им в глаза, то почувствовал неожиданно, что уже давно знает многих из них, других же только недавно встретил на площадях и улицах Гастогая.

Сначала подошел отрок к чудовищу с клювом ворона — и испугался; но, вглядевшись внимательно, он увидел большие и ясные глаза своей подруги горбуньи; и к следующему чудовищу подошел Юрали; и оскалился на него рот злой собаки; а волосы были у него подобны волосам окаменевшего воина, ясного и спокойного.

Всех узнавал Юрали среди стада своего: и отца — пастуха, и злую подругу — змейку, и случайных спутников.

И тихой любовью наполнилось сердце его. Почувствовал он, что и ему, — пастуху, — назначено медленно каменеть под косыми лучами солнца, что навеки раскинулось над ним синее небо, и навеки остановилось среди луга зеленого каменное стадо и он, пастух его.

11. Проснулся Юрали. Не ведая тайного смысла сна своего, почувствовал он только безмерную радость в сердце.

Уже утро настало; и вновь бодро смотрел Юрали в лицо ласковому солнцу, и вновь рассказывало солнце ему, любимому, мудрые сказки.

Тихо спустился Юрали к берегу. Только что прибыл из далеких стран корабль; корабельщики еще суетились, спуская и связывая паруса; широко раскинулись по небу тонкие снасти; толпа на берегу шумно приветствовала прибывших.

Юрали, спокойный и еще очарованный ночью, вынул свою сопелку и заиграл птичьи песни.

Приблизились люди к нему, чтобы внимать щебетанью и щелканью птичьему; и всем им стало радостно, ибо ра-

достно было лицо отрока, и о солнце пели птицы его сопелки. Долго пел Юрали; все знакомые напевы пастбища и еще новые, неведомые песни спел он.

Когда же он замолк, со всех сторон посыпались к нему мелкие монеты. Так, не ведая какими путями, стал Юрали, отрок тихий и мудрый, уличным музыкантом.

Потянулось время; к ночи уходил Юрали на башню храма, а днем бродил по берегу, встречая прибывающие корабли и следя за уходящими: с тоской провожал он каждого нового путника, похожего на белую птицу.

На берегу бывало всегда шумно: сильные и загорелые рабочие таскали тяжелые тюки; рыбаки выгружали серебряную рыбу; тут же торговались с ними купцы; и возчики пересыпали ее в большие плетеные корзины, чтобы везти в город.

Юрали любил этот шум; ему нравились лица рабочих, собиравшихся в Гастогай со всех стран света; его тянуло вдаль за уходящими парусами; ему казались непонятными тонкие знаки снастей, распластавшихся на небе.

Скоро уже все на берегу знали его и встречали приветом. В полдень, во время отдыха, он бродил между сидящими на земле корабельщиками и играл им на своей сопелке. Иногда он рассказывал им сказки.

12. Однажды рассказал он грустную сказку о продавце.

Вдоль по берегам рек земных, вдоль по пыльным дорогам бродил продавец, несущий за спиной большой короб, наполненный всем, что было лучшего на земле.

Красные осенние листья и пестрые оперенья птиц, белые изваянья и блестящие ожерелья были в его коробе.

Из селенья в селенье шел он, предлагая свой товар. И, завидя его, сбегались юноши и девушки, старцы и дети. И развязывал он свой короб.

Но, видя товар его, люди говорили: «Это слишком дорого», — и уходили от него.

Тогда он начинал убеждать их и назначал самую маленькую цену. И снова подходили люди, и щупали листья, и смотрели на изваянья. А потом, подумав, решали, что все это слишком прекрасно для их убогих жилищ.

И дальше шел продавец, изнемогая под тяжестью своего короба.

Наконец, встретил он девушку, ласковую и ясную. «Возьми у меня все, что я имею», — сказал он ей. Но девушка ответила, что нечем ей будет заплатить за такой богатый дар.

И тщетно убеждал он ее, что не нужна ему награда; девушка не могла поверить ему.

Тогда вновь взвалил он на плечи короб и двинулся в путь; от пыльных дорог, через леса предгорий, через высокие зеленые пастбища и желтые безводные скалы пришел продавец к последним высотам, где вечно блистает снег. И там, под тяжестью короба своего, упал он и умер.

13. И, выслушав сказку, подошла к Юрали девушка и сказала: «Ты еще юн; но думается мне, что многое открыто тебе. Рассуди меня».

И длинную повесть о себе рассказала она.

Несколько лет назад встретила она человека, много старше себя; и с первой же встречи показалось ей, что мир стал иным, что иначе стало солнце светить и иначе волны биться о берег. Был этот человек моряком и только не на долгие дни приезжал в Гастогай. И этими днями освещалась вся жизнь ее.

Каждый раз, когда корабль его отплывал от Гастогая, думала она, что не любит он ее, ибо иначе остался бы он с ней, не ушел бы вновь в далекие страны; знала она сама слишком хорошо, как дороги часы встреч.

Когда же он возвращался, то по улыбке его, по каждому взгляду она могла догадаться, что долгая разлука не убила в его сердце любви; и несколько дней была она счастлива; ей же казалось каждый раз, что это счастье — навсегда.

И так велика была ее любовь, что могла бы она долгие годы ждать его возвращения, живя памятью о прошлой встрече и надеясь на новую.

Но вот в последний раз спросила она его, зачем уезжает он.

Он же ответил ей так: «Тот, кто не хочет утрат, не должен говорить: только этим живу, только это прекрасно. Если несколько дней свиданья дают ей радость, то все же она не должна забывать, что радость эта — не единственная. Надо всю жизнь заполнить минутами радости. Если один источник ее иссякнет, то не жалеть о нем, а искать другого. И кто поймет это, у того не будет потерь».

Но не могла она понять этих слов, ибо знала, что в потере иногда радость бывает, что человек, несущий любовь к другому в сердце своем, переполнил сердце до края, и нет в нем места для другой любви.

И хотела девушка, чтобы любовь к ней так же до края наполнила сердце любимого. Не первой, но единственной хотела быть она.

Выслушав, ответил ей Юрали: «Если душа твоя щедра, то не бойся щедрости. Тот, кого ты любишь, скуп. Но на скупость его щедростью отвечай. И пусть он наполняет жизнь свою радостью, не считая потерь. Ты знаешь радость более светлую, — радость разлуки и любви единственной. Пока сердце вмещает ее, не бойся и неси бережно счастье неразделенное».

14. Рыбаки же и корабельщики долго молчали, выслушав ответ Юрали, и дивились мудрости отрока. И спросил его один из них, отчего говорит он, как может говорить лишь знающий тайну.

Но ничего не мог ответить ему Юрали, уже наигрывающий веселые песни на своей сопелке, ибо сам не знал тайного смысла слов своих.

Иногда говорил он о родных пастбищах и о других родинах своих, имени которым не знал он.

И тихая радость владела сердцами всех, кто его слушал.

Часто увозили рыбаки его в море, и помогал он им вытаскивать тяжелые сети. Они же замечали, что от его присутствия больше ловится рыбы, и не рвут камни и водоросли сетей. Тогда стали все еще ласковее к нему, и подымались споры, потому что каждый хотел видеть Юрали на своей лодке.

На высокие, острогрудые корабли звали его, веря, что его песня зачарует море, и будет огражден корабль от бурь и подводных камней.

И ласково разговаривал Юрали с морем, поручал ему корабли и рыбачьи лодки; море же тихо шумело в ответ.

Так жил Юрали в Гастогае; осенью он переселялся в рыбачьи хижины, ночуя по очереди у всех своих новых друзей, чтобы не обидеть никого.

И знал он, что судьба уже стережет его, но не ведал путей своих.

И часто казалось ему, что тайна города уже постигнута, но нет в ней смерти. И тогда вспоминал он отца, который не вынес тяжести своего пути.

А рыбаки и корабельщики, все, хотя раз видевшие Юрали, верили, что тайная мудрость привела к ним юношу, и ждали с нетерпеньем дальнейшего.

Слава же о сказках и песнях его разнеслась далеко за пределы Гастогая; каждый корабль приносил его имя, приносил радость о светлом Юрали.

15. Так прожил Юрали уже несколько лет в Гастогае.

Однажды правитель города давал пир; много недель по дороге к Гастогаю двигались приглашенные: воины в блестящих доспехах верхом на разукрашенных лошадях; властители соседних стран, предшествуемые придворными и слугами; музыканты и певцы с лютнями и флейтами своими — все стремились в Гастогай на пир, зная, что сзывает их правитель, желая выбрать мужа для единственной дочери своей.

Каждый надеялся быть избранником, хотя о царевне ходили в народе странные слухи. Говорили, что больна она тяжким недугом; что судьба властительная пугает ее; что с радостью променяла бы она судьбу свою на судьбу последней рабыни своей или рыбачки, живущей у подножья ее дворца.

Юрали, Гастогаевский певец, тоже был зван на пир.

В день торжества подошел он к широким воротам дворца. Слуги правителя ввели его во двор, заполненный уже гостями: всадники правильными рядами разместились у лестницы, поблескивая золотыми доспехами своими; царевичи и властители разместились по другую сторону двора, окруженные пышными свитами и пестро одетыми скороходами; самые именитые граждане города с женами и дочерьми занимали глубь двора; а за ними теснились музыканты и певцы, пробуя флейты, лютни и сопелки, слагая и напевая песни в честь славного своего хозяина. К ним подошел и Юрали.

Когда все гости собрались, вышел к ним правитель, ведя за руку дочь свою.

И несмотря на то, что весело светило солнце, что для радости собрались нарядные гости, что уже слагались песни, долженствующие прославить царевну, глаза ее были грустны, и ни разу не мелькнула улыбка на губах ее.

И, ответив на привет гостей, такую речь повел правитель: «Я становлюсь стар, и скоро придет ко мне смерть. Дочь же моя не сможет справиться с великой властью, которая ее ожидает. Многих власть радует, ее же она пугает. Вот созвал я вас, чтобы выбрать достойнейшего и сделать его преемником моим, правителем Гастогая, отдав ему в жены царевну».

И каждый гость после этих слов стал перебирать заслуги свои и заслуги своих предков и высчитывать богатство и славу города, думая, что он и есть достойнейший.

Тогда объявил правитель, что только тот из воинов сможет заместить его в Гастогае, чья рука сильнее его руки, чей меч иступит его меч.

На бой вызывал он гостей своих.

Но многие, думая, что он хочет испытать их, отказались от этого боя; и только несколько воинов выехало на середину двора, приняв вызов правителя.

Много раз менялись сражающиеся; много было нанесено таких ударов, о которых потом могли слагаться песни; много мечей было сломано и убито коней; но ни разу не дрогнула рука правителя, ни разу не дотронулся чужой меч до его доспехов.

А когда состязание было окончено, объявил правитель, что не нашлось среди воинов достойного заместителя ему, что судьба найдет заместителя не воина, который духом своим заменит силу меча и мудростью своею оградит Гастогай от враждебных ратей.

И широкой толпой двинулись гости в покои дворца.

В большом зале, освещенном факелами и пропитанном запахом цветов, стали разносить слуги гостям яства и вина. На широких серебряных подносах еле несли четыре человека огромных птиц с радужным опереньем, розоватых рыб, пойманных в бассейнах дворца, баранов с вызолоченными рогами. Прекрасные девушки-рабыни в легких одеждах разносили полные кубки с пенящимся золотым вином или с густым и непрозрачным красным.

А когда пир приходил к концу, подал правитель знак, чтобы выступили вперед певцы и музыканты.

16. Первым вышел старик, пришедший издалека, и начал песней своей восхвалять силу правителя, богатство его города и пышность дворца.

«Много кораблей острогрудых привозят к стенам Гастогая шелк и золото, мечи и щиты; много кораблей разносит по свету славу о Гастогаевском правителе, о храбрых воинах его, о богатых гражданах города. Подобны солнцу щиты Гастогаевской дружины; подобны лучам его седые кудри правителя; и дню ослепительному подобна слава его».

Так пел старик. Когда же он кончил, велел правитель слугам своим дать ему кованый кубок со стола.

И запел другой певец, — юноша с золотыми кудрями.

«Славен Гастогай, великий город; но прекраснее богатств его царевна юная. Как звезды, глаза ее; как волны морские, волосы ее; как свет месяца, улыбка ее. Ласковым словом побеждает она сильных воинов и взором дарует радость певцам».

И долго еще восхвалял юноша царевну; и в награду за песню велел правитель увенчать чело его венком.

Наконец, настала очередь Юрали; но не славословие начал петь он.

«Каждого человека стережет судьба; и никто не может уйти от пути своего. Много царевичей рожденьем предназначены властвовать, но не дает им судьба власти: еще юными идут они в плен и рабами кончают жизнь свою».

«Только тот властитель, кто с колыбели почувствовал судьбу властительную, кто знает, что не изменит ему рука и не обманет счастье. Только тот властитель, кто не боится себя, не боится ни своих воинов, ни воинов врага своего. Каждое слово его должно быть словом властителя. И кто бы он ни был, — пастух или рыбак, хлебопашец или воин, — знаком власти отмечен каждый взор его, знаком власти отмечены все деяния его».

«Если он скажет: счастлив будь, — то дарует счастье; если он скажет: погибни, — то гибель дарует. И под взором его пенится море и расцветают цветы; и от слова его слетаются птицы и выздоравливают недужные».

«Если ты, властитель города Гастогая, таков, то радуйся». Кончил Юрали, и ласковой улыбкой наградил правитель певца.

17. Потом же, когда состязанье кончилось, позвал правитель его к дочери своей, минуя толпу воинов и певцов, восхвалявших царевну и певших ей славословия.

И так сказал он: «Если ты знаешь, что значит власть, то попробуй силу свою на царевне. По песне твоей решил я, что ты тот, кого я ищу; но докажи мне это на деле».

И расступилась толпа перед ними, и ушел правитель. Тут впервые взглянул Юрали в глаза царевнины.

И внезапно острая любовь и жалость охватила сердце юноши; знал он эту любовь давно уже: еще при встречах с первыми подругами посещала она его.

Царевна же задумчиво глядела куда-то вдаль, в звездное небо за окнами; и полны слез были глаза ее.

Тогда стал Юрали расспрашивать о причине тоски ее и нежно гладить ее холодные руки.

Царевна же ответила ему так: «Каждая девушка в стране отца моего может мечтать, что придет ее час, встретится ей тот, кому она отдаст юность свою и любовь; как властителя ждет она мужа; и покорно войдет в дом его; каждому слову поверит и каждому приказанью подчинится. Я же, слабая и незнающая, должна отречься от мечты, на которую имеет право последняя из служанок моих. Руки мои понесут великую власть, слова мои будут менять судьбу людскую».

«О, Юрали-певец, ты знаешь, что такое власть; посмотри на меня; разве этим рукам нести тяготу ее, разве этому голосу повелевать? Тихой доли хочу я; властителя жду; но не даст мне его судьба».

И задумался Юрали.

Царевна продолжала: «Если же и смогу я передать власть тому, кого отец выберет мужем мне, то все же от самой светлой мечты должна буду отказаться: власть мою и страну, а не меня полюбит избранник». И просила царевна сказать ей хоть несколько ласковых слов.

Тогда Юрали, переполненный любовью, острой и мучительной, так сказал ей: «Царевна, ты для меня сейчас тихая девочка, и в сердце моем любовь к тебе. Но не за власть твою грядущую полюбил я тебя, ибо власть твоя моею не будет; а за тоску твою».

И после этих слов положила царевна ему руки на плечи и улыбнулась.

Он же продолжал: «Но хочу я, чтобы ты радовалась. Радуйся, ибо и над твоей властью будет солнце сиять; ибо и у твоего трона будут земные цветы; ибо и тебе будут птицы петь. Радуйся, царевна, ибо обречена ты на путь властительный, ибо радуется сердце мое о тебе; радуйся, тихая девочка».

И нежно гладил Юрали руки ее. И знал, что все его слова от судьбы предназначены, что долго уже ждала его больная и грустная царевна.

Она же, впервые слыша слова, обращенные к ней — тихой и грустной девочке, а не к царевне, будущей властительнице Гастогая, — почувствовала радость в сердце своем.

Перестала ее страшить грядущая власть; и поняла она нежданно, что исцелилось сердце ее, что бодро и смело может она заглянуть в лицо судьбе нелюбимой. И впервые светло смотрели глаза ее; гостям же, стоявшим в отдалении, показалось, что огласился двор дворцовый птичьими песнями, и расцвели алые цветы во дворцовом саду, — так была светла улыбка царевнина.

И приблизилась царевна к гостям, держа за руку Юрали, ибо знала она в сердце своем, что только с ним сможет она разделить власть, он только освободит ее от тяготы правленья и сделает со временем сердце ее мужественным и спокойным.

Юрали же, не ведая путей своих, думал, что уже время ему возвратиться домой к рыбакам.

Но встал навстречу к нему правитель и сказал: «Ты, не славословящий певец, разве не о себе пел ты в песне своей? От ласки твоей распустились цветы и птицы запели; от слова твоего недужные обрели исцеление. И не боялся ты себя, потому что судьба владела словами твоими. Не тебя ли я ждал давно, чтобы выбрать тебя преемником своим? Отныне ты будешь правителем Гастогая; зятем моим, мужем единственной дочери моей будешь ты».

А Юрали, покорный судьбе и ведающий, что все предназначено, ответил: «Да будет так».

Так стал Юрали, сын пастуха и уличный певец, правителем великого города Гастогая и мужем царевны.

18. Единолично правил Юрали городом; старый властитель, найдя в нем достойного заместителя себе, с радостью отошел от власти; после долгой и полной труда и волнений жизни смог он наконец отдохнуть. Царевна же, впервые узнавшая молодость, с тихими песнями бродила по саду или спускалась к морю, ни единым словом не вмешиваясь в дела названного мужа своего.

По утрам приходили к Юрали царедворцы; и мудрые веленья давал он им, ибо не его, — пастуха и певца, — веленья были, а судьбы, которая стояла за плечами его и обрекла его на великую власть.

Иногда он спускался в город провожать уходящие корабли или напутствовать воинов, идущих в бой; и знали тогда корабельщики, что удачно будет их плаванье; и не сомневались воины в победе, — так велика была вера их в Юрали и в слова его.

Часто приезжали в Гастогай послы от соседних правителей, и дивились мудрости Юралиной, и возвращались в страну свою, зачарованные его лаской.

Так проходили его дни, полные забот и труда. Только поздним вечером освобождался он; и короткие часы отдыха проводил в саду дворцовом с царевной, рассказывая ей сказки и играя на своей сопелке.

19. Ежедневно в дворцовом дворе собирались просители, и он выходил к ним; прикосновением руки исцелял больных и единым словом возвращал жизнь тем, кто отчаялся.

И были перед лицом его равны все; всем одинаково давал он помощь и исцеление.

Однажды, обходя просителей, увидел Юрали мальчика, над которым все смеялись; и спросил Юрали его, что ему нужно. Тогда люди, смеявшиеся над мальчиком, сказали, что с ничтожным желаньем <пришел> он к Юрали, и недостойна просьба его обратить на себя внимание правителя.

Но Юрали настаивал. И протянул ему мальчик мертвую птицу и сказал: «Я слышал, что радость и исцеление даруешь ты, правитель; по слову твоему мертвые возвращаются к жизни. Вот птица моя; я отбил ее уже мертвую у коршуна; если ты хочешь дать мне радость, — воскреси ее».

И подал мальчик мертвую птицу Юрали.

Тот с улыбкой поднял вперед руку, положив на нее мертвую птицу; она же свесила закоченевшую голову с красным пятном раны, и вытянулись по ладони ее лапы.

И долго стоял молча Юрали и улыбался. Птица же неожиданно для всех вздрогнула, встрепенулась и, расправив крылья, медленно полетела. Несколько минут кружила она над изумленной толпой; потом опустилась на плечо к мальчику, хозяину своему.

Тогда великая радость овладела всеми, ибо поняли они, что нет цены чуду и силе правителя, что равны перед ним все, несущие горе свое и утраты.

Он же стал опрашивать следующих просителей.

Так давал Юрали радость всем, кто просил ее.

Иногда приводила к нему царевна друзей своих, с которыми она встретилась в городе, и говорила: «Этот человек нуждается в ласке твоей, Юрали». И тихие слова говорил ему правитель, и заглядывал в глаза; и уходил от него человек исцеленным.

Юрали же никогда не сомневался в шагах своих и действовал как знающий, ибо ведал, что ведет его судьба.

А тот, кто уходил от него исцеленным, не возвращался больше к нему. И у Юрали в сердце тоже быстро угасала любовь. Был он одинок в могуществе своем. Каждый раз, когда приближался к нему кто-нибудь, и осеняла его

минутная и мучительная любовь, дающая исцеление и радость, чувствовал он, что исходит из него часть великой силы, которой он жив. И уставал властитель и чудотворец Юрали.

А слава о нем разнеслась далеко за пределы Гастогая; и со всех стран земных приходили к нему калеки и усталые, отчаявшиеся и грешники. И великую радость давал он. Но с каждым днем росла толпа ищущих его, и понял Юрали, что никогда не сможет он исцелить всех.

20. Однажды среди просителей увидел Юрали женщину в нарядных одеяниях, с браслетами и серьгами; несколько слуг держали носилки, на которых лежала она. Когда, обходя всех, приблизился Юрали к ней, спустилась она с ложа своего и, склонившись, сказала: «Не об исцелении и не о чуде пришла просить я, а о прощении. Несколько лет тому назад стала я женой царедворца. Он был стар и богат, а я только молодостью и красотой обладала; золото его заставило меня согласиться стать его женой. Целый год жила я с ним, надеясь победить злые мысли в сердце своем; но наконец победили они меня: не стерпела я нелюбимого мужа и отравила его. Никто не узнал о моем преступлении; и все, знающие меня, по-прежнему ласково обращались со мной. Так думала я некоторое время, что достигла счастья. Но потом по ночам стала меня тревожить тень мужа: преступление не давало покою, и не радовало меня больше золото, и ненужными казались слуги. Так поняла я, что навеки проклятье надо мной. Если ты сможешь, то прости меня, и слово твое облегчит мою душу. Или воскреси моего мужа и сделай меня последней его рабыней».

Толпа же, стоявшая во дворе, заволновалась, потому что многие знали женщину эту, но никто не думал, что преступница она.

Юрали же, положив ей руки на плечи, так ответил: «Нельзя вернуть того, что прошло. Не в моей власти дать

жизнь тому, кого ты лишила ее. Пусть спит с миром. Но если искренне раскаянье твое, если воистину мука твоя безмерна и не по силам тебе, то я возьму ее от тебя. Вот собрались во дворе моем люди, нуждающиеся в хлебе; раздай им богатства свои неправедные».

И с радостью согласилась женщина; но отшатнулась от нее толпа, ибо никто не мог решиться запятнать руки свои золотом, на котором кровь. Женщина стала тогда умолять и плакать, и протягивала ожерелья свои. Но толпа стояла в отдалении, молчаливая и угрожающая.

Тогда сказал Юрали: «Не бойтесь; слезы ее смыли с золота кровь. Но если не хотите вы принять этого даяния, то я возьму его как залог. Отныне, женщина, ты должна знать, что преступленья не совершала ты. Я его взял от тебя вместе с золотом твоим. Отныне я буду нести и грех, и покаяние, потому что сильны плечи мои и не согнутся под мукой этой. Ты же вновь стала невинной и чистой; и знак невинности, знак того, что ничего не было, — бедность, вернувшаяся к тебе. Иди».

И сложила женщина к ногам Юралиным драгоценности свои, и радостно покинула дворец, ибо была душа ее снова светлой и омытой словами Юралиными.

А когда проходила она мимо других просителей, поняли они по взгляду ее, что нет больше на душе у нее преступления, что воистину обновилось сердце женщины.

И слух об этом деянии Юралином быстро разнесся по стране. И стали приходить к нему люди, совершившие преступление или не знающие путей своих. И с улыбкой брал Юрали их грехи и сомнения на свои плечи, и говорил им: «Так надо». Они же верили ему, и казалось им, что у ног его оставили они тяжесть своей жизни, что могут они снова, подобно детям, ждать радости и чуда, верить в силу свою; ибо не они совершили грех, а Юрали, вздевший его на свои плечи, и не силой своей сильны они, а его силой; он вернул им юность, отдав часть души своей.

И тогда понял Юрали, как слабы и нищи все, кто приходит к нему; понял он, что ни преступленья, ни подвига не в силах они вынести, что не чудо нужно им, а слово, которому они могли бы поверить; потому что не могли они сами сказать в сердце своем: «да, принимаю» или «нет», — чужая мудрость и чужая власть делала для них каждое деяние злым или добрым.

И тяжелым бременем ложились их преступления на душу мудрого и ведающего Юрали. Но знал он, что такова судьба, и никому не отказывал в ласковом слове и тихой улыбке.

Только изредка твердил он: «Обреченная душа, обреченная на радость горькую и минутную».

21. А рядом с ним, под улыбкой его, под нежными словами его, росла и крепла его нареченная жена, царевна.

Часто уже вместе с ним входила она к просителям, часто напутствовала воинов. И радовался Юрали, потому что видел, что воскресает душа ее, что скоро сможет она править страной отца своего. Радовался он, потому что знал, — для этого чуда привела судьба его в Гастогай.

Но пока был он единым в полноте своей власти, и к нему как к первоисточнику шли за силой и мудростью. Завершителем живого он был. Когда же он сомневался и мучился, то чувствовал, что от края земли и до края нет человека, к которому он может прийти как младший, как ученик.

Шло время; и с каждым днем незаметно становилась царевна сильнее и способнее нести тяготу власти. Мудро вел ее Юрали по пути властительному. И видя, как ясно на сердце его, как легко ему бремя правленья, стала она забывать слабость и страх перед судьбою своею.

Когда же совсем окрепло ее сердце, и впервые почувствовала она себя властительницей Гастогая, исцеленной и сильной, — быстро погасла в сердце ее любовь к тому, кто дал ей исцеление.

И узнав это, не удивился Юрали, ибо ведал, что такова судьба его: уходят прозревшие и обрадованные, чтобы не возвращаться более.

И знаком исцеления был уход царевны.

22. Тогда решил он, что завершается путь его власти, что новые пути готовит ему судьба.

И в ночь, никем не замеченный, покинул правитель Юрали дворец, уступив царевне власть свою недолгую.

И было на душе у него пусто и холодно, ибо много силы своей источил он; но ведал, что еще долог путь, что трудные испытанья ждут его, и никто не ведает, куда ведет его судьба. Еще не узнал он последнего слова, которое даст ему свободу творить предназначенное.

Пока же жаждал он утомленной душой отдыха и покоя. Под бременем власти устал он и властью чужой думал исцелиться.

Так стал искать Юрали учителя и владыку.

Из Гастогая пошел он по берегу морскому. Встречные не узнавали в скромном путнике правителя. Долгие дни шел он; много неведомых стран миновал; через глубокие реки переправлялся. Но нигде не находил Юрали желанного учителя и владыку.

Иногда казалось ему, что среди пахарей должен остаться он; но сразу узнавали они в нем обреченного, и были ему не строгими хозяевами, а послушными учениками.

И тогда казалось Юрали, что осужден он на вечное одиночество, что никто не услышит голоса его вопрошающего, что своими усильями и великой мукой должен он приблизиться к тайне, которая откроет ему дальнейший путь его.

23. И пришел он, наконец, к стенам монастырским; как неведомого паломника приняли его в монастыре и строгому брату отдали, чтобы тот научил его правилам суровым и мудрым.

И узнал Юрали, что монастырь этот — оплот братии воинствующей. Как из орлиного гнезда выезжали монахи на конях своих творить суд, расправу и милость. И недоступны были монастырские стены напору враждебных воинств: острыми стрелами отражали монахи приступ. Так много уже веков стояли они на страже справедливости и закона.

И часто выходили монахи, воины монастырские, в мир, чтобы возвестить людям суровые слова своей мудрости.

И карали они грех, и знали одну добродетель — справедливость.

И странные вещи узнал Юрали о брате начальнике своем: когда он по уставу монастырскому спускался к людям, то брал на себя подвиг защиты. Но не во имя любви требовал он оправданья, а во имя справедливости.

«Призванное к жизни, — говорил он, — должно завершить круг свой; и не вы, судьи, обреченные рожденьем смерти, можете сказать: смерть. За преступленья будет их жизнь карать».

Так говорил монах. И суровая справедливость пьянила его. Часто, кончая речь свою, зачарованный верой в единую добродетель, падал он замертво перед судьями. И ни разу не вынесли они обвинения тем, кого защищал монах.

А оправданные вновь возвращались в жизнь. Но не радовала их она, ибо не для радости давалась им, а для искупления.

Монах же защищал новых преступников, не ведая любви к ним, ибо справедливость была его добродетель.

И был он только единым из слуг справедливости; все воины монастырские служили ей и никто из них не знал слова: любовь.

24. А Юрали радовался тому, что пришел к ним, так как казалось ему, что здесь найдет он учителя и владыку.

И бежало время; все суровее и холоднее становилось на душе у тихого и любящего Юрали.

Тяжелые работы давал ему учитель, и безропотно исполнял он их. И никогда не видел улыбки на лице его.

Монах же, всегда суровый и бесстрастный, полюбил покорного Юрали, но никто не знал, что в сердце его любовь, ибо считалась она по уставу монастырскому позором.

Когда же выдержал Юрали первый искус — послушание, начал изредка вести с ним беседу учитель.

О работе и о пути тяжелом говорил он ему. И слушал Юрали, и вместо холода и суровости подкрадывалось к нему еще неведомое чувство. Забыл он о жалости и о любви мучительной и минутной: другая любовь покорила его. Как ребенок нежную мать любит, как любит больной ласковую улыбку той, кто не спит у его изголовья, так полюбил он суровую душу владыки, выбранного волей свободной, ибо в его пути видел путь своей судьбы обрекающей.

И долго молчал он о любви своей. И были они, спаянные любовью взаимной и первой, чужды друг другу.

Иногда, когда умирал трудовой день, призывал монах к себе Юрали и говорил слова суровые и мудрые.

«Вытрави из сердца своего жалость; пусть бестрепетным будет оно, Юрали; если ты увидишь горе людское, то карай того, кто его создал, но не жалей огорченного, ибо слабостью был он виновен. Будь бесстрастным и знай один закон, один путь; и закон этот и путь — справедливость».

И тогда рассказывал ему Юрали о жизни своей, о чудотворчестве, о любви, дающей исцеление и радость. Монах же назначал строгие наказания ему за всю прошлую жизнь.

«Любви твоей имя — порок. Как женщина, продающая себя, не охранял ты своего сердца от любви минутной, расточал душу свою всем. Не ведал ты закона справедливого и карающего».

И чувствовал тогда Юрали, что обнищала душа его, ибо единым богатством была сила любви и радости у него. Но оставил он эту силу у ног учителя.

Нагим и нищим стал он. А любовь, острая и уничтожающая, все сильнее завладевала его сердцем.

Учитель же говорил дальше: «Ты из последних последний, Юрали, из преступников преступнейший, ибо и преступники знают любовь, но любовь эта у них едина; ты же расколол сердце свое на куски, ты расточил любовь свою».

И о суровых уставах монастырских говорил он.

«Кто хочет быть свободным и справедливым, должен выжечь из души своей любовь. Отец и мать, невеста и сестра должны быть равны в сердце его с другими людьми, друзьями и оскорбителями, спутниками и встретившимися впервые. Беспристрастно должен сказать освободившийся: виновен или прав. Только суровая справедливость должна владеть помыслами его».

И, говоря это, чувствовал монах, как растет и крепнет в сердце его любовь к тихому и покорному Юрали. И после суровых слов своих долгие ночи проводил он в покаянии, бичуя себя; и не мог вытравить великой нежности из сердца своего.

25. Юрали же не замечал борьбы, которая была в душе монаха. Тяжелыми усилиями хотел он добиться понимания закона единой добродетели — справедливости.

Наконец, показалось ему, что сможет он бесстрастно и мудро, подобно учителю, нести в мир справедливость.

И когда поведал он об этом монаху, вывел тот его к просителям. В широком дворе монастырском собирались часто люди, обвиняя или ища защиты.

И должен был Юрали в этот раз по приказанию монаха быть им судьей.

Когда появились на крыльце монах и Юрали, выступил вперед богатый купец, прибывший издалека, чтобы найти справедливость в монастыре; а за ним шла дочь его, неся ребенка на руках.

И так сказал купец: «Много поколений славился род наш добродетелью. Женщины наши до замужества не смели поднять взора на мужчину; а выйдя замуж, становились покорными слугами мужей своих. Ясной и безбурной

бывала жизнь их. Но позор пал теперь на мою голову; дочь моя принесла его в дом мой. Ты видишь, на руках ее ребенок; но не знаем мы, кто отец его. Рассуди меня по закону справедливому и мудрому, как поступить мне с нею».

А Юрали, сердцем которого уже овладела великая жалость и любовь к девушке, стоящей перед ним и покорно ждущей приговора, старался вспомнить учение монаха и быть безжалостным и справедливым.

«Да будет ребенок не на радость ей, — сказал он, — да будет он ей вечным напоминанием о позоре и грехе».

И склонились перед ним отец и дочь. Он же не в силах был продолжать, видя покорность словам своим жестоким. Тогда дотронулся монах до руки его, чтобы напомнить о долге судьи карающего.

Но Юрали, покорившийся жалости своей и любви, так кончил суд свой: «Женщина, я вижу, что не в силах нести ты подвига своего искупающего. Властью, вам неведомой, говорю я: отныне свободна ты от греха; иди с миром в дом отца своего».

И к купцу обратился он: «Пусть исчезнет и из твоего сердца память о позоре; знай, что с этой минуты вновь чист дом твой; помни, что женщины вашего рода вновь и навеки добродетельны. Я, Юрали, по велению судьбы моей, беру на себя и грех, и память о нем».

И с этими словами подошел Юрали к женщине и взял из рук ее ребенка. «Ребенок этот теперь мой ребенок».

Когда же Юрали нагнулся к нему, то увидел, что он умер.

Тогда, обращаясь к монаху-учителю своему, воскликнул Юрали: «Суровая тайна ваша убила жизнь. Где нет любви — жизни нет. Я говорил о забвении греха; теперь же скажу я: женщина, иди в дом отца своего и плачь о сыне, и помни о нем, и знай, что справедливость безжалостная отняла его у тебя. Помни, что смерть его — наказание роду вашему; ибо призваны люди любить и лелеять жизнь;

ты же видела в жизни ребенка своего грех; отец твой считал тебя, жизнедательницу, — несущей позор. Идите, и когда все, живущие в доме вашем, поймут, что совершали они преступление, не радуясь новой жизни, когда не будет у них уже хватать слез, чтобы оплакивать умершего, — тогда только вернется вновь в дом ваш покой и мир».

И с этими словами ушел Юрали в келью свою.

26. Монах же, смятенный и потерявший путь свой, пришел к Юрали и молча встал перед ним.

Знал он, что по уставу монастырскому должен был он строго осудить поступок Юралин; но великая любовь завладела сердцем его, и не имел он силы исполнить свой долг.

Когда же Юрали поднял на него глаза свои, то впервые заметил эту любовь ответную во взоре учителя. И испугался он сначала. Потом же понял, что совершилось великое чудо, что привела его дорога к стенам монастырским для этого чуда: подобно воскрешению умершего было оно: ибо новую жизнь, — жизнь любви и прощения, — открыл он воину монастырскому.

Но молчал он, ибо видел, как борется с чувством своим монах.

Наконец, после нескольких дней безуспешной борьбы, пришел он к Юрали и сказал о любви своей. И обоим им стало ясно, что это навеки; но оба молчали. И просил монах, чтобы помог ему Юрали освободиться и стать вновь холодным и бесстрастным служителем суровой справедливости.

Когда же увидел он, что нет в мире силы, могущей исцелить его, то пошел к настоятелю монастырскому, чтобы тот отпустил его навеки в мир; недостойным братом почитал он себя.

И выслушал его исповедь настоятель, и закрылись за ним ворота монастырские. Так ушел он в мир, неся заповеди суровой справедливости, бесстрастной и холодной,

в мыслях своих и великую, единую до смерти любовь к Юрали, тихому ученику своему.

И ни Юрали, и никто из братии не знал, куда исчез суровый монах.

Тогда призвал настоятель к себе Юрали и сказал ему: «Уже много веков стоит монастырь наш; но ни разу не было среди братии его отступников. Но ты внес в стены монастырские отступничество. Сильнейшего и мудрого брата соблазнил ты; долгие годы был он подвижником суровым. С твоим же приходом овладела сердцем его любовь, — позор для познавшего. И дабы не распространилась от тебя зараза далее, на других братьев, приказываю я тебе покинуть стены нашего монастыря».

И молча вышел от настоятеля Юрали; ни с кем не прощаясь, как отверженный и преступник, покинул он монастырь.

27. Казалось ему, что смерти обречена душа его, что как немудрый мальчик верил он в свою судьбу необычайную.

Ни владыкой и целителем, ни учеником покорным не мог он быть. В мир вела его дорога; и равным пахарям и рыбакам чувствовал он себя.

О власти тоскуют они и владыку ищут; о свободе мечтают и ждут покорителя. Таков и он, Юрали, прошедший через власть и послушание.

И тогда решил Юрали, что и его ждет где-то нива и плуг, ласковая жена и дети. И стал он искать судьбы человеческой.

И сложилась в душе его притча: жил некогда садовод; с любовью взращивал он цветы свои; каждого нового побега ждал он, каждого листика распускающегося.

И однажды достал он семена неведомых цветов, о красоте которых только слышал. И посеял он семена эти на грядах своих.

Каждый день выходил он смотреть, не проросли ли они; но черными были гряды его.

Тогда, не в силах больше ждать, разрыл он в одном месте землю и увидал, что тонкие, белые стебельки проросли уже из семян. И снова стал ждать садовод.

Наконец, показались из земли зеленые ростки; и только на том месте, где разрыл он грядку, осталась черная земля, потому что завяли им однажды обнаженные семена.

А нетерпеливому садоводу казалось, что слишком медленно подвигаются вверх стебли, и вновь стал он разрывать землю, чтобы посмотреть, как развиваются цветочные корни. Так каждый день перекапывал он часть своих грядок.

Когда же настало время цветам расцвести, только желтые, высохшие листья покрывали землю, ибо все семена убил садовод, желая видеть рост их.

Такова была сказка Юрали. И думал он, что подобна душа его неразумному садоводу, что пытал он судьбу свою и раньше часа назначенного стучался к ней в двери. И мертвой стала судьба его.

Ни сомнений, ни надежд не было в сердце Юралином. Казалось ему, что дорога его круто оборвалась у пропасти, что белым туманом покрыты высоты, что должен он, погубивший душу свою, идти к людям долин и искать судьбы человеческой.

28. А она, ему незримая, уже стерегла его.

Среди пахарей стал жить он, острым плугом взрезывать землю, бросать золотые зерна в нее.

По вечерам же, утомленный долгим днем, делил он скудную пищу приютивших его. И наступала ночь; и без сновидений засыпал Юрали, ища во сне только отдыха, только силы к новому трудовому дню.

И там, среди вечной работы, встретил он ту, которая должна была стать женой его. Юной была она, но от работы были покрыты мозолями ее ладони; силой была равна она братьям своим. И долгое время, живя под одним кровом с Юрали, у тех же хозяев, не замечала она его, ибо были всегда ее мысли только о работе ежедневной или о коротких

днях отдыха, которые казались ей великой радостью: громкие песни запевала она, и подхватывали эти песни ее подруги; и начиналось веселие у них иногда вплоть до нового трудового дня.

Юрали же после первых слов с нею понял, что должно ему полюбить ее любовью земной; но не видела она, как Юрали присматривался к ней, как он уже решил судьбу ее.

И однажды, когда вместе жали они хлеб, сказал ей Юрали, что хочет назвать ее женой своей.

Она же знала, что с детства предназначена она войти в дом чужой и назвать его своим домом, и принять с любовью мужа, доселе чужого и, может быть, нелюбимого, ибо так поступила и мать ее, ибо так поступили сестры и сверстницы; и дочери ее поступят так же. Поэтому, выслушав слова Юрали, сразу согласилась она.

И совершилась судьба: как жену ввел он ее в свое жилище, только что для нее выстроенное им.

И, видя безмерную покорность ее, знал он, что не ему, — обреченному и властительному, — покоряется, а только мужу своему, Юрали, так же, как покорилась бы всякому, кого ей судьба мужем назначила бы.

И казалось ему, что наконец обрела покой душа его; что миновала его судьба грозная и обрекающая.

29. А когда кончилась жатва и наступили долгие осенние дни, узнал он, что с новым летним урожаем станет жена его матерью. И было это знание подтверждением ему, что верный путь избрал он.

С любовью стал ждать Юрали ребенка своего. И говорил он жене своей так: «Многие мудрые и сильные лепят себе крылья, чтобы подняться с пути земного. И не знают, что судьбою предназначен каждый земле, что путь земной — единый путь их. Я был одним из них и много раз собирался полететь. Не выполнив завета земли, иного завета искал. Но не несли меня крылья мои. Тогда взбирался я на

высокие горы и на крыльях своих бросался в пропасти; и разбивались крылья, и долго замертво лежал я на дне. Так наказывала за измену меня родина».

«Но, наконец, понял я, что не дана мне, земному, возможность полета. И к земле вернулся я, и тебя встретил».

«И, видя путь твой земной, думал я, что вместе пойдем мы по нему. Но теперь понял я, что не могу стать к земле столь близко, как ты, ибо несешь ты ее заветы; и знаю я, что так назначено, потому что ты женщина».

«В свои темные недра принимает семя земля и покорно несет его; и выходят зеленые посевы, и колосится нива, — тихо лелеет земля все корни в глубинах своих. А летом, когда придут дни жатвы, покорно несет она муку от серпов отточенных. И падают долу дети ее, — колосья желтые».

«Так к осени остается вновь земля одинокой, вновь готовится к великому подвигу своему, — подвигу жизнедательному».

«Воистину подобна ты, женщина, земле. Так же, как и она, несешь ты семя жизни новой; так же, как и она, с покорностью принимаешь муку родов».

«И знай, женщина, что только тобою приобщился я земле, только через ласку твою почувствовал ласку извечной родины».

Так говорил Юрали; но не внимала ему жена его, потому что все ее помыслы были в той новой жизни, которую носила она.

И тогда понял он, что хоть и велика ее покорность мужу, назначенному судьбою, но не последняя покорность это. Покорилась она навеки заветам земным и несет тяжесть их с любовью и без ропота; и муж-властитель только единая из тяжестей, которым служит она.

И показалась она тогда ему далекой и замкнутой в недоступной тайне. Но еще сильнее почувствовал он, что только ею к земле вернуться может.

Вновь настала весна; и с каждым днем сильнее ждал Юрали ребенка своего. Казалось ему, что им благословляет

его земля и принимает в число сынов своих, простив долгое забвение.

И часто, идя по ниве, чувствовал Юрали, что будет подобен его ребенок каждому колосу желтому.

30. Настали наконец дни родов. Как о торжестве мучительном и великом думал о них Юрали.

И тянулись часы, и ждал он ребенка своего любовно и нетерпеливо. А жена кричала от боли, и казалось ему — изнемогает она.

Юрали же не ведал, что вновь стоит судьба у дверей, что новые испытанья ему готовит: в миг, когда раздался крик детский, возвещающий о том, что новый человек вступил в жизнь, мертвой откинулась жена его на ложе.

Так дала ему земля скорбь великую и великую радость. И у изголовья умершей плакал от горя своего и смеялся от счастья, ибо еще не знал, что значит ее смерть, и видел в ней только утрату.

Когда же похоронил он жену свою, пришлось ему быть для ребенка не только отцом, но и матерью. И долгие ночи сидел он над ним, и баюкал его, и песни грустные и спокойные ему напевал.

Казалось ему, что у колыбели ребенка закончилась дорога его, что ни радости, ни печали его, Юралиной, больше не будет, а будет радость, и печаль, и дорога длинная его сына. И тогда думал он, что себя отдала ему земля, унеся от него жену.

А ребенок стал расти и грустной радостью переполнять сердце Юралино. Знал он, что приблизился к тайне, но не постиг ее.

31. Когда же три года исполнилось его сыну, вернулся он к смерти жены своей и понял.

Понял он, что вновь провещала в смерти этой судьба; понял он, что о тайне земли сказала она смертью.

Не вечная покорность была дана земле, а покорность минутная, ибо после нее наступает вечная смерть.

И несущая жизнь земля смерти причастна, а не жизни. Ибо нет смерти только там, где нет начала. Извечный покой ведет к бессмертию. Там же, где приходят желанья и вновь уходят, где страсть чередуется с бесстрастием, там наступает смерть. Семя любовно принимает земля и любовно несет его, но не во имя радости ожидания вечного, а во имя завершения, жизнедательства. И когда под серпами падают колосья, смерть принимает земля и ждет нового рождения.

Так думал Юрали.

И еще узнал он, что говорит ему земля о бессмертии вечном, которое над желаньем и достижением, ибо минутны они и смерти причастны.

Тогда увидел он, что только опоясывает землю дорога его и вновь в неизведанное уходит.

Пусть нежность и ласка его принадлежит матери зеленой, и жене, и невесте; будет вновь перекресток; расстанется душа его человеческая со спутницею своею, с землей родимой, как и с женой своей, тихой женщиной, пришедшей с нив земных, расстался он.

Тогда стал ждать Юрали новых знаков судьбы, стал искать дороги уже не земной.

И великая ясность осенила его душу. Понял он, что земля не только мать и невеста извечная, не только рождение, но и смерть. Смертью рождает она жизнь и рождением смерти обрекает ее. Так обретает она новую жизнь, но жизнь, ограниченную годами короткими.

Так понял он знаки судьбы своей: мать зеленая сама на новый путь его посылает; жена желанная освобождает от дороги человеческой; и отрекается от него невеста, обручившись с извечным женихом своим — смертью.

Тогда, обездоленный, почувствовал он силу свою и, нищий, не мог измерить богатств своих. И сочетал горе потери с радостью освобождения.

И такое сказанье сложилось у него в сердце:

32. Некогда были все люди только детьми своей матери зеленой, только старшими сыновьями ее, нежными братьями зверю каждому и злаку. И как злакам, только однажды улыбалась им весна; только однажды лето колосистое наступало; и приходила вслед за жатвою к ним смерть, а к жизни призывались новые братья.

И поняли они, непричастные чуду и неведающие, что короток круг жизни их и вечна жизнь сама.

И однажды, внимая торжественному пению солнца, наблюдая извечную дорогу его чудотворную, взалкали они о чуде и о вечности. Долго молили они солнце о лучах его жизнедательных; долгие годы продолжалось их терпеливое ожидание; и умирали прошедшие круг свой и распылялись в мире и в жизни его вечной. Тогда другие, младшие братья, молили о чуде.

И, наконец, пришел к ним вестник и сказал: «Услышана ваша мольба; отныне будут жить среди вас чудотворцы и жизнедатели; но знайте, что имя им — обреченные. Обречены они, ибо должны сочетать в сердце своем смерть и бессмертие, чудотворение и бессилие; обречены они, ибо среди вас, умирающих, будут они вечными; обречены они, ибо не поймут, что значит на языке вашем время. И будет им мать зеленая чужой и неласковой, и братья родные неслышащими и слепыми. И будет радость их торжественна, и скорбь обречения торжественна будет. Но знайте, что судьба даст им силу и власть творить, потому что будут сильны они от рождения; первым их еловом будет слово властительное. Вы же, молящие о чудотворчестве и вечности, не могли бы обречения вынести. Радуйтесь, что услышано ваше моленье, и радуйтесь, что не вам дано чудо, а посланным и отмеченным обречением».

Так сказал вестник.

И вот пришли в мир и назвали землю матерью дети вечности и чудотворцы. И поклонились им братья их, и дали им имя учителей и пророков. Имя же их истинное

было — обреченные. Когда же забывали они о призвании своем, стуком в дверь напоминала им о нем судьба, и они выходили в путь.

И расточали они силу свою среди ищущих и просящих; и любовь свою делили между обездоленными и нищими. И уходила сила, и не было на любовь любви ответной. Когда же, усталые, искали они пути человеческого и простого, вновь стучала к ним судьба их обрекающая, и уходили они. И были они, дающие радость и освобождение, одиноки.

Так думал Юрали. И ведал он, что и его сердце обречено, что нет на земле крова, под которым может он обрести покой, что нет конца дороге его. И ведал он еще, что нет смерти для его души.

33. И, видя знаки судьбы своей обрекающей, видя, что даже мать земная на путь неземной ему указывает, решил он, что великие жертвы должен он принести, ибо только с кровью вырвет он память о родине из сердца.

В неизведанное должен уйти он, отрекшись от любимого и близкого. И как залог неумирающей любви своей к родине, как знак великой раны в сердце его, должен был он оставить земле своего ребенка.

Решив так, взял он за руку сына, запер дверь дома своего и отвел мальчика к родным его матери. И не оглядываясь на сына своего, вечным странником пошел он в путь. И не было у Юрали на душе ни радости, ни горя, — все сгорело в нем от жизни томительной и вечной. И хотел он только выполнить предназначенное.

Когда же в пути его обращались к нему с расспросами люди, молчал он и опускал взор свой, чтобы и по взору его не могли они догадаться, что перед ними обреченный. Тяжелого испытанья ждал он и, только обновившись им, мог он вернуться в мир, к тем, кто нуждался в нем.

Так пришел Юрали в пустыню. И в первую же ночь приснился ему там сон.

34. Снилось ему, будто идет он, не зная пути своего, и уже ноги подкашиваются от усталости. А с неба спускается к нему плавно орел и говорит голосом человеческим: «Юрали усталый, на своих крыльях хочу я донести тебя к великому городу Гастогаю, к власти и славе». Юрали же молча идет дальше. Тогда падает к ногам его перо из крыла орлиного и вновь говорит орел: «Подыми это перо; и в час, когда ты его прижмешь к сердцу, прилечу я к тебе и дам невиданную власть». Но мимо идет молчаливый Юрали.

И встает на пути его ягненок с покорными глазами и говорит голосом человеческим: «Усталый Юрали, покорись; только в покорности найдешь ты покой». Но не внемлет Юрали. Тогда падает к ногам его веревка с шеи ягненка и вновь говорит ему ягненок: «В миг, когда прижмешь ты эту веревку к сердцу, явится к тебе учитель, и сможешь ты отречься от себя, и будешь ты, как дитя, как учитель[5] перед знающим». Но дальше ведет дорога Юралина и молча проходит он.

Наконец, видит он женщину красоты великой. Неподвижно лежит женщина, и голова ее покоится на снопе колосьев зрелых. И с ласковой улыбкой простирает она к Юрали руки и говорит: «Здравствуй, сын мой возлюбленный, усталый Юрали; у меня обретешь ты покой, ибо не долгие пути даю я; все пути мои пресекает смерть, — покой вечный».

Но видит Юрали, что далеко за ней извивами вьется путь его, и идет. Тогда подымается женщина и дает колос желтый ему и говорит: «В час томления последнего прижми этот колос к сердцу, и приду я; и дам тебе жизнь простую и ясную; и дам тебе легкую смерть».

Тогда бросил Юрали колос на землю; и исчезла женщина, и потемнело небо; а путь Юралин извечной чертой лежал вновь перед ним.

---

[5] Так у автора.

35. Когда же он проснулся, то понял, что отрекся от всего, что было в прошлой жизни у него.

И почувствовал он, что среди желтой пустыни затерял он сердце свое человеческое. И страшно ему стало.

И еще яснее узнал он, что в сердце обреченного тайно сочетаются бессилие и чудотворение, смерть и бессмертие; и что его сердцем сильнее всего владеет усталость.

И понял Юрали еще, что нужно ему освобождение. Свободным должно было быть его сердце нежелающее.

И еще понял он, что соблюдал в тайне чистоту души своей, боясь греха, как осквернения, и чтил праведность свою.

Удаляясь от пройденного пути, должен был он удалиться и от праведности своей. С высоты, где вечный лед и холод, должен был он спуститься вниз и, окруженный искушениями, принять их, оставшись холодным и бесстрастным; разумом укорял себя за то, что соблазнился, а сердцем вольным знал, что чужды ему желанья и, значит, соблазны чужды.

Тогда отрекся он от пути обрекающего и от детской привязанности к матери своей земле; так предался он в руки судьбы.

36. А когда он подумал так, заметили глаза его, что приближается к нему толпа кочевников. И молча стал ждать их Юрали. Когда же были они уже совсем близко, вышла из среды их женщина с мертвым ребенком на руках и бросилась к Юралиным ногам.

«Ты чист душой и мудр, учитель, — сказала она. — Сердцем матери знаю я, что в твоей власти вернуть жизнь моему ребенку; возложи на него руки, и он воскреснет».

Но молчал Юрали. Тогда стала женщина умолять его и протягивала к нему ребенка своего, и слезами орошала ноги Юралины.

Мучительная жалость посетила Юрали. Знал он, что права женщина, что единым словом вернет он ребенку

жизнь. И была минута, когда хотел он уже протянуть руки свои и возложить их на умершего. Но вспомнил он недавние мысли свои и решил, отказавшись от пути обычного, не совершать чуда и тем от чудотворения избавиться. А дабы победить в сердце своем жалость и великую возможность помощи, грехом хотел он заменить обрекающую добродетель.

И так сказал он женщине: «Воистину узнала ты сердцем твоим, что пред тобою тот, кто может облегчить твою скорбь. Но узнай также, что отныне отрекся я от чудотворения, что теперь будут уходить от меня голодные ненасыщенными и просящие неудовлетворенными. Иди от меня со скорбью своей и не искушай моей судьбы».

И стала тогда называть его женщина жестоким; но не внимал ей Юрали. А вслед за женщиной стали просить все кочевники о чуде. Потом начали грозить они; но безмолвным оставалось сердце Юралино.

Тогда решили кочевники, что не имеет Юрали власти чудотворческой, и хотели уже отойти от него. Юрали же, желая завершить путь отречения и греха, остановил их, подошел к женщине и возложил руки на ребенка ее. И воскрес ребенок.

Прежде же, чем начала женщина благодарить его, вновь возложил он руки на ребенка и сказал: «Этим деянием своим отрекаюсь от чуда и от любви, дабы свободно было сердце мое для ожидания судьбы обрекающей». И вновь мертвым был ребенок на руках у женщины.

Тогда пришли кочевники в великую ярость и в гневе своем начали побивать Юрали каменьями. Он же не мог бежать от них.

Когда же они решили, что мертв он, то отошли от него.

А он, избитый и израненный, понял, что освободился от чудотворения и вечности и не по закону обреченности может вернуться к чуду, а лишь в конце длинного пути, когда не будут молить познавшие о чуде.

37. Так остался Юрали один в пустыне безводной и желтой. Много раз уже подымалось над головой его солнце; много раз мерещились ему деревья вдали; но когда направлял он к ним шаги, разлетались призраки дымом.

И уже с трудом шел он, ибо изнемогали ноги его от усталости, ибо мучительный голод и жажда томили его.

Тогда послышался ему голос: «Поклонись своей матери, земле зеленой; и прохладные родники потекут тебе из недр ее».

Но не внимал Юрали голосу искушающему.

Тогда вновь услышал он: «Припади к своей жене возлюбленной, земле зеленой; и колосья с желтыми зернами прорастут из недр ее».

Но вновь безмолвным оставался Юрали, ибо ведал, что к отречению от своей судьбы единственной приведет его слабость.

И шел он дальше, чувствуя, что изнемогает от голода томительного и жажды.

Когда же обессилел он совсем, спустился к нему голубь, неся в клюве хлеб и сочные плоды. И долго старался Юрали отворачиваться от птицы; а голубь кружился и сел, наконец, к нему на плечо.

Тогда взял его Юрали в руки и держал так в руках, полный страха и нерешительности. И была минута, когда хотел он уже взять из клюва голубиного пищу. Но понял он тотчас же, что этим навеки отречется он от дороги своей единственной, им и его судьбою созданной.

Тогда медленно стал он душить птицу и задушил ее. Хлеб же и плоды закопал в землю.

И почувствовал Юрали, что грех великий свободно выбрало сердце его.

А голод и жажда перестали его мучить.

Так впервые узнал он слово: грех; впервые совершила душа его преступление. Тогда узнал он, что душа обреченного бывала всегда чистой и святой; что для свободы великой и для завершения пути, предназначенного судьбою,

должен был он совершить грех, но грех, избранный сердцем свободным.

38. А когда узнал это Юрали, увидел он, как над его головой погасло земное солнце, — мертвый красный шар плыл вместо солнца жизнедательного по небу. И земля мертвая распростерлась у ног его.

Тогда решил Юрали, что долгие годы надлежит провести ему в пустыне, и что нет выхода из нее, ибо бесплодной стала мертвая земля, и вымерли люди, и пожелтели на всех лугах стебли и листья.

Среди каменных желтых утесов выбрал он себе пещеру. Одинок был Юрали; изредка только подползали к жилищу его змеи и ящерицы; да пауки ткали над изголовьем его паутину.

Когда же приближались к нему звери, — некогда любимые братья, — камнями отгонял он их.

Так стал Юрали пустынником, одиноко ищущим путей своих.

Казалось ему, что нету больше звуков земных, ибо ни птичьих песен, ни голоса человеческого не слышал он, и нем был язык его. Часто под палящими лучами солнца стоял Юрали около пещеры долгими часами, так что видел он, как с движеньем солнечным медленно передвигалась тень его за ним. И, склонив голову, не думал он в это время и не рассуждал о пути своем, а только вглядывался в мир, некогда родной. И тогда казалось ему, что у любимой могилы стоит он.

И так долгие годы провел он в желтой пустыне; и долгие годы думал, что грехом освободил он душу свою от вечности, что подойдет к нему старость; и смерти ждал, как искупления, как отдыха от длинного пути земного.

Когда же увидел он, что волосы его не седеют и не горбится спина, поняло сердце его, что от земли и ее заветов освободился он, совершив грех, ибо убил он одного из братьев своих, сына земного, и отвернулась от него зеленая мать.

Понял он, что грехом своим нарушил путь обреченного, ибо извечно была обреченная душа безгрешной; что убил он чудотворение в сердце своем.

И ясно видел Юрали, что обреченной по-новому остается душа его. Нет чуда в его сердце, но нет и земной смерти; есть дорога вечная, но есть и грех. И тайна эта казалась ему недоступной, ибо знал он, что первым грехом отдала себя душа его времени, а времени не чувствовал он.

Наконец, после долгих лет понял он тайну пути своего и испугался. Понял он, что и величайшее преступление, им совершенное, не будет грехом, что без нужды совершит он его, волей свободной выберет.

И еще узнал он, что свободно совершенный грех сделает его навеки вольным и греху непричастным.

Так, уверовав в бессмертие свое, увидел Юрали, что не может он и других лишить жизни и не может, значит, греха совершить, ибо грех есть всегда умерщвление.

39. И тогда умерли желанья в сердце Юралином; а ему казалось, что сердце умерло.

И тогда посетила его новая ясность; он же думал, что вторым рождением земным родился он.

И тогда зазвенела пустыня, и властно простучала судьба в сердце Юрали, и упал он перед ней, освобожденный и покорный, с ненарушимой верой в долгий и великий путь, от века ему предназначенный.

Так просветилось его сердце. И настал в пустыне великий покой. Юрали же почувствовал, что каменеет он, что подобно острым скалам пустыни становится его тело.

И долгое время пребывал он так.

Когда же вновь поднялись глаза его, давно забытый призрак его посетил.

Показалось ему, что зазеленела пустыня безводная; что небо, только что бывшее пустым и серым, синим куполом вознеслось над ним. И ярко засияли косые лучи вечернего солнца, долго им невиданного.

И с трудом поднял Юрали голову, потому что чувствовал, как медленно каменеет он.

Когда же пристально всмотрелся он вдаль, то увидел, что приближается к нему каменное стадо, ярко позлащенное солнцем.

И далеко, от края и до края земли, раскинулось стадо его. И всех узнал он, кого встречал в жизни, среди каменных чудовищ. И многих еще невиданных людей заметил он среди них.

Тогда понял он, что в эту минуту не осталось на земле ни единого человека; что все пришли к нему в изгнание, в желтую и безводную пустыню.

И хотел встать Юрали, и не мог.

Тогда внезапно нарушилось безмолвие, и громкую песнь запело солнце, и звонкие птичьи щебетанья раздались, и зашуршали прорастающие травы, и невидимые звери земные стали вновь говорить понятным языком.

А стадо чудовищ каменных с выщербленными спинами низко склонились перед Юрали.

И раздался голос, покрывающий голоса земные: «Отныне призван ты пасти все стадо земное; и имя пастве твоей — Юрали. Обреченным осталось сердце твое, но обреченным твоей судьбе единственной».

И камнем упал к ногам его мертвый орел с поднебесья; и зарезанный ягненок оказался у ног его; когда же он оглянулся, то увидел мертвую женщину, покоящуюся на снопе выветрившихся колосьев.

И громко возопила паства его: «Иди и веди нас, учитель; дай нам мудрость и ясность твою».

После слов этих сразу исчезло все. Вновь пустынные и бесплодные стояли скалы, да змеи грелись на солнце.

40. Юрали же понял, что повернула его дорога снова в мир; и с надеждой великой, с последним покоем и бесстрастием в сердце покинул он пустыню.

И когда через много дней пути приблизился он к приморскому городу Гастогаю, то не узнал его; и кораблей, стоявших у берега, не узнал.

В вечерний час вошел он в Гастогай. Миновав предместье, увидал он дворец, где некогда был правителем, и храм, увенчанный башней.

В темном проулке, который вел к морю, остановила его женщина и просила, чтобы он последовал за ней, обещая ему ночь свою.

И Юрали, который знал, что нельзя противиться судьбе, согласился за нею идти.

По пути же начала вести с ним беседу женщина и удивлялась суровым словам его, ибо все, кого она раньше встречала, отвечали ей шуткой на шутку и были веселы и ласковы.

Когда же проходили они мимо раскрытых дверей какого-то притона, ярко освещенного и шумного, впервые увидала ясно женщина лицо и одежду спутника своего. Тогда поняла она, что идет с нею суровый отшельник.

И она, вечно творящая любовь и радующаяся ей, сказала Юрали: «Посмотри на меня и ответь: есть ли желанье в сердце твоем?»

И отрицательно ответил ей Юрали.

Женщина же, помня, что ведет она строгого пустынника, начала рассказывать ему о радости ночей своих и о радости той жизни, которую вела она. Когда же не было у нее больше слов, чтобы сделать речь свою еще более убедительной, вновь спросила она Юрали, хочет ли он приобщиться той жизни, которую вела она. И сказал ей Юрали: «У меня нет желаний в сердце».

Тогда замолчала женщина. Так вышли они к берегу морскому. И вновь спросила она Юрали: «Зачем же идешь ты со мной?»

Но на этот вопрос промолчал он.

Тогда стала говорить ему женщина, что только презреньем может она объяснить себе деяние его. Строгий отшельник, лелеющий и любящий только добродетель свою,

пришел он, чтобы глумиться над нею, ибо грешна она; пришел он, чтобы еще раз убедиться в белизне одежд своих, ибо в грязи она, ибо низко пала она.

Но ответил ей Юрали: «Женщина, жизнь твоя дает тебе радость; грех же ведет к отчаянью. Итак, нет грешных желаний в сердце твоем. Как же могу презирать я чистое сердце?»

Но не поверила ему женщина и стала упрекать его еще больше в гордости, ибо даже презренья недостойна она по его мнению.

Когда же Юрали несколько раз повторил ей, что чиста она перед лицом его, потребовала она, чтобы деяниями доказал он ей это.

«Упади до меня, — говорила она, — не отворачивайся от греха моего, ибо совершишь ты его, не имея грешных желаний. Если же не согласишься ты исполнить то, что прошу, то буду знать я, что слова твои лживы».

И ласково улыбнулся ей Юрали, и сказал: «Да будет по воле твоей. Если тебе будет радостно от моей близости или от знания, что я равен тебе, то я пойду с тобой. Только помни, что презираешь ты себя больше, чем я».

И с этими словами взял он женщину за руку, и повела она его по темным переулкам к себе.

А на душе у Юрали было так же тихо и ясно, ибо знал он, что бессилен грех перед судьбою обрекающей.

41. В ранний же утренний час привела его женщина в притон, где пили и веселились гуляки с подругами ее. И удивленно смотрели юноши и девушки веселившиеся на строгое лицо Юралино; и смеялись над запыленной его одеждой.

«Если ты мудрец, — говорили они, — то не можешь знать радости. Вот мы пьяны и нам весело; может быть, многих из нас ждет дома невеста или жена; может быть, многие оставлены возлюбленными. Мы смеемся; мы говорим друг другу слова любви, и нам весело. Будь с нами, пустынник».

И снова пили они, и переходили из притона в притон. И пил с ними Юрали.

Многие же из них уже плакали пьяными слезами и жизнь свою ежедневную проклинали. Потом вновь начинали смеяться и обнимали спутниц своих.

И пели они песни: о любви минутной говорили песни эти. И тогда хохотали женщины и объявляли, что от ночи и до новой ночи тянутся часы сна, что вся жизнь их любви минутной предана. И кричали они так: «Сердце развеяно! Душа умерла! Слава любви!»

Юрали же молчал.

Тогда стали они просить его, чтобы разделил он веселие их, чтобы сказал им хоть несколько ласковых слов.

Он же притчу им, пьяным, сказал.

42. «О сердце растраченном и о душе уснувшей буду говорить я. Подобна душа человеческая ядру; человек же скорлупе ореховой подобен. Однажды решил мудрый садовод вырастить ореховую рощу; и много орехов посадил он в землю и стал ждать роста их».

«Но мимо проходило стадо; и копытами своими разрыл бык в одном месте мягкую землю; и многие орехи обнажились. И пошли дожди; и морозом сковалась земля; а орехи лежали, открытые ветру. И тогда сказали они: “Нет у нас ядра; мертва наша сердцевина”. Потом пришли дети и стали играть ими. Тогда обрадовались откопанные орехи и закричали: “Слава любви! Слава жизни!”»

«Другие же орехи, оставшиеся под землей, начали расти. Но у одних из них была тонкая скорлупа, и быстро пробили ее молодые побеги; другие же были как броней непроницаемой закованы, и не могли прорасти поэтому. Но все славили жизнь по-своему. Первые говорили: “Слава жизни; слава небу синему и черной земле”. А вторые говорили: “Разве есть что-нибудь за нашей скорлупой? Слава нашему миру, темному и тесному”».

«Тогда вновь пришел мудрый садовод, отнял у детей выкопанные орехи, зарыл их в землю и часто стал поливать насаждение свое».

«Когда же пришло время — проросли все орехи, и зеленым молодняком покрылась земля».

Так кончил Юрали.

А пьяные слушали его внимательно и казалось им, что еще никогда так властно и громко не звучали слова человеческие.

И спросила одна из женщин его: «Странник, что значит твоя притча?»

Юрали же ей ответил: «Все вы пели: сердце развеяно, душа умерла. А я знал, что уже близится к вам садовод, чтобы вновь предать вас земле; и что скоро прорастут зеленые стебли из оболочки вашей».

И когда он сказал это, молча встали все.

Он же продолжал: «Призываю вас. Ныне впервые увидите вы небо, увидите мир земной; ныне впервые покинете вы оболочку свою, и сгниет она. Кто может, пусть идет за мной».

Тогда вышла из среды их та женщина, с которой провел он предшествующую ночь, и сказала: «Я хотела бы, но я не могу».

Но еще раз позвал ее Юрали.

И юноша подошел к нему и спросил так: «О любви ли ты говоришь или о смерти?»

И ответил Юрали: «О ясности и покое».

После этих слов вышли они втроем, и знал Юрали, что навеки принадлежат ему первые ученики его. Они же чувствовали, как упадает с сердец их оболочка за оболочкой и как тянется душа из-под покрова земного на волю.

Те же, кто остался, хотели вновь славить жизнь свою. Но знал Юрали, что еще не пробил их час и что не могут они пока жизнь по-иному славить.

43. Юрали же и спутники его вышли из Гастогая.

И быстро подошел к ним человек, испуганный и растерянный, и сказал так:

«Я убил и ограбил встретившегося путника. Золото взял у него. Теперь настигает меня погоня. Если есть в сердцах ваших жалость, то спасите меня, — скажите, что вместе вышли мы из города. И тогда погоня пройдет мимо».

И Юрали согласился. Так встретили они погоню и миновали ее. А разбойник не ушел от них.

После нескольких дней пути заметил Юрали, что тайная тоска мучит его. И спросил он у него, какая причина ей. Тогда рассказал ему разбойник о своей жизни.

Много убийств совершил он; много золота прошло через руки его. Но каждый раз вслед за радостью о полученном начинала мучить его тоска. Так уже давно терзают его стоны умирающих. И тогда, чтобы не слышать их, новые убийства совершает он, но не может душа его никогда освободиться.

Однажды решил он, что искупить надо совершенные грехи. Тогда отдал он все награбленное нищим; но и это не помогло: по-прежнему продолжала тоска его терзать, по-прежнему мучили по ночам стоны убитых.

И теперь знает он, что нет на земле силы, которая может его исцелить.

Так говорил он о преступлениях своих, как о рабстве.

Юрали же молча слушал его и только раз сказал: «Вольна душа твоя».

Тогда на следующий день вновь приступил к нему убийца со словами: «Зачем сказал ты мне, что душа моя вольна? Слова такие может говорить только тот, кто обладает властью освобождать. Я поверил тебе; но наступила ночь, и вновь призраки мною убитых стали меня мучить, вновь узнал я, что вечен мой плен. Лучше было бы, если бы не слыхал я твоих слов о свободе».

И взял его Юрали за руку, и такую речь повел:

«Неразумный и неведающий, разве не знаешь ты, что, и не имея награбленного золота, не умер бы ты с голоду? Разве не вольным сердцем выбрал ты путь греха?»

И, помолчав, ответил ему убийца, что истинны слова его.

Тогда стал говорить Юрали о том, что каждый шаг человеческий предназначен судьбою; но может всякий отречься от того, что свободно выбрала его душа. «Ибо, — говорил Юрали, — как тяжелую ношу нес ты преступления свои, и они же карали тебя. Но говорю я тебе: вольным сердцем избрал ты этот путь. И когда исполнишь ты предначертанное, когда каждое убийство острым ножом пронзит твою душу, тогда знай, что завершен твой круг, что исполнилась мера мук твоих и радостей. Тогда знай, что круто оборвалась дорога, и что выбор новых путей в твоих руках».

Но не верил преступник Юралиным словам и только знал, что после этих слов свободна душа его от желаний, ибо открылась ему истинная цена достижения желаемых благ.

Когда же он сказал об этом Юрали, то возрадовался тот и воскликнул: «Знай, что нет греха там, где нет желаний».

И последними этими словами очистилась, наконец, душа преступника; и радостно отошел он от Юрали, чтобы передаться новой своей, еще неведомой судьбе.

44. Спутники же Юралины молча внимали всему совершившемуся. Тогда стал говорить Юрали им о путях человеческих, выбираемых свободным сердцем, и о том, что только без желаний выбранный путь совпадает с путем, судьбою предназначенным. И о грехах и искушении говорил он.

Когда же проходили они мимо селений, случайно встретившиеся провожали их, чтобы послушать слова Юралины.

И вот подошел к Юрали один юноша и стал просить его, чтобы тот рассудил одно его деяние.

Был он слугою богатого купца; и однажды взял его господин вместе с другим слугою своим, чтобы сопутствовать каравану, везшему в дальний город товар.

Когда все уже было распродано, и возвращался купец домой с большими барышами, стал убеждать юношу товарищ его убить купца и поделить между собою барыши. Но он отказался. И много раз вновь приступал к нему неверный слуга, желая склонить к преступлению.

Однажды в пустыне безводной и голой, после того, как помогал юноша хозяину своему сосчитать выручку и был совсем ослеплен золотом, отправил купец слуг своих на охоту, так как вышел весь запас пищи.

А во время охоты вновь стал убеждать юношу товарищ и соблазнять золотом виденным и рассказывал о том, что можно будет на это золото приобрести.

Когда же почувствовал юноша, что склоняется сердце его к преступлению, то решил он, дабы избегнуть искушения и не лишить жизни хозяина, всегда к нему доброго, освободиться от искушающего.

И в пустыне убил он спутника своего; когда же вернулся к хозяину, то сказал, что растерзали его дикие звери.

И так рассудил его Юрали: «Не о поступках могу судить я, а о желаниях, которые их создавали. Ты, юноша, боролся с искушением, — благо будет тебе за желание преодолеть его. Но ты убил искушающего, и это значит, что бесплодна была борьба твоя, что поддался ты искушению. Ибо если в мыслях своих мог бы ты убить соблазн, то не нужно было бы тебе в действительности убивать соблазнителя. Ты убил его, потому что желанья твои подчинились его желаньям. А раз совпадали желанья ваши, то значит, — ограбил и лишил ты жизни хозяина твоего, потому что этого хотел соблазнитель».

И, оборачиваясь к другим своим слушателям, так продолжал Юрали: «Запомните навсегда, что не тот преступник, кто совершает грех, — ибо грех может быть иногда без

грешных желаний совершен, — а тот, кто имеет желанья эти в сердце своем. И не тот победил соблазн, кто уничтожил его, а тот, кто сумел заставить себя не замечать соблазна. Знайте, что руки могут быть в крови и грязи, а душа чиста; и что чистые руки не могут еще быть доказательством чистоты душевной».

И многие не поняли слов Юралиных. Другие же, понявшие его, стали вспоминать свои деяния и думы; и многие, считавшие себя преступниками, почувствовали, как обелилась душа их словами Юралиными; другие же нежданно открыли в сердцах своих преступления, не совершенные, но великие.

45. Так, поучая и творя суд, пришел, наконец, Юрали с учениками своими к городу, которого он никогда еще не видел. Начиная с предместий была заметна небывалая суета на улицах. Чем дальше шли они, тем сильнее рос шум, и крики становились все громче. Юрали спросил мимо бегущих граждан о причине волнения и узнал, что город охвачен восстанием.

Когда же он со спутниками своими приблизился к главной площади города, то великая толпа уже не позволяла им двигаться дальше. С трудом пробрались они ко дворцу правителя.

Окруженный вожаками восстанья, стоял правитель на высокой лестнице и пробовал защищать поступки свои от обвинения толпы. И уже носилось по рядам тихим шепотом: «Смерть ему».

Но никто не хотел громко сказать этого слова, потому что всем было ясно, что сказавший так будет палачом: вслед за словом, громко произнесенным, бросится толпа на правителя и убьет его.

И узнал Юрали из речей окружавших его, что не ведал правитель единого закона властительного — милости; что, будучи жестоким, боялся он возмездий, боялся даже тех, кто оставался ему верен.

Уже долго стояла толпа и не могла сказать последнего слова, ибо не может обиженный судить обидчика.

И ждали все они человека, который не имел бы в сердце обиды на правителя, но мог бы мудро и справедливо судить его без ненависти и боязни.

Наконец, один из вожаков, бывших рядом с правителем, узнал по одежде, что чужестранец Юрали, и просил его выйти, чтобы бесстрастно и справедливо сказать последнее слово.

46. И вышел Юрали, и сразу замолкла многоголосая толпа, ибо сразу поверила ему.

А он начал говорить: «К смерти хотите вы присудить человека, перед которым недавно склоняли головы. Если вы были покорны ему, то не ненависть к власти в ваших сердцах, а ненависть к тому, кто нес эту власть. И воистину правы вы, ибо недостоин власти тот, кого не любят, как владыку своего. Но не надо присуждать его к смерти, ибо каждому человеку указаны пути его, и вся вина вашего правителя в том, что не понял он своей судьбы, дорогу чужую избрал. И ваша вина, что поверили вы в него. Верните его предназначенному пути и отпустите с миром. За власть украденную властью же и наказан он».

И когда замолк Юрали, поняли все, что им безразлична судьба дальнейшая правителя их, что страха к нему нет ни в чьем сердце; и отпустили они его.

А перед Юрали низко склонились, ибо думали, что дала им судьба владыку мудрого и справедливого.

Но отрекся Юрали перед ними от пути властительного и такую речь повел им: «Знаю я, что каждому из вас его дорога единственная предназначена. И вот говорю я вам об этом и отныне навеки запомните слова мои».

«Когда почувствуют ваши сердца, что искать этот единственный путь свой надо, не сможете вы принять владыку. Те дела и проступки, за которые судил он вас, дела ежедневные; вы же уже чувствуете после слов моих, что не будет

день ваш похож на минувший день, и день грядущий будет разниться от сегодняшнего. Так и преступлений совершенных больше не повторит ваша душа; и значит — не нуждаетесь вы в каре».

«Только знайте отныне, что долог путь ваш, только смогите полюбить его безраздельно и навеки».

Так кончил Юрали и хотел уже удалиться, но не пускала его толпа из города и громко приветствовала, и бросала ему под ноги одежды свои и цветы.

47. Когда после большого труда удалось ему покинуть стены города, многие из граждан продолжали следовать за ним, обращаясь с вопросами и прося точно разъяснить, что назвал он путем души человеческой.

Тогда остановился Юрали на вершине холма придорожного и стал беседовать с ними.

«С детства видит человек, что пути его от судьбы предназначены. Но начинается жизнь его зрелая, и о случае говорит он. Тогда предается он в руки старшего, в руки владыки, свободно выбранного им, и думает, что власть чужая сделает шаги его не случайными, к тайной цели поведет его; владыка же названный сильнейшего ищет, ибо душу его терзает не только случайность его единственного пути, но и случайности в путях его паствы. И так тоскует каждый владыка земной о рабстве и покорности».

«Я же пришел сказать вам: нет случая. Как зерно не случайно вырастает, как стебель не случайно выкидывает колос свой, так же не случайна дорога человека».

«Всеми вами властно правит судьба. И не бойтесь прямо заглянуть ей в глаза, ибо не обманет она вас, ибо даст она вам знание великое, — знание каждого дальнейшего шага. Но помните и знайте, что судьба каждого, — его судьба единственная. Великий путь лежит перед каждой душой человеческой, и не властен никто изменить его, — властен только отсрочить».

«И вот о пути этом хотел я поведать вам».

48. Тогда подошел к Юрали юноша из толпы и сказал: «Учитель мудрый, о своей единственной судьбе хотел я спросить тебя. Сердцем своим давно знаю я то, о чем говорил ты; но найти дороги не могу, ибо слепы глаза мои и уши не слышат. Вот уже несколько лет прошло юности моей; и все, смотря на меня, радуются, ибо все, что может желать человек, есть у меня. Только я один на судьбу свою не радуюсь. Каждый раз, когда посещает любовь меня, жалость мучительная посещает мое сердце. И жалость эта убивает любовь. Сначала я не понимал, что значит эта жалость. Теперь же знаю, что тайным знаком отмечает она путь мой единственный, но все же не ведаю, каков этот путь. Научи меня, ибо зорко зрение твое и чуток слух».

И положил ему Юрали руки на плечи, и спросил: «Юноша, а себя не жалеешь ли ты так же мучительно, как и других?»

Юноша же, подумав, сказал: «Нет».

Тогда ласково улыбнулся ему Юрали.

«Прав ты, юноша, видя в жалости своей мучительной тайный знак пути своего. Но знай только, что о муке нестерпимой говорит твоя жалость. Нигде не найдешь ты человека, который тебя за тебя самого любить будет; всякий полюбит жалость твою. И твое сердце тоже любви не узнает, ибо, любя, будешь ты жалость свою любить».

«Так будет, если станешь искать ты любви земной и безжалостной; потому что этим только отсрочишь ты путь, от судьбы тебе предназначенный».

«Я говорю тебе: иди. Иди к тем, кто любовью не тронет сердца твоего, иди к отверженным и не знающим путей своих. Приди и скажи: я владыка ваш. И они поверят тебе, и их грех понесешь ты; и тогда наполнится до края сердце твое и увидишь ты, как дальше поведет твоя дорога».

«Но пока ты молод и не знаешь сердец человеческих, за собою зову я тебя».

И последовал юноша за Юрали.

Перед тем же, как покинуть толпу, еще раз сказал Юрали, что ждет каждого великий и трудный путь судьбы его.

49. Через несколько дней пути пришел Юрали со спутниками своими к стенам монастырским. Много народу собралось в эти дни в монастыре. В стране той свирепствовал мор, и не было семьи, в которой не погиб бы кто-нибудь.

Поэтому и стояла большая толпа в монастырском дворе: одни пришли просить чудотворцев-монахов об исцелении братьев и детей своих, оставшихся дома; большинство же молило облегчить души их от ужаса смерти и тяжести жизни, ставшей одинокой и пустой после утраты близких.

И часто приезжали гонцы и вестники, чтобы сообщить, что напрасно молят люди об исцелении: умер уже больной.

Но многим даровывали чудотворцы исцеление, и тогда, обрадованные, шли получившие дар этот по домам, чтобы обнять исцеленных.

Когда Юрали и спутники его вошли за монастырскую ограду, увидели они монаха, стоящего на крыльце кельи своей, и толпу, с мольбой распростершуюся перед ним. Монах же стоял неподвижно, и, видимо, сомневалось сердце его.

Юрали прислушался к мольбам.

«Если мы вернемся в дома наши, — говорила женщина, стоящая около Юрали, — то вновь увидим умерших детей. Сердца наши измучены».

А в другом месте старик протягивал монаху руки со словами: «Ты, исцеляющий больных и дающий жизнь мертвым, отчего не хочешь ты исцелить и воскресить души наши? Мы больны смертью чужой, мы мертвы чужим умиранием».

И со всех сторон тянулись люди к монаху и просили его о чуде. Все кричали: «Мы устали от тяжести пути нашего земного! Если ты воистину чудотворец, сними эту тяжесть с плеч наших, сделай нас свободными».

Но молчал монах.

Наконец, после долгих стенаний и просьб, он сказал им: «Во власти моей дать вам то, о чем просите, снять тяжесть с плеч ваших. Но не знаю, по какой причине сомневаюсь я. Лучше просите меня об исцелении других ваших недугов; лучше о чуде, ежедневно совершаемом, просите».

Но толпа отвечала: «Пусть мы будем голодны и бездомны; пусть тяжелые недуги мучат нас; дай нам только свободу от тяжести извечной. Входя в мир, от юности еще поднимаем мы тяжелую ношу, и до смерти давит она наши спины. Дай нам радость и свободу».

Тогда решил монах исполнить просьбу их. Уже простер он руки над толпой, уже готов был произнести слова простые и чудотворные, — но подошел к нему Юрали и остановил его.

50. Потом обернулся Юрали к толпе и начал говорить ей.

«Прежде всего, узнайте, люди, что тяжесть ваша чудом не уничтожится; а упадет бременем на плечи чудотворца».

Тогда возопила толпа: «Он силен; он может поднять то, что нам не по силам».

А Юрали продолжал: «Все пути земные смерть пресекает. Узнайте, что за воротами смерти встретит вас привратник и поведет к судье мудрому и нелицеприятному. И подымет судья весы справедливости, и упадут на одну чашу весов прегрешения ваши, а на другую — ваша добродетель. Пусть каждый вспомнит жизнь свою и ответит, какая чаша перетянет».

И молча стояла толпа.

«На лицах ваших вижу ответ, — продолжал Юрали. — Но слушайте, в последний час, когда ни одного оправданного не будет, встанет перед судьей некто, и попросит он судью, чтобы тот разрешил бросить на чашу добродетели тяжесть земного пути».

«И говорю я вам: высоко взовьется чаша греха и низко опустится чаша добродетели, отягченная ношей тяжелой каждого дня. И грех ваш, тяжесть вашего греха будет перед лицом судьи великим подвигом».

«Теперь, когда вы знаете о суде последнем, если хотите, — просите о чуде, и будет оно дано вам, грешите безвольно и пользуйтесь без сомнений плодами грехов своих; но знайте, что настанет час последний и тогда не будет ни чуда, ни милосердия; а только одна суровая справедливость».

«Говорю я вам: любите тяжесть своего пути, любите ношу невыносимую грехов ваших».

«Пусть будет радость ваша горькой; пусть мука ваша будет неисчислимой. Как великий дар примите муку эту и радость горькую».

Так кончил Юрали. И сурово глядела на него толпа, ибо был он вестником судьбы их неумолимой. Но склонились перед ним все, и все приняли трудный путь подвига для радости горькой.

И в спокойствии ненарушимом стали люди расходиться, каждый ведая, что сможет без страха заглянуть в лицо судьбы своей.

Многие же не ушли из двора монастырского, желая следовать за Юрали всю свою жизнь, дабы, внимая его словам, легче могли отречься души их от счастья и греха во имя радости минутной и горькой.

51. А когда спустилась ночь, и остался на дворе только Юрали со спутниками своими, приступил к нему один из учеников его и спросил: «Учитель, кто ты? Как власть имущий говоришь ты — и от власти отказываешься; слова твои подобны словам чудотворца, но от чуда отрекаешься ты. Кто ты, учитель?»

Тогда сел Юрали на ступенях лестницы монастырской, и окружили его тесным кольцом ученики его. И так сказал он о себе.

«Я — только один из вас, ибо каждый из вас и чудотворец и властелин; я — только один из вас, ибо все вы, подобно мне, бессильны и нищи. И мое имя — Юрали — тайно и ваше имя перед лицом судьбы».

Тогда вновь вопросил его ученик: «Но как же это может быть? Тебя мы называем мудрым и учителем; ты же говоришь, что равен нам, неведающим ученикам своим».

И ответил ему Юрали: «Воистину равен я вам; но разнствует дорога наша. Судьба заставила меня заглянуть в глаза свои, и понял я мой путь; судьба властно вела меня, и забыл я, что значит желанье и воля, ибо в руки ее предалась душа моя».

«Если же хотите еще точнее знать, кто я, — то имя мое — обреченный. Не бойтесь этого слова и не жалейте, ибо достоин жалости только желающий, ибо страшно только то, что можно отвратить. Моя же душа не имеет желаний, и с дороги своей не властен свернуть я. И радуйтесь обо мне, ибо к великой радости пришел я; радуйтесь обо мне, ибо путник вечный — мое имя. Сердца моего не победит жизнь и смерть не победит; тела моего не скует усталость и не измучит жажда; труден и прост путь обреченного. Если же не поняли вы сказанного, то еще скажу вам: о великом покое слова мои».

Тогда начали ученики обсуждать слова его и просить, чтобы ясному пути научил он их.

И сказал Юрали: «Не о власти пекитесь и не о покорности. Но если будет сердце ваше свободно от желаний и мудро, то идите к людям желающим и не ведающим ясности и покоя. А если скажет вам человек, впервые встретившийся: покорись, — то с радостью отдайте ему волю вашу, оставаясь навеки свободными. Ибо и воля ясная так же лишает свободы, как и покорность, если держаться за нее и любить ее. Если же встретите вы человека, ищущего учителя и владыку, то скажите ему: “Я учитель твой, я владыка, судьбою тебе дарованный”, — ибо знаете путь вы и тайну;

беря же в руки свои волю чужую, чужую тяжесть берете; но не сломит тяжесть безмерная плеч того, кто познал. Итак, будьте свободными в судьбе своей и даруйте накопленные богатства, и принимайте дары великие. Не только тот скуп, кто бережет достояние свое, но и тот, кто от дара отказывается».

52. Тогда отошли от него ученики и стали обсуждать непонятные слова его.

Не знали они, отчего и им тайное имя — Юрали; и не ведали, бессмертен ли учитель их или равен им и в смертном часе своем.

Но не могли они разрешить этого сами и вновь подошли к Юрали: «О вечном пути говоришь ты, учитель; поведай нам: придет ли смерть к тебе?»

И так ответил Юрали: «Смертный, я обречен на бессмертие; но, дабы исполнился во мне круг жизни человеческой, смерть изберу я. Она же не будет властна надо мной».

Но не поняли ученики слов его.

Он же продолжал: «Знайте, что близится мой смертный час. Но не умру я, а только уйду от вас; и вновь приду, когда настанет время. Смерть я избрал, не имея желаний жизни и смерти в душе».

После этих слов перестали задавать ученики ему вопросы и только ведали, что великое делается.

Тогда встал Юрали, чтобы покинуть монастырь, и двинулись за ним все, полные страха и покорности перед ликом неведомой судьбы.

И было уже утро.

53. Люди же, накануне слышавшие слова Юралины, разнесли славу о нем по всем селениям своим. И вот навстречу ему шла большая толпа желающих услышать его.

Кроме того, был в эти дни в монастыре праздник, и со всех сторон стекались к нему паломники-чужестранцы.

И окружили люди Юрали, и просили научить их, поведать им свою тайну.

«Скоро придет мой час, и тогда расстанусь с вами, — сказал им Юрали. — Пока же о знании своем тайном хочу сказать вам. Но о многом умолчу, ибо будет открыто дальнейшее каждому в душе его. Теперь же о начале пути буду говорить я».

Тогда опустились люди на землю, и сел посреди них Юрали, чтобы в длинной беседе поведать им о себе и о вере своей.

54. «Раньше всего почувствуйте душу свою одинокой; но поймите, что одиночество не тоскует и не ждет. Одиночество — последний покой. В час, когда появится у вас привязанность земная, знайте, что умерло ваше одиночество. Одинок тот, кто не имеет желаний».

«Итак, будьте свободны от желаний; знайте, что путей судьбы нельзя изменить, а только отсрочить можно. И вас, не желающих, поведет судьба».

«Чутко слушайте голоса своей судьбы единственной. Каждый из вас — и великий воин, и мудрец, и пророк, если он внемлет голосу судьбы своей. Знайте, что каждого ждет обильная жатва и серп отточенный; и знайте, что только прямая дорога судьбы ведет к этой жатве. Но не отчаивайтесь, если желанье полонит ваше сердце, и вы изберете окольный путь: не осыплются колосья на ниве вашей и не сожнет их другой жнец, ибо вам эта жатва уготована, для вас созрели колосья».

«Не бойтесь греха, но творите его, не имея грешных желаний в сердце. И помните, что каждый шаг ваш имеет возмездие. Знайте, что за победой идет тягота власти и за счастьем земным — смерть».

«Любите тяжесть каждого пути единственного, ибо тяжесть радует. И под ношей непомерной, по крутым тропам, дойдете вы до солнца, до последних высот».

«Не любите ни близких своих, ни себя любовью земной, но чтите с благоговением как свой путь, так и путь самого отверженного и последнего из живущих».

«Не ищите счастья, ибо нельзя найти несуществующего, но ищите радости».

«Знайте, что радость бывает всегда минутной, мучительной и горькой, ибо следует за нею расплата и отвержение».

«И, вкушая радость горькую, ведайте, что великий покой царит извечно на земле и на небе, в жизни и в смерти».

«О покое и радости пекитесь».

«Не думайте о смерти, ибо тот, кто поверит в нее — умрет; тот же, кто в вечную жизнь уверует, будет бессмертен. Ваши же души еще слишком юны, чтобы и смерть и бессмертие вынести».

«Знайте, что каждая душа обречена, и ищите тайного знака своего обречения».

«Не жалейте ни себя, ни других, ибо все одинаково радуются радостью горькой».

«Вот я скоро уйду от вас, ибо круг мой исполнился, ибо звонко прозвучали слова мои. Но ведайте, что в час, назначенный судьбою, снова вернусь я к вам, и ждите».

«И никто не знает места, где снова прозвучат слова мои; и никто не узнает меня, ибо другое сердце будет биться жизнью моею».

«Тот, кто поймет и примет слова мои, поймет и дальнейшее, о чем вам еще рано говорить. И возрадуется дух его, ибо о свободе, покое и радости слова мои».

«Больше, чем в слова мои, верьте в себя».

Так кончил Юрали. И медленно стали расходиться люди, неся в сердцах семя великой и горькой радости.

55. И когда остался он с учениками своими, стал он им говорить, что заканчивается путь, предначертанный судьбою, что уведет в неизведанное иная дорога его.

Но несколько дней еще переходили они из селения в селение, из города в город. И везде говорил о знании своем

тайном Юрали. И слушали люди, и радовались словам его, хотя многое оставалось им непонятным и неведомым.

И однажды дал Юрали ученикам своим свиток, исписанный его рукою, говоря: «Когда приблизитесь к тайне, то ясными станут вам все слова мои. Для тех же, кто завершит путь мой, оставляю я ключ от ворот тайны. И сможет перешагнуть порог ее только тот, кто умертвит сердце свое для судьбы, еще вам неведомой. Имя же ей — милость и торжественность. Другие же имена ее узнаете из свитка, который даю вам».

56. И пришел однажды Юрали с учениками своими к подножью высокой горы. И там начал он в последний раз говорить им.

«Вот ухожу я от вас и знаю, что не оставлю печали в ваших сердцах. По земле рассеетесь вы; ко всем алчущим в дверь простучитесь: и радость великую им даруете. Вам оставляю я бремя радости моей горькой».

«Но ведаю я, что и вы еще не знаете, куда ведет дорога тех, кто отрекся от счастия во имя радости. Не знаете вы до конца, что значит быть обреченным».

«В час же, когда поймете вы тяжесть пути своего, новым светом засияет над вами солнце».

«И в мир несете вы только часть тайны, ибо вся тайна надолго вместе со мною исчезнет».

«И будете вы одиноки на путях ваших; но, дабы не было лжи между вами, еще один завет оставляю я вам».

«Мною земля вам дарована: реки и моря ее, равнины и горы, звезды над нею и солнце, звери и птицы, и рыбы, люди и помыслы их, травы и камни».

«И будете вы говорить обо мне, и слова ваши будут громче голоса трубного, ибо глухие услышат их».

«Но бойтесь прибавить к тому, что узнали от меня, хоть единое слова, ибо оно будет ложью. Бойтесь создавать монастыри и верованья, ибо забудете вы тогда, что я — только один

из вас, и нельзя поклоняться имени моему. Если же любовь ваша ко мне требует знамений, то да будет единым знаменьем путь, по которому идете; ибо указать его приходил я».

«Когда же исполнятся слова мои и нечего будет вам сказать, вернусь я и скажу о дальнейшем».

«Итак, к людям идите и помните, что тайное имя ваше и всех, кто услышит вас, — Юрали».

57. И после этих слов сказал Юрали ученикам своим, чтобы не следовали они за ним; и пошел он в гору.

Они же долго следили, как идет он. Часто пропадал Юрали за уступами скал и вновь появлялся. Наконец, мелькнул он перед ними в последний раз на вершине и исчез навеки.

И молча стояли они, желая еще раз увидеть его.

Когда же настала ночь, поняли они, что это был последний час учителя среди людей.

Утром же двинулись ученики по следам учителя, дабы узнать, как окончил он круг своей земной жизни.

Долго шли они, много гор миновали, ведомые следами ног его. Так пришли они к высокому песчаному плоскогорью, окруженному со всех сторон пропастью.

И четки были следы учителя на желтом песке. И была в час тот великая тишина, так что не пересыпался песок и не сглаживал следов Юралиных.

Так шли они долго и стали замечать, что следы, дотоле четкие, становятся все менее и менее заметными, будто с каждым шагом легче ступал Юрали.

С трудом уже стали они различать дорогу его.

И наконец, исчезли следы совсем.

Тогда поняли ученики, что не умер, а только исчез Юрали, и исполнились слова его: смертный, обрел он бессмертие.

И не было в сердцах их печали об утрате, ибо великая торжественность спустилась к ним, и знали они, что только на время разлучился Юрали с землей.

Равнина русская
(хроника наших дней)

I

Петербург готовился к своей осенней ночи. Еще последним солнечным золотом сияли листья березы, еще клен багровел зорями утренними, и осина пылала закатом, а дни становились короче. Холодные ветры с залива несли желтые клубы тумана, Нева начинала седеть и косматиться. А огни на улицах отражались уже столбиками в лужах на мостовых.

Кто не испытал тайной силы призрачного города? Разве не кажется всякому, кто раз попал в него, что из него возврата нет? Разве не хочет он каждому подменить Россию? Россия, мол, это Петербург, — а за ним болото финское, через которое дорог нет, в котором виднеются только чахлые осины да оливковые кочки.

Так островом и высится призрачный город. И не знаешь, — может быть, его вовсе нет, а может быть, он — это все, — вся Россия болотистая и пустынная.

Катя Темносердова жила в пятом этаже. Два окна ее комнаты выходили на залив. В вечернем закате среди тумана вырисовывались доки, черные краны подымались в небо, призрачной сеткой сквозили какие-то воздушные мосты, по вечерам мерцающие фонарями. Улица была внизу широкая и тихая; она упиралась в маленький канал. А по другую сторону тянулись заборы.

И в полдень, после позднего осеннего утра, в сером тумане неба, неожиданно обозначался низко над доками мохнатый, но не светящий шар солнца. Так, — чтобы люди не забыли о солнце в долгие осенние дни.

Катя смотрела на красный шар, и ей казалось, что солнце, наверное, таким кажется рыбам, живущим в глубокой воде. И тогда она очень не любила Петербурга.

Каждый день она бывала на курсах; в коридорах пахло пылью. Неярко горел электрический свет, и торопливо сновали курсистки. В больших аудиториях было тесно и душно. Тоже пахло пылью. Катя любила вечерние занятия в семинариях, — маленьких комнатах будто нежилой квартиры. Работала она много. Дома, забравшись с ногами в кресло, читала толстые немецкие книги и заполняла целые тетради конспектами.

Но эти годы, кроме знания предметов, читаемых на курсах, дали ей и другое знание, название которому она не могла подыскать. Впервые поняла она необъятную величину мира, необъятную величину равнины русской. И испугалась.

В осеннем тумане, давящем желтой рукой голову, и в белые ночи, когда все невозможное делается возможным, и когда сказки, притворившись приличными людьми, гуляют по набережной и с Троицкого моста смотрят на Невские волны, — услыхала Катя надрывный голос, зовущий из просторов финских болот. С каждым годом голос этот звал ее все громче и громче.

Ей казалось часто, — в окраинных переулках, где дома из сосновых досок и березы за заборами, — мелькает облик старой женщины, голосящей все время. Она видела, как ветер треплет седые космы. Но догнать ее нельзя. Кате чаще всего казалось, что женщина идет рядом с нею, шаркает босыми ногами по тротуару. А повернешь лицо, — и нет никого.

Это совпало с тем, как Катя, пережив очередное увлечение науками, как ранее пластическими танцами, театром, религиозно-философским обществом, драмами и событиями личной жизни, — впервые оглянулась вокруг.

Она неожиданно поняла, что война гремит, и это значит, — гибель. Она почуяла Россию не по Соловьеву, не по славянофилам, не по газетам или лекциям, — а попросту, — от края и до края распростертую на черной земле,

неподвижную, одинокую, беспризорную под стужей и ветром. Раскинулась и лежит. И докричаться до нее нельзя, потому что все равно не услышит.

С тех пор Катя и старуху стала встречать в переулках.

Она приехала с юга; оторвалась от степей и воздуха ковылевого. И жителям петербургского тумана показалось, что среди них та, что дает. И потянулись к ней берущие.

Любили? Нет. Только слушали ее смех и радовались, что люди еще так смеяться умеют. А она волновалась чужими делами, хлопотала о чужих жизнях, большими глазами ловила новый мир, где каждое слово болит и где труден путь.

И только однажды в двузорную ночь весеннюю, высунувшись в окно и следя, как облако загорается солнечной кровью, поняла она, что все это ни к чему, что только чужеядные растения прилипали к ней при ее стремлении раствориться в жизни чужой.

Третья зима в Петербурге... Русская армия уже отступала... Люди чуткие слышали запах гари грядущих пожарищ.

Кате казалось, что она поняла основную неправду своих первых петербургских зим: она была слишком жадна к жизни и слишком верила в свои силы. А для того, чтобы воистину хоть крохи человек мог дать человеку, надо, чтобы дающий вошел в сердце жизни берущего, чтобы чужая жизнь закружилась вокруг него, как вокруг оси своей. Это может сделать только любовь. Но в Катиной душе не было любви; может, был даже страх и ужас перед этим путем человеческим.

А грядущий огонь требовал уже, и внятен был его голос: надо выйти из жизни своей, из жизни отдельных людей; ни крошки не надо давать отдельному человеку; не надо вступать в сердце человеческое на место, обозначенное знаком любви.

В мире, среди множества надо встать и в давании своем распылиться...

В прошлую зиму впервые встретила она друга. Его звали Андрей Викторович Голосков. Он был приват-доцент, читал лекции по истории Средних веков. Но кроме своих средних веков он знал множество вещей: математику, умел составлять гороскопы, умел гравировать по дереву, играл на скрипке и бегал на лыжах.

Кате нравилось с ним бывать, потому что каждую ее случайную мысль он умел развить так, что она становилась значительной, интересной, а часто даже подкрепленной длинными, тяжеловесными цитатами на древнеславянском, латинском, греческом и немецком языках. И как-то подчеркнуто он воспринимал каждую Катину мысль, как нечто чрезвычайно важное, почти как откровение. Это было очень приятно и заставляло напряженно работать.

А кроме того, Катя чувствовала, что по-человечески он относится к ней с какой-то нежной заботливостью.

Иногда только Катю смущало, что своих мыслей, острых и новых, у него как будто и нету, что все его слова являются дополнением или развитием ее слов, а часто пересказом авторитетных мнений. И тогда он казался ей могучим и чувствительным резонатором. Но во всяком случае с ним будились мысли и усыплялась тоска.

И теперь, приехав после лета в свою зеленую комнату, она в первый же день позвонила по телефону Андрею Викторовичу.

Его появления были почти через день.

Катя только что вернулась с курсов. Она простудилась немного, у нее болела голова и знобило. Укутавшись в теплый платок, она сидела в кресле и смотрела, как горит печка.

В передней звякнул звонок. Катя подумала, что это, наверное, Андрей Викторович, но не пошевельнулась. Вскоре он, слабо постучавшись, вошел.

Казалось, как бы Катя себя ни чувствовала, о чем бы ни думала, — он с первого взгляда поймет, о чем говорить надо

или как помолчать. Так и сейчас: он, поздоровавшись, сел на корточки около топящейся печки и молча начал размешивать пылающие угли кочергой. Они сразу затрещали, и сноп красных звезд метнулся ввысь.

Катя, не отрываясь от огня, почему-то шепотом, сказала:

— Знаете, Андрей Викторович, я сейчас шла с курсов; и вдруг мне показалось, что я за первым углом какого-то пророка встречу. И будет он совсем не современный, — не в пиджаке, одним словом.

Голосков спокойно и размеренно, низким голосом и тоже шепотом, ответил:

— Екатерина Павловна, да это же ясно: у пророка Иоиля еще сказано: «И будет после того: изведу от Духа Моего на всякую плоть; и будут пророчествовать сыны ваши, и старцы будут видеть видения; и на рабов, и на рабынь изведу от Духа Моего». Конечно, насчет вида современного или несовременного можно спорить. Но думается, что у вас это ощущение несовременности происходит оттого, что пророк Иоиль в древние времена открыл нам это.

Все было ясно.

Катя опять таким же шепотом, помолчав, продолжала:

— А разве Россия готова воспринять это? Ведь мы все же нищие.

Тут Голосков встал и, прислонившись к углу уже нагревшейся печки, начал рассказывать:

— Когда я плавал с китоловным судном в Ледовитом океане, мне случилось посетить маленький скалистый остров. На нем, кроме птиц, никого не было. А на берегу лежал огромный камень, на котором расписывались по древнейшему обычаю все моряки, потерпевшие здесь крушение. Языком пятнадцатого века какой-то скандинавский моряк между прочим изобразил: (он сказал длинную фразу по-норвежски), что в переводе значит: «Потеряв свои корабли, проклинаю судьбу». Дальше подпись. А рядом с этой надписью виднелась другая, русская, поскольку мне удалось установить, времени Иоанна Грозного: «Здесь горевал

Гришка Дудин». Тогда же я понял, что в этой записи точно отразилась психология всего русского народа. А из этой психологии с несомненностью вытекает особая восприимчивость к высшим откровениям, особая талантливость, — если так можно выразиться, — к пророчеству и ясновидению. Потому что только при крайнем смирении, при крайнем отсутствии духовного скряжничества и духовной алчности, человек может воспринять эти дары.

Помолчали опять.

Не следя за последовательностью своих мыслей, Катя сказала:

— Сегодня я видела на курсах товарища Шило. Знаете, такой, что по Марксу живет. Он ужасно меня презирал, а мне было это очень приятно... В конце концов, за ними может быть будущее. И тогда пусть презирает... Это уж будет значить время прекрасной ясности.

— Вот тут эта ваша усталость сказалась. Какая там прекрасная ясность? Просто далеко не прекрасные шоры.

Так они беседовали, перескакивая с предмета на предмет; Андрей Викторович, все знающий и умеющий объяснить, и Катя, очень уставшая, чувствующая, что только и отдыхаешь во время этих бесед, которые, как собственные думы, только более насыщены.

В печке догорели угли. Катя зажгла лампу. Около полночи Голосков ушел, а Катя стала продумывать все, о чем они говорили.

II

В конце декабря, на последних днях Святок, Катя неожиданно получила телеграмму от своего второго брата Петра. С начала войны он отказался от посещения лекций в Университете и пошел на фронт добровольцем. Теперь он приезжал с фронта в командировку на две недели.

Сговорившись с квартирной хозяйкой о том, что та уступит Кате на эти две недели свой кабинет, она принялась

ждать Петра. Она не знала точно дня его приезда: поезда с фронта приходили как-то неопределенно, выехать его встречать на вокзал нельзя было.

С позиции своего полка Петр долго добирался до железной дороги. Бесконечная метельная снежная равнина как бы отделяла царство войны от остальной страны Российской. Там, сзади, боевые будни, свои полковые солдаты, общая биография отступлений и атак, походов, бесконечных стоянок на одном месте. Тонкая цепочка фронта, изгибаясь своими бесчисленными звеньями, жила своей особой жизнью, такой непонятной за пределами снежных просторов Польши и Галиции. Великим начальником, не знающим ослушания, была смерть: она поравняла всех перед собой, она научила всех своему языку.

И поэтому на фронте все было таким понятным, не тревожащим глубин душевных. И во всеобщей обнадеженности этой давно уже по-новому звучало для Петра слово: Россия. Из него как-то постепенно выветрились все признаки великого государства, исчезли политические понятия и определения. Она воплотилась в какое-то живое существо, плохо поддающееся восприятию, но почти всегда близкое, — вот тут, рядом находящееся. Вот убило солдата, с которым Петр час тому назад разговаривал, — эта смерть, — такая естественная и ожиданная, — ложится на сердце тяжестью. И такой же тяжестью, как смерть или ранение близкого, ложится на сердце неудача России, поражение, отступление... Будто живое существо, до конца близкое, с детства любимое, несет на своих плечах горечь поражений и неудач; будто совершенно отчетливо страдает это живое существо, и Петр не может не страдать его страданиями.

И когда изредка он начинал углубляться в эти мысли, то казалось ему самым тяжелым из всего, что лежит на плечах этой новой, воплощенной России, — тяжесть долгих, нелепо изжитых веков, тяжесть темной истории. И явственно чувствовал он, какой древней мукой веет от старой родины.

Но только такой может быть она понятна и мила каждому. Потому что пышные одежды не для нее, и в них она кажется чужой. Вот так, в снежной метели голосящая, предупреждающая каждого солдата, что с утра будет бой, — а из боя кто живым выйдет? — плачущая о русской крови пролитой, не знающая путей своих, — так она каждому близка и желанна.

И казалось Петру иногда, что мысли эти все, — только от дикой тоски фронтовых безработных зимних месяцев, когда все сказки солдатские переслушаны, когда каждый человек опротивел каждому человеку до одури.

А начнется весна. Начнется работа, — и от мыслей этих ничего не останется.

На пятые сутки путешествия с фронта показались высокие фабричные трубы; поезд пролетел мимо красных казачьих казарм и ворвался под стеклянный купол вокзала.

И скоро Катя из окна своей комнаты увидала, как показались из-за угла санки Петра и, выйдя на площадку лестницы, стала его ждать.

Вот он, слегка запыхавшись, подымается. Катя сбежала вниз и обняла его. Он смущенно как-то поцеловал ее в лоб. Остановились на минуту, улыбаясь друг другу.

В комнате Катя, все еще улыбаясь, спросила его:

— Ну, что? По обыкновению в первую голову ванну надо?

Петр утвердительно кивнул головой.

Катя пошла распорядиться. Вернулась с чашками, с чайником, с хлебом, маслом и с любимой Петиной ливерной колбасой.

Он принялся пить чай, оглядывал комнату, прочитывал заглавия книг, лежащих на столе.

Катя подумала: «Еще по-настоящему не встретились. Еще он не совсем приехал». И смотрела на него.

Волосы низко острижены, немного сутулиться начал, а все тот же. Она опять улыбнулась. Когда он жевал, на висках напрягались и шевелились мышцы. Так и раньше бывало.

— Ты знаешь, — говорил он потом со странной какой-то торопливостью, как будто стараясь успеть сказать все, ничего не забыть, — вот книги у тебя, и мысли всякие и прочее, уж не знаю там, что; все это понятно и нужно даже не миллиону, а десяткам тысяч, сотням, — а нам, ста восьмидесяти миллионам, все это ни к чему.

— Кому вам? — удивилась Катя.

— Ах, виноват, оговорился: им всем, вот тем, что составляют русский народ, — крестьянам, конечно, главным образом; ну, и армии. Хотя армия это те же крестьяне. А, впрочем, не им, а, действительно, нам. Пробыв это время вместе, — понимаешь, — не какое-нибудь, а это время, — конечно, от многого отстанешь и многое новое узнаешь. Уж таких, как я, теперь, пожалуй, от ста восьмидесяти миллионов не отцепишь.

Катя слушала очень внимательно, и ей показалось, что за словами Петра она чувствует какое-то иное значение.

— А если мы хотим стать нужными этим миллионам твоим?

— Напрасно. Все равно безнадежно. Они совсем из другого теста. Если они тебя с первых слов не возненавидят, то просто начнут считать дурой. Там, матушка моя, все чрезвычайно ясно и просто. А к чему эта простота и ясность приведут, — не знаю, — и представить себе не могу.

— Петя, ты ждешь революции?

— Ну, голубушка, это детская забава, твоя революция. Будет нечто похлеще. Ты только представь себе хотя бы демобилизацию армии, миллионы людей, стремящихся попасть в наикратчайший срок домой. Это все сметет.

Он кинул окурок прямо на пол.

Катя заметила, что он делает это уже второй или третий раз.

— Зачем ты окурки бросаешь?

— Разве? Прости. Привычка такая. У нас за это даже штраф полагался, но не помогало.

Горничная вошла и сказала, что ванна готова. Петр направился к двери; но, уже приоткрыв ее, начал все тем же быстрым шепотом, смотря прямо перед собой:

— Ну, а если война кончится, ведь к старой жизни нельзя вернуться. Заставь ты их пахать, — ни за что.

И, еще постояв, добавил:

— Ну, я пойду.

Кате стало немного жутко; будто в комнате ее оказался кусок чужой веской жизни.

После ванны и выбрившись, Петр звонил по телефону: разговаривал со знакомыми, узнавал, когда его могут принять по командировке. Все спешил, будто торопился.

Вечером, по старой своей привычке, Катя уселась в кресло, а Петр, обняв ее, сел на ручку рядом. Он говорил, говорил без конца, — будто год целый не мог говорить и изголодался. В рассказах его чередовались отдельные случаи его жизни, пересказы солдатских сказок, рассуждения, необычные, лишенные логики, но от этого не менее убедительные.

— Знаешь, самое тяжелое без соли быть. Однажды у нас целую неделю не было соли. Как-то большого кабана зарезали, а есть не могли, потому что без соли ужасно противно.

И Кате казалось, что этот рассказ очень важен, что тут она ничего не понимает.

Разошлись они на рассвете, причем минут через десять Петр вернулся в комнату и сказал, что не может уснуть на тахте: слишком мягко и душно. Присев в ногах ее кровати, он начал ее расспрашивать о своих стариках. Она отвечала уже сквозь сон.

Так потянулись дни... Из случайных слов Петра, из манеры его держаться, Кате прозревался какой-то иной мир. А Петр наслаждался отдыхом, бывал у знакомых, собирал белье для своих солдат, каждый вечер прочитывал газеты, аккуратно, даже все объявления.

Андрей Викторович приходил раза два, но разговор втроем как-то не клеился. Катя ходила с Петром к различным

знакомым. Там он становился тусклее, молчал, но обязательно досиживал вечер до конца и, видимо, получал наслаждение от общения с людьми.

— Удивительно, какими красивыми все женщины стали, — сказал он ей раз и засмеялся, — это, наверное, после моего вшивого фронта.

Потом как-то говорит:

— Ты знаешь, большинство солдат в оборотней верит. Один даже, Сыромятников, уверяет, что его оборотень из Псковской губернии в Новгородскую носил. А вообще самые смешные люди, — это псковичи, — «пскапские».

Он рассказал несколько окопных анекдотов про «пскопских».

Катя все его случайные рассказы запоминала. Объединить их она еще не могла, но чувствовала, что у Петра они все объединены каким-то общим, особым смыслом, что он тяжело и мучительно создает себе какой-то новый мир.

— Самое правильное это после войны засесть на каком-нибудь маленьком хуторе и хозяйничать. Чтобы осенью ни прохода, ни проезда туда не было, чтобы летом мухи жужжали, а собаки головами мотали: мухи им в кровь уши разъедят.

— Не высидишь: скучно будет.

— Это после фронта скучно-то? Нет, милая моя, после фронта только так и можно, а то совсем пропадешь и озвереешь.

И Катя не понимала, где у него кончается серьезное, где он подсмеивается сам над собой.

А иногда они принимались возиться, как в детстве: Катя громко хохотала, а он пыхтел и улыбался. Он был ужасно сильный.

Но многие вечера она проводила одна: он уходил к родным своих однополчан рассказать им об их близких и передать письма.

Однажды, оставшись одна и устав от всех новых мыслей, Катя решила прилечь. Не зажигая электричества, завернувшись в платок, легла на свою кровать и скоро задремала.

Стук в дверь разбудил ее. Она зажгла свет, пригладила голову и повернула ключ.

На пороге стоял человек с очень худым, суровым лицом; щеки его были плохо бриты. На одежде лежала печать чего-то непетербургского.

Катя удивленно на него посмотрела.

Он молча вошел в комнату, притворил плотно дверь за собой и тогда спросил, протягивая ей руку:

— Ты не узнаешь? Не мудрено: давно не видались.

Голос Кате показался знакомым, очень знакомым. Через минуту она кинулась пришедшему на шею: перед ней стоял ее старший брат Александр.

Он поцеловал ее в лоб и, слегка отстраняя ее руки, сказал:

— Да, да, не ждала, небось. Вот приехал.

Потом помолчал и добавил:

— А хозяйка надежная? Ведь я, знаешь, нелегально.

Катя его успокоила, рассказала, что Петр сейчас тоже здесь, в командировке.

Александр обрадовался очень:

— Его-то мне и надо. Это очень хорошо, что он здесь. Это упростит все дело.

Начали вызывать Петра по телефону. Александр был все время деловит, говорил мало, будто озабочен был он чем-то.

Скоро Петр вернулся. Братья встретились сердечно, не без доли любопытства друг к другу.

Когда уселись втроем в Катиной комнате, Александр начал спокойным, деловитым тоном, ударяя ребром руки по столу:

— Видите, мои друзья, я должен вам объяснить, каким образом я оказался здесь. Но так как я думаю, что большинство моих мыслей вам не интересно, то я постараюсь ограничиться самым главным. Русский социализм, как, впрочем, и социалистическое движение во всем мире,

сейчас, благодаря войне, переживает тяжелый кризис. Социалисты разделились на два лагеря: одни считают, что война есть безусловное зло, что победа любой из воюющих сторон приведет к крайней реакции, к усилению империалистических и милитаристических тенденций, а поэтому считают, что дело социалистов сейчас заключается в том, чтобы сорвать войну; они являются сторонниками поражения, как ступени к мировой революции. Другие социалисты считают, что мы обязаны защищать нашу родину и не давать ее в рабство германскому милитаризму, так как Германия издавна была цитаделью монархизма, а на стороне союзников сражаются великие демократии. Я примкнул ко второй группе. На этом основании я решил бежать с поселения и попасть на фронт. Конечно, легально этого сделать нельзя, потому что, если узнают, что я бежал, то мне, как беглецу, грозит каторга, и уже не в качестве политического, а в качестве уголовного. Поэтому я особенно был рад, узнав, что ты, Петя, здесь. Если твоим убеждениям не противно это, то, может быть, ты мне поможешь попасть на фронт, минуя центральные официальные учреждения.

Катя и Петр широко открытыми глазами смотрели на Александра. Видимо, они не сразу поняли, в чем дело, и молчали.

Потом Петр стремительно кинулся к нему, сжал его в объятиях и, смеясь, закричал:

— Вот это здорово! Вот это дело! Ну, и молодец, ну, и чудак! Ах, ты чудак такой, право?!

Потом обернулся к Кате, которая стояла, широко улыбаясь:

— Нет, ты слышала, чего он только не наговорил: кризис, социализм, реакция, империализм и прочее... о, у нас для всего для этого теперь другие слова... А выдумал ты здорово. И устроить удастся. Рядовым в наш полк, в мою роту, хочешь? хочешь?.. Чудак ты, право.

У них начался разговор, который могут вести только люди, понявшие друг друга до конца и поверившие друг в

друга. Катя только молчала и улыбалась. Она была в эту минуту очень счастлива. А братья, перебивая друг друга и вместе с тем друг друга внимательно слушая, рассказывали о большом и о малом, что ковало за эти годы их жизнь.

Оба они видели черную ночь, которая нависла над бесконечной равниной русской, оба они чувствовали, как затерян в ночи этой человек, как бездомно сейчас человеку. Оба они ощущали боль, разлитую в мире, и оба хотели бороться.

Катя прошептала:

— Новый рыцарский орден должен быть создан.

Но Петр на нее только рукой махнул:

— Это все слова и слова. А мы и без рыцарских лат, а в серой шинели кое-что сделаем.

И захохотал весело, по-мальчишески, ударяя себя по коленям.

Решили, что Петр поедет на фронт и подготовит там почву. А Александр будет ждать его зова у Кати. Потом решили послать телеграмму старикам, чтобы они выехали в Петербург. О приезде Александра телеграфировать нельзя было, так что звали только по случаю командировки Петра.

От разговоров теоретических перешли к обсуждению различных мелочей сборов Александра. Петр давал ему практические советы и очень серьезно отнесся к этому делу.

Потянулись напряженные дни взаимных объяснений между двумя братьями. Катя стояла все время немного в стороне, но всем существом своим старалась понять, что происходит перед ее глазами.

Как-то вечером, выйдя провожать Голоскова, она сказала ему:

— Друг мой, мне такой сон приснился: страшный пожар; все вокруг в огне. Я смотрю на огонь и вдруг слышу, что в горящем здании во втором этаже кричит ребенок. Никто на него не обращает внимания. Я хочу его спасти, кидаюсь к пожарной лестнице, чтобы пробраться наверх, и по

дороге вижу ведро с водой. Чтобы легче было спасти горящего, я хватаю ведро и окатываю себя с ног до головы. Все удивленно смотрят на меня, а мне вдруг делается страшно, и я не решаюсь войти в горящее здание. Так даром себя водой окатила.

И она недоуменно посмотрела на него.

А он, как всегда спокойно и рассудительно, начал ее успокаивать:

— Такие сны вам снятся оттого, что вы окружены людьми, уже призванными к работе. От этого вас томит непричастность общему делу. Но не идти же вам сейчас сестрой милосердия, в самом деле, и не начинать же говорить: «у нас на фронте»? Время придет, когда ваши духовные силы будут необходимы, а пока вы в периоде накопления их. Слушайте, понимайте, но до времени таитесь.

Катя немного успокоилась.

Александр пошел однажды к своему старому партийному товарищу, доктору Рубакину, с которым вместе судился и который только благодаря случайности избежал каторги.

Его удивило, что Рубакин изменился. Живет широко. От партийной работы отстал, хотя иногда дает свою квартиру для партийных собраний, видимо, в душе тяготясь этим. Рубакин, насмешливо улыбаясь, рассказал ему партийные сплетни, критически отнесся к надеждам на скорую революцию, которые еще живут у некоторых товарищей.

— Вообще, — заметил он, — вся серьезная публика давно от этого всего отошла. На партийной работе теперь подвизается молодежь. Старики разве изредка дают директивы.

К решению Александра идти на фронт он отнесся с усмешкой:

— Что ж? Попробуй. Пожалуй, это, действительно, лучше, чем сидеть в Сибири.

В воскресенье была получена телеграмма, что старики будут вечерним скорым поездом. Поехали на вокзал их

встречать только Катя и Петр. Александр остался дома: они решили, что неожиданная встреча с ним может слишком сильно подействовать на мать.

Стоя на платформе, Петр издали увидал фигуру отца на площадке вагона. Он кинулся к нему. Ольга Константиновна, спустившись вниз, обняла его голову руками и плакала мелкими слезинками.

Павел Александрович шутливо отстранил ее:

— Дай же и мне с нашим воином поздороваться.

Катя была рада, что мать приехала.

Когда первые минуты свидания прошли, Катя взяла под руку отца, отвела его в сторону и сказала:

— Папа, у нас сейчас и другая вам радость есть, — неожиданная. Угадай, кого ты у меня встретишь.

— Не знаю, голубушка. Кого же?

— Кого ты хотел бы больше всего на свете встретить?

Павел Александрович побледнел и сказал:

— Катя, я боюсь догадаться.

Катя прижала его руку к себе:

— Папа, в моей комнате Александр.

Павел Александрович слегка вскрикнул.

Но Катя не дала ему повернуться к матери:

— Осторожно, осторожно; надо маму предупредить.

Ольга Константиновна заметила что-то и стала расспрашивать. Стараясь говорить как можно спокойнее, с бесконечными отступлениями и наводящими фразами, Павел Александрович объяснил ей, в чем дело.

Опираясь на руку Петра, плача и смеясь, дрожа мелкой дрожью и семеня на месте отказывающимися ей служить ногами, она только шептала:

— Скорее, скорее.

Извозчика она умоляла торопиться. На лестнице Катиного дома чуть не задохлась. И, войдя в комнату, упала на руки Александра, молча смотря ему в глаза.

Павел Александрович и Катя вошли в комнату позднее, когда мать сидела уже в кресле, держа за руки обоих сыновей.

Павел Александрович чувствовал, что и ему силы изменяют в эту минуту, но бодрился и все время твердил:

— Это хорошо; это очень хорошо. Вот так, так.

Когда Александр по секрету от матери сказал ему, что он бежал, и зачем это нужно было, тот помолчал, а потом с любящей улыбкой произнес:

— Ах ты, мой трудный! Ну, да ничего.

Катя чувствовала, что вокруг нее напряженная атмосфера любви и страдания. Перед тем, как уснуть, она забралась к матери под одеяло и начала гладить ее седые волосы. Ольга Константиновна сразу сдалась на эту ласку и перестала держать себя в руках, чем при сыновьях она занималась с утра до вечера, не желая смущать их своими заботами.

С отцом Катя видалась мало с глазу на глаз: он спал с братьями в одной комнате; но ей показалось, что за три месяца, что они не видались, он постарел очень.

III

Ольга Константиновна никак не знала, кому из сыновей она в данную минуту больше нужна, кто из них более несчастен. Но за бесконечной жалостью к обоим, — таким молодым, не жившим еще, — и принужденным мучиться без конца, — у нее сквозило чувство материнской гордости.

Нежно гладила она начинающие седеть виски Саши и любовно смотрела на маленькие морщинки около его глаз. Потом переводила взгляд на Петра, шутливо старалась расправить начинающую сутулиться спину, удивлялась, что, несмотря на зиму, у него лицо загорелое, а лоб разделен загаром на две части: наверху белый, как шапка была надета, а снизу коричневый.

— От снега на солнце самый сильный загар, — объяснял он.

У братьев подъем не уменьшался. Они проводили вместе все свободное время. Их настроения так совпадали, что

они понимали друг друга без слов. Да в словах своих они были и различны, так как последнее время провели в различной среде. Эта общность мысли при различном способе выражения ее зачастую останавливала внимание обоих. В жизни их было что-то стремительное и предрешенное.

Катя чувствовала себя немного в стороне. Только один Павел Александрович отнесся к ней внимательно. Остальные были слишком поглощены собой. Но Катю это радовало.

Павел Александрович тоже внимательно отнесся и к Голоскову, о многом его расспрашивал. Катя даже сказала:

— Ты его экзаменуешь как будто.

Андрей Викторович был как всегда серьезен, говорил умно и обстоятельно.

После его ухода Павел Александрович однажды сказал:

— Мне он очень понравился. Кроме того, я заметил, что на тебя он очень хорошо влияет: умиротворяет как-то. — Потом, помолчав: — Я был бы рад, если бы он стал твоим мужем: с ним тебе было бы просто и спокойно.

Катя искренне удивилась этим словам: возможность такого конца их дружбы ни разу не приходила ей в голову.

Но Павел Александрович настаивал на том, что это совсем уж не так невероятно:

— Он тебя любит. Разве ты этого не чувствуешь?

— Я об этом не думала.

— Напрасно. Мне кажется, что и ты его можешь полюбить.

Катя ответила не сразу:

— Папа, я очень устала, и мне любовь совсем сейчас не нужна. Мне хочется чего-то другого... И ты, пожалуй, прав, что Андрей Викторович мне это другое, нужное дает. Мы с ним большие друзья. Только о любви у нас не было сказано никогда ни слова.

Этот разговор заставил ее задуматься. Она решила отойти немного от Андрея Викторовича, чтобы не заставлять его думать, что, кроме дружбы к нему, она еще чувствует нечто другое. Он это охлаждение заметил, но промолчал,

приписывая его той напряженной атмосфере, которая царила в Катиной семье.

Наконец, приблизилось время отъезда Петра.

Провожали его все. Когда поезд тронулся, он еще раз крикнул Александру:

— Значит, будь готов. Наверное, недели через две вызову тебя.

Ольга Константиновна крестила исчезающую фигуру его и потом долго смотрела на то, как покачивается последний вагон поезда.

Ночью она всхлипывала и шептала что-то. Катя не тревожила ее.

А на следующее утро Ольга Константиновна начала заботиться новой заботой: приготовлением Александра к отъезду на фронт.

Дни шли быстро. Наконец, пришло письмо от Петра. Он писал, что ему пришлось рассказать командиру полка всю историю Александра, что тот встретил его решение сочувственно и согласен принять его. Хорошо бы только на всякий случай получить удостоверение из какого-нибудь госпиталя, что Александр был в нем на излечении. Это можно сделать через доктора Рубакина.

Павел Александрович все время удивлялся своему старшему сыну. Наконец спросил его:

— Вот, Саша, ты собрался на фронт, и для тебя это еще рискованнее, чем для других, потому что должен ты все это исподтишка делать. Неужели же в тебе нет никаких сомнений?

Александр ответил просто и не задумываясь:

— Мне уже, папа, поздно сомневаться. Все равно вся моя жизнь на это отдана. Приходится только думать, как целесообразнее ее использовать.

И Павел Александрович сразу понял, что кроме этого единого порыва, который завел Александра на каторгу, а теперь гонит на фронт, в его душе, действительно, ничего не осталось.

— Ну, а личная жизнь?

Александр улыбнулся:

— Я прошел такую школу, что о личной жизни думаю теперь, как об юношеских сказках. В первые годы каторги мне, действительно, хотелось, до тоски хотелось близкого человека, женской ласки. Но это было так неисполнимо, что я раз навсегда запретил себе об этом и думать. Теперь у меня отношение к женщинам или как к товарищам, равным мне во всем, или никакого нет, — просто их не замечаю. Да и не имею я права связывать себя с другой жизнью. Ведь я ничего отдельному человеку дать не могу, потому что все мои силы на другое дело мобилизованы давным-давно.

— Что же, и Петр, по-твоему, такой же безлюбый какой-то? — спросил Павел Александрович.

— Нет, Петру тяжелее, чем мне. Ему очень хочется сознавать, что для кого-то он самое главное в жизни, что кто-то его всегда ждет, о нем всегда думает.

Павлу Александровичу показалось, что Саша, пожалуй, слишком уж хорошо разобрался в настроениях Петра, и у него мелькнула мысль, что и ему эти настроения гораздо ближе, чем он сам думает. Ему стало безотчетливо жаль сына. И впервые, несмотря на то чувство застенчивости, которое всплывало в нем каждый раз, когда он встречался с прямолинейностью и замкнутостью Александра, он начал говорить ему о тех своих сокровенных мыслях, которые его все время мучали.

— Вот, Саша, тебе все понятно. А мне понятно, только пока я о вас не думаю. Как представлю себе Петю в окопах, такого еще маленького, беспризорного, — мне все начинает казаться бредом, страшным сном. Вы, — это лучшие. Зачем вам гибнуть? А ведь погибнете... А если лучшие будут гибнуть, то что же останется? Один, другой, третий, — а там Россия осиротеет... И иногда кажется мне, что Россия погибнет. Понимаешь, — не государство Российское, а Россия, — живое существо...

Длинным взглядом посмотрел на него Александр и, отвернувшись, тихо сказал, — так тихо, что Павел Александрович с трудом разобрал его слова:

— Вот, ты самое важное затронул, о чем я никогда не говорил и даже думать боялся. А теперь скажу. Я хочу, чтобы ты знал все, как бы дальше моя дорога ни пошла. Я приблизительно так же ее чувствую, как ты. Немного иначе. Но это не важно. А важно то, что я знаю, — наше время на исходе. Война — это начало. Будет нечто страшнее и сильнее революций. Даже непонятно, как люди, дорожащие современным положением, допустили до войны... Надо быть готовым. Понимаешь, я чувствую, что призван, и уклониться нельзя, да и не хочу. Это великое счастье, хотя в личном плане это может стать гибелью. Но и гибели не боюсь. Да и разве от неизбежного можно уйти. Ты понимаешь?

— Понимаю, родной, — и добавил: — но страшно мне.

— Всем страшно... Но, может быть, очень скоро всем станет нестерпимо радостно... Так ты, значит, живую Россию слышал? Мне она часто также мерещилась в сибирской пустыне. Господи, и что делать с нею? И где силы найти?

Оборвал сразу:

— Довольно. Пустяки это. Надо ехать к Рубакину за удостоверением.

И опять стал деловитым и сухим.

Через час после его ухода звонил телефон. Павел Александрович подошел. Говорил доктор Рубакин. Голос его был взволнован. Павел Александрович долго не мог вслушаться, потому что рядом с телефоном у Рубакина кто-то шумел.

А тот твердил:

— Вы слушаете?.. Не слышно?.. Александра... Слышите?.. Александра сейчас арестовали. Слышите?.. Надо принять меры. Понимаете?

Да, Павел Александрович понял. Он рухнул на стул перед аппаратом. В глазах поплыли круги. Сердце тяжелым

камнем кинулось к горлу. Комната закачалась и исчезла на мгновение. Потом, прорезая сознание, все покрывая, промелькнула мысль:

— Саша совсем погиб... Каторга... Конец.

С трудом поднялся он со стула, пошел к Кате и, обняв ее, прошептал:

— Саша арестован. По какому праву?.. Моего сына? Ведь он на фронт хотел, воевать.

И начал глухо рыдать, закрыв лицо руками.

Катя тоже не сразу сообразила, в чем дело. Спокойная и напряженная жизнь последних недель заставила ее забыть о том, что Александру грозит опасность. Он сам слишком много был поглощен своими заботами о фронте, а о другом не думал...

Надо было действовать. По телефону Катя узнала у Рубакина подробности ареста брата. Очевидно, он был несколько дней тому назад узнан, и на него донесли. Не могла добиться только, куда его повезли.

Павел Александрович понемногу пришел в себя. Первой его мыслью было то, что Ольга Константиновна может вернуться домой каждую минуту. И как ей сообщить страшную весть?

Потом он начал вспоминать все свои связи в Петербурге, которые могли бы ему помочь.

— Я им скажу, я им скажу, — твердил он, — ведь для войны все. Ведь Саша хотел воевать. Это с их точки зрения должно быть полезно. Ведь нельзя же так.

Ольга Константиновна обеспамятовала, узнав об аресте. Она села у стола, бессмысленно смотрела на Катю и *хохотала.* А голова ее тряслась, и жилы на лбу налились. С трудом Катя уложила ее в постель. К ней нужно было звать доктора.

Таким образом и Катя была сейчас прикована к комнате, так как мать нельзя было оставить. Она вызвала Андрея Викторовича. Он приехал сейчас же, выслушал все

внимательно, сказал, что двоюродный брат его приятеля, — товарищ прокурора и может сразу все узнать, и поехал хлопотать.

Растерянный Павел Александрович сразу как-то поверил во всемогущество этого товарища прокурора и очень все время просил Андрея Викторовича помочь. Он был выбит так из колеи, что неожиданно успокоился, почувствовав, что Голосков не волнуясь и просто взялся за это дело.

Катя все время была около матери, а Павел Александрович ходил взад и вперед по комнате и рассуждал сам с собой.

Только на следующее утро Андрей Викторович сообщил, что Александр в Крестах, что он хлопочет сейчас о свидании с ним и до вечера не сможет приехать.

— Мой знакомый прокурор отнесся очень сочувственно и говорит, что при связях, может быть, кое-что и удастся сделать.

Павел Александрович опять начал перебирать с Катей всех своих знакомых и обсуждать степень их полезности для Сашиного дела. Его товарищем по университету был бывший министр, теперь член Государственного совета; но с университетской скамьи они не встречались. Кроме того, он знал одного директора департамента министерства финансов. Этого, пожалуй, мало.

Катина однокурсница была дочерью какого-то важного чиновника из военного министерства, — тоже, пожалуй, недостаточно.

Вечером приехал Голосков. Павел Александрович встретил его с радостью.

— Все время хлопотал. Пока удалось выяснить, что личность Александра Павловича установлена, что обвиняется он в бегстве с поселения и, как бежавший, должен быть помещен в каторжную тюрьму для повторения срока своего наказания, что все льготы, применяемые к политическим, отпадают при этом. Но мой знакомый, узнав мотивы побега, думает, что возможно смягчение его участи, а может

быть, и полное освобождение, если за него будет хлопотать кто-нибудь из власть имущих. Я успел съездить к незнакомому члену Думы и взять у него для вас письмо к Протопопову. Кроме того, возможно получение еще кое-каких рекомендаций. Надо пустить в ход все. Теперь ради войны они идут на многое.

Павел Александрович рассказал ему о всех своих петербургских связях.

— Да, этого маловато. Значит, начнем с Протопопова, а там посмотрим.

На следующее утро, волнуясь и чувствуя себя немного расстроенным, Павел Александрович отправился к Протопопову. Андрей Викторович довез его до министерского подъезда, вместе с ним поднялся в приемную и стал ждать.

Протопопов принял его не сразу: была очередь.

Когда его вызвали, он прошептал: «А вот сейчас совсем веры в успех нету», — и пошел.

Минут через двадцать дверь растворилась, и Андрей Викторович увидал бледного и тяжело дышащего Павла Александровича. Он кинулся к нему:

— Ну как?

— Неудача, — прошептал тот.

Спустились по лестнице. Уже на извозчике Павел Александрович взволнованно рассказал, как все было.

Протопопов выслушал его внимательно и сначала будто очень сочувственно отнесся ко всему. А потом вдруг неожиданно сказал: «Только вы меня напрасно просите: я из принципиальных соображений ничего не могу сделать. Во-первых, для армии вредно пребывание в ее среде революционеров; во-вторых, дело правительства одних лиц призывать на фронт, других не призывать, — на основании этого я вообще против всякого добровольчества, тем более против такого экстравагантного. Значит, остается помимо этого только факт бегства. А вы знаете, как он карается по закону. Тут я ничего поделать не могу».

Павлу Александровичу было ясно, что Протопопову до войны нет дела, а быть может, ко взглядам Александра на войну Протопопов отнесся просто отрицательно.

Андрей Викторович пробовал его успокаивать и выдумывал новые ходы. Но Павел Александрович вдруг сразу решил, что дело безнадежно. И вместе с тем преисполнился великой гордости за своего Александра. Ему вдруг показалось, что так он еще гораздо больше пользы своему делу принесет, потому что, мол, теперь всякому ясно, кто прав, а кто виноват. А потом он сразу застыдился этих своих мыслей, и ему мучительно жалко стало Сашу. Он представил себе его одиночество, его отчаяние сейчас там, в тюрьме, и заплакал.

Андрей Викторович искоса посмотрел на него и уже больше ни о чем не говорил до самого дома.

Прошла еще неделя в страшной суете. Катя ходила к отцу своей однокурсницы и с какими-то письмами, которые добывал Андрей Викторович, но все было безнадежно. Везде встречали холодно, причинам бегства Александра многие не верили.

Катя сказала одному генералу, что она может это доказать, так как командир того полка, куда он собирался поступить, знал все дело. Генерал поднял обе руки, как бы отстраняясь от Кати:

— Ради Бога, не делайте этого: я совершенно не хочу знать, что какой-то полковой командир скомпрометировал себя участием в крамольном деле. Ведь вы понимаете, что дело это с определенным крамольным душком.

Катя молча ушла от него.

Наконец получили от Александра записку.

Он писал так: «Меня мучает, что я опять причинил вам страдание. Лучше всего, если бы вы могли забыть, что я приехал сюда. Ведь я был на каторге, и теперешнее сидение для меня только продолжение знакомой жизни. Так что для меня в этом ничего особенного, непривычно тяжелого

нет. Лучше всего, если бы ты, папа, сейчас же увез маму домой. Там она немного забудется и начнет вспоминать о моей судьбе, как о чем-то, к чему она привыкла за целые десять лет».

Этот совет показался Кате правильным. Она тоже начала уговаривать стариков вернуться домой. Но Павел Александрович долго не соглашался, считая, что в Петербурге ему легче помочь Александру.

Наконец, когда все пороги влиятельных людей были обиты и везде Павла Александровича встречало только равнодушие и даже недоброжелательство, он как-то сразу решил ехать.

Ольга Константиновна начала вспоминать о младшем сыне Сереже, который так долго один, и затосковала по своем доме.

Провожали их Катя и Голосков. На вокзале молчали: не о чем было говорить после всего пережитого.

А в поезде ночью, вытянувшись на койке и прикрывшись шубой, Павел Александрович вспоминал свой разговор с Александром; до болезненности стало ясно, что помочь уже никому и ничем нельзя, потому что сама судьба начертала перед душами человеческими пути к гибели.

— А Саша все же верил, что радость будет.

И он заплакал тихими и горькими слезами, которые схватили его за горло и заставили дрожать все его большое стариковское тело.

И плача так уже без мыслей всяких, он повторял себе только:

— Тяжело, тяжело. — Как бы в такт стучащим колесам:

— Тяжело, тяжело...

Потом ему опять вспомнилось Сашино лицо, когда он говорил о радости.

Так до рассвета не спал он.

IV

Проводив своих стариков и вернувшись домой, Катя почувствовала, как она смертельно устала за все это время. Ни о чем не думая, легла она на кровать, положив руки под спину. Глаза были открыты, но она ничего не видала.

В таком состоянии страшной душевной утомленности прошел весь день. К вечеру ей вспомнилось все. Но вспомнилось не памятью ума, а острой и больной памятью чувства.

Ей мерещились белые стены Сашиной камеры, где всегда горит электричество, ни минуты не бывает темно. Ей чудились его ровные шаги, — или это маятник в столовой стучит? Вот так, как маятник, прошагает всю жизнь в маленькой каменной коробке.

Потом почудилось, что Петру сейчас холодно, ноги промокли, уши болят от мороза.

«Он уже все знает про Сашу, — подумала она, — как он теперь воевать будет?»

Дальше вспомнился печальный, затаенный взгляд отца и нервные слезы матери.

Потом опять все слилось в одну боль, — свою ли? Их ли, — близких, любимых? Одним с ними человеком чувствовала она себя.

Когда вечер надвинулся, она вышла побродить. Это было испытанное средство, дающее мыслям ясность, а душе спокойную напряженность. Смотря перед собой и ничего не видя, дошла она до Николаевского моста и повернула по Набережной. Снежный простор Невы клубился ветром. Далекие огни другого берега мерцали неясно. Она шла быстро, засунув руки в карманы. Впереди обозначилась дуга Троицкого моста. Ей захотелось пить, — в горле пересохло. Она повернула назад и той же дорогой пошла домой.

Ходьба не принесла успокоения. Все было неоправдано у нее в душе. От ветра стучало в висках.

Войдя в комнату, она увидела, что ее ждет Андрей Викторович. Ни о чем не думая, чувствуя только боль совершившегося, она обняла его сзади за шею и начала тихо плакать.

Он вздрогнул от неожиданности, отстранил ее руки, усадил ее в кресло и сам сел у ее ног. Он гладил ее руки и молчал. Ей казалось, что сейчас более чем когда-либо он понимает ее и чувствует каждое движение ее сердца.

Катя не удивилась, когда, встав, он поцеловал ее в лоб. Она даже ответила ему поцелуем. Потом опять наступила минута молчания.

Когда же она, отрешившись на мгновение от своего душевного мира, взглянула на него, ее поразила какая-то новая черта в его лице. Но она не остановилась на этом впечатлении дольше.

А он уже начал взволнованно шагать по комнате, будто этим хотел себя успокоить и скрыть от Кати свое волнение.

Катя его подозвала:

— Вы мой друг?

— Да.

— Что случилось?

Он молчал.

Она взяла его за руку:

— Андрей Викторович, вы знаете, как мне трудно. Я рада, когда вы со мной.

И вот, близко пригнувшись к ней и смотря ей в глаза, он начал шептать:

— Родная моя, любимая моя, я вас такую, — усталую, измученную, потерянную, — еще больше люблю. Как маленькую девочку заблудившуюся люблю. Не думайте ни о чем. Дайте мне радость всю вашу тяжесть на свои плечи взять; дайте мне радость вашей болью болеть, лишь бы вам теплее было, лишь бы вам было хорошо.

Она не удивилась, опустила ему голову на грудь и тихо ощущала его прикосновения, его поцелуи на своих волосах.

А потом, порывисто отстранив его, громко сказала, будто сознание сразу вернулось к ней:

— Я сейчас совсем измучена. Лучше уйдите. Не надо всего этого.

Но, сжав ее руки, он продолжал:

— Ведь я люблю вас. Вы это давно знаете. Люблю большой единственной любовью. И для меня вы вся, — одно. Со всей вашей усталостью, со всеми вашими муками, вы, — это Катя моя, Катя, Катя.

И опять ей стало тихо и хорошо. Уже не сопротивляясь, позволила она усадить себя в кресло и слушала его слова. И казалось ей, что он поднял ее высоко сильными руками и бережно несет; что теперь ей не надо ни о чем думать и мучиться: все он сделает, — друг, брат. Да, друг, брат, — других слов в Катиной душе не было.

И видя, как беспомощно и доверчиво идет она к нему навстречу, он чувствовал совсем другое, и другие слова были в его душе. Пожалуй, несмотря на сильное напряжение этой минуты, он прекрасно сознавал эти слова. Лгал ли он? Может быть, и нет. Он действительно сейчас принимал в свое сердце и муку Катину, и усталость, — но только оттого, что за их покровом, неотделимую от них, он видел Катю. Он видел свою Катю, которую любил во всех ее проявлениях, которой хотел дать всего себя, но взамен получить ее, всю ее.

И в душе его, кроме чувства дружбы, сильно росло чувство какой-то неудержимой жадности ко всему, что касалось Кати, — к ее усталости этой, к ее слезам, каждой слезинке, к тону ее голоса, такому упавшему, к протянутым вдоль колен рукам, ко всей этой комнате зеленой.

Все, в чем была часть Кати, должно было быть его. И она должна быть его, окутанная его волей и его мыслями от всего страшного мира, надвинувшегося на нее; отгороженная его объятиями от прикосновения других людей. Он знал, что никакими усилиями не сдержать ему этой жадности, и думал, что не сможет Катя противостоять ей.

Сегодня она устала. Это ничего: было много дней в прошлом и много дней будет в будущем; в них это сегодня потонет. И в них, в Катиной всей жизни должен быть он, только он.

И не в силах противиться нахлынувшему чувству, он крепко сжал Катину руку, приблизил к ней побледневшее лицо и зашептал:

— Я люблю вас. Понимаете? Я хочу, чтобы вы это по-настоящему услыхали и поняли. Люблю вас. Люблю всю до конца.

Но Катя не сразу услышала и поняла:

— Да, да, друг мой... — И слова замерли у нее на губах.

Андрей Викторович понял всем существом своим, что совершается что-то непоправимое. Страшным усилием воли он остановил себя. Потом тихо прошептал:

— Не надо так мучиться. Впереди еще долгая жизнь. Надо быть к ней готовой, — и замолчал.

Что это? Значит, Кате показалось только? Что показалось? За ласковым и понимающим лицом друга вдруг мелькнуло перед ней другое лицо, хищное и требующее. За чувством заботливой любви сверкнуло другое чувство, все сокрушающее и ломающее. Да, показалось.

Она слишком была подавлена усталостью, чтобы дольше разбираться в этом. Тихо опустила голову и рассеянно слушала, как журчит уже спокойный голос Андрея Викторовича.

Он скоро ушел.

На следующий день пошла Катя после долгого перерыва на курсы. Но с середины лекции ушла, — не могла сосредоточиться, и слова профессора долетали до нее, как неясное гудение. Опять бродила. Без конца бродила.

Так прошло несколько дней. Было начало февраля.

Отрешаясь от своей боли, Катя чувствовала, что в мире приближается великая гроза. Издали доносились к ней звуки грома: это колесница истории, калеча на пути своем

людей и опустошая поля, мчалась, влекомая взбесившимися конями. Она была близко. В сердцах вспыхивал трепет. А кони, раздув ноздри и испуская пламя, мчались уже рядом.

Кого они раздавят? Не всех ли? Миллионы и миллионы были уже обречены погибнуть под их тяжелым копытом.

А старуха, что голосит? Не ей ли в сердце наступила стопа огненного коня? Не от боли ли голосит она?

Андрей Викторович пришел на следующий день хмурый и молчаливый. Быстро ушел. Потом опять пришел через несколько дней. Удивил Катю неожиданной исхудалостью какой-то.

Но она его не успела ни о чем спросить, потому что властно и не позволяя возражать себе, он начал говорить сам. Он смотрел ей в глаза, и под его взором она опустила свой взгляд.

Что он говорил? О, Господи, и говорить не надо: она инстинктом все поняла, поняла по этому взгляду, поняла по прикосновению руки, поняла, увидев, как вздрагивают его губы и как ложится около них какая-то складка, жадная такая складка. Но, опустив глаза, не перебивала его, не в силах была перебить его.

Он говорил, как он ее любит, как привык всю свою жизнь на ее жизнь равнять. И вот теперь ему ясно, что она должна стать его женой, что пусть сейчас устала она, — это пройдет, он сумеет оберечь ее, он сумеет дать ей новые силы. А главное: он знает окончательно, что она должна быть его.

И в ушах ее звенели слова: «Моя, моя», и опять через несколько слов: «моя».

Он требовал, он предъявлял счет долгой дружбы, он учитывал каждое понимание свое ее душевных движений. И выходило так, что теперь он имеет право: Катя была только должницей. Надо расплачиваться. Надо давать. Что давать? Она сейчас нищая.

В ответ на это звенели слова: «моя, моя».

Себя дать?

Катя громким криком прервала его:

— Не надо, не надо!

Он сразу замолчал и осунулся. А она была уже на другом конце комнаты и шепотом повторяла:

— Не надо.

Потом оба опомнились. После долгого молчания Голосков сказал:

— Забудьте об этом.

И, тоже помолчав, Катя ответила:

— Не знаю. Постараюсь.

Потом он быстро ушел.

И сразу Кате стало ясно, что забыть нельзя. С дрожью вспоминала она выражение лица Андрея Викторовича. В ушах ее звенело слово: «моя». Что случилось? Неужели их дружба, такая большая и прочная, должна была сразу оборваться и умереть? Да, так должно было быть. Катя чувствовала в душе огромное пустое место, которое раньше заполнялось отношением к Андрею Викторовичу.

Потом, немного придя в себя, она старалась разобраться в том, что произошло. Собственно, может быть, он и был прав, и дружба их должна была привести к любви, именно к такой любви, о которой он говорит ей, которая охватила его всего и которая должна была поглотить и Катю... Нет, это не то, это противоположно дружбе. Раньше он давал, и она, наверное, давала, и ни один из них не требовал от другого. А теперь он только требовал. И жадным стал каким-то.

Так ничего не решив и не поняв, Катя провела ночь. На следующий день Андрей Викторович зашел к ней. Вид у него был смущенный какой-то.

После долгого разговора о всяких пустяках он спросил Катю:

— Вы сможете забыть вчерашнее?

И честно посмотрев ему прямо в глаза, она ответила:

— Нет, на это у меня нет силы.

— Что же будет дальше?

Катя не выдержала его взгляда и, вздохнув, ответила:

— Мне кажется... Я думаю... это конец всему нашему прошлому.

— Та-ак, — протянул Андрей Викторович; он убеждать ее ни в чем не стал и сразу покорился ее решению.

— Ваши, наверное, уже дома, — добавил он, чтобы что-нибудь сказать, так как нестерпимее всего было молчание.

— Да, уже два дня.

...И опять молчание.

— А от Петра Павловича письма не было?

— Нет.

— Ну, я пойду.

Он встал. Не глядя на нее, протянул руку.

Так навсегда уходил из ее жизни этот человек, такой близкий и понимающий. Ей было жалко прошлого, и вместе с тем она чувствовала, что никакими силами этого прошлого вернуть нельзя.

Когда он ушел, Катя подумала, что ей собственно больше в Петербурге делать нечего: на курсах она сейчас не могла бы работать; Александру все равно не нужна.

И вдруг ей так мучительно захотелось домой, так остро затосковала она об отце, о родных просторах, о тихой и простой жизни, которая, как легкий сон, окутала собой родную глушь, — что она решила ехать, ехать завтра же, как можно скорее.

Лихорадочно уложила она свои вещи; в последнюю минуту сообщила об отъезде своем Голоскову по телефону.

Через два дня поезд мчал ее на юг. Эта страница жизни была перевернута.

Впереди...

Впереди навстречу ей мчалась тяжелая колесница и в беге своем калечила людей и топтала поля. И голосила в полях изможденная старуха.

V

Опытный моряк по небольшому облачку, появившемуся на горизонте, говорит: «Быть буре», — и крепит якорь на своем судне, и плотнее привязывает паруса.

На всем пространстве равнины русской, в душных теплушках и в удобных квартирах, в суровом северном городе и в бескрайних южных степях, люди говорили: «Быть буре». Но не крепили якорей, не спускали парусов. И многоликий народ, разбросанный по городам и деревням, не хотел останавливать порывов ветра, не хотел бороться с грозой. Душное время последних годов слишком сдавило сердце, ядовитые испарения крови слишком затуманили разум.

Даже тот, кто видел грядущую гибель, твердил: «Я погибну, а со мной и они. Гибну с радостью».

И гремела колесница истории, несомая бешеными конями, и люди чуяли гибель, и шли к ней спокойно.

Голос вещей старухи пророчил гибель и рыдал над сыновьями своими. Кровь убитых потом проступила по русской земле.

Февраль 1917-го года.

Рухнул трон. Многовековая сказка развеялась легким призраком. И народ русский, не останавливаясь, прошел мимо обломков крушения.

Содрогалась земля. Острой молнией прорезала буря мрак долгой ночи и гулким громом оповестила всех: «Пора».

И заалелась Россия единым пожаром. На фронте пламенем металась кровь в небеса, в городах пламенели красные знамена, в степях бескрайних зарделись сердца пламенем, и вспыхивала древняя воля, воля к земле, кровью завоеванной и потом удобренной.

Как в дни светлой заутрени стоит народ, ожидая чуда, так в те незабвенные дни весь народ замер перед воочию совершаемым чудом и верил, что все сроки исполнились, что чаяния долгих столетий воплотятся сегодня.

Так было.

Пусть по-разному бились сердца миллионов, пусть разными словами говорили люди, пусть разного ждали, — все видели, как ярко запламенела Россия, все горели этим яростным пламенем.

Так было.

Еще вчера полковник Луговской, сидя в дымной халупе, насмешливо говорил Петру, взглядывая на него поверх очков:

— Что ж, уважаемый, нашей солдатне ответственное министерство нужно? Евро-опа... — А Петр молчал и чувствовал, что ворвется и в душу полковника Луговского длинный язык грядущего пламени.

Еще вчера царь метался в поезде по русской равнине, и нигде не принимала его родная земля, — отверженным метался он.

Еще вчера молча стояли друг против друга две силы, готовые кинуться друг на друга; и петербуржец с трепетом ждал кровавых боев.

Еще вчера Александр не верил, что двери тюрьмы раскрылись надолго, и обдумывал план своего бегства, чтобы не поймали, когда спохватятся.

И неслась пламенная колесница истории, не в силах остановить своего бега. И рушился под копытами древний мир, распадаясь пылью. А ветер вихрем взметал эту пыль.

Так развеялось вчера и наступило завтра.

Как никчемны были газеты. Надо только выйти на Невский и пройти его от Адмиралтейства до Александра Третьего, и все будет ясно без газет.

Трамваев нет. Везде красные флаги. Огромная толпа не движется, а, разбросанная кучками по всему Невскому, стоит и обсуждает события. Много солдат, много рабочих. Изредка попадается мужик из дальней деревни. Какие-то девушки, студенты, штатские.

На углу Морской агроном, — видно приезжий, — толкует бородатым солдатам, что землю разделить не так-то легко.

— Вот возьмем, к примеру, Вологодскую губернию. Там, пожалуй, и двадцать десятин так не прокормят, как в Таврической три десятины.

Солдаты слушают внимательно, но, видно, не это им интересно, а что-то большее, — может быть, каждому свое. «Сколько, мол, в моей собственной Рязанской губернии на душу земли придется. А до Вологодской мне, пожалуй, и дела мало».

Пролетел тяжелый грузовик. На нем вооруженные люди: рабочие, гимназисты. На крыльях грузовика лежат два солдата с винтовками. Развевается красный флаг.

Барышня, смотря ему вслед, говорит своему спутнику студенту:

— Когда будут ставить памятник революции, то, по-моему, лучше всего изобразить такой грузовик, на котором мчится революционный народ, вооруженный винтовками.

Студент ничего не отвечает и прислушивается к словам оратора, стоящего посередине толпы, которая запрудила весь Полицейский мост, но слышно плохо.

Дальше спорят два солдата. Народ окружил их. Один говорит:

— Нет, так, товарищ, не резон. Что такое революция? А то, что ты вчера рабом был, а я господином. А сегодня проснулись равными: ни господ, ни рабов.

А другой возражает:

— Ты, товарищ, дурак. Ну, а в прошлом как поравняешь? По-моему, так выходит: ты вчера господином, а я рабом; а сегодня обратно: ты — раб, а я — господин.

В разговор вмешивается рабочий и примыкает к мнению первого солдата:

— Вот я в тюрьме сколько лет отбарабанил, а такой озлобленности во мне нет. Потому что я сознательно отношусь. Если мы опять с господами и рабами будем, то свободы и не увидим. Да и ни к чему все это. Классовое сознание говорит: равенство и дорогу трудящемуся. Пусть и вчерашний барин трудится, — это конечно.

Восторженная девица, смотря с любопытством вокруг себя, приперла к дверям магазина молодого солдата:

— Ну, товарищ, а как на фронте встретили революцию? Расскажите. Ведь вы только сегодня приехали.

Солдат смущается и говорит тихо:

— Радовались очень. Сразу все сало поели.

Девица недоумевает.

А около Публичной библиотеки целая толпа. Чернобородый крестьянин в состоянии полного восторга толкует:

— Братики, товарищи, ведь это теперь, значит, вся жизнь другая будет. Оно, конечно, — земля ничья, земля Божья. Так оно и по Писанию, значит, выходит. Братики, товарищи, значит, дождались мы светлого денечка.

Его слушают сочувственно.

Дальше идет батальон гвардейского полка. Идет в разбивку, нестройно.

На тротуаре встала старуха и твердит:

— Изверги, что сделали. Царя скинули.

Солдаты не обращают внимания. А она все свое.

Тогда один из солдат ее спрашивает:

— Да много тебе пользы от царя было?

— И не надобно! — с сердцем отвечает старуха.

Солдаты смеются и идут дальше.

На углу Литейной стоит товарищ Шило и говорит о том, что политическая революция только начало, что надо пролетариату готовиться к социальной революции. Народ слушает сочувственно: слова все умные, — пусть и непонятно немного.

А вот летит автомобиль. Кто-то узнал сидящего в нем. Шепот, громкие крики: «Ура». Сидящий кланяется. Автомобиль летит и сворачивает мимо Екатерининского сквера и Александринки к министерству внутренних дел: там происходят заседания Временного правительства.

Да, так было.

В середине апреля приехала первая партия эмигрантов.

В редакциях, в партийных квартирах с утра начинаются заседания. Сегодня городская конференция, завтра губернская, заседания Центрального комитета, курсы агитаторов и пропагандистов, редакционная коллегия, солдатская секция, — и так без конца.

Кто сумеет создать крепкую плотину и заставить течь бурную речку по предуказанному руслу?

Александр занят вопросом о созыве крестьянского съезда. Кроме того, ему приходится много работать в Исполнительном комитете Совета, — ему поручена редакционная часть в крестьянской секции. Надо давать массу инструкций, надо беседовать с ходоками из деревень, снабжать их литературой. А зачастую надо неожиданно срываться и мчать на грузовом автомобиле, чтобы выступить на митинге где-нибудь на Выборгской стороне: там направление рабочей мысли уклонилось в сторону крайнего максимализма. Ночью придется еще написать большую статью и составить две резолюции. И так каждый день. Он часто забывает обедать. Он очень похудел. Но усталости нет. Невероятный подъем дает ему силы и обостряет восприимчивость.

И лишь бы поспеть, лишь бы угнаться за бегом истории, которая искалечила прошлое в миг, а теперь заставляет строить на обломках тоже в миг, в такт огненным копытам взбесившихся коней.

На плечи русского народа легла великая тяжесть: история велела ему сразу выполнить две непосильные задачи, — вести войну, сомкнутым строем отстаивая родину и революцию, и создать новую жизнь, перестроить все здание государства Российского заново.

Армия русского самодержца стала революционной армией: трехцветный флаг сменен красным знаменем. И болезненно совершали этот переход на фронте.

Петр был с солдатами в хороших отношениях. Теперь ему часто удавалось отстоять нелюбимых офицеров от

вспышек солдатской мести. Но и он несмотря на это чувствовал, что по существу солдаты его только терпят, потому что он по своему положению должен как бы вести их, а не может их вести туда, куда летят все их помыслы и мечты: к земле, которая вот-вот начнет делиться, к родной деревне, которая без них там что-то решает. И поэтому они только терпели Петра, только снисходили к нему, как к человеку. Он это чувствовал остро. Хотя часто солдаты приходили к нему вместе читать газеты, спрашивали у него объяснения событий, осведомлялись, отчего нельзя сейчас же кончить войну, потому что война, мол, уже теперь не такое важное дело, — это, пожалуй, могли бы понять и немцы и союзники и отпустить Россию, — пусть, мол, своими делами занимается.

Наконец, Петра даже выбрали в полковой комитет, и там удавалось ему без особых трений ладить с самыми озлобленными демагогами и добиваться решений, не вредящих, по его мнению, общему делу войны.

Два русских центра, взаимно исключающих друг друга и вместе с тем неразрывно связанных, — революционная столица и армия, — огнем своего пожара затопляли постепенно всю русскую землю. Скоро вся Россия приобщилась к этому огненному крещению. И море пламени охватило каждую деревню, каждого человека.

Воистину каждый человек в эти первые дни революции мог совершить любой подвиг. И не скоро еще первый вал опал и затих, не скоро еще люди начали заниматься своими обычными делами, а главное, почувствовали, как сквозь радостные возгласы праздника начинает проступать смертельная усталость от войны, желание скорее закрепить за собой то, что дала революция и что кажется таким непрочным еще: помещичьи поля не дали еще плодов своих крестьянину, — и он не уверен, впрямь ли дадут они ему эти плоды; мир обещанный еще не осуществлен; и немецкие штыки в окопах напротив как-то мало убедительны для

того, чтобы в этот мир поверить. Наконец, народ еще несорганизован, — нет хозяина у русской земли. А каждый человек норовит все по-своему, а волость по-своему, а полковой комитет опять по-своему. Да еще, может быть, их решение будет перерешено губернским комитетом или земельным каким-то новым. Да неизвестно, что скажет совет. И казалось, что хотя все сейчас как будто бы и прочно, а вдруг измена совьет где-нибудь гнездо, так что сразу не заметишь; вдруг генералы не захотят кончать войны во имя революции и придется идти даром умирать. Умирать на фронте определенно стало восприниматься как умирать даром.

Видно, люди не в силах были поспеть за бегом колесницы. Видно, река рвала плотины и грозила затопить своими волнами все.

Но это еще мало чувствовалось: конференции заседали, советы выносили резолюции, Временное правительство издавало законы, генералы говорили о необходимости наступления.

Все верили, что трудная работа по силам человеку.

И только в полях, орошенных росою, седая старуха не переставала голосить жалобно. И людям становилось тревожно, и события запутывались клубком, и солдаты пробирались с фронта в свои деревни, — потому что не было сил выносить ее вопля, потому что пророчил он черные дни и последнюю гибель.

Так взлетала колесница истории на гребень неприступных гор, чтобы оттуда рухнуть в пропасть.

VI

Ольга Константиновна каждый вечер, ложась спать, высчитывала, каких лет Александр выйдет из каторги, и тяжело вздыхала. Иногда она об этих своих расчетах рассказывала Кате.

Однажды во время такого разговора к ним пришел батюшка, отец Николай.

— Вот, — сказал он, — сам не могу понять в чем дело, может, у вас что новое узнаю, — ведь вы можете от сыновей знать. Получил от дочери из Москвы телеграмму. Прочтите.

Катя взяла у него лист и прочла громко:

— Поздравляю великой радостью освобождения России.

А батюшка продолжал:

— Вот и поймите, а газет третий день нет.

В тот же вечер уже весь город говорил о том, что в Петербурге и Москве произошла революция, что царь отрекся от престола, что образовано Временное правительство.

Павел Александрович отнесся к этим слухам недоверчиво. Даже сказал Сереже, гимназисту восьмого класса, который собирался на манифестацию по поводу событий:

— Погоди радоваться. Может, все еще и не так.

Но вот пришли газеты. Революция, действительно, совершилась. Наконец, принесли телеграмму от Александра. Он свободен, он уже по горло занят, он счастлив и шлет привет своим милым старикам, которые теперь могут быть, наконец, совершенно за него спокойны.

Ольга Константиновна сразу помолодела как-то и расцвела. Павел Александрович, видимо, тоже до глубины души обрадовался освобождению сына. Но все же продолжал таиться.

А вечером он записал в свою толстую черную тетрадку: «Рад за Александра: наконец-то открылся простор для его кипучих сил. Но не думаю, что у него теперь впереди только радость, на пути будет много терний».

Дальше он не стал писать. Подпер голову руками и задумался.

— Эх, дело трудное...

Кроме него, пожалуй, никто в городе трудности этой не сознавал. Основное чувство, охватившее всех, было чувство возможности своими собственными руками строить новую жизнь. Все бросили опостылевшие ежедневные свои занятия, все с головой ушли в новое дело, которое требовало к себе людей, кипело еще и пенилось бурно, не зная своего настоящего русла, не найдя еще путей железной дисциплины, благодаря которой оно могло бы приковать к себе человеческую силу и использовать ее. Люди хватались за любое дело, бросали его, чтобы заняться другим делом. Митинги шли непрерывно. В зале Думы были, так сказать, официальные митинги, на площадке около электрической станции было образовано нечто вроде политического клуба, где с утра и до поздней ночи толпился народ и говорились речи. Наконец, базар стал тоже неумолкающим митингом.

Опечатывали полицию. Комиссия по изучению полицейских секретных документов состояла из присяжного поверенного Карповича, — меньшевика, техника Милованова, — эсера, и отчего-то попавшего к ним в секретари студента Игоря.

Катя держалась немного в стороне: она еще не совсем отрешилась от личных своих переживаний. Кроме того, ей все время казалось, что за внешней праздничностью все проникнуты какими-то будничными настроениями. И основного, что, по ее мнению, должно было определять великую революцию, — всеобщей жажды подвига, — она не видала кругом. Благодаря авторитету имени Александра многие из молодых относились к ней, — его сестре, — с повышенным вниманием и часто спрашивали у нее совета.

Молодая и горячая учительница Дракова чаще других забегала к ней.

Катя убеждала ее, что совершенно сама далека от общественной и, тем более, партийной жизни. Но Дракова, упрямо встряхивая головой, доказывала ей, что гражданским долгом является для Кати помочь им, начинающим, разобраться в обстановке.

Однажды она пришла чуть не со слезами на глазах.

— Нет, вы только подумайте, до какой степени наш народ темен. Я сейчас с митинга. Доказывала им, что в их интересах голосовать в гражданский комитет за социалистов. А они кричат: «Шляпка, долой!» Я разозлилась особенно на одного детину, мясника, и говорю: «Шляпка вещь грошовая. Теперь буржуев по новым башмакам узнают. А мои, — вот». И показала им, что мои башмаки из себя представляют, — сами видите.

И она показала Кате на свои дырявые туфли.

Катя спросила, смеясь:

— Ну, а на них такой способ пропаганды подействовал?

— То-то и обидно, что подействовал. Потребовали к осмотру сапоги мясника. А они новешеньки. Ну, хохот еще сильнее. А мне после этого начали аплодировать чуть не после каждой фразы... Понимаете, ведь вот к чему приходится прибегать. Никакой сознательности.

Она вздохнула и деловито предложила Кате принять участие в составлении избирательного списка. Катя отказалась.

Дракова не на шутку рассердилась. А потом быстро както согласилась.

— Ну, Бог с вами. А на заседание, на первое, гражданского комитета приходите непременно. — И ушла.

Столетняя пыль маленького города, мирно окутывавшая всю жизнь, теперь вихрями была развеяна.

Так же, как и в центре, заседания сменялись заседаниями, резолюции выносились ежедневно и по всякому поводу, союзы росли как грибы.

Всем казалось, что надо торопиться, что дела, которыми люди занимались всю жизнь, — совсем не главное, а главное, — это принять участие в напряженной суете, в митингах и заседаниях.

По поводу вопроса о необходимости повысить ежемесячный членский взнос в профессиональном союзе упоминались имена Маркса и Каутского, говорилось о великой

бескровной революции и о земле и воле. Гражданский комитет часами обсуждал вопрос о необходимости ремонта библиотеки, потому что десять, по крайней мере, ораторов высказывались на эту тему принципиально, по существу и по личному вопросу.

Но, несмотря на это, за потоками слов и в бесконечно растрачиваемом времени чувствовалось повышенное биение жизни, чувствовалось, что просто люди еще не приспособились и ищут других форм, другого общественного опыта.

В первые месяцы в городе не существовало партийных групп.

Но когда почувствовалось, что в одиночку трудно работать, кинулись в партии.

Меньшевиков в городе было мало. Это была чисто интеллигентская группа, члены которой были везде желанными работниками, но по-настоящему на массы они влиять не могли.

Зато группа социалистов-революционеров росла ежедневно. Сюда шли решительно все, желающие так или иначе приобщиться к революции.

Шли также люди, с революцией никак не связанные: просто авантюристы и дельцы, часто и не лишенные известного демагогического таланта. Для них партия давала то удостоверение в политической благонадежности, которое помогало им легко заниматься собственными делами и жить веселой жизнью.

И только сейчас, когда авторитет Временного правительства был еще велик, местная группа социалистов-революционеров имела вид единства, но в момент перемены политической обстановки разброд был неизбежен.

Старые партийные работники, техник Милованов и учитель Васильев, это почувствовали очень остро.

Особенно резко выступили противоречия, когда в город приехал некий товарищ Герман, детина с косящими

глазами и с огромными руками, которыми он любил внушительно потрясать, вопия при этом: «Товарищи, на этих вот руках были цепи. Я прошел школу каторги и теперь говорю: проклятие кровопийцам!» По вечерам почти ежедневно он напивался и буянил.

А слухи ходили, что он за какое-то уголовное убийство был приговорен в свое время к каторге, что к политическим делам раньше касательства не имел, и что ночью с ним лучше не встречаться; тем не менее за ним шли массы.

Скоро у Германа появился помощник, — студент Кусони. Этот был уже местным человеком; но раньше никто не знал, что он имеет касательство к партии. На этом основании к нему сначала отнеслись все очень сдержанно. Да и помимо всего было в нем что-то, что внушало сдержанность и заставляло людей, соприкасающихся с ним, не говорить ничего лишнего.

Такое положение он занимал до появления товарища Германа. С первых дней его приезда Кусони, видимо, учел, какое он сумеет получить влияние, и поэтому сразу же начал подчеркивать ему свою самую бескорыстную преданность.

Очень скоро они стали друзьями. Там, где у Германа не хватало ума и тонкости, а одними потрясениями рук ничего нельзя поделать, выступал Кусони. Они дополняли друг друга, и поэтому оба очень скоро поняли, что совершенно необходимы друг другу.

И вот вскоре они уже попали в комитет вместе с Васильевым и Миловановым. Те оба чувствовали, что влияние окончательно переходит в их руки, и однажды Павел Александрович Темносердов увидел у себя и Милованова и Васильева.

Они просили его непременно написать Александру. Может быть, он сможет хоть на неделю вырваться и заглянуть к ним в город.

— От этих милостивых государей проходу нет, — говорили они. — А там в центре все никак не хотят понять, что

без нас, без глухой провинции, останутся висеть в воздухе. Вы так и напишите товарищу Александру. Пусть он об этом серьезно подумает. Лозунгом сегодняшнего дня должно быть стремление кинуть все силы в провинцию и обеспечить себе ее поддержку во всяком случае.

Павел Александрович писал. Но от Александра приходил один и тот же ответ: он обещал непременно приехать, но сейчас, в данную минуту, нет ни малейшей возможности вырваться.

Наконец, он сообщил, что после предполагающегося в Москве Государственного совещания он сразу же выедет домой.

Павел Александрович сам пошел сказать об этом Милованову, так хотелось ему с лишним человеком поделиться своей радостью.

VII

В середине августа в Москве было назначено Государственное совещание.

На него многие возлагали большие надежды.

Но с первого же дня стало ясно, что единого языка у русских людей нет. Государственное совещание разделилось резко на две части: правая часть настаивала на крупных мерах по отношению ко всем, не желающим выполнять требований, которые предъявляются необходимостью вести войну, а левая утверждала, что о старой дисциплине сейчас говорить не приходится, что везде и повсюду должно сказаться влияние новой жизни, созданной революцией.

Первым мерещилась за спиной социалистов ухмыляющаяся физиономия Ленина, и поэтому они им не верили; социалисты же в свою очередь прозревали за спиной своих противников белого генерала, которому будет поручено «прекратить все это безобразие», — и они в свою очередь не верили им.

Александр был членом Совещания. Сумбурная обстановка его, напряженное ожидание каких-то выступлений, о которых в эти дни говорила вся Москва, — причем правые говорили о выступлении большевиков, а левые о захвате власти Корниловым, — все произвело на него удручающее впечатление.

Уже несколько месяцев он отказывался от всякой чисто политической работы и с головой погрузился в дело организации крестьянства. Он много разъезжал, имел дело с партийными губернскими комитетами, присутствовал на заседаниях земельных комитетов, собирал в селах крестьян и толковал с ними подолгу, — это давало все большую ясность и полную уверенность в том, что он правильно поступает, правильно оценивает положение и понимает стремление крестьян.

Но каждый раз, когда ему приходилось бывать в Петербурге или даже в Москве, эта ясность утрачивалась, создавалось впечатление, что все висит на волоске, что люди совершенно потеряли способность понимать друг друга, что дни новой власти уже сочтены. И тогда он опять бросался в деревню и уходил с головой в свою чисто практическую работу.

Чувство всеобщей неразберихи какой-то и всеобщего ожидания катастрофы охватило его с особой силой в зале Большого театра. Все члены Совещания приезжали с готовыми мнениями, общего языка, конечно, никто не смог бы найти, и значение Совещания сводилось, таким образом, лишь к тому, чтобы еще лишний раз показать, как разошлись пути революции и какая бездна лежит перед страной.

И Александр ясно чувствовал, что в утверждениях своих большинство до конца искренне и до конца правдиво. А это еще сильнее подчеркивало неизбежность скорой катастрофы, так как никто не хотел идти на уступки, никто не искал общего языка. Таким образом, одна точка зрения исключала другую, а средней не было.

В ночь после первого заседания Александр долго думал над этим. Легкие объяснения вопроса различием классовых точек зрения, казалось ему, мало помогают делу. Может быть, отчасти это и так, но по существу дело гораздо глубже, — пожалуй, в самой сложности задач, которые должен разрешить народ русский.

Знакомый его старый земец, примыкающий к правому крылу Совещания, встретившись с ним, сказал озлобленно:

— Беда в том, что на Совещании есть партии, земские и городские самоуправления, советы, фронтовые организации, представители кооперативов, — одним словом, каждой твари по паре, — а России-то и нет.

Это было, конечно, неверно. Александр верил подлинной любви к России, которой горело большинство членов Совещания. Не все ли равно по существу, в каком порядке говорят они: спасение родины и революции или революции и родины? Только крайние фланги Совещания разделили между собой этот лозунг пополам: большевики говорили только о революции, а правые только о родине, подразумевая под родиной прошлую Россию и не приемля новую. Но это было меньшинство. У остальных родина и революция сочетались в нечто, за что надо было бороться, что требовало жертв и мысль о чем заставляла тревожно задумываться, — становилось ясно, что грядущие испытания будут невыносимы.

Россия несомненно присутствовала здесь. У Александра даже мелькнула мысль, — не она ли своим безумием затуманила головы холодным политикам, не она ли своей усталостью всем связала руки, не она ли, утеряв язык человеческий, онемев в долгом рабстве и в огне небывалой войны, лишила всех способности понимать друг друга, сделала всех глухими и безумными.

— Да, это она. Нужно чудо, чтобы спасти ее, она все потеряла, она стремится к гибели. Тут словами, самыми искренними, помочь нельзя; тут бессильны законы,

ломающие все старое и создающие новую жизнь; а еще бессильнее тут виселица и плетка. Только чудо может ее спасти.

Но сразу он устыдился всей этой своей неразберихи и принялся себя сдерживать:

— Это все от переутомления, это все еще сибирское одиночество сказывается. Надо быть трезвым.

Он решил для себя, что надо искать других путей, что все, что говорится на Государственном совещании, ни в какой мере не сможет вывести Россию из того тупика, в который она попала. Но есть ли этот другой выход?

С трех сторон были пропасти: впереди, — победное шествие императора Вильгельма на несопротивляющуюся Россию; направо, — возврат к старому, генерал на белом коне, душащий жизнь во имя победы; налево, — восстание большевиков, анархия, море ненужной крови, гибель и России, и революции.

Александр досидел последние дни Совещания.

Выхода не было.

Это наглядно подтверждалось каждым сказанным словом. Власть металась и чувствовала себя бессильной. Враждующие стороны ненавидели друг друга и ярко обнаруживали друг у друга ошибки в мыслях. И никто не сказал, что кроме этих ошибок ничего и нет, ничего и не может быть, потому что какое бы лекарство ни давать умирающему, ни одно не поможет, и каждый врач будет прав, упрекая другого в том, что его лекарство не дало здоровья больному.

От смерти лекарств нет.

Так ли это? Александр никому не говорил своих мыслей. Он решил опять уехать из центра, окунуться в подлинную жизнь русскую и проверить свои выводы.

Его вагон по какому-то случаю был полупустым.

Спутником у него оказался человек в защитном платье с длинною курчавой русой бородой. В лице его была смесь

прямо иконописного благообразия с каким-то холодным лукавством.

Спутник, войдя, молча сел и углубился в чтение бумаг, аккуратно разложенных по папкам. Просмотренные папки он откладывал в сторону.

Александр случайно взглянул на одну из них и с удивлением прочел на ней: «О Вельзевуле».

Это показалось ему так неожиданно, что он с любопытством перевел глаза на человека, разбирающего в вагоне дела о Вельзевуле.

Тот сразу заметил его удивление и улыбаясь сказал:

— Не беспокойтесь. Это вовсе не папка с делами о Вельзевуле; тут только дела Военного министерства, куда я вчера ездил с докладом. А надпись старая: я давно такую работу писал, когда еще в Духовной академии был.

И несмотря на эти спокойные слова и чуть ироническую улыбку, Александру показалось на мгновение, что с ним рядом сидит сумасшедший, таким пронзительным холодом веяло от серьезных, странно светлых голубых глаз. Понемногу они разговорились.

Когда наступила ночь и весь вагон, слабо покачиваясь на колесах, был наполнен только дыханием спящих людей, этот странный человек стал откровеннее.

— Да, да, времена тяжелые... Пожалуй, никого винить нельзя... Вы знаете, чтобы спасти сейчас Россию от гибели, конечно, человеческих сил слишком мало... Бог? Нет, Бог нас карает, и от него милости просить нельзя. Возможно только одно. Возможно, что найдется один человек, — понимаете, — всего только один за всю необъятную Россию, — и что этот человек обратится к нему. — Он указал глазами на заголовок своей папки.

Александр был ошеломлен. Опять он решил, что перед ним безумный.

А тот продолжал, видимо подсмеиваясь даже над его удивлением:

— Боже мой, до чего современные люди далеки от тех точных знаний, которыми в совершенстве владели наши

предки. Вот вам кажется, что я безумный, а между тем ведь с точностью установлено, что в истории бывали многочисленные договоры людей с дьяволом, что дьявол за человеческую душу готов дать любую плату и что пути к нему не так трудно найти.

Александр уже плохо слушал. А спутник его подробно объяснял, каким путем человек может найти дьявола, как надо с ним сговариваться, как после подписания договора должна сохнуть правая рука у подписавшего.

Только под утро Александр поднялся на верхнюю полку и уснул.

Под влиянием странного разговора ему приснился сон. Ему казалось, что он блуждает в каком-то молочно-белом тумане. Облака окружили его со всех сторон. А впереди виднеется огромный шар. Он приглядывается и видит, что это земля, — вся земля, в виде исполинского глобуса. Четко легли в море лапы Скандинавского полуострова, вырисовывается сапог Италии, Черное и Азовское море неудачной просфорой вдвинулись в сушу.

И видит Александр, что из России торчит веревка.

Как он только это заметил, то сразу почувствовал, что его вчерашний собеседник оказался за его спиной, и блестит нестерпимо глазами, и шепчет: «Дерни, дерни за веревку».

И сразу стало ему ясно, что дернуть за веревку, — это значит отдать свою душу дьяволу и этой ценой спасти Россию. Он еще колеблется. Но спутник со страшной силой толкает его.

Наконец, они начинают быстро мчаться навстречу земному шару. Александр хватает за веревку, дергает ее и просыпается.

Уже солнце высоко. Вчерашнего собеседника нет.

VIII

Стояла поздняя осень. Временное правительство пало. Отгремели московские пушки.

А на юге не признавали новой власти, еще верили, что все это ненадолго. Большевиков в городе не было. Один только сиделец казначейства заявил, что он большевик, но его заявление приняли со смехом, припомнили ему его недавнюю полицейскую службу и на том успокоились.

Но вот отзвуком донеслось, что и Учредительное собрание разогнано...

Александр ломал себе голову, какими бы путями добраться до Москвы. Железные дороги стояли. Минутами на него нападало отчаяние. Город казался ему тюрьмой, еще более ненавистной, чем каторга. Там сидел он, по крайней мере, в глухое время, а сейчас, когда нужна каждая лишняя голова, он вынужден томиться здесь.

— Ну, Саша, а что сейчас делать? — как-то сказала ему Катя. — Вот завтра, послезавтра? Ведь нельзя же сидеть так и смотреть, как стены падают и кругом остаются обломки?

Он ответил:

— Я думаю на днях двигаться. Хоть пешком, да дойду.

А Катя, замирая и волнуясь, сказала:

— Саша, если ты найдешь какое-нибудь дело, которого я была бы достойна, такое, — гибельное, — позови!

— Хорошо, — просто ответил он.

Но так скоро уехать Александру не удалось. Болезнь Ольги Константиновны неожиданно ухудшилась. Доктор сказал, что сердце ее настолько ослаблено различными волнениями, что он не ручается за исход. На глазах близких она с каждым днем приближалась к смерти.

Но сама она не сознавала, что смерть может прийти к ней так скоро. Ей хотелось перед концом еще раз увидеть Петра.

— Это было бы счастьем умереть среди вас всех. Я так измучилась о Пете...

Ее не стало за два дня до Рождества. Хоронили ее тихо. Мало народа следовало за гробом.

Павел Александрович не плакал; только говорил о том, что с нею ушла старая жизнь, а новой жизни ему, старому, не дождаться.

Всего больше был поражен ее смертью младший, Сережа. Может быть, оттого, что все чувства у него проявлялись очень бурно и он не умел сдерживаться. А может быть, он понял каким-то чутьем, что без матери останется слишком предоставленным себе и не сумеет с собой справиться. Время было такое, что только закаленные жизнью люди чувствовали власть над собой; другие же или терялись, — и жизнь шла мимо них, или же разнуздывали себя до конца и плыли на гребне жизни, не зная, куда их вынесет волна. Сереже было тяжело еще и оттого, что в доме он был немного чужим, и только Ольга Константиновна отводила ему в своей душе место, равное месту других детей. Его друг Ткаченко не мог ему ничего дать, и только, пожалуй, Юленька, его двоюродная сестра, понимала, какую тяжелую утрату нес он со смертью матери.

В конце Рождества движение неожиданно восстановилось. Сразу в город пришло несколько поездов, набитых солдатами, возвращавшимися с фронта.

Александр на следующий день решил ехать. Отец не останавливал его. Катя даже торопила.

На прощанье она сказала ему:

— Помни, — позови!..

Он кивнул головой и исчез среди толпы, набившейся на площадке вагона.

А пришедшие с фронта солдаты разбрелись по деревням. Человек около пятидесяти осталось в городе. Первые дни они проводили в своих семьях, потом бурно и пьяно встречали Новый год, паля все время из ружей и крича какие-то песни.

А потом созвали митинг, на котором объявили, что каждое утро можно записываться в милиции в партию большевиков-коммунистов, — там будет дежурить секретарь их комитета.

Горожане притихли. Базар опустел. По улицам ходили патрули и производили обыски.

Жизнерадостная молодежь бегала на митинги, и Юленька могла рассказывать о них без конца, особенно о выступлениях солдата Ивана Кособрюха. По ее мнению, он несомненно обладал талантом и ораторским темпераментом. На протяжении своей речи он часто падал на колени, вопил, иногда рыдал, проклинал, переходил на шепот и потом опять гремел.

Митинг, — собрание всех граждан, — решил упразднить городскую Думу. Товарищ Кособрюх по этому поводу высказался так:

— Кто выбирал ее, эту знаменитую Думу? Одни женщины да беспощадные старцы, а мы были на фронте, нас никто не спросил.

Дума немедленно была упразднена. Вместо нее был призван править городом революционный комитет.

Юленька уговорила и Сережу ходить на митинги.

В первый же раз, когда при нем говорил товарищ Кособрюх, Сережа не выдержал и устроил ему громкую овацию.

После речи своей Кособрюх подошел к ним и спросил:

— Вот я знаю, что вы нам не сочувствуете, а аплодируете. К чему бы это?

Сережа ответил:

— Товарищ, нам действительно не нравится то, что вы говорите. Мы аплодируем за то, как все это сказано.

Кособрюх ответа не понял, решил, что Сережа над ним глумится, и важно заметил:

— Конечно, может, мы и дураки. А вот на днях приедут к нам товарищи. Уж те, — будьте покойны, — умные. Посмотрим, как вы тогда зааплодируете.

Они вообще ждали чего-то.

Наконец, приехал этот умный большевик, товарищ Яур, латыш. Он сразу оказался председателем Совета. В качестве такового открыл очередной митинг и выступил с обширным заявлением.

Он давнишний коммунист. Это дает ему право отнестись критически к работе более молодых товарищей. Советская власть сейчас победила своих врагов и займется

новым строительством. Он предупреждает всех, что всякая помеха, чинимая кем бы то ни было, будет сурово караться.

— Пока новые законы не написаны, я прошу помнить, что закон наш на конце штыка. — Так кончил он под аплодисменты большинства митинга.

Когда народ выходил из зала Думы, Юленька увидала товарища Яура в коридоре. С сильным нерусским акцентом он разговаривал с двумя солдатами и улыбался. Она подошла к нему поближе и потянула за собой Сережу.

Они услыхали, что один солдат, указывая на рваные башмаки латыша, говорит ему любовно и подобострастно:

— Дорогой товарищ, просто смотреть нельзя, что у вас башмаки драные. Дозвольте я у одного гада реквизну для вас.

Яур засмеялся и сказал, что не надо.

Потом посмотрел на Юленьку и Сережу и громко заметил:

— А эти цыплята что по митингам шатаются? Будто не из наших?

Юленька обиделась и сразу же заметила, что у Яура руки краснее даже, чем у Ткаченко, и так же торчат из рукавов. А Сережа отвернулся и подумал, что Яур года на три старше его, не больше.

У выхода их встретил Кособрюх и спросил восторженно, как им понравилась речь нового товарища. Сережа ответил, что сам Кособрюх лучше говорит, а кроме того, какое касательство этот латыш имеет к городу? И, разозлясь, добавил:

— Ну, терпим дураков, да, по крайней мере, своих. А теперь еще чужого терпеть прикажете?

Кособрюх удивился его дерзости и заметил тихо:

— Берегитесь, милый человек. По дружбе говорю, — берегитесь. А то плохо будет...

Товарищ Яур метался по городу в своей белой папахе, подчинял и распекал непокорных, отнимал единолично

винтовки у пьяных солдат, судил, законодательствовал, заполнял сам маленький листок местных «Известий», говорил длинные речи все с тем же диким акцентом и обедал в ресторане ежедневно, одними блинчиками с вареньем.

У Сережи росла к нему ненависть. Юленька тоже не забывала обиды. Особенно им, молодым, казалось нестерпимым, что этот мальчишка Яур командует всем городом и никто ни в чем не смеет противоречить ему.

Под их влиянием собралась молодежь, — гимназисты и гимназистки, — все участники любительских спектаклей. Они решили показать себя. Сережа уверял, что Яур трус и вызова не примет. Долго обсуждался план действий.

Наконец, было принято решение.

После репетиции Юленька первая затянула «Боже, царя храни». Остальные подхватили. Громкий бас Ткаченко далеко разносился по улице.

Пели не больше двух минут. А вокруг уже раздавались тревожные свистки милиции. Скоро проскакал верхом патруль. Солдаты спрашивали прохожих, кто пел. Преступники были все скоро поименно обнаружены. Только одна гимназистка как-то скрылась от патруля и, запыхавшись, прибежала домой.

Через час началось экстренное заседание военно-революционного комитета, а весь город говорил, что обнаружена мощная монархическая организация, которая хотела свергнуть советскую власть.

Когда Павел Александрович узнал, что Сережа арестован, он сначала не очень испугался и решил, что все это недоразумение. Но вскоре к нему в кабинет вбежала Клавдия Алексеевна, Юленькина мать; лицо ее было покрыто красными пятнами, и все старания Кати ее успокоить ни к чему не привели. Она истерически выкрикивала что-то о расстреле, умоляла спасти ее Юленьку, кричала, что надо как можно скорее начинать хлопоты, иначе будет поздно. Потом неожиданно сорвалась и со словами:

— Я к этому чудовищу Яуру, — выбежала из комнаты.

Катя решила тоже отправиться прямо к Яуру и выяснить, в чем обвиняют Сережу и что ему грозит.

Она пошла в дом, занимаемый революционным комитетом. В большой комнате стоял гул от множества голосов, говорящих о чем-то одновременно. Бродили солдаты с винтовками. Было пыльно и грязно.

Кате сказали, что у товарища Яура посетительница и ей придется подождать.

Через минуту дверь из кабинета широко открылась, и оттуда вылетела красная, растрепанная и обливающаяся слезами Клавдия Александровна. За ней показался Яур в своей неизменной папахе. В комнате все сразу замолчали.

А он кричал:

— С контрреволюционерами у нас один разговор: к стенке. Пощады быть не может. Нам нет дела до того, кто попался в преступлении. Ваша дочь не будет помилована. Я не обращу внимания на ваши слезы.

Клавдия Алексеевна не заметила Кати и выбежала из комнаты.

А солдат уже докладывал Яуру, что еще одна просительница хочет его видеть. Он велел ввести ее.

Не садясь на предложенный ей стул, Катя громко и решительно сказала:

— Собственно, я уже узнала все, что мне нужно, и дальнейший разговор ничего нового не даст.

Но Яур опять попросил ее сесть и изложить суть своего дела. Ей показалось, что решительный тон на него действует успокаивающе.

— Дело мое заключается в том, что сегодня арестовали моего брата, Сергея Темносердова. Я хотела бы знать, за что он арестован и что ему грозит.

Яур заявил, что арестован он за участие в контрреволюционном заговоре.

Увидав, что Катя молчит, он начал опять кричать:

— Контрреволюции мы не терпим. Кто не признает советскую власть, тот наш враг. Наш закон мы заставим выполнять штыками.

Катя его решительно перебила:

— Простите, товарищ, я ужасно не люблю слушать повторений. Я только что имела счастие выслушать все эти истины, когда вы провожали мою предшественницу. Мне хотелось бы только знать, насколько эти обвинения доказаны и что Сергею грозит.

— Как? А пение гимна вы ни за что не считаете?

Яур говорил уже спокойнее. Катя почувствовала, что взяла правильный тон.

— Ну, если дело касается только этой мальчишеской выходки, то я, конечно, могу быть спокойна за участь брата. Мне кажется, что сильная власть, уважающая себя, не будет унижаться до того, чтобы карать слишком строго глупых мальчишек и девчонок. Но мне хотелось бы знать, когда же их освободят.

Товарищ Яур громко рассмеялся:

— Вы, право, молодец. Так дела можно делать. Но поймите же, товарищ, что ваши эти глупые мальчишки и девчонки ставят меня в отчаянное положение. Ведь я не могу им потворствовать: если я освобожу их сегодня, то завтра же каждый солдат будет на меня пальцем показывать. И могу уверить вас, что вашим мирным гражданам от моего провала не будет лучше. Вы встаньте на мое место и придумайте, что можно сделать. Я выполню.

Катя на минуту задумалась, потом, прямо смотря в глаза Яуру, сказала:

— Вы правы. Вы не можете по своему почину их освободить. Но вот как можно: кто-нибудь из членов военно-революционного комитета поручится за них, и тогда их можно будет выпустить.

— Как же, например?

Катя нерешительно сказала:

— Я мало кого из них знаю. Но вот, например, товарищ Кусони. Он долго был с моим братом Александром в одной организации и всегда подчеркивал свое хорошее отношение к нему. Может быть, он согласился бы быть поручителем.

Но Яур только ухмыльнулся в ответ:

— Ну, это безнадежно. На заседании Совета он требовал самых суровых мер против них. Вы вообще этому мерзавцу не доверяйте. Раньше он предал вашего брата, а в будущем так же легко предаст меня.

Катя с течением разговора все больше и больше удивлялась откровенной непринужденности этого маленького диктатора.

Яур продолжал:

— Вот что. Вы все же хорошо выдумали, и поручителя я попытаюсь достать. Что вы думаете о Кособрюхе? Он мне очень предан.

Катя сказала, что не знает его.

Яур нажал кнопку звонка. У дверей через минуту выросла фигура солдата. Яур велел позвать Кособрюха, но вдруг решил, что Кате лучше при их разговоре не присутствовать, и отпустил ее.

Вечером раздались у подъезда Темносердова тревожные звонки. Катя выбежала в переднюю и отперла дверь. На пороге стояла Клавдия Александровна и, видимо плохо соображая, твердила, увлекая Катю за собой на улицу:

— Скорее, скорее к Яуру. Их решили сегодня на рассвете расстрелять.

Катя заявила решительно, что с ней вдвоем она никуда не пойдет, потому что ее волнение только испортит все дело. Потом торопливо оделась и опять пошла в революционный комитет.

Там было почти пусто. Несколько солдат спало на столе. Яура не было. Кате сказали, что он живет в гостинице «Флоренция», в маленьких номерах на базарной площади.

Когда она подошла к номерам, они были уже заперты. На три повторных звонка отворил двери какой-то заспанный малый и проводил Катю до комнаты Яура. На ее стук дверь почти моментально распахнулась.

Яур удивился ей. Он был сейчас какой-то другой, чем на людях.

— Вот не ждал вас, — сказал он просто.

Катя заметила, что он без башмаков, и неловко старается скрыть от нее свои ноги в упавших, грязных и дырявых носках. Вообще от всей комнаты повеяло на Катю страшной бесприютностью. На смятой кровати валялась книжка. На столе стоял недопитый стакан чаю и рядом с ним лежала платяная щетка. Свет от лампы ударял в глухую стену соседнего дома. Окно было не завешено.

Яур, видимо, догадался, зачем она пришла, и начал:

— Все хорошо. Товарищ Кособрюх согласился. Он даже уверял меня, что и на самом деле Сергей Темносердов, ваш брат, и эта девица, мать которой так много плачет, всегда очень аплодировали на его выступлениях, и ему кажется, что из них когда-нибудь выработаются настоящие коммунисты. Правда ли это?

— Нет, не правда.

Катя объяснила, почему Сережа и Юленька аплодировали Кособрюху.

Яур слабо улыбнулся:

— Да, он очень смешной бывает, но он лучше других, — он искренний.

Катя хотела идти. Но Яур удержал ее.

— Если вам не очень здесь со мной скучно, то побудьте еще немного.

На ее удивленный взгляд он пояснил:

— Так устаешь от этой суеты. И так в этой суете одиноко. Вы знаете, мой отец был старым революционером и погиб. Мой брат был расстрелян, — вы слыхали что-нибудь о лесных братьях? — он был одним из них. Они не дожили до нашей победы, а я вот дожил и не радуюсь. Каждая победа портит идею. Вы с этим согласны?

Катя удивлялась все больше и больше. Но тут она разозлилась и ответила резко:

— Вольно же вам победу такими методами осуществлять.

Но он опять мягко перебил ее:

— Забудьте, что я большевик. Мы сейчас просто, как люди, будем разговаривать, если вы того захотите. Мне кажется, что я был бы счастлив в момент победы умереть.

Только бы не видеть этих рож, только бы не чувствовать, что вся сила в руках темных, своекорыстных, диких...

Он сильно закашлялся, и у Кати мелькнула мысль, что он болен.

Далее он продолжал почти истерически:

— Презираю. Презираю всех, всех. Презираю буржуазию за то, что она меня боится и позволяет кричать на себя; презираю солдат за то, что они меня слушаются и позволяют, — даже пьяные, — вырывать у себя винтовки, вместо того, чтобы винтовками этими прямо в грудь, прямо в грудь...

И опять закашлялся...

— Но если они заметят, что я слаб, если они почувствуют во мне равного себе человека... О, тогда будьте покойны, каждый подойдет, чтобы плюнуть в лицо, каждый надругается.

Кате становилось как-то душно.

Словно почувствовав, что она его жалеет, он рассердился и заспешил:

— Вы думаете, что мне ваше сочувствие нужно; вы думаете, что я позволю себя жалеть. Не смейте жалеть. Просто среди всей этой гнили мне показалось утром, что вы настоящий человек. А знаете, как должны настоящие люди встречаться? Я зову вас на борьбу. Вы нам чужой человек. Вы нас ненавидите. И я говорю вам: давайте бороться, бороться на смерть. Единственное, что я вам обещаю, это то, что, презирая всех, я буду уважать вас, но несмотря на это, я буду беспощаден.

— Ну, — возразила Катя, — ведь с вами-то бороться не очень интересно. Если вы где-нибудь почувствуете, что я побеждаю, вы велите вашим солдатам арестовать меня и конец.

Но Яур начал возражать ей, мечась по комнате:

— Нет. Если вы вынудите меня арестовать вас, это будет значить, что вы меня победили. Но вам не удастся этого, вы не добьетесь ареста.

Кате мелькнуло в нем что-то ребяческое. И уже совсем весело улыбаясь, она сказала:

— Согласна, согласна, товарищ грозный мальчишка. Хотя, по правде, у меня к вам сейчас совсем никакой ненависти нет!

Она встала. Он проводил ее до дверей.

Через несколько дней Сережа, Юленька, Ткаченко и вся их компания преступников по поручительству товарища Кособрюха были выпущены на свободу.

IX

Петр за последнее время как-то сжался и потускнел. Сначала его выбрали командиром полка. Потом через два дня сменили. Потом опять выбрали и грозили, что в случае неповиновения воле выборщиков и отказа от должности будут его судить. Но, несмотря на это, он отказался, успев за время своего пребывания в должности написать только одну бумагу по начальству, в ответ на то, что необходимо принять все меры для защиты полкового имущества от разграбления.

Он ответил рапортом: «Мною приняты все имеющиеся в моем распоряжении меры, вплоть до уговора».

После его отказа не только не последовало суда, а, напротив, солдаты выбрали его в полковой комитет. Он решил не отказываться больше.

Работать пришлось, главным образом, с неким Лошкаревым, солдатом из фабричных, человеком бывалым и ловким. Этот Лошкарев в дни первых братаний стащил у австрийцев пулемет и, несмотря на то, что рисковал быть узнанным, отправился к ним в окопы, на следующий день после этого, взяв с собой несколько кусков глины, тщательно обмазанной со всех сторон мылом. У австрийцев он выменял на этот свой товар две рубахи и серебряные часы. Правда, впоследствии часы оказались не серебряными,

а никелевыми. Но, несмотря на это, всем солдатам понравился такой способ мены, и накануне очередного братания вся рота занялась фабрикацией мыла из глины.

Все это было Петру бесконечно противно, но он продолжал тянуть лямку. Часто возникал вопрос: чем может это кончиться?..

К началу весны от полка, кроме офицерского состава, осталось только человек пятьдесят солдат. Все они разместились в небольшом католическом монастыре на границе Галиции и ждали, чтобы прошла весенняя оттепель, которая мешала передвижению.

Петр скучал, слушая часами рассказы Лошкарева о своих подвигах, где ложь смешивалась с правдой самым причудливым образом, и никак не знал, как быть дальше.

Самым опасным сейчас было оторваться от своей части. Здесь в силу какого-то своеобразного патриотизма свои солдаты чужим людям офицеров на суд не отдадут. С ними же самими можно кое-как ладить, но стоит только оторваться от своих, как становишься сразу гонимым золотопогонником, — и тогда никто защитить не сможет.

Офицеры решили совместно обсудить, что им делать, когда последние солдаты разбегутся. Было два мнения: большинство, ввиду полной невозможности пробираться домой одиночным порядком, решило идти к австрийцам, — даром что война как будто и кончена, — в плен, авось примут. Меньшинство, состоявшее из Петра и поручика Чижикова, заявило, что нужно дотянуть каким-нибудь образом полковое имущество до Киева. Спорили долго и ни к какому решению не пришли. К мнению Петра присоединился еще один поручик. Тогда решили друг другу не мешать и действовать каждому сообразно своему желанию.

Петру при помощи Лошкарева удалось уговорить солдат не рассыпаться еще хоть неделю. Тот же Лошкарев ездил куда-то хлопотать о теплушке, и несколько дней спустя

они уже перетаскивали на исхудавших клячах казенное имущество из монастыря на станцию и грузили его.

Тронулись не скоро: сперва не могли найти начальника станции, потом машинист забыл набрать воды... Ехали долго, с частыми остановками. На одной узловой станции пришлось выдержать форменную атаку. К ним в теплушку ломились, требовали, чтобы они бросили имущество и впустили людей. Петр хотел выйти к толпе, но Лошкарев не пустил и сам отбил эту атаку. Дальше ехали без приключений до самого Киева.

В Киеве опять суета, ежеминутные требования документов. Петр был рад, что в последнюю минуту догадался сам написать себе удостоверение от имени своего полкового комитета. Для патрулей — печать в порядке, — большего не требовалось.

Несколько дней прошло в поисках такого учреждения, которое согласилось бы принять полковое имущество.

Но вот можно было ехать и дальше. У Петра оставалось только два попутчика из своих солдат, да и те к вечеру высадились.

Дальше предстоял страшный путь одиночным порядком. Лошкарев советовал на прощанье отдать кому-нибудь австрийскую винтовку, которую Петр хотел привезти домой, но он не обратил внимания на этот совет.

На какой-то большой станции стояли часа два. Шла тщательная проверка бумаг. Когда очередь дошла до Петра, он, успокоенный прежними удачами, протянул без всякого волнения свое удостоверение.

Солдат прочел его внимательно и даже посмотрел зачем-то на свет, потом передал двум другим. Те вполголоса начали читать опять все сначала, поправляя друг друга. Потом переглянулись и зашептались.

Петр протянул руку за удостоверением. Но один из солдат велел ему слезать и идти за ними. Он взял свой мешок и винтовку и пошел вдоль платформы. Толпа, стремящаяся попасть в поезд, на него не обращала внимания.

Солдаты привели его в бывший буфет первого класса. Тут было пусто. Шкафы буфета были забраны досками. Столы стояли в углу один на другом. Скоро пришел часовой с винтовкой, с примкнутым штыком. Петр заметил, что он пьян. Потом один из караульных принес два стакана и бутылку водки.

Поезд ушел. Толпа на платформе начала таять. В дверь заглянул было заспанный телеграфист и скрылся.

Солдат ловко раскупорил бутылку и, наливая сначала Петру, а потом себе, предложил ему выпить. Петр отказался.

— Пей, товарищ, а то я с трезвым человеком говорить не умею.

Петр решил, что лучше не спорить, и глотнул. Это была даже не водка, а какая-то странная смесь, которая жгла горло и била в голову. Он отставил стакан. Солдат не заметил этого жеста и стал пить медленно, наслаждаясь каждым глотком.

Потом повернул мутный взгляд на Петра:

— Ты, значит, товарищ, офицер будешь?

— Да.

— Та-ак.

Опять молчание; только булькает пьяная жидкость из бутылки.

— Как же это ты, — из народных кровопийцев, значит, а винтовку за собой тянешь? Это ты что ж, против нашего брата?

Петр, чтобы отвязаться, сказал, что отцу в подарок.

Солдат хитро ухмыльнулся:

— Это ты, товарищ дорогой, врешь. Я все-е знаю. Знаешь, что Корнилов объявился?

— Нет, не знаю.

— Врешь, дорогой... Врешь...

Опять молчание. Солдат будто задремал. Потом неожиданно вскочил. Схватил свою винтовку на перевес и кинулся на Петра.

Тот схватился руками за штык:

— Ты что, с ума сошел?

— С ума я не сошел. А ты хоть и милый человек, а заколоть тебя надо. Так...

И неожиданно для себя шлепнулся на стул. Он был совершенно пьян.

Потом налил себе и выпил.

— Пей и ты, товарищ дорогой, так оно лучше.

Петру становилось совсем не по себе.

В комнате не было света. В окно только сиял белый фонарь.

А солдат, немного очнувшись, продолжал:

— Да, милый человек, вам один конец: в штыки и баста.

Он, видимо, опять хотел схватить свою винтовку, но раздумал.

— Вот ты командовал, — ты мог меня штыком. А теперь я командую, — я штыком. Понял? Нет, ты скажи, — ты понял?

Так медленно шли часы ночи. Раза три солдат хватался за свою винтовку. Наконец, он заснул. Петр начал соображать, как ему поступить. Обратил внимание, что дверь полуоткрыта.

Бежать? Но куда в этом незнакомом месте? Все равно поймают.

Он сел опять и стал рассматривать спящее лицо своего тюремщика. Рыжие усы обвисли. На покрасневшем лбу виднелись капельки пота.

До рассвета было далеко. Через полчаса начал медленно высыпать на платформу народ. Петр подошел к окну и увидел, что контрольный патруль тоже прохаживается по платформе. Подошел поезд и начался обычный бой между пассажирами, рвавшимися попасть внутрь. Петр видел, как в передний вагон вошел патруль.

В одну минуту у него созрело решение. Он схватил свой мешок и винтовку и стал напряженно ждать у окна. Солдат

громко храпел и ворчал что-то во сне. Патруль перешел в следующий вагон.

Петр кинулся на платформу, сбил с ног какого-то старика и затерялся в толпе, осаждавшей поезд. С силой протискиваясь вперед, он добрался до вагона, ухватился за поручни... Одна, две ступеньки... И как раз в ту же минуту поезд медленно двинулся.

Петр вздохнул с облегчением.

Два дня он ехал спокойно. Впереди предстояла только рискованная остановка в Ростове. Говорили, что дальше проезд свободный, но что за Ростовом делается что-то непонятное.

Приехали на закате. Петр страшно устал. Неожиданно он сообразил, что в Ростове живет отец его однополчанина, и стал припоминать адрес.

На улицах мигали редкие фонари. Прохожих почти не было. Изредка встречались конные патрули. Петр волочил свою винтовку и мешок.

Свернув в боковую улицу, Петр заметил, что какая-то дама, осторожно держась в тени, пробирается около стен.

«Эта, наверное, из нашего брата», — подумал он и подошел к ней.

Она вздрогнула всем телом.

— Ради Бога, не волнуйтесь, — сказал он тихо, — я хочу вас спросить, как мне найти одного знакомого.

Дама, пристально вглядевшись в него, еще сильнее испугалась и зашептала:

— Я вижу, что вы офицер. Как вы решились выйти?

Петр ничего не понимал.

— Я только что с поезда, — ответил он.

Тогда дама схватила его за руку и стала быстро шептать, оглядываясь по сторонам:

— Ну, так знайте, что третьего дня добровольцы ушли в поход. Сейчас здесь власть красных. Офицеров ищут везде. Смерть неминуема, если вас узнают... — и она быстро отошла прочь.

Петр в недоумении остановился. Потом медленно, все так же сгибаясь под тяжестью мешка и винтовки, направился через весь город к вокзалу. Страшно хотелось есть...

Встречные патрули его больше не останавливали. У него мелькнула мысль, что этим он обязан своей винтовке: она придает ему легальный вид человека, которому нечего бояться и таиться. До вокзала он добрался благополучно. Сел в поезд, сравнительно не очень наполненный.

Когда отъехали, на первой станции патруль, проверяющий документы, очень долго задержался в соседнем купе. Потом с громкой руготней стал требовать из него какого-то человека.

И вдруг Петр услышал злой, металлический голос:

— Да, я не скрываю, что я офицер. Но вывести себя отсюда не позволю. Вы видите, у меня две ручные гранаты. Если вы сейчас не уйдете из вагона, то и вы, и я через минуту взлетим на воздух!..

Патруль помялся секунду и прошел дальше.

X

После своего освобождения Сережа резко изменил прежнее отношение к Яуру. Сначала он зашел к нему на квартиру вместе с Ткаченкой, чтобы от имени всей компании поблагодарить его.

Яур встретил его просто и просил чуть ли не с первых слов изобразить, как произносит речь товарищ Кособрюх. Сережа таких просьб не заставлял повторять дважды.

Он неожиданно упал на колени среди комнаты, выкатил глаза и, разрывая рубашку у себя на груди, начал вопить:

— Товарищи, кошмарная рука товарища Яура сжала в железных тисках всех граждан: нас, фронтовиков, женщин и беспощадных старцев.

Это было так похоже, что Яур расхохотался.

— У вас талант. Это ведь самое большое счастье.

Сережа был польщен. Ничто не доставляло ему такого удовольствия, как признание в нем артистических способностей. За это он готов был простить Яуру все.

С этого дня дружба их стала расти. Однажды Яур сказал, что больше всего на свете любит музыку. Сережа объявил, что Юленька прекрасно играет, и потащил его в дом ее отца, а своего дяди, Михаила Александровича, в «ковчег», как все называли эту всегда полную народа гостеприимную обитель. Сначала Яур долго не хотел идти, говоря, что если солдаты узнают, что он посещает дома буржуазии, то решат, что он ей продался, и устроят скандал. А по существу он попросту стеснялся. Ему казалось диким в качестве частного человека прийти в благоустроенный дом, разговаривать с дамами, слушать музыку.

Но Сережа ничего и слышать не хотел. Почти силком дотащил он Яура до «ковчега», впихнул в переднюю и стал сзывать народ.

Юленька первая выбежала им навстречу и остановилась в удивлении.

Но Сережа не смущался.

— Юля, это мой друг. Я тебе говорил уже. Он прекрасный ценитель искусства. Ты должна играть ему.

В гостиной она усадила его около рояля и сразу начала играть, к явному удовольствию понемногу успокоившегося гостя.

Яур стал изредка бывать в «ковчеге», всегда молчаливый и угрюмый. Зато они часто гуляли втроем, и тогда он один говорил, а Сережа и Юленька больше слушали его.

В окрестностях города между тем было неблагополучно. Ограбили двух мужиков, продавших на базаре дрова и возвращавшихся домой; ограбили купца; ночью ворвались в церковь соседней деревни и вынесли из нее всю ценную утварь.

Становилось небезопасно и в самом городе: следователь еле укрылся у знакомых от гнавшихся за ним ночью грабителей; с одной дамы сняли серьги и кольцо. Яур говорил, что он надеется в ближайшем будущем прекратить это.

В «ковчеге» стали замечать, что Юленька при каждом удобном и неудобном случае говорит об Яуре. Мать, оставшись как-то наедине с нею, спросила:

— Девочка, я не ошибаюсь, что ты этим Яуром очень увлекаешься?

Юленька ответила, не смущаясь:

— Да, мама, он мне очень нравится...

Однажды они шли втроем по обыкновению — Юленька, Сережа и Яур, и случайно встретились с Катей. Яур страшно смутился, особенно заметив Катину улыбку.

Потом рассердился на себя и сказал ей:

— Улыбаться еще рано: если меня не убьют, то борьба наша будет неизбежна... А если убьют, то мне хотелось бы, чтобы вы при моей смерти присутствовали и видали, как мы умеем умирать.

Катя опять улыбнулась:

— Господь с вами. Живите еще десятки лет. Ведь это для младшего возраста, — эти разговоры о смерти. Вот посмотрите, как Юленька пришла в восторг и испугалась. А я, право, к таким разговорам мало чувствительна... — и пошла своей дорогой.

А Яур сказал ей вдогонку с досадой:

— Ведь вот какая: хочет, чтобы за ней всегда оставалось последнее слово. Так нет же: убьют, убьют, — это наверное!

Сережа начал расспрашивать, кто может его убить, и заметил, что для всех, принципиально не приемлющих советскую власть, он лично приемлемее всякого другого большевика.

Но Яур отрицательно покачал головой:

— Нет, этих контрреволюционных слизней я не боюсь. Они сами для этого слишком трусливы. Меня убьют свои. Дело об участии солдат в шайке на днях должно выясниться. Они знают об этом, и мне несдобровать.

Сережа обдумывал молча все сказанное, а Юленьке стало и жалко Яура, и вместе с тем она почувствовала себя гордой, что немного замешана в таком романтическом деле.

После одной из таких прогулок с Сережей и Юленькой Яур шел домой. До него донеслись с другого конца улицы громкие крики. Было поздно. Кругом ни души. Он кинулся бегом на крики, которые не смолкали. Но он опоздал: перед ним за минуту грабители выбежали из дома податного инспектора Никитина, захватив с собой столовое серебро и значительную сумму денег.

Податной инспектор лежал со связанным ртом у себя в кабинете, а кричали его жена и горничная с балкона. На расспросы Яура они рассказали, что грабители были в масках, трое солдат, а остальные в штатском.

Когда он уходил, то на дворе заметил какой-то блестящий предмет, который оказался портсигаром. Он его внимательно осмотрел и сунул в карман. Потом медленно направился на окраину города к дому мещанина Леденцова.

Там был еще свет. Он постучался в окно и ждал довольно долго. Наконец старший из братьев, подозрительно вглядываясь в темноту, открыл двери. Яур назвал себя, сказал, что страшно голоден и зашел на огонек поесть. Леденцов впустил его в комнату.

Остальные два брата сидели за столом и ждали объяснения стуку в окошко. Яур поздоровался с ними и начал какой-то общий разговор. Принесли творогу, хлеба и вина. Просидел он у них с полчаса.

И уже уходя, непринужденно спросил:

— Вот, товарищи, чуть было не забыл: у вашего двора портсигар нашел. Не ваш ли?

Он протянул портсигар.

Второй Леденцов сказал:

— Вот добро, а я его целый вечер ищу, — и протянул руку.

Улика была налицо. Странным взглядом поглядел Яур на него. Сначала хотел промолчать, но вдруг злоба охватила его с силой.

Не сдерживая себя, он начал:

— Товарищ, нашел я его довольно далеко отсюда...

Но резко оборвал себя.

А Леденцовы переглянулись: они, видимо, поняли в чем дело.

Яур ушел от них. Весь следующий день он совещался с бывшим следователем. К ночи решение было готово. В час патруль должен был арестовать Леденцовых и их сообщников.

Перед вечером Катя сидела в своей комнате и читала. Вдруг ее заставил вздрогнуть неожиданный стук в окно. Она вгляделась в темноту внимательно и заметила белую папаху Яура. Она отворила окошко.

— В чем дело?

— Я думаю, что меня сегодня убьют, — сказал он спокойно, — вы тогда поспешите посмотреть, как я буду умирать.

Он отошел прочь, а Катя только пожала плечами и закрыла окно.

Сережа решил встретить Яура у военно-революционного комитета и оттуда пойти слушать Юленькину музыку. Он ждал недолго. Вышли быстро и направились по улице.

На третьем квартале издали увидали сидящих на скамейке людей. Сережа заметил, что Яур вздрогнул, но не обратил на это никакого внимания.

Сидящие были совершенно неподвижны. Когда они приблизились к ним, один из них вскочил, другой, сидя, бросил под ноги Яуру какой-то сверток.

Сережа заметил только, как выхватил Яур револьвер; потом упал, оглушенный страшным взрывом. Раздалась частая стрельба. Сережа потерял сознание.

Народ со всех сторон сбегался на стрельбу. Мчался патруль.

Вскоре раненых Яура и Сережу солдаты внесли в революционный комитет.

Кто-то дал знать Павлу Александровичу. Катя прибежала в комитет и, еле пробившись через толпу, увидала на полу лежащих Яура и Сережу. Над ними уже суетился доктор.

Яур сразу заметил ее и почти крикнул:

— Смотрите, как я умираю.

Потом добавил:

— Возьмите мой револьвер на память.

Катя почти не слыхала его: она наклонилась над Сережей.

Доктор шепотом сказал ей:

— Этот будет спасен. А тот безнадежен. И организм никуда, — дохлятина.

Катя пыталась уговорить солдат отнести Сережу домой. Но никто не соглашался: они хотели присутствовать при смерти товарища Яура.

Тот начал уже терять сознание, требовал пить и говорил еще что-то быстро, быстро на языке, которого никто из окружающих не понимал.

Солдаты сгрудились толпой. Доктор истерически заявлял, что при таких условиях не может работать.

В толпе были и три брата Леденцовы.

Пришло еще несколько солдат, совершенно пьяных, со штыками. Они начали кричать, что сейчас же убьют преступников, лишивших их товарища Яура, и направили штыки на доктора, решив, что он виновник-то и есть.

Катя с силой схватилась за чей-то штык и, не помня себя, громко потребовала прекратить безобразие и уйти.

К удивлению доктора толпа отодвинулась на несколько шагов.

Сережа застонал. Катя наклонилась к нему. Он был без памяти.

Пока она усиливалась подложить ему под голову шинель, Яур все продолжал что-то невнятное говорить. Но дыхание его становилось все тяжелее.

— Кончается, — прошептал кто-то около Кати.

Она приподнялась и взглянула на него. Лицо стало зеленым каким-то. Глаза были полузакрыты. Изо рта сочилась тоненькой струйкой кровь.

Через секунду он вздрогнул и вытянулся.

Доктор опять подошел к Сереже.

Солдаты замолчали; только по-бабьему, уткнувшись в подоконник, громко причитал и выл Кособрюх.

Вскоре перенесли Сережу домой. У него было прострелено правое легкое. Кроме того, отравление взрывом сказывалось непрекращавшейся тошнотой.

На следующее утро зал военно-революционного комитета был разубран красными знаменами.

Яур лежал на столе, желтый, маленький, как будто недоумевающий.

Толпа прибывала все время. Солдаты молчали. У стенки стоял, весь сжавшись, Кособрюх. Члены исполнительного комитета суетились и расставляли новые знамена.

Среди всеобщей тишины через толпу приблизилась к мертвому Юленька. Глаза ее были заплаканы. Она сразу бросилась на колени и, крестясь, начала бить земные поклоны. Слезы бежали по ее щекам.

Два солдата, взглянув на нее, тоже перекрестились.

XI

Началась расправа.

Солдатская масса от неожиданной смерти товарища Яура, с одной стороны, озлобилась, с другой, — страшно перепугалась. Везде мерещились заговоры, везде чудились мощные организации, которые могут в один прекрасный день смести советскую власть и расправиться со своими противниками. Надо было спешить: по малейшему подозрению стали хватать всякого, чтобы в корне подрезать возможность заговоров и восстаний.

Это настроение всеми мерами поддерживалось братьями Леденцовыми; они хотели замести следы и заставить обвинить невинных в убийстве, чтобы тем потушить чувство подозрительности и прекратить дальнейшие розыски.

Бурный митинг провозгласил, что убийство товарища Яура дело рук местной интеллигенции. Один из Леденцовых был главным обвинителем.

В ту же ночь было арестовано трое: агроном Пискарев, учитель Тимофеев и присяжный поверенный Карпович. Карповичу удалось бежать из-под ареста и скрыться, а тех двоих митинг судил.

Пискарев сразу понял, какая опасность грозит ему, и говорил истерически, умоляя о пощаде, а Тимофеев, видимо, совершенно не усваивал обстановку и начал тянуть бесконечную принципиальную речь, где упоминались и завоевания революции, и роль интеллигенции в освободительном движении, и сидение его, Тимофеева, в тюрьме при старом режиме.

Его начали прерывать криками «довольно».

Леденцов настаивал на их осуждении. Улик не было. Единственным доказательством их виновности Леденцов выставлял то, что убийц было двое и их сейчас перед толпой тоже двое.

Но он так настойчиво твердил об опасности, которой подвергается советская власть в городе, так наглядно рисовал участь всех советских деятелей в случае торжества какой-либо другой силы, что у толпы совершенно определилась психологическая потребность во что бы то ни стало сейчас же, не откладывая этого дела ни на минуту, найти виновных и расправиться с ними. Только это могло уничтожить чувство затаенного ужаса, которым были охвачены все большевики.

На глазах подсудимых поднятием рук митинг голосовал вопрос о их виновности. Небольшим большинством признали, что учитель Тимофеев и агроном Пискарев в целях свержения советской власти убили товарища Яура.

Следующим стоял вопрос о наказании виновных. Так же поднятием рук было решено их сейчас же расстрелять.

Во время этих голосований Пискарев низко опустил голову, а Тимофеев с удивлением оглядывал поднятые руки.

Когда вопрос был решен, Пискарев глухо зарыдал.

Тимофеев же, видимо, не верил, что все это происходит в действительности. Он потирал себе руки и твердил:

— Товарищи, да ведь это какое-то страшное недоразумение. Товарищи, да что же это такое?

Их тесным кольцом окружила охранная рота.

Митинг медленно расползался. Мещане, проходя мимо арестованных, старались на них не смотреть. Было очень тихо.

Тимофеев курил, не переставая, и продолжал убеждать в своей невиновности солдат охранной роты. Те тоже отмалчивались и старались не глядеть на него.

Потом их повели за город. Все словно вымерло. На улицах не было ни души.

Гроб Яура стоял в пустой комнате: солдаты ушли на расстрел, а граждане забились по своим домам.

Через час все было кончено. Окровавленных два тела валялись в карьере каменоломни. Над Тимофеевым склонилась его жена и смотрела на него невидящими, сухими и безумными глазами...

В эти тревожные дни Катя как-то увидала, что мимо ее окна проехал извозчик с каким-то солдатом. В фигуре солдата ей показалось что-то знакомое. Она пристально взглянула и с удивлением заметила, что солдат уже расплачивается с извозчиком около подъезда их дома. Она пошла посмотреть, кто это.

Не успела она отворить двери, как вскрикнула с радостным испугом: перед ней стоял ее брат Петр.

На ее возглас вышел из комнаты Павел Александрович и, смотря на Петра, строго начал было:

— В чем дело? Или обыск?..

Но тот уже тискал его в объятиях, смеялся и твердил:

— Вот до чего я дожил! Отец родной не узнает...

Начались расспросы. Петр рассказал, как он добрался домой с развалившегося фронта. Даже Сережа немного

оживился. К вечеру, когда уставший Павел Александрович ушел спать, Сережа неожиданно начал откровенничать: он много говорил об отношениях Юленьки и Яура, а потом добавил:

— Вот и я сейчас не могу быть с ней, а вместе с тем, я знаю, как ей тяжело и одиноко! Ах, ведь удивительно глупо делить людей по партиям: они ведь все на самом деле одинаковы.

Петр слушал все внимательно и серьезно.

— Значит, Юленька уже взрослая сейчас. Вот не думал-то, — удивился он.

Катя советовала Петру держаться как можно больше в тени, потому что, хотя большевики благодаря ранению Сережи их не трогают, но все может измениться с прибытием к ним в дом офицера. Тогда им несдобровать, а в первую очередь, конечно, самому Петру.

На следующий день Петр с Катей пошли в «ковчег». Он был там сумрачен, о своем не рассказывал.

Когда вышла к ужину Юленька, Петр подошел к ней первый и ласково сказал:

— Вот вы, Юлия Борисовна, уже взрослым человеком стали, — это хорошо.

И так посмотрел на нее, что она не удивилась необычному величанию по отчеству, а поняла, что этими простыми словами хотел он сказать нечто большее.

Она посмотрела на него с благодарностью, но ничего не ответила.

За ужином хозяин дома начал:

— Ну, а о наших новостях слыхал? Братца твоего как подстрелили? А все оттого, что с этим авантюристом связался.

Петр посмотрел на Юленьку: она покраснела до корня волос, но не проронила ни слова. Ему стало нестерпимо жалко ее.

И быстро, торопясь будто, он начал возражать:

— У меня, дядя, со слов Кати и Сережи составилось совершенно другое впечатление о деле. Ведь этот Яур был несомненно не типичным большевиком, а большим романтиком. Еще слава Богу, что между ними такие встречаются.

Юленька посмотрела на него с благодарностью, а он подумал, что все же недостаточно ясно подчеркнул свою мысль.

Михаил Александрович вскипел:

— Фразер, мальчишка, кружил тут голову всякой дуре, на эту смерть, как на рожон лез!..

— Будет, дядя, на смерть люди от радости не идут.

— Да ты что, на фронте большевиком стал? — вдруг решил Михаил Александрович.

Тут и Петр разозлился. Покраснев, он начал:

— Человеку, пережившему развал армии и все унижения, которые я перенес, как офицер, нельзя стать большевиком. Я им враг был и буду. Но я не озверел до такой степени, чтобы и во врагах не видеть человека. Каждый раз, когда я замечаю в них что-нибудь в подлинном смысле человеческое, я радуюсь. И думаю, что Юлия Борисовна лучше разглядела человека, чем вы...

Катя начала заминать разговор: она видела, что Петр вне себя. Конец ужина прошел в полном молчании.

На следующий день Юленька пришла навестить Сережу. И долго рассказывала Петру всю ту же историю двухмесячного владычества в городе Яура.

Он слушал каждое ее слово так внимательно, что она про себя подумала: «Ведь вот он уже не мальчик, а слушает серьезно. Значит, действительно, меня за равного себе взрослого человека считает».

А Петру казалось, что в Юленьке он видит то понимание, ту чуткость, которой нет у других: в такое сумасшедшее время люди замечают только внешние события, чувствительность их притуплена, и душевный мир даже самых близких людей становится им неинтересен и недоступен.

Внутренний мир самого Петра был в таком состоянии, что всякое внимание к нему заставляло его дорожить им. Он страшно устал от фронта, устал не только физически. Долгие годы борьбы и лишений были неоправданы, казались какими-то глупыми донкихотскими похождениями, никому не нужными. Основное, чем он болел все это время, была боль о России. Теперь же ясно, что, даже жертвуя жизнью, миллионами жизней, ее спасти нельзя. И вся работа прошлая стала ему казаться сплошной нелепостью.

С Юленькой было ему тепло и тихо. Можно было молча смотреть на нее и радоваться тому, что вот сейчас, когда в городе пьяные солдаты занимаются расстрелами, когда вся жизнь опоганена и ничего не осталось, рядом с ним сидит человек, воспринимающий жизнь чисто и ясно, не запачканный этой грязью, не исковерканный бессмыслицей своего прошлого и безнадежностью будущего.

Так начала расти между ними большая и тесная дружба, с примесью со стороны Петра безграничной нежности.

Между тем в городе заговорили о близости мобилизации.

Петр заявил дома, что регистрироваться не пойдет. Решено было, что ему необходимо скрыться. Знакомый хуторянин, живший в глуши, согласился временно передержать Петра.

В день мобилизации Петр ушел. Явившимся за ним солдатам сказали, что он на несколько дней поехал на охоту.

Юленька через два дня пришла к Кате и Сереже, уселась тихо на диване и, обхватив колени руками, сказала:

— Вы себе представляете, как ему там, наверное, скучно? Я думаю, что Сережа настолько поправился, что мог бы его навестить, а мы все по письму с ним пошлем.

Но Катя строго заявила, что Сережа никуда не пойдет: во-первых, он для этого недостаточно здоров, а во-вторых, это может навести большевиков на след.

В воскресенье приехал на базар хуторянин; сам не зашел, а через верного человека передал, что все благополучно, только у Петра Павловича лихорадка сильная.

Юленька, узнав об этом и услыхав, как Павел Александрович с Катей обсуждают вопрос, каким путем доставить Петру хины и красного вина, предложила свои услуги. Но Павел Александрович сказал ей строго, чтобы она не думала делать такой глупости и идти одна в глухое место, куда она вдобавок и дороги не знает.

Возвращаясь домой, она решила, что все равно пойдет.

Наутро, купив вина и хины и не сказав никому ни слова, — только Сережу просила всех успокоить, если она задержится, — Юленька двинулась в путь.

На хуторе с лаем накинулись на нее собаки. Немолодая женщина вышла на крыльцо и стала их отгонять.

— Вам что, барышня?

Юленька храбро ответила:

— От Павла Александровича лекарства его сыну принесла.

Женщина взглянула на нее подозрительно, потом сказала:

— Не пойму я, о чем вы говорите. Вот мужа сейчас пришлю, — и ушла.

Юленька ждала, окруженная собаками, которые на нее недружелюбно поглядывали и ворчали.

Опять отворилась дверь. Вышел бородатый мужчина и, увидав ее, сказал:

— Пожалуйте, пожалуйте. Они рады будут.

Он, видимо, знал ее.

Через минуту она входила в маленькую каморку, отведенную Петру. На ее шаги он не обернулся, а продолжал лежать на кровати лицом к стене. Она его окликнула. Он удивленно вскочил.

— Вы как сюда? С кем? Одна? Да как вы решились в такую даль?

А Петр и бранил ее за отчаянность, и вместе с тем никак не знал, чем бы сильнее подчеркнуть свою радость и свою благодарность.

Юленька начала возню с маленькой хозяйской девочкой. Петр смотрел на нее, улыбался и думал, что лучшей жизни, чем сейчас вот, он себе не представляет.

Потом как-то уж слишком быстро настал вечер. Надо было решить, каким способом Юленька отправится домой. Петр хотел, чтобы хозяин довез ее до города. Это можно было еще сделать до полной темноты.

Но Юленька заявила, что она на это ни за что не согласится, так как около города ее может встретить разъезд и решит, что за такой поздней прогулкой скрывается что-то подозрительное. Она заявила, что остается ночевать здесь, а утром пешком пойдет домой; дома не будут беспокоиться, потому что Сережа предупредит всех.

Так и решили. Она заняла хозяйскую широкую постель, а хозяева легли на печке.

Утром чуть свет она двинулась домой. Петр провожал ее недолго и на прощанье поцеловал ей руку. Она очень смутилась. Ей показалось, что в их отношениях не все так просто, как она думала. И уже отойдя от хутора, она решила, что, наверное, от этого ей так сейчас весело и тепло на душе.

— А он хороший! — почти громко подумала она.

Петр пошел назад. Ему впервые за долгое время было радостно. А издали доносилась веселая песня, которую напевала Юленька. Потом в кустах в последний раз мелькнуло ее синее платье, и песня замерла.

XII

В городе свирепствовал террор, и мобилизации шли одна за другой. Никогда не державшие винтовки мещане спешно отправлялись на фронт. Первая партия вернулась

скоро: из восьмидесяти человек было более тридцати раненых!.. Началась паника. Боялись измены и видели предательство везде. Был потоплен бывший городской голова. Гимназистка шестого класса, сестра офицера, который якобы воевал на стороне белых, была арестована и «при попытке бежать» расстреляна. Жители в смертельном ужасе притаились...

А через несколько дней большевики бежали, и в город уже вступал первый разъезд добровольцев. Человек двадцать казаков ехали по улице и громко пели. Их встретили с радостью: даже сочувствовавшие большевикам жители окраин за последнее время красного террора отошли от советской власти и были довольны ее падением. На улицах показался народ. К утру в город входил полк, — оборванные люди в пестрой, разнокалиберной одежде, — в большинстве случаев все самая зеленая молодежь. На коне верхом проехал генерал, окруженный штабом.

Перед Управой несколько человек солдат и офицеров строили виселицы.

Под сильным конвоем вели в милицию, — теперь уже городскую стражу, — первых арестованных: отца Леденцовых и двух солдат-красноармейцев, отставших от своих частей.

Через несколько часов привели Кусони. Он громко плакал и кричал на допросе, что он «верноподданный Его Величества».

Потом привели комиссара продовольствия, солдата Лысенко, и помощника комиссара по лесоохранению, штабс-капитана в отставке Демидова.

К вечеру арестное помещение было полно. Тут неожиданно столкнулись недавние враги, — еле избежавший смерти при большевиках Карпович и наиболее жестокий из всех членов революционного комитета Кусони.

Почетные граждане города добивались у генерала снятия виселиц. Генерал был пьян и долго не соглашался.

Наконец, после того, как его адъютант заметил, что, пожалуй, и без виселиц можно расправиться с большевиками, дал свое согласие на их уничтожение.

Ночью при свете лампы в помещении городской стражи был суд. Демидова, Лысенку и Кусони быстро приговорили к расстрелу. Демидов только побледнел сразу, — он понял, что ему пощады не может быть, так как он бывший офицер.

А Кусони кинулся в ноги к генералу и стал умолять его о пощаде. Генерал сапогом отпихнул его.

Еще судили. Судили и расправлялись.

Под утро четырнадцать человек было приговорено к расстрелу. Их заставили взять с собой лопаты и вывели за город.

Когда их вели на казнь, старому мещанину, у которого два сына ушло с красными, жена сунула в руку записку. При бледном свете сумерек он прочел каракули: «Не смотри такими страшными глазами на смерть».

В город глухо донеслись выстрелы.

Вскоре у места казни собралась толпа родных, близких и просто любопытных. Громко плакала какая-то девушка. Жена мещанина первая приблизилась к лежащим телам. Рука ее мужа была прижата к груди, около раны. Она нашла в ней свою записку, залитую кровью, бережно сложила и спрятала на грудь. Подъезжал разъезд и потребовал разойтись.

Вскоре чуть было не арестовали Сережу на том основании, что он был ранен вместе с большевиком Яуром. Вернувшийся с хутора Петр ходил объясняться.

На Сережу все это произвело гнетущее впечатление. Он, видимо, совсем гнулся под тяжестью жизни. Катя с тревогой замечала, как Сережа зачастую смотрит пристально перед собой, ничего не видя и не соображая. В нем шел какой-то мучительный процесс.

Через неделю была объявлена мобилизация «белыми». Петр должен был идти в первую очередь.

Накануне своего отъезда он говорил Юленьке:

— В это дело я не верю и, пожалуй, добровольно не пошел бы. Но и не идти сейчас не могу: тут долг своеобразный, — погибать вместе. Вы, Юлия Борисовна, вспоминайте меня часто и знайте, что я буду много думать о вас. Вы не знаете, как мне дорого то время, что мы были вместе.

Юленька смотрела на него тоскливо и гладила ему руку.

А по ночам вдоль берега скользили одинокие лодки. Скрывавшиеся в горах и камышах большевики пытались проскользнуть и соединиться со своими. Многим это удалось. Но однажды береговой разъезд заметил такую лодку и обстрелял ее.

Тогда была устроена засада: верстах в десяти от города катер поймал три лодки. Все путники вместе с лодочниками были расстреляны на месте.

Об этом в городе знали; а камышовые жители все еще продолжали думать, что таким способом можно пробраться через фронт, и искали лодок.

XIII

Через день после отъезда Петра горничная принесла Сереже какую-то записку. Он развернул ее и долго не мог понять, кто пишет.

Там стояло: «Ваш поручитель больше не может ждать смерти в трущобе. Если вы помните и можете, он будет ждать вас с лодкой завтра в полночь под обрывом у бойни. Надо свистнуть три раза. Вверяюсь вам. Другого спасения нет».

Сережа перечел записку.

— Да ведь это Кособрюх просит помощи! — решил он.

Вскоре пришел к нему Ткаченко и протянул молча записку такого же содержания.

— Что же делать? — спросил Сережа.

Ткаченко мрачно ответил:

— Безнадежно. Спасти его все равно нельзя. Лодки ловит засада. А у бойни и к горам дальше завтра будет облава. Его все равно расстреляют.

Сережа долго думал.

— Значит, что же, по-твоему? Так и бросить его?

— Все равно спасти нельзя, — мрачно ответил Ткаченко.

— А ты помнишь, что ведь благодаря ему мы остались живы?

— Ну, а что же делать?..

Ночью Сережа не спал: ему представлялось, как Кособрюх будет арестован, как его изобьют, как поведут на расстрел. Он умел мыслить образами, и вся картина перед глазами проходила с такой ясностью, что ему становилось жутко.

— Самое страшное не смерть, а ожидание смерти, — рассуждал Сережа, — от смерти мы его спасти не можем. А так, чтобы ему легче было умирать, чтобы без унижения, чтобы неожиданно...

И в голове его мелькнул дикий план, которого он сам ужаснулся и решил больше об этом не думать.

Но мысли его все время возвращались к Кособрюху: «Ведь пишет, что другого спасения нет. Значит, на нас только надеется... Нет, лучше буду считать, чтобы не думать... Раз, два, три, четыре, пять... Сидеть будет под скалами и ждать свистка... и бояться, что никто не придет за ним. А если приехать, то сядет в лодку и сразу совсем успокоится... А если в это время пуля неожиданно, совсем неожиданно... Это легче, чем на расстреле. Это даже совсем легко, — в минуту надежды...»

И к утру Сережа сам уже не понимал, бредит ли он или разумно рассуждает. Но, несмотря на это, решение было готово. Он пошел к Ткаченке и передал ему свой план. Тот сначала ужаснулся и отказался. Но Сережа заявил, что в таком случае он сам все сделает.

Тогда Ткаченко показалось, что все равно ничего страшного этого не будет, — слишком нелепо, чтобы могло быть, — а Сережа, — просто больной или с ума сошел. Ему стало жаль Сережу. И, кроме того, какая-то доля Сережиного безумия заражала его, подчиняла себе. На них обоих нашла такая

минута, когда вдруг перед ногами засияет бездна, и человек ей не удивляется и не пугается, а идет к ней, будто так и надо. И он согласился действовать с Сережей заодно.

Когда стемнело, они вышли к рыбачьему поселку. Там никого не было. Лодки на берегу оказались замкнуты цепями. Они выбрали столбик полегче и начали его расшатывать. Вскоре он поддался. Они положили цепь со столбиком в лодку и осторожно спихнули ее в воду.

Вокруг было совершенно тихо. Только где-то на краю города лаяли собаки.

Сели. Ткаченко у весел, Сережа на руле. Плыли медленно. Вода слабо плескала. Было сыро, и на берегу причудливо клубился туман.

Часа через полтора дно лодки слабо зашуршало по прибрежным камням.

Сережа тихо свистнул три раза. Раздался ответный свист.

Вскоре по обрыву посыпались камни, и голос Кособрюха спросил взволнованно:

— Это вы, дорогие товарищи?

Они ответили спокойно.

Кособрюх оттолкнул лодку от берега и на ходу впрыгнул.

— Спасибо вам. Никогда не забуду, что вы для меня сделали! Теперь, значит, спасен.

Они ему сказали, что надо молчать. Ткаченко усиленно греб в открытое море. Отплыв версты на две, круто повернули и поплыли параллельно берегу.

И вдруг Сереже стало ясно, что он не сможет сделать задуманного, не решится. Рука сильно сжала револьвер в кармане. Ему стало тоскливо до тошноты.

Ткаченко тяжело дышал и греб.

Низко над водой пронеслась птица с жалобными криками.

Сережа очнулся, встал, сделал шаг к Кособрюху, который сидел перед ним спиной к нему, и в упор, не глядя, выстрелил, потом опять выстрелил. Зажмурился и упал на свое место.

И слышал он, как Кособрюх тяжело вздохнул, будто ухнул.

А Ткаченко испуганно и пронзительно завизжал, потом сразу смолк и уже шепотом начал твердить:

— Он убит, совсем убит.

Весла больше не плескались по воде. Сережа открыл глаза. Ткаченко склонился над распростертым телом Кособрюха и что-то возился с веревками.

Сережа прошептал:

— Ты сам, я больше ничего не могу, — и начал тихо плакать, вздрагивая всем телом.

Но вскоре Ткаченко потребовал его помощи. Еле пересиливая себя, Сережа поднялся с места. К ногам Кособрюха Ткаченко плотно привязал два больших камня. Надо было сбросить тело в море. С трудом подняли они его. Лодка закачалась сильно, и Сережа чуть было, не упал. Наконец тело было скинуто в воду. Лодка продолжала качаться. По воде шли большие круги.

Сережа молча сел на свое место. Ткаченко не греб. Было страшно тихо.

Первый опомнился Ткаченко. Уже светало. Он заметил на дне лодки большое кровавое пятно и стал мыть его, стирая кровь своим носовым платком. Сережа не обращал на него никакого внимания.

На рассвете они поставили лодку на старое место. Ткаченко засунул кое-как столб в яму, из которой они его вытащили. Дойдя до первого переулка, они распрощались: так было заранее условлено, да кроме того им было сейчас нестерпимо смотреть друг на друга. Сережа, засовывая руку в карман, вздрогнул, коснувшись револьвера.

На следующее утро Катя была поражена его видом. Он взял ее за руку и ввел к себе в комнату. Она все смотрела на него испуганно. Сережа заставил ее сесть.

Сам стал смотреть в окно и начал говорить:

— Вот написано: душу свою за други своя, — и блажен. А я сейчас себя чувствую негодяем... Все равно, ты не перебивай меня, потому что объяснить я ничего не могу... Все тайна... Но хочу сказать тебе, что больше жить не под силу...

Он глухо заплакал. Катя взяла его за плечи:

— Милый мой мальчик, что случилось с тобой?

— Оставь меня, — взвизгнул Сережа. — Не трогай, запачкаешься, — я гадина, гадина... — и разрыдался неудержимо.

Катя долго успокаивала его. Наконец, она решила, что он болен, и потребовала, чтобы он лег в постель. Сережа как-то вдруг утих и подчинился ей. Потом она заметила, что дыхание его становится ровнее, — он заснул. Катя было хотела послать за доктором, но потом решила, что он выспится, и все пройдет. Она вышла из комнаты и притворила за собой дверь. Павла Александровича не было дома. Везде было тихо.

К обеду Сережа вышел совсем спокойный. Только изредка у него подергивало нижнюю губу.

Павел Александрович заметил:

— Что ты сегодня зеленый такой?

Сережа ничего не ответил.

День тянулся для него бесконечно долго. Рано разошлись спать.

Запершись у себя в комнате, Сережа шагал взад и вперед и думал. Вдруг ему показалось, что ничего и не было, что приснился сон такой страшный. А потом отчетливо прозвучали в ушах два глухих выстрела и крик визгливый Ткаченки. Опять вспомнилось все. И было ему ясно, что теперь вся жизнь с этим убийством связана.

«Хорошо или плохо сделал? Хорошо или плохо? — твердил он про себя, — ведь ему все равно от расстрела некуда было уйти, а так умер легко, неожиданно. Значит, я ему облегчил смерть, значит, сделал хорошо»...

«Мерзавец я, — человека убил, человека, который мне жизнь спас» — так чередовались мысли.

А за ними, все покрывая, всплывало сознание, что с этой смертью на душе все равно жить нельзя.

«Если это преступление, то я должен сам себя за него покарать. А если подвиг, то не по моим силам, — не вынесу».

Уже утро брезжило слабо в окно, и какая-то птица тихонько начала ворковать под крышей, когда Сережа задул свечку, лег на свою постель, вытянувшись, взял дуло револьвера в рот и нажал курок.

Выстрел раздался глухо и никого не разбудил. Сережино тело вздрогнуло и вытянулось, а рука с револьвером упала с постели.

Через два дня его хоронили.

В то же самое время в землю зарывали в соседнем прибрежном селе тело утопленника, никем не опознанного, с двумя ранами в спину и с веревкой от привязанных камней на ногах.

XIV

Центром событий становилось Приволжье. В Муроме, во Владимире, в Пензе, — везде побывал Александр, везде принимал участие в лихорадочной работе: ждали чехословаков, готовились к предварительному выступлению, которое должно было облегчить им продвижение вперед.

Осенью ему предложили выехать в Саратов, а потом и дальше, в Самару, через фронт. Александр с радостью согласился. Поручение было ответственным. Надо было спешить...

За Аткарском, на маленьком полустанке, он вышел из поезда.

Ранняя багряная осень тронула уже своими красками перелески на холмах. Черные борозды земли уходили за пригорки. Густая щетина собранных полей чередовалась с ними желтыми пятнами.

Как тиха земля вдали от жилья человеческого. Как неподвижно лежит она под синим покровом неба, древняя и неизменяющаяся.

И странным казался Александру этот вечный и древний образ земли рядом с суетой человечества, с безумными бу-

рями последних времен, с надвигающейся, может быть, совсем уже близко гибелью...

Дойдя до первой деревни пешком, он начал искать себе подводчика. Это было делом трудным, так как крестьяне не хотели отъезжать далеко от своих деревень: вдруг фронт пододвинется и они окажутся отрезанными.

Обойдя десяток, если не больше, изб, Александр наконец сговорился с одним мужичком, Алексеем, человеком средних лет, с узкой черной бороденкой и лукавыми глазками. И сначала даже удивился Александр, что Алексей этот так скоро согласился везти его. Ночевать пришлось у него. Даже в бедной деревне выделялась беднотой и бесхозяйственностью его изба. И лошаденка, впряженная им в подводу, поражала необычайной худобой. Но Алексей, видимо, мало унывал, жил бобылем, и как-то ему было будто терять нечего.

Выехали на рассвете, когда туман еще только начал свиваться по морщинам холмов. Алексей оказался человеком молчаливым: не только сам в разговор не пытался вступить, но и на вопросы Александра отвечал неохотно. Верст через восемь проехали деревню. Вниз через мост задребезжала подвода. Опять тишина, только жаворонок в небе рассыпается бисером песни.

И начало казаться Александру, что они забирают слишком на север, не к Волге, а наперерез железной дороги, что ведет на Сызрань. Он сказал об этом Алексею. Но тот принялся доказывать, что только таким путем и можно перебраться через фронт: тут сейчас красные стоят на месте, и не придется с ними вперегонки скакать.

Остановились на хуторе каком-то поить лошадей. Александр разговорился со стариком хозяином. Опять выходило, что едут они неправильно, слишком на север забирают. Но Алексей стоял на своем.

Под вечер добрались до деревни Дворянской Терешки. Красных еще не было видно. Один только случайный разъезд попался им навстречу. Деревня имела какой-то

мертвый вид. Большинство изб стояло с закрытыми ставнями. Во многие двери стучался Александр. Нигде не отворяли. Одна баба высунулась в окошко и на просьбу Александра впустить его в избу и дать поесть ответила лениво и неохотно, что не до того, — все в доме валяются больные. Из дальнейших расспросов выяснилось, что чуть ли не вся деревня болеет испанкой. Много народу умирает ежедневно.

— И войска от этого в деревне не стоят, — пояснила баба, — смертной заразы боятся.

— А где же фронт? — спросил ее Александр.

— Да вот, батюшка, до Мазыкиных хуторов версты четыре переедешь, там и фронт начнется. А ежели еще верст восемь проскачешь, то и фронт, наверное, кончится, — по другую сторону будешь. Только сын мне говорил, что фронт недолго около нас держаться будет: готовятся красные вперед идти.

Александр решил торопиться. Алексей тоже, видимо, не боялся предстоящей переправы. И не мог понять Александр, что заставляет этого придурковатого мужика рисковать, отчего он так охотно взялся за такое мало прибыльное и ответственное дело.

С час провозились около деревни и выехали дальше. Начало смеркаться. К Мазыкиным хуторам подъехали в полную темноту. Остановились в леску, и Алексей пошел на разведку. Ходил он недолго. Скоро в темноте зашуршали под его ногами листья и раздался шепот:

— На хутора заезжать нельзя, — всех задерживают. А сказывал мужик один, что логом можно проскочить через самый через фронт, а там по полю напрямик до Овражьей Терешки. А в ней либо никого нет, либо белые.

Александр заторопил его. Усталая лошадь ленивой рысцой спустилась в овраг. Кругом было тихо. Проехали версты две благополучно.

Но вот в месте, где скаты оврага сужались и начинался небольшой перелесок, раздался окрик:

— Кто едет?

Александр еще не сообразил, что отвечать, как тихий его возница ударил кнутом по лошади, и телега понеслась вскачь сначала по крутому лесному спуску, потом через трясущийся мостик на ровную полевую дорогу.

Сзади началась трескотня винтовок; вскоре завизжали в темноте невидимые пули. Обстреливалась телега со всего пригорка.

Алексей молча гнал лошадь и тяжело дышал. Одно время Александру почудилось, что за ними скачет несколько всадников, но скоро он убедился, что погони нет.

Стрельба продолжалась. Наконец где-то далеко ухнула пушка. Видимо, даже артиллерийским обстрелом было решено остановить беглецов.

Но пули звучали все реже и реже: направление, куда проехала подвода, было стрелявшими утеряно.

— Вывезла кобылка, надо думать! — весело сказал Алексей.

Спасение казалось почти чудесным.

В полночь въехали в Овражью Терешку. Алексей долго колесил по пустынным улицам, отхлестываясь от собак. Наконец около одной избы остановился, соскочил с подводы и по-хозяйски застучал кнутовищем в окно:

— Встречай, Матрена, добрался-таки.

«Что же это за Матрена такая?» — подумал Александр, и у него мелькнуло подозрение, что не ей ли он обязан неукоснительным стремлением Алексея ехать не к Волге, а наперерез дороги.

Вот засветился огонь в избе; заспанная баба, кутаясь в платок, отворила ворота. Алексей провел под уздцы лошадь во двор. Вошли в избу.

Александр узнал, что белые сегодня днем отступили из Терешки на запад, к Волге.

— Значит, на рассвете надо выезжать, — сказал он своему вознице.

Но тут выяснилось, что подозрения его были правильны. Алексей решительно отказался ехать дальше. Выходило, что целью его путешествия была кума Матрена, которая его давно ждала.

Еще солнце не встало, когда Александр пошел искать себе нового возчика. Но это было немыслимо сделать: большинство подвод были мобилизованы белыми, а крестьяне, оставшиеся дома, ни за какие деньги не хотели в минуту наступления и возможных боев оставить свой дом на произвол судьбы.

Пришлось ждать. Александр был так зол на своего возчика, что решил перебраться из избы Матрены в какое-нибудь другое место.

Новая хозяйка оказалась словоохотливой и любознательной старушонкой.

С первого слова она начала расспрашивать о красноармейцах:

— Что, очень звери, сказывают?

Зять ее успокаивал и доказывал, что они рабочий народ, что против буржуев только. Вообще, на общем фоне полной деревенской отрешенности от всех революционных событий, этот зять оказался человеком более других осведомленным о нравах большевиков. Он хитро подмигнул Александру и заявил:

— Кому звери, а нам ничего. Мы понимаем, что к чему. Сразу укажу, что у Ильи Никифорова две лошади припрятаны, — вот и в свои люди без забот выйду.

Александр молчал, не желая дать повода хитроумному мужику воспользоваться и им для того, чтобы в свои люди к большевикам выходить; а старушонка, видимо, была подавлена житейской мудростью своего зятя.

К вечеру в село вошли красные.

В окно скоро раздался нетерпеливый стук прикладом, и на пороге появилось человек пять солдат.

— Старуха, давай яиц.

Бабка завозилась и засуетилась, и стала клясться и божиться, что ни одного яичка у нее нет, — все негодяи белые побрали. Но солдаты в конце концов пригрозили ей штыком. Тогда она через мгновение принесла пяток яиц и положила одному солдату в фуражку.

Он вытащил из кармана керенку-сорокарублевку и небрежно бросил на стол.

Старуха опять стала причитать:

— Батюшка, да яйца только десять рублев десяток стоят, а сдачи-то у меня и нет.

Но солдат милостиво махнул рукой:

— Не нужна мне твоя сдача-то.

И ушел.

Старуха повертела в руках керенку, бережно спрятала ее за образа и, посмотрев на Александра, самодовольно сказала:

— Ишь, говорили, — звери. А они тоже, значит, лююди.

И так она протянула «лю-юди», что Александр понял, — сорока рублями совсем куплена ее нищая старческая душа.

А в комнату входил другой отряд солдат и опять требовал яиц. Бабка не заставила просить себя дважды и принесла полный картуз. Солдаты молча стали уходить. Она кинулась к ним:

— Родименькие, а деньги-то?

Но задний солдат направил на нее штык:

— Что-о? А этого хочешь?

И недоумевающая бабка уже окончательно не могла понять, что же большевики, — люди или звери.

Прошло два дня. Дальнейшее сидение Александра становилось все рискованнее. Надо было во что бы то ни стало двигаться дальше.

С трудом он, наконец, нашел мужика, который после долгих опросов согласился его везти. И, к удивлению, добавил хитро и лукаво:

— Вашему брату у Романа Васильевича в помочи отказа нет. Так и знай, милый человек!

Александр решил лучше не спрашивать, кому в помощи Роман Васильевич не отказывает. Поутру он пошел к

нему, чтобы двигаться дальше. На площади его остановил солдат окриком «хальт!». Александр с удивлением увидал, что перед ним стоит немецкая батарея. Кое-как объяснив, что он местный учитель, Александр попытался расспросить, каким образом немецкая часть оказалась на Волге. Но солдат сурово и недоверчиво оборвал его с первых слов.

Наконец выехали. Роман Васильевич ругал Алексея, который завез Александра совсем не по пути. Он заявил, что переправляться лучше всего около Волги, и решил ехать сначала на Хвалынск. Александр согласился с его доводами. Пришлось ехать вдоль большевицкого фронта.

Рыжебородый, немного тучный, веселый и по-своему мудрый, — Роман Васильевич был старообрядцем. Всю дорогу он занимал Александра разговорами, в которых текстами из Священного Писания доказывал греховность курения табаку или, удивительно последовательно, на основании все тех же текстов, развивал законченную теорию анархизма.

Около большого села Сосновки Роман Васильевич указал на лес за холмами:

— Эва, видишь лес? Туда наши два пулемета стащили, что с фронта доставлено было. Как в село с реквизицией хлеба отряд придет, так пулеметы в лесу и застрекотят. А отряд наутек. До сих пор ничего не взяли, а про пулеметы все начальство знает, да руки коротки.

— Отчего же леса не обложат красноармейцы?

— Вот я и говорю, что руки коротки. Кто такие красноармейцы самые? Есть, конечно, и киргизы, и пришлые, а по мобилизации все наши же. Бывали даже такие случаи, — вот с Кузнецовыми например: сыну вышли года, когда белые мобилизацию производили; вот его и забрали. А отцу года подошли, когда красные мобилизовали; а они не сговариваясь решили хоть воевать вместе: сын от белых удрал, а отец от красных. Теперь сын большевиками в армию забран, а отец, если благополучно добег, наверное, в белой армии сына ищет. Вот и полагайся на них.

В Сосновке оставались недолго. Александр все время торопил Романа Васильевича.

— Что, милый, к своим захотелось? — поддразнил его тот и подмигнул хитро.

— К кому, к своим? — спросил Александр.

— Да ну тебя, — не финти. Малый я, что ли? Вижу, какая ты птица. А умный, — сказать нечего: и о том, и о сем говоришь, — а о главном, что тебе знать нужно, — так себе, между прочим, будто и не интересуешься. Только ты на будущее запомни, что так оно все яснее делается. А ты прямо жарь: боюсь, дяденька, что большевики меня ухлопать могут, потому что я для них буржуй. Всякий и поймет, что маленький человек, если так первому встречному обо всем открываешься. Ну и не подозрительно, потому что кто их не боится. А ты крутишь, крутишь — просто любопытство возьмет: что он, мол, за птица такая?

За время дороги Александр уже не в первый раз удивлялся сметке и хитрости Романа Васильевича. Только ему казалось, что этот тип русского мужика как-то исключителен, необычен. Ведь, по существу, в нем не было простоты. Была особая сложность, лишь наружу проступающая простыми чертами.

А главное — он чувствовал, что Роман Васильевич очень хорошо себя знает и высоко ценит. Он благожелательно отнесся к Александру, потому что сразу смекнул, что «за народ, мол, старается, значит, не ирод какой-нибудь, не выжига». Но, по существу, он и Александра, и большевиков, и белых, и Москву с ее рабочими и интеллигенцией, — презирает, потому что они все для него щуплые какие-то.

Александр пришел к такому выводу: у этого человека, сросшегося с землей и широкого и простого, как земля, свое земляное самосознание проявляется, как чувство какой-то избранности, аристократизма крестьянского: мы люди во весь рост; а вы все, — и баре, и рабочие, красные, белые, — никакие, — вы все вполчеловека. А потому наша

первая задача отгородиться от вас. Когда вы сильны, — не мешать и не помогать, — авось, вы сами друг другу помешаете (этому-то, пожалуй, и помочь можно), когда вы слабы, — не очень с вами связываться, а больше от вас свое мужицкое оберегать, чтобы вместе с вами и оно сильному в зубы не попало.

— Люблю я вашего брата возить, — задумчиво сказал Роман Васильевич.

— Сочувствуешь?

— Главным образом для интереса.

— Какого интереса?

— Не могу я понять, за что вы работаете. Ведь не для Бога, потому что в Боге мало понимаете. Один мне сказал, что для народа. А я ему: народа, мол, на белом свете много; всех не спасешь все равно.

— Как же, по-твоему, выходит?

— А по-моему, свою линию гни. Если ты из крестьянства, к примеру, то и гни свою линию, и не только крестьянскую, а свою, Сосновскую, сказать прямо, потому что каждый другой крестьянин свою линию гнуть будет. Ему, выходит, и помощников не надо.

Александр рассердился:

— Ну, а когда большевики придут, они, пожалуй, с твоей Сосновской линией разбираться не станут. А почему? Потому что Сосновская линия слабая, слабее их линии. Значит, чтобы их линию одолеть, надо много линий объединить, всех, кто с большевиками не согласен.

— Нет, Александр Павлович, это опять война, значит.

— Ну и война. Так что же делать?

— Наша линия, брат, такова, что нам все равно, кто у нас коней берет, — красные или белые, и все равно, в какую армию наш народ мобилизуют. Одни мобилизуют, — плохо; другие мобилизуют — тоже плохо.

— Что же, какими силами вы от врагов избавляться будете?

— Своими, испытанными. У нас также жестяная дощечка есть: с одной стороны «Волостное Правление» написано, а с другой, — «Волостной Совет». Так вот таким манером мы все наши вывески переделаем, а сами будем жить по-своему. Никто и не придерется, да и не получит многого от нас никто.

— Дураки вы: за «Волостной Совет» вас генералы выпорют, а за «Волостное Правление» большевики повесят.

— Так мы не без ума: знаем, когда каким боком поворачиваться...

Дорога, тянувшаяся все время холмами и перелесками, вдруг на опушке соснового бора круто кинулась вниз. За первым же поворотом вдали засверкала Волга и на берегу ее раскинувшийся Хвалынск. Роман Васильевич, несмотря на крутизну, не очень сдерживал лошадей, так как путь стал песчаным и лучше всякого тормоза сдерживал быстроту езды. Песок шуршал под колесами и падал дугой.

— Скоро приедем. Вперед, голубчики!..

Через полчаса въехали в город. Первым делом надо узнать, какая здесь власть.

Подъехали к Волжским номерам.

Снеся свою небольшую поклажу в маленькую каморку, Александр сразу пошел на базар: там все можно узнать, даже никого не расспрашивая.

Лари стояли закрытыми. Торговок не было видно. В одном только месте мальчик продавал воблу. А за большим лабазом на земле сидели две старухи: одна продавала семечки в решете, а у другой в корзине, прикрытые тряпками, лежали баранки.

Александр подошел к старухам:

— Здравствуйте, бабки!

— Здравствуй, сынок... А ты чей будешь? Что-то не видали тебя ранее.

Он объяснил, что только что приехал.

— Так... Не от них ли прибыл? Не от белых ли?

— Нет. А разве их ждут сейчас?

— Да ты что? С луны свалился? Не знаешь разве, что красная армия отступила?

Александр вернулся в свои номера и лег спать рано, чтобы на рассвете ехать дальше.

Утром он проснулся от громких голосов в коридоре. Около его двери толпились солдаты. Его сразу заметили, и белобрысый солдат очень маленького роста в помятой фуражке спросил:

— Это, вы откуда же к нам появились?

Александр спокойно рассказал свою вымышленную историю, к которой он привык за длинную дорогу.

— Ну а вы кто же?

— Мы? А мы пулеметная команда первого советского Пензенского полка. Вот прогулялись за два десятка верст и опять в свою казарму пожаловали.

Город вновь был занят красными. Переправа не удалась. Александру было досадно, что он вчера же вечером не двинулся дальше: сейчас большевики никого не выпускали из города, и поэтому Роман Васильевич отказался пока выезжать. Надо было ждать.

Пулеметчики отнеслись доверчиво к Александру. Им, видимо, было приятно общество нового человека, которому можно было без конца рассказывать о своих похождениях.

— Что же, воевать-то не надоело? — спросил он их между прочим.

— Да нам другой дороги и нету, — ответил словоохотливый парень с раскосыми глазами, у которого на околышко фуражки была повязана лиловая бархатная лента, а вместо кокарды приколота маленькая брошка с бирюзой и жемчужинами: — вот уже столько лет воюем. Посади нас теперь в крестьянскую избу да заставь землю пахать, — так или руки на себя наложишь, или для удовольствия по ночам грабить пойдешь.

— Вы что же все, партийные коммунисты?

— Всякие есть. Я коммунист, потому что сознательный и в красной армии добровольно состою.

— Ну, а живется трудно?

Другой солдат вмешался в разговор:

— Чего трудно? Обут, одет, сыт, — чего нужно? И деньги есть, — жалованье платят.

Первый перебил его:

— Ну, а деньги нам для шику больше нужны.

— Как для шику?

— А так, чтобы народ понимал, что такое красноармеец. Деньги, — это вроде самого главного агитатора большевицкого.

И стали рассказывать случаи, как деньги за агитатора работали. Все хохотали.

Александру странным казалось, что эти вот сидящие перед ним парни и есть настоящие враги, эшелоны с которыми он помогал сбрасывать под откосы, которые были реальной силой в руках большевицкого центра. Вот тот маленький белобрысый, что первый его окликнул, — что-то болезненное и озлобленное есть в нем; а вот румяный и здоровый с черными усиками, — этот просто, без злобы живет; дальше — совсем деревенский увалень; киргиз в черной папахе и с грустным лицом. И еще, и еще... По отдельности, — люди, а вместе, — пулеметная команда, боевая единица врагов.

Прошло в разговорах два дня. Роман Васильевич все еще не решался нарушить запрета и тайком выехать из города.

Тогда пришла в голову Александра смелая мысль: он сказал своим новым приятелям пулеметчикам, что ему до зарезу надо спешить, и попросил их помочь ему выбраться из города.

— Очень просто, — сказал черный с усами, — пусть дед ваш запрягает, вы садитесь и айда. А мы вокруг верхами, — человек пять. Никто не остановит, потому что нас здесь все знают: из первого Пензенского полка.

Так и решили. Роман Васильевич улыбался себе в бороду, садясь на подводу. По пустынным мощеным улицам загремела телега, окруженная эскортом солдат. Они пели громкую песню. В окно выглядывали удивленные обыватели. Так доехали до соснового бора, — вершины подъема. Там распрощались. Красноармейцы с шумом и гиканьем кинулись вниз, а телега медленно начала месить густой и сыпучий песок.

— Вот мы опять в нашем царстве-государстве, — сказал Роман Васильевич.

— В каком это?

— А где ни совета, ни волости, а нейтральная полоса. Тут мы, мужики, хозяева.

Начал попархивать легкий снежок. Воздух был крепкий и свежий.

Помолчав, Александр сказал:

— А я бы, Роман Васильевич, под все ваше царство, под линию эту вашу, палку бы подсунул, да понатужился, да от земли бы вас на сажень и поднял: смотрите, мол, не в землю свою измозоленную, а и в даль взгляните — авось что и увидите, хозяева земли русской...

Роман Васильевич ответил не сразу:

— А я бы тебя, мил человек, удостоил: награду тебе бы выдал. Вот тебе плуг, — крестьянствуй, обрости мало телом... Уже очень мне понравилось, как ты болванов этих нас вывозить заставил... Ах, болваны! — Он засмеялся. — Право слово, Александр Павлович, из тебя еще человек выйдет.

Александр тоже развеселился.

Так, уже без особых осложнений, доехали до Сызрани. Но там Александр узнал, что Самара пала. Белые поспешно отступали к Уфе.

Смысл его путешествия терялся. Он опоздал.

Разгром белых на Волге всколыхнул сразу все его мысли о том, какими средствами надо вести борьбу. Запрета больше не было. Стало ясным, что вновь вооруженная

борьба оказалась несостоятельной. Александр считал, что теперь у него руки развязаны, и он может приняться за то, что считает сейчас единственно нужным.

Но, чтобы окончательно проверить правильность своих выводов, он решил все же сейчас не возвращаться в Москву, а попытаться добраться до своего родного города, пересечь добровольческий фронт, который, по слухам, опять существует, посмотреть, что делается там, и на что там рассчитывают...

Так он и сделал.

XV

Катя чувствовала себя как бы выброшенной из жизни. Стремительные события, многочисленные встречи, бурные переживания, — все вдруг затихло и замерло. Во внешнем мире кипела гроза, а Катя наблюдала ее, как посторонний зритель, мучилась и страдала много мучениями и страданиями других. Сама же была не нужна жизни или, вернее, — будто готовилась к чему-то, накапливала наблюдения, берегла силы, училась на страшных уроках жизни.

И знала Катя, что сейчас нельзя думать о том, чтобы сохранить свои белые одежды, — через кровь и через грязь, во имя жертвы, во имя мира, надо перешагнуть тому, кто решился. Надо взять на свои плечи грехи и тяжести многих. Надо принять на себя ответственность за буйство пьяного солдата, за темную волю народную, за смерти неправедные, за грядущий голод, за слезы детей, за дикий вопль всей равнины русской, которая лежит под небом распростертая, нищая, раскинула бессильные руки свои, плачет слепыми глазами, шепчет имена убитых, имена обреченных смерти своих детей.

Когда Катя думала так, ей казалось, что у нее много силы, что любую тяжесть она сможет поднять. А самая тяжелая, непосильная тяжесть, — это тяжесть ожидания.

До времени, до знака какого-то, должна была она таиться и ждать, тихо зарывать в землю гробы своих близких, молча слушать, как содрогается родная земля, насыщенная кровью, чуять, как под окнами в темную ночь вопит безумная старуха, мечущая по ветру седые косы, не ждущая уже помощи, не зовущая спасителей.

И когда приехал Александр, почудилось Кате, что вот должно теперь начаться, что его приезд, — знак.

Он мало говорил. Ему было тяжело. С ужасом выслушал он весть о Сережиной смерти. За этой смертью он сразу почувствовал тайну, которой никто не знал.

Но Катя первая и настойчиво стала напоминать ему об его обещании позвать. Она говорила, что время пришло, что только личным подвигом, личной жертвой можно очистить пути. Другими словами, на другом языке, Александр твердил себе это давно. И то, что их, по-различному сказанные, мысли так совпадали, что Катя в глуши, а он в Москве одинаково чувствовали, — заставило его еще сильнее поверить в неизбежность того пути, над которым они задумались.

Об этом они говорили теперь с Катей просто, как о решенном. Самое трудное было, — это оставить Павла Александровича одного около двух могил. Но Павел Александрович, и всегда чуткий к душевному миру своих детей, теперь, после смерти Сережи, научился читать в мыслях Кати и Александра, как в открытой книге.

Он первый заговорил с ними:

— Я уже стар, я уже почти не живу, потому что у меня слишком много в прошлом. И я знаю, что наше время требует жертв. Я каждую минуту думаю о России. Она стала для меня живым существом; я чую, как она мечется сейчас. Если вам нужно уйти от меня, — идите. Я понимаю, что ваша жизнь будет в ваших сердцах неоправданна, если вы не попытаетесь совершить чуда. Думаю, что теперь каждый

живой человек должен пытаться совершить чудо... И думаю, что каждый живой человек во время этой попытки погибнет... Но что же, если иначе нельзя? Ведь иногда только гибель бывает праведной... Решайте, не думая обо мне. Мне все равно очень трудно жить стало. Вы меня ничем не можете облегчить.

Они слушали его молча. Не могли ему возражать; они понимали, что он был прав. И глубокая благодарность была у них к отцу.

А в городе стало тихо. Расстрелы прекратились; фронт отодвинулся далеко вперед. Бродили по улицам раненые офицеры. Жизнь шла так, будто никому не был нужен этот отрезанный от мира глухой угол. Черные тучи низко пролетали над землей; невылазная грязь покрыла дороги.

От тоски ли, от безделья ли, от черной ли безнадежности, много пили. Пили даже женщины. Мещане пили в своих домишках на окраине, пили самогон, вонючий и ядовитый; нарядные дамы, офицеры, банковские служащие, — интеллигенция, — пили коньяк и хорошее красное вино, — пили в «ковчеге», в доме коменданта, в ресторанах. И в пьянстве этом чудилось такое бескрылое неуменье жить, такое страшное бессилье, такая тоска, что казалось самым легким после попойки, где будто и много смеха было, — уйти грязной дорогой вон из города и всю жизнь месить эту грязь, — лишь бы подальше уйти, лишь бы не чувствовать рядом с собою тоскующих и ничего не ждущих людей...

В конце года Катя и Александр решили ехать в Москву. Павел Александрович ни на день не хотел их задерживать. Путь предстоял очень трудный и долгий. Добровольческая армия наступала стремительно, и Александр знал, как это осложняет переправу через фронт. Надо было ехать в Ростов и там, смотря по обстоятельствам, наметить дальнейшее направление переправы.

Выехали на рассвете. У подъезда Павел Александрович долго стоял, глядя им вслед. Он не знал, на какое дело

поехали его дети, но чудилось ему, что больше он их не увидит. Здесь, в этой части России, оставался один Петр, — да и тот неизвестно, — выберется ли когда-нибудь благополучно из вечных боев, из мороза и ветра, из опасности заразиться тифом и погибнуть.

В старом доме Темносердовых было тихо и жутко. Особенно по вечерам, когда лампа горела только в одном кабинете, а в остальных комнатах витали призраки ушедших, — ушедших навек, и ушедших по пути, с которого, пожалуй, как и из могилы, нет возврата.

XVI

А Петр воевал.

Опять знакомая обстановка «своего полка», с которым крепнет связь все прочнее и прочнее после каждого боя. За пределами полка, — сумятица и неразбериха. Там можно спорить и не соглашаться, там можно иметь свои мнения и искать своих особых путей.

А здесь все сливается воедино. Пусть полковник Сергеенко, — зверь, озверевший после расстрела жены и сына, — он умеет командовать, с ним пришлось четыре раза смотреть смерти в глаза. Пусть штабс-капитан Якубовский любит приврать, — разве не с ним пришлось отбиваться от окруживших красных, и разве их жизни не действовали одной волей, когда они пробивались?

И солдаты, бывшие недели четыре тому назад красными, потом взятые в плен и теперь ставшие отличными стойкими добровольческими солдатами, — разве и они не связаны с Петром какой-то особой связью, которой в мирной жизни имени нет? Связь совместной опасности, совместных удач и поражений и совместной смерти впереди.

Солдаты эти обладали особой философией, которую очень охотно поясняли Петру:

— Были мы в царской армии, — ну что ж? — властям надо подчиняться, — мы хорошо воевали. Потом нас боль-

шевики мобилизовали, — опять власть, — мы и у них воевали хорошо. А взяли нас в плен и стали мы добровольцами, — опять, — сами видите, — деремся — слава Богу, потому что одно надо помнить: против власти не пойдешь.

А один постарше добавил:

— Так и в Писании сказано.

И за этими словами чувствовал Петр другое, то, что и у него было: страх оторваться от массы; ощущение известной прочности и обеспеченности своего существования только в массе и полной растерянности, когда из обычной жизни боев, переходов, приказов, — приходится перейти на довольствие решениями собственного ума, тут сейчас же подкрадываются сомнения, каждый шаг кажется неоправданным, весь мир, — нелепым и сумбурным...

Офицеры распадались на несколько групп.

Главная масса, подобно солдатам, пошла в армию по мобилизации; связана она была с нею кровно, но не принципами какими-нибудь, а общностью боев, переходов, невозможностью жить в одиночку.

Второй группой были все редеющие добровольцы первого состава. Они вкладывали в идею добровольчества всю свою жизнь и шли в бои, как на подвиг. Самым странным среди них было то, что при общности отношения своего к армии они чрезвычайно отличались в политических своих взглядах: среди них были и монархисты, оскорбленные самым фактом революции и относящиеся одинаково отрицательно, как к Советам, так и к Учредительному собранию; были республиканцы и демократы, наиболее ненавидящие большевиков за разгон Учредительного собрания и за борьбу против демократических лозунгов; были, наконец, люди, сосредоточившие весь свой политический идеал в одном образе Корнилова и плохо разбирающиеся в политических программах.

Но по какому-то молчаливому соглашению о партиях и о политике спорить не было принято.

Наконец, довольно многочисленную группу составляли

офицеры, стремящиеся в тыловые контрразведки, поставившие своей задачей месть, ожесточенные и не гнушающиеся самых страшных преступлений и расправ.

Различие в психологическом складе людей приводило иногда к острым столкновениям.

В первые дни службы Петра ему пришлось присутствовать при таком столкновении: он был по делу в штабе дивизии. К молодому еще генералу, одному из плеяды славных первых добровольцев, явился с докладом офицер кавалерист, в красных рейтузах, чрезвычайно нарядный.

— Я пришел доложить вашему превосходительству, что мой эскадрон не смог выбить красных, как мне было поручено. Три раза мы ходили в атаку. И каждый раз атака была отбита.

Генерал взглянул на него недоверчиво:

— Потери велики?

— Ранены две лошади.

Генерал отвернулся от докладчика и обратился к своему соседу вполголоса, но все же достаточно громко:

— Отчего это, скажите, как человек наденет красные галифе, — так сволочь?..

Обладатель красных галифе быстро исчез.

У добровольцев было, действительно, много накипи, и ей в душе Петра не было оправдания. Он чувствовал, что это именно потянет в первую очередь дело добровольчества к гибели.

Но и эти мысли он гнал от себя: спасение, личное спасение, сохранение хотя бы относительного душевного равновесия могло быть только в том, чтобы спокойно производить ежедневную будничную работу, наступать, отступать, идти в атаку, устраиваться на ночевку, — лишь бы со своей частью, лишь бы так, как все свои, потому что дальше начинался хаос, в котором было немыслимо разобраться.

Он писал Юленьке: «Настроение у нашего полка такое, что если бы нам сказали: разделитесь пополам и обстреляйте друг друга, — мы бы беспрекословно это исполнили.

По приказу ближайшего начальства мы с одинаковым успехом могли бы взять штурмом большевицкий броневик и поезд нашего главнокомандующего. Лишь бы приказ был... Вам это непонятно, конечно. А на самом деле только дисциплина и спасает каждого из нас в отдельности от излишних дум, которые могут привести к безвыходной тоске, потому что и положение наше безвыходное по существу. Сейчас я на отдыхе в селе Ремонтном. Отдых дается на три дня всем, чтобы все могли по очереди выспаться, — ведь больше двух месяцев спать приходилось около трех часов в сутки. На позициях время проводим так: утром мы занимаем станцию Ясную, к вечеру большевики привозят подкрепления и выбивают нас. Утром зачастую является к нам генерал, который, видимо, придает большое значение нашему участку. Он просит еще немного "постараться". Мы "стараемся" и восстанавливаем положение. И так почти каждый день. Остряки говорят, что в штабе решено нам особый орден из угля выдать за геройское толчение в угольном районе. Вы себе представляете восторг жителей станции Ясной от такого времяпрепровождения. Я просто иногда физически чувствую, как они нас ненавидят. Конечно, в такой же мере они ненавидят и большевиков».

А бои действительно были жестокие. И какие-то совсем другие, чем в Великую войну. Враги были в непосредственной близости. На огромном пространстве дрались отдельные раскинутые отряды.

Страшнее всего казались бронированные автомобили. Перед таким автомобилем однажды бежал весь полк Петра. Сам он задержался почему-то и оказался далеко сзади полка. Перед ним маячила только тоненькая фигурка одного штабс-капитана, только что перенесшего тиф, и поэтому еле передвигавшего ноги. Дорога шла в гору. Нагнав штабс-капитана, Петр подхватил его под руку и потянул быстро за собой. Но вскоре выяснилось, что броневик свернул в сторону. Удалось уйти...

Так воевал Петр.

Сумбурное впечатление от фронта Гражданской войны заставило его всего сократиться, уйти в себя. Он старался не чувствовать себя человеком, а только частью великой машины, которая действует предуказанными путями, идет к намеченной цели, руководствуется другими законами, чем душа человеческая.

XVII

В Москве Катя и Александр поселились отдельно. Он снял маленькую комнату около Остоженки и почти целыми днями сидел дома. Катя жила на Спиридоновке. Дом был старый, деревянный; ее окна выходили в сад. Целый месяц они встречались мало.

Катя, с точки зрения Александра, немного по-дилетантски принялась за дело. Она заявила ему, что не будет посвящать его в свои планы, и только если первоначальные ее шаги будут иметь успех, она попросит его совета и помощи. Она восстановила связи со старыми московскими знакомыми, видала много людей, но все еще не приступала к выполнению своего плана, который оказался на месте гораздо труднее осуществимым, чем ей думалось.

Среди старых своих знакомых Катя чаще всего бывала у Галкиных. Сам Галкин служил в бывшем Скобелевском комитете и имел почему-то касательство к кинематографам. Через него проходили принимаемые советским правительством к постановке сценарии.

Жили Галкины около Арбата, в огромном доме, выходящем в тихий и глухой переулок. А над ними, полуэтажом выше, жила молодая дама, Дора Ильинишна, решившая при посредстве Галкина заработать себе на пропитание писанием кинематографических сценариев.

Как-то мельком Галкин сказал, что дама эта дальняя родственница влиятельного народного комиссара Гродского. Тогда Катя сразу же решила, что с ней надо познакомиться поближе.

Это оказалось не очень трудно. Дора Ильинишна, не будучи коммунисткой, все же чрезвычайно гордилась своим знаменитым родственником. Хотя эта гордость была достаточно своеобразная: она не без почтения заявляла, что Гродский женат на дочери генерала и что у его сыновей дядька настоящий матрос, — «совсем как у наследника».

Потом Дора Ильинишна закатывала скорбно глаза и говорила:

— Нет, вы не можете себе представить, как он и его семья томится Кремлевской обстановкой. Подумайте, ведь даже вся посуда с царскими двуглавыми орлами, и у служителей на пуговицах тоже орлы.

Катя сочувствовала. Она быстро поняла, что, несмотря на родственные отношения, Дора Ильинишна в особой близости к семье Гродского не находится и, пожалуй, была бы рада чем-нибудь привлечь его к себе и восстановить старые связи. Катя, видимо, показалась Доре Ильинишне человеком достаточно интересным для Гродского: она много могла рассказать о жизни провинции под добровольцами, о местных коммунистах, о настроении крестьянства, — о таких вещах, от которых люди, стоящие у власти, всегда фатально далеки, хотя стремятся делать вид, что все это им хорошо известно и ясно. Словом, Дора Ильинишна хотела Кате похвастаться Гродским, а Гродскому Катей. Может быть, в этом была и доля по существу невинной корысти. Во всяком случае Кате удалось ее убедить в том, что она издавна относилась к тов. С. Я. Гродскому с чувством безграничного восхищения и считает его самым большим человеком, выдвинутым русской революцией.

Месяц спустя Дора Ильинишна сказала ей:

— Я хочу вам доставить большое удовольствие: вы сможете познакомиться у меня с человеком, который вас давно интересует.

Катя встрепенулась.

— Да, да, у меня завтра в одиннадцать часов вечера будет Семен Яковлевич. Он только что обещал мне это по телефону. Он бывает редко, — это правда. Но раз обещал, — значит, не обманет... Милости просим.

Катя пошла к брату.

— Саша! Завтра в одиннадцать часов вечера я буду сидеть в одной комнате с Гродским.

Он недоверчиво посмотрел на нее, потом спросил:

— Расскажи подробно, где и как.

Катя сначала рассказала ему про Дору Ильинишну. Он начал расспрашивать про дом, где она живет. Катя про себя улыбнулась: мысль Александра шла тем же путем, как и ее мысль.

— Дом большой. Семь этажей. Стоит на углу двух глухих переулков. Ты знаешь. На этой лестнице, кроме многих частных квартир, помещается еще одна театральная школа; целый день шатается народ. Потом тоже очень посещаемый зубоврачебный кабинет. Так что новым лицам на лестнице никто, конечно, не удивляется. Квартира Галкиных в шестом этаже и выходит на улицу. Квартира Доры Ильинишны не над ними, а вбок, во двор. Пролет на лестнице большой, и лифт останавливается только у квартир, выходящих на улицу. Таким образом, ему придется выйти из лифта против Галкинской квартиры и еще пол-этажа подыматься пешком.

Александр спросил, можно ли думать, что он скоро еще раз будет у Доры Ильинишны.

Катя ответила, что она недели через три собирается уехать из Москвы и говорила, что перед ее отъездом Гродский непременно будет у нее.

— Только не знаю, позовет ли она меня и во второй раз.

— Это не важно, — сказал Александр. — Ты только должна теперь все хорошенько заметить.

Видимо, он обдумывал план действий.

На следующий день часам к восьми Катя явилась к Галкиным. Их она застала в передней, одетых, чтобы куда-то идти. Катя просила их не оставаться дома ради нее, а сама сказала, что посидит у них, почитает, потому что очень устала и сразу идти домой не хочется. Они ушли.

Она села на диван в кабинете Галкина и, не зажигая электричества, стала думать о предстоящем свидании. Ей было как-то жутко. Кроме того, минутами ей казалось, что самым правильным было бы сейчас все и выполнить. Ведь точно неизвестно, — будет ли в дальнейшем такой случай.

Само дело ее не останавливало больше и не нуждалось ни в каком оправдании.

Стоило только прислушаться к надвинувшимся сумеркам ночи, чтобы услыхать в них отчетливо жалобный вой. Земля ли стонет, старуха ли безумная голосит, — все равно, — голос требует жертв и зовет. И возврата услышавшим — нет.

В квартире было тихо. Только часы в столовой сухо и четко считали улетающие мгновения.

Около одиннадцати Катя открыла окно и села на подоконник.

Внизу переулок слабо мигал фонарями. Прохожих не было. Стояла мертвая тишина.

Но вот из-за поворота сначала показались две полосы электрического света, потом мягко и бесшумно вынырнул из темноты черный автомобиль и, медленно подрагивая на шинах, остановился у подъезда.

Катя свесилась из окна.

Дверца автомобиля открылась; кто-то вышел на тротуар и исчез в подъезде. Дверца с шумом захлопнулась, и автомобиль подался немного назад.

Катя пробежала быстро в переднюю и, приоткрыв немного парадную дверь, притаилась. На лестнице гудел лифт, подымался.

Катя притаилась совсем, и сердце ее стучало громко и взволнованно.

Около дверей лифт остановился. Кто-то вышел из него, позвонив сначала. Лифт начал проваливаться. Человек поднялся по лестнице и остановился у дверей Доры Ильинишны.

Катя заперла дверь, прошла в столовую, минуту постояла сосредоточенно, будто что-то решая, потом накинула на плечи пальто и взяла в руку шляпу.

Пора было идти. Она еще раз у самых дверей остановилась. Потом быстро поднялась по лестнице и позвонила.

Дора Ильинишна открыла дверь сама. У нее был вид восторженно взволнованный.

Шепотом она сказала Кате:

— Я его уже предупредила, что вы придете. Сказала, что вы коммунистка и можете много рассказать про добровольцев. Ведь ничего, ничего, что я так сказала?

Катя молча шла за нею.

В маленькой комнате сидел Гродский. Катя заметила, что он будто избегает смотреть в глаза. Поздоровавшись с ней и делая вид, что больше не замечает ее, он начал говорить с Дорой Ильинишной об общих родных. Но каждый раз, когда Катя отводила от него взгляд, она чувствовала на себе его пристальные глаза, выпытывающие, зачем она здесь.

— Дора Ильинишна, я вам в подарок хлеба привез, в передней оставил.

Та пошла взять подарок. В комнате наступило неловкое молчание.

На груди Гродского была прикреплена большая красная звезда.

Катя, не отдавая себе отчета в том, что она делает, — лишь бы прервать молчание, — показала на нее пальцем и сказала:

— Вы с ней не расстаетесь?

— Ах, просто забыл снять. — И он быстро спрятал звезду в карман.

Опять молчание.

Потом он начал:

— Вы, говорят, недавно с юга? Интересно, какое на вас впечатление производит добровольческий фронт.

Катя ответила, что не верит в его прочность.

Но Гродский быстро ее перебил:

— Ну, я знаю, у вас, как у правоверной, следующее слово будет о зверствах добровольцев. Но это пустяки. Поверьте, — все звери. И наша солдатня в той же степени.

Ей почудилось в нем что-то обнаженное, циничное и вместе с тем запуганное, как у затравленной лисы.

Но тут вошла Дора Ильинишна. Она стала сетовать, что к нему в Кремль не пробраться. Начали уславливаться, когда она будет у его жены.

Надо было ей в определенный час с красным тюльпаном в руках подойти к солдатам, которые стоят, — Гродский неуверенно сказал:

— Знаете, около такой белой сквозной башни.

Дора Ильинишна спросила:

— Около башни Кутафьи?

— Как? Как? Кутафьи?..

Он продолжал расспрашивать Катю о событиях юга. Потом неожиданно встал и откланялся.

После его ухода Дора Ильинишна кинулась к Кате:

— Ну, как вам Семен Яковлевич показался? Правда, замечательный человек? Ведь он просто гений, просто гений.

Но Катя, поспешно соглашаясь, стала прощаться.

Она пошла к Александру и рассказала ему все подробности своего свидания с Гродским.

— Значит, без всякой охраны? — спросил он, и задумался.

Дело представлялось легким. Надо было только точно знать, когда он опять будет у Доры Ильинишны. Однако ожидание показалось Кате нестерпимо тоскливым. Без дела бродила она по Москве, встречалась со знакомыми, говорила ненужные слова.

В эту пору только с одним человеком чувствовала она себя легко: это была одна странная женщина, — Вера Ивановна Маркелова, — с которой она познакомилась у тех же Галкиных. Вере Ивановне было за сорок. Всю свою жизнь она провела в глуши с больной матерью. Два года тому назад мать умерла. Вера Ивановна переехала в Москву, поселилась в большой комнате, в которую надо было проходить через церковный дворик, окружила себя какой-то странной атмосферой колдовства и прорицания и стала жить призрачной ночной жизнью.

Она плохо видела и была глуха. Может быть, от этого весь мир воспринимался ею как-то своеобразно. В день первого знакомства Катя просидела у нее в низком кресле всю ночь. Без конца пили черный крепчайший кофе, и Вера Ивановна без конца курила.

Жизнь она знала, но видела ее под своим собственным, единственным в своем роде углом зрения. Она ничему не удивлялась и никогда не огорчалась. Всю неразбериху наших дней она принимала, как что-то должное, и даже любовалась ею. А если около нее кто-нибудь чувствовал себя несчастным, она будто радовалась этому и с упоением доказывала, что так и надо, что это лучший путь.

На столе ее лежала толстая рукопись ее собственных стихов, — «кирпич», — как она сама ее называла. И большинство этих стихов было посвящено великому поэту и мудрецу, нашему современнику. Причем, читая их, нельзя было понять, глумится ли она и над ним и над собой или обращается к нему со словами, достойными войти в песнопение какому-нибудь божеству.

Она была откровенна и непонятна, проста и лукава, сложна и упрощенна в одно и то же время. А жизнь в ее толковании была искажена в такую страшную гримасу, от которой хотелось взвыть, но и гримасу эту она преподносила, как произведение высокого художественного достоинства.

Так, питаясь черным кофе и дымя папиросами, жила она в сумбурной Москве, не старая и не молодая, с птичьей походкой, с худющими руками, с раскосыми подслеповатыми глазами и с копной пышных седеющих волос.

Кате было у нее легко, потому что все речи шли не теми путями, где нужно было таиться и скрываться. Наоборот, — общение с Верой Ивановной подымало со дна Катиной души забытые мысли и заставляло вновь и вновь переоценивать свой путь. И чем больше Катя углублялась в себя, тем привычнее ей становилась ночная комната Веры Ивановны, тем яснее было, что путь ее выбран правильный.

Она чувствовала убийство не только как подвиг, но и как грех. И это было нужно, потому что подвигом одним нельзя насытить душу. Нужно было почувствовать себя на дне пропасти, нужно было дойти до того, чтобы потерять себя в страхе и отчаянии, — и только тогда поступок мог получить должную силу, мог оправдать себя и стать толчком для миллионов других людей. И Катя в безнадежности окружающего чувствовала, что летит ее душа камнем на дно пропасти, и чувствовала, что так надо.

Тогда ей было непонятно иное отношение к делу, которое сквозило у Александра: в глубине души он еще оставался старым партийным работником, для которого террор, — только подвиг, всячески оправданный, всячески неизбежный, а террорист, — никак, ни одной частью своей души не убийца, а только герой и жертва.

Катя с ним не говорила об этих своих мыслях. Вдвоем они в сотый раз принимались обсуждать подробности дела. И в этой деловой близости их было нечто, что отгораживало их от всего мира.

А когда Катя уходила, Александр ложился на кровать и курил, курил без конца, внимательно глядя, как подымаются кольца дыма к потолку. Он вновь обдумывал все. В нем не было сомнений. Так надо. Но только минутами казалось тяжело так в одиночку делать это дело: он привык за долгие

годы партийной работы ощущать за спиной своей сочувствующие взгляды товарищей, он хотел бы заранее знать, что каждый его шаг не только оправдан, но и заставляет их гордиться им. Впрочем, до конца он этого и не сознавал, пожалуй.

Наконец Катя пришла к нему с новостями: в четверг на следующей неделе в десять часов вечера Гродский должен на минуту заехать к Доре Ильинишне, чтобы передать ей какую-то посылку для своих родных, которых та увидит в пути.

Надо было готовиться. План был составлен давно. Катя должна была зайти в четверг к Александру днем, а до этого больше не встречаться. На том и расстались.

Александра потянуло повидаться с кем-нибудь из «своих».

По прежней памяти он решил для этого зайти в маленькую библиотеку на Смоленском. Поднявшись по грязной лестнице, он вошел в комнату, сплошь заставленную книгами. Библиотекарша тихо кивнула ему головой и указала на маленькую дверь в соседнюю комнату: она его давно знала. Какой-то толстый студент рассматривал заглавия книг на полках. Другой студент читал каталог и записывал себе что-то в тетрадку. У стола стояли две барышни; библиотекарша выдавала им книги.

Александр прошел в другую комнату. Так и есть: здесь все те же. Расспросы, новости... У них все по-старому. Александр решил было уже уходить, когда в соседней комнате послышался какой-то необычайный шум. Все насторожились.

Через минуту дверь распахнулась, и на пороге появилось несколько солдат с винтовками.

Один товарищ схватил быстро какую-то тетрадку и кинулся к окну, другой встал за дверь. Но через минуту их окружили. У Александра взяли револьвер, который он машинально вытащил из кармана. Они были арестованы.

— Это надолго, — задумчиво сказал тот, который хотел через окно спастись бегством.

Другой мрачно ответил:

— Если не навсегда.

Их троих, библиотекаршу, двух студентов и двух барышень, находившихся случайно в библиотеке, повезли на грузовом автомобиле. Барышни волновались почти до слез. Библиотекарша была спокойна.

А Александра душила злоба: надо же было именно в этот день выйти из дому, надо же было так глупо попасться. И вспоминалась ему Катя.

— Теперь дело провалилось, — это ясно.

Ему и Катю было жаль: ведь для нее это будет страшным ударом.

— Да, это, пожалуй, действительно надолго, — подумал он. Потом закурил папиросу и стал равнодушно рассматривать лица конвойных солдат.

XVIII

К Рождеству девятнадцатого года Петр получил возможность поехать на неделю домой. Павел Александрович написал ему, что местные дамы нашили много белья, которое хотят передать в его полк. Кроме того, у него были кое-какие дела в Екатеринодаре.

Отец встретил его очень спокойно; но от этого покоя Петру стало жутко. Отец страшно постарел за последнее время; глаза у него все время задергивались слезами. И показалось Петру, что Павел Александрович только наполовину в этой жизни.

Дом был мертвым. Комнаты Кати, Сережи и Александра даже днем стояли с закрытыми ставнями и с запертыми дверями. Павел Александрович жил только в одной комнате. Видно было, что он не живет, а доживает.

— Сын, сын, — говорил он, — ведь, наверное, ты один остался из всех. Да и то на тебя посмотреть: ноги у тебя еле

двигаются. Господи, сколько жертв! И неужели все даром? Неужели надежды нет?

Петр пошел в «ковчег». Юленька не знала об его приезде. Он вошел в гостиную, откуда неслись звуки рояля, и молча остановился за ее спиной.

Она быстро повернулась на табуретке. Увидав его, сначала слабо вскрикнула, потом сорвалась с места и обхватила его шею руками. Она и плакала и смеялась.

Петру было нестерпимо радостно, будто волна какого-то безмерного, нечеловеческого счастья подхватила его и несет. Он чувствовал всей душой своей, что любит Юленьку, любит ее милые руки, и такие забавные косы, и всю ее, такую чистую и ясную. И казалось ему, что единственное место на земле, где можно жить и дышать, — это здесь, в гостиной «ковчега», где только что звучала Юленькина музыка, где на рояле разбросаны ее ноты, где она сама тесно сплела свои руки вокруг его шеи.

Но она уже смутилась первого порыва и стояла перед ним красная и улыбающаяся.

Петр взял ее руку и, нежно целуя, начал говорить что-то совсем даже не то, что хотел сказать, и сам не зная почему говорил, обращаясь к ней на ты.

— Ты рада, что я приехал? Я тоже страшно рад. Как около тебя хорошо, моя родная. Как везде тоскливо, где тебя нет. Господи, какое счастье знать, что ты совсем близко тут.

И ему, действительно, казалось сейчас, что тяжесть войны не от войны, а оттого, что там нету Юленьки.

Они сели на диван. Петр продолжал говорить ей свое, чередуя рассказы о фронте с уверениями, что единственное место на земле, где можно чувствовать себя счастливым, — это диван в гостиной «ковчега».

И, будто о чем-то, что уже много раз было сказано между ними, он говорил:

— Ведь когда-нибудь война кончится. Если я уцелею, то подумай, какое счастье будет никогда не расставаться, быть всегда вместе, вместе строить жизнь.

Начались для Петра совершенно особые дни. Не верилось ему, что какое-то время предшествовало этим дням и что скоро они должны кончиться. Юленька была спокойнее. Она вдруг как-то сразу стала для всех взрослой. И на самом деле она чувствовала, что во всем ее существе произошла огромная перемена.

Целыми днями или Петр сидел в «ковчеге», или Юленька забиралась с утра в дом к Павлу Александровичу.

Он тоже как будто переменился, смотрел на Петра любовно и все твердил:

— Вот уж не думал, что радость будет, а она тут как тут...

Юленька старательно проветривала старый дом, открывала во всех комнатах окна, отпирала двери, убедила Павла Александровича, что надо стены побелить. И хотя в сущности это было совсем не нужно, но как-то с общим тоном напряженных дней хорошо сочетались и толстая поденщица Ариша, которая перевернула весь дом кверху ногами, и нестерпимые сквозняки, и запах сырой известки.

Когда время приблизилось к отъезду Петра, Юленька осторожно, исподволь стала его уговаривать не ехать.

— Ведь посмотри, — весь город наполнен офицерами, и вовсе среди них немного раненых, — просто все понимают, что не стоит больше ехать. А дальше пусть будет, что будет.

Но он шутливо зажимал себе уши и говорил:

— Отойди, искуситель. Ну, вдруг я послушаюсь и останусь, — как я после этого на себя смотреть буду?

И дни шли с такой неумолимой быстротой, что казалось, будто старенькое потрепанное время пустилось вскачь и катит перед собой солнце, как футбольный мячик. Только что встало солнце и опять закатилось, будто в дне было не больше часа какого-нибудь...

Так пришло время прощаться. Юленька, серьезная и осунувшаяся, говорила Петру:

— Ты только помни: что бы ни случилось, мы в конце концов должны быть вместе. Иначе я не могу. Без тебя я не могу.

Он целовал ее руки и отвечал:

— Ты-то не забудь. А у меня на всю жизнь только один путь есть, — к тебе...

После его отъезда Юленька долго оставалась у Павла Александровича. А уходя, все с тем же серьезным и осунувшимся видом сказала ему:

— Дядичка, мне теперь все время будет хотеться к вам. Можно? А то у нас так шумно. Мне дома не по себе...

Он согласился с радостью. Этот приезд Петра заставил его привыкнуть к ней и полюбить ее.

XIX

В Екатеринодар съехались все связанные с добровольчеством, и сразу же по приезде Петру удалось попасть на заседание Верховного Круга, где в этот день выступал со своим заявлением главнокомандующий.

Странное впечатление произвело каждое его слово на Петра. Манера говорить, пафос речи, пожалуй, отдавали чем-то библейским. Слышалась большая искренность и прямота, чувствовалось уменье любить и ненавидеть. Он и сейчас под властью этих двух чувств говорит каждое слово: близких своей идее и себе, — любит, противников ненавидит, готов анафематствовать. Слова его просты и сильны. В них много подлинной боли, много надломленной, но все-таки веры, упрямства, решения идти до конца. Это не только солдат. Но в конечном итоге, главным образом, все же солдат.

И только нелепым чем-то показались во всей этой тяжелой фигуре, — такой простой и цельной, — торчащие кверху, с тонкими кончиками нафабренные усы, — будто чужие, — в такой степени они не отвечали его облику.

Вот он обвиняет. Но не слишком ли в его словах много виновных? Вот он требует жертв. Но не будут ли сейчас эти жертвы уже напрасны? Он, пожалуй, в своих словах прав до конца, потому что сам еще верит...

Но если оглянуться кругом: вот недавний губернатор, уже приобревший вид беженца, облокотился о спину казака-черноморца и слушает; вот два офицера контрразведчика, — молодые, но все видавшие люди, шепчутся тихо; вот казаки, гурьбой наклонившиеся над перилами, — что объединяет всех этих людей? Вот бритый и картавый профессор, — глава Добровольческой пропаганды, — он ли находит слова, одинаково веские для каждого, он ли сможет заставить всех согласно чувствовать общую борьбу?

Россия?..

Да, в словах главнокомандующего есть Россия, как бы к ним ни отнестись. И в лицах фронтовиков есть Россия. И, пожалуй, вообще на заседании пестрого Верховного Круга она есть. Но она представлена здесь именно в подлинном своем виде: путей не знающая, кровью замученная, раскинутая в бескрайних пространствах, не верующая сама в свое спасение.

Пусть европейские дипломаты слушают здесь со все понимающим видом, пусть камнями ветхозаветного пророка летят слова главнокомандующего; — разве и в этой зале под лепным потолком не гудит и не вихрится другой голос, все покрывающий? Разве среди людей не мелькают нечеловечьи черты? Разве воздух не душен от крови?

Старуха, безумная старуха, как бессильны дети твои, большие и маленькие, главнокомандующие, казаки, офицеры, законодатели, агитаторы, жертвы, палачи, генералы и большевики, члены Учредительного собрания и депутаты казачьего Круга, — все, все, все, — как бессильны они помочь тебе.

И душно тебе в Московском Кремле и в Екатеринодарском зале, в теплушках с тифозными и на кладбищах заброшенных, в селах, в станциях, в городах...

Разве вот, — когда запоет удалая метелица, когда снежные вихри со всеми четырьмя мирскими ветрами закружатся в пляске, когда даже волки уйдут в глубь леса от

непогоды, а небо черное тяжелым камнем надвинется на землю, — тогда и тебе хорошо выйти на заметенный перекресток, и вместе с трубными возгласами ветра, вместе с тонкими голосами метелей, вместе с грудным стоном раздавленной земли, затянуть свою песню, так, чтобы от нее все растаяло, рассеялось, развеялось, разнеслось и сгинуло.

Ты сгинула. И мы гибнем. Все гибнем...

С головной болью и с ознобом ушел Петр с заседания. Вечером опять надо ехать «домой», на позиции.

* * *

А на следующее утро Петр бредил уже на всю теплушку. Около него возился свой, полковой солдат, случайно оказавшийся тут же.

Солдат решил на свой страх устроить Петра в санитарном поезде или госпитале.

— А то отступать начнем, пропадет человек.

Сначала из теплушки он перенес Петра в зал третьего класса на первой же узловой станции. Там положил его на полу, рядом с такими же бредящими... Пока он метался по госпиталям и по санитарным поездам, Петр лежал, не соображая, где он находится, и громко и радостно говорил, говорил и днем и ночью. Только на третьи сутки солдат определил его в госпиталь, — тоже лежать на полу в коридоре.

Доктор ему сказал на прощанье:

— Полковому командиру доложи, что сыпной тиф.

А Петр мучительно старался припомнить какие-то стихи, которые он должен непременно знать. В голове они слагались и опять распадались на совершенно неуловимые слова. Наконец вспомнил он и громко на весь свой коридор начал декламировать:

— Люблю отчизну я, но странною любовью...

Дальше опять не мог вспомнить. Наверное, будет «кровью». Вот даже в стихах кровь... Нет, там это иначе как-то

выходит, не кровь отчизны... Кровь отчизны здесь, на оставленных полях...

К нему подошла сестра милосердия, высокая, из-под косынки на лоб желтые букольки. Это он ясно увидал. Значит, он не в бреду. Он хорошо сознает, что он болен... Мать укроет сейчас ему ноги теплым своим платком, — так она всегда делает, когда он болен, — и сразу перестанут ноги ныть. А потом приложит свою прохладную руку к его лбу, чтоб не горел он так, чтоб не ныла голова нестерпимо. А завтра будет яркий солнечный свет ударять в окно, и лягут квадратики от оконных рам на полу, и медленно будут двигаться: сначала один только уголок доберется до ковра, потом целый кусок ковра станет ярким, ярким, а через ковер первый квадратик доберется до книжного шкафа и тихо поползет наверх, где на полке его игрушки.

И забыл Петр, что много лет отделило его от маминого платка, от маминой прохладной руки. Снова казался он себе маленьким мальчиком. Маленький мальчик беспомощней большого человека, но зато есть у него много утешителей, которые потом перестают утешать. А главная радость, главное утешение, — это весь мир земной вокруг, солнце такое белое, оживляющее в комнате тысячи пылинок, и скатерти на столах, такие белые, праздничные... А теперь этой белизны нет... Когда теперь?..

И опять минута сознания. Койка с больными рядом, больные на полу... Стонут, мечутся...

Офицеры жарко натопили печь могильными крестами... И вдруг неожиданно пришел к ним в хату главнокомандующий в длинной серой блузе, а может быть, и не он, а кто-то другой, только Петр его хорошо знает, — и велел всем отвечать ему стихи. Кто знает, того он ставил по одну сторону, кто не знал, оказывался на другой стороне. И было очень страшно Петру, что он забудет, все забудет, — даже начало... Вот и его очередь... «Люблю отчизну я, но странною любовью»... Дальше он опять не может вспомнить. Дальше есть: «Но я люблю, за что не знаю сам». Но он

дальше не спрашивает, кивает головой, ставит в сторону знающих... А печь горит все ярче и ярче, становится так нестерпимо жарко, что Петр начинает требовать, чтобы открыли окошко. Никто не слушает его. Он кричит, кричит, кричит...

Опять над ним сестра милосердия с желтыми буклями...

Командир полка, узнав о болезни Петра, телеграфировал Павлу Александровичу. Тот сейчас же решил разыскивать сына. Юленька умоляла его, чтобы он взял ее с собою. Но ни он, ни Клавдия Алексеевна не считали возможным для нее ехать.

Было решено, что Павел Александрович постарается доставить Петра каким-нибудь способом домой. Никто из них последнее время не ездил по железным дорогам, и поэтому такое решение казалось им возможным.

Павел Александрович долго узнавал, в каком госпитале лежит Петр. Узнав, никак не мог за ним угнаться. В Тихорецкой ему сказали, что госпиталь эвакуировался в Екатеринодар; в Екатеринодаре выяснилось, что он накануне переведен в Новороссийск.

В бесконечных теплушках, образовавших на запасных путях целый город, он часами бродил и расспрашивал всех встречных, как найти госпиталь Петра. Только к вечеру случайно напал на госпитального санитара, который проводил его.

Павел Александрович застал сына в беспамятстве. Ему не было лучше. Сестра многозначительно качала головой. А Петр, не узнавая отца, весело и громко разговаривал среди таких же безумных и бредящих.

И, сжавшись комочком около сына, Павел Александрович целыми ночами слушал его бред. Было в нем что-то знакомое, что, может быть, и здоровый человек готов бы повторить, да стесняется, — вспоминает, что недавно было все ясно и нормально, и не верит до конца, что теперь все переменилось и ничего ясного нет.

Раз он неожиданно узнал отца и начал говорить с ним с рассудительностью нормального. Так, по крайней мере, показалось Павлу Александровичу.

— Ты, пожалуйста, не верь, — говорил он, — если тебя станут убеждать, что у меня тиф. Здесь все на этом тифе помешались. А у нас в полку выяснено, что если у человека много своих насекомых, то уже чужие к нему не пойдут. Значит, полная гарантия от заразы. А у меня их достаточно, поверь. Так что сыпным тифом я заразиться никак не могу... Но я, действительно, болен, потому что моя кровь никак не может пробиться в подземную кровавую реку, где кровь всех наших бурлит и пенится...

Иногда на него находили минуты какого-то дикого отчаяния. Тогда в беспамятстве метался он на своих подстилках, рвал на груди рубаху, кричал громко и пронзительно.

И в нагроможденных образах бреда его чудился Павлу Александровичу последний смысл всего происходящего вокруг.

Ему виделись закрома пустые, в которых только мыши шуршат... Пустыня, горькая пустыня, без воды, с тяжелым небом, с сухой землей. Разъятое тело, разлагающийся прах России, матери, великой страны... И, мертвая, призраком встанет она на глухой тропе, чтоб никого не пустить к своей могиле, будет вьюгою выть, и ветром гудеть, и снегом вихриться. А летом будет сушить грудь каждого, кто подойдет, великим зноем; обвеет жарким воздухом губы каждого, так что они в кровь потрескаются; колючками изранит ноги наглеца, захотевшего преступить границу ее, границу смерти без воскресения...

Бред ли это был тоже или мысли здравого человека? Павел Александрович не знал сам уже, где кончается подлинная жизнь и где начинается жизнь его призраков.

И только, когда выходил он из теплушки в город, то отрешался немного от этих своих мыслей.

Люди уже начали брать с боя пароходы. Вся масса народа, связанная с добровольческой армией, была прижата теперь к узкой полоске земли и с тоской смотрела на глубокую Новороссийскую бухту.

Качались у пристани корабли. По ночам английские прожекторы вспахивали белой полосой прибрежные горы. Итальянские пароходы ломились от пассажиров: везде, — на палубе вповалку, в трюме, где раньше люди никогда не находили себе места, — везде сидели, лежали, притыкались к канатам и к каким-то ящикам люди. Все покидали Россию. Все спасались от гибели.

И никто не знал: надолго ли это; что ждет их на далеких чужих берегах.

Кто из живых мог бы сейчас вдунуть душу в мертвое дело? Кто мог бы вернуть веру в сердца, заставить людей идти на смерть? Зачем ты обманываешь всех, родина? Зачем не явишься людям такой, как ты есть?

Единая единством всеобщего тления и распада, неделимая в своей неделимой тоске, великая... Даже смерть твоя не величественна, даже безумие твое не безумие героя...

Россия... Мука какая...

И нет тебя. И везде ты, вопящая, потерянная. В сердце каждом ты. В каждой капле крови, — ты. Отрава наша. Тоска наша. Любовь наша.

Россия... Мука какая...

На дне лежим... На дне лежим. Мертвые без воскресения...

Теплушки с больными выгружались. На носилках переносили людей на пароход. Ехать с рассветом.

Куда? На Принцевы острова, на Кипр, — не все ли равно!

Павел Александрович ехал с Петром. И когда он бросил в почтовый ящик письмо к Юленьке с описанием всего того, что помешало ему привезти Петра домой, — он почувствовал, что в душе его что-то оборвалось.

А на следующее утро, переночевав уже на пароходе, он на рассвете смотрел, как медленно скользит прочь от него мол, как люди становятся на берегу все меньше и меньше.

Вот миновали волнорез. Вот маяк на каменной косе проплыл совсем близко, — мимо, к берегу. Новороссийские

горы сдавливают еще с двух сторон глубокую бухту, а город уже далеко виднеется красными крышами, высоким зданием элеватора, рядом серых цистерн около вокзала.

Впереди открытое море.

И у Павла Александровича, наряду с тоской по безвозвратно покидаемой родине, вдруг из самой глубины души всплыло чувство какой-то животной радости: хоть одного из четырех вырвал из всероссийского пожара, хоть один, может быть, уцелеет.

И тогда он его больше не отдаст. Будут они вместе, долго вместе. Пусть будут лишения, пусть будет тяжелый труд, — зато хоть один не сгорел в пожаре, хоть один остался ему, старику.

Вот только, как он без Юленьки? Ну, да ей-то и оставаться не так опасно. А остальное, — вопрос времени: свидятся когда-нибудь. Еще оба молоды, — жизнь перед ними длинная.

И неожиданно он поймал себя на том, что в этих его мыслях нет основного, что мучило его последние годы: нет мысли о России.

Он прислушался. Море только тихо плещет, да вскрикивают осторожно летящие за пароходом чайки.

«Неужели, — подумал он, — весь мир все это время нашего вопля не слыхал? Неужели никто в мире по-настоящему России не видел и не чувствовал?»

И стало ему ясно, что люди, не знавшие огня русского горения, вообще ничего не знают, и что каждый русский теперь, — кто бы он ни был, — мудрее самого мудрого европейца.

Надо было спускаться в трюм, к Петру.

Далеко легкой дымкой исчезали синие Новороссийские горы, — Россия...

Петр действительно поправлялся: у него уже наступали минуты, когда он мог говорить с отцом.

XX

В назначенный час Катя стучалась в комнату Александра. Из соседних дверей выглянула хозяйка и сказала, что вот уже несколько дней, как он исчез. Комната стояла незапертой. Катя вошла в нее и подумала, что, может быть, Александр решил до назначенного часа не быть дома.

Она даже улыбнулась про себя:

— Удивительно забавны эти старые конспираторы.

Она попробовала читать. Но мысли о сегодняшнем вечере не давали ей сосредоточиться. Начинало смеркаться. Катя все еще не предполагала, что с Александром случилась какая-нибудь катастрофа.

Часы в соседней комнате пробили семь. Оставалось три часа. Со стороны Александра все же непростительное легкомыслие так запаздывать. Хотя по существу дело совершенно налажено: надо быть только без четверти десять около галкинского дома. Катя взволнованно ходила по комнате: время шло так медленно. Вот на небе начали высыпать бледные звезды.

Вдруг в душе Кати шевельнулось сомнение: а может быть, с Александром что-нибудь случилось? Как узнать? Вспомнился номер телефона одного из ближайших товарищей Александра. Она спустилась вниз по лестнице, — телефон был в подъезде. Долго старалась соединиться. Долго какой-то чужой голос допрашивал ее, кто она такая.

Наконец, уверившись в том, что она действительно сестра Александра, голос сказал удивленно:

— Странно, что вы ничего не знаете. Вот уже четыре дня, как он вместе с другими арестован на явке в библиотеке. Содержатся они в Бутырской тюрьме. Свиданий не дают. Надежд на скорое освобождение нет никаких.

Катя повесила трубку. Сначала ей отчетливо вспомнилось, как тоже по телефону в Петербурге было получено известие об аресте Александра.

Потом остро и больно мелькнула мысль, что все ее дело сорвалось. Одной нечего и думать браться за него. Наверное, уже скоро девять часов, — через час надо быть готовой. А она совершенно вне себя, совершенно не владеет своей волей. Значит, все пропало.

Она опять поднялась в комнату Александра, легла на его постель и начала плакать. В этих слезах ее было и отчаяние безграничное, и злость. Потом представилось ей, что должен был чувствовать Александр в минуту ареста: ведь он тоже, как она, весь отдался делу; и сразу почувствовал, наверное, что все кончено.

Звезды ярко горели в уже темном окне. Наверное, и десять прошло.

Катя повернула голову к стене: и звезд спокойных не хотела она видеть. Что-то кончилось безвозвратно. Как им везет, врагам. Ведь, может быть, если бы она вчера узнала об аресте Александра, то к сегодняшнему вечеру и собралась бы с силами.

Но вдруг стало ясно, что если бы после ареста удалось убийство, то Александр, его товарищи и многие, многие другие, часто совершенно случайные люди, ее выстрелом были бы обречены на смерть. Круговая порука смерти стала ей очевидной. И страх впервые пробрался к ней в душу: ведь как ни отметать от себя этих мыслей, все же ясно, что в конечном, последнем счете она была бы убийцей; во всяком случае, всю ответственность за их смерть она должна бы была взять на себя. Это слишком, пожалуй, для одного человека. И ей как-то жалко себя стало.

Мысли шли странными путями, и время незаметно бежало. Очнулась Катя от оцепенения только утром. Надо было решать, что же делать дальше.

Домой ей не хотелось идти: там все полно ожидания события. Придется опять думать о том же, опять тоска безумная охватит душу.

Она пошла к Вере Ивановне. Застала ее за варкой кофея на спиртовке.

— Хорошо, друг, что пришли. Вас уже неделю не видно... Да что с вами?

Она с ужасом глядела на Катино осунувшееся лицо.

Катя села в кресло и тихо прошептала:

— Брат арестован. Вообще все, чем я жила последнее время, окончательно провалилось... Мне сейчас прямо нестерпимо трудно.

Умные, подслеповатые глазки взглянули на нее с каким-то странным выражением:

— Ну, выкладывайте все, чтобы я знала, с какого конца к вам приступать. Раз все провалилось, значит, и не надо вам больше вашей глупой конспирацией заниматься.

Катя действительно могла сказать теперь ей обо всем.

— Вера Ивановна, вчера вечером должен был быть убит Гродский. И я должна была принимать в этом деле ближайшее участие.

Вера Ивановна всплеснула руками:

— Так и думала я, родная, что вы что-нибудь в этом роде затеяли... Ну, значит, теперь неудача и отчаяние. А отчаиваться, конечно, нечего. Просто вы еще никак не можете понять, что в последнем счете совершенно безразлично, убит он или жив. Не менее безразлично, чем то, имею ли я возможность раскуривать еще свои папиросы, или вы стоите на панихиде по мне.

Катя ответила зло и упрямо:

— Вера Ивановна, вы хороший и интересный человек; но, право же, у вас вместо человеческой души, — дым табачный. Вы не чувствуете, что так продолжаться не может, вы не ненавидите.

— Ненавидеть? Кого? За что? За то, что жизнь дорога? До-ро-го-визна... И слово-то какое поганое... За то, что власть советская? Еще там за что-нибудь подобное? Дорогая моя, все это пустяки.

Катя опять злилась:

— Да разве вы не чувствуете, что вся земля стонет? Разве вы ни разу не представляли себе, что испытывает человек,

которого ведут на расстрел. Вот вы представьте себе, — вас сейчас поведут умирать. И старайтесь представить себе каждую мысль свою, каждый шаг... Неужели же вы России не чувствуете и не понимаете, что она жертв требует?.. Кровь невинных отмстить хочет, спасителя ищет.

Катя почти плакала.

А Вера Ивановна как-то по-кошачьему изогнулась вся, искривилась, растянула в страшную улыбку рот свой, закрутила костлявыми руками и начала тихо, шепотом:

— Не спасете, не спасете, голубчики, — руки не выросли. Поплачьте, поплачьте, попробуйте. Эка невидаль, — Гродского убить, — Россию спасти. Уж очень и просто, пожалуй. Нет, не так это просто. Пусть она повоет да поголосит, пусть пожариками посветит, пусть кровью попотеет, пусть в прах рассыпется... Смотрите, смотрите, слушайте голос будущего, — разве вы не видите, какой свет над будущим разлит? Разве вы не слышите трубу славы?.. Кровью и потом, смертью и тлением, нищенством, падением, воплем — к свету, к славе, к преображению плоти земной... Смотрите, смотрите, — да ведь не слепая же вы... Народ-богоносец, — это чепуха. Народ, — Богочеловек... Но чтоб в человеческом до дна дойти, до дна... Вот мы все в кровавом подвале чрезвычайки, вот мы все не верим уже в преображение, — так надо. А потом будет, будет... Слышите, — трубы славы... О, Господи!..

Она без сил опустилась в кресло.

Потом помолчала долго и сухо сказала:

— Однако пейте кофе, а то остынет.

Катя покорно выпила чашку.

— Ну, а теперь ложитесь на мою кровать. Я вас платком своим укрою. Платок у меня волшебный, — под ним спокойно будет.

И она, уже совсем другая, суетилась около Кати, обхаживала ее, как малого ребенка. Катя поддавалась ей, — так хотелось сейчас ни о чем не думать.

Начались призрачные дни Катины, дни во власти Веры Ивановны. Пока Катя лежала под волшебным платком, та уже успела все ее вещи с квартиры к себе перевезти и заявила, что никуда Катю от себя не отпустит.

Прошло недели две. Вера Ивановна решила, что дальнейшее безделье ее пациентке вредно, и предложила помочь ей устроиться на службу в библиотеку, где она сама работает. Оказывается, она даже кое с кем успела об этом переговорить. Катя опять покорно согласилась.

В высоких полупустых комнатах, где так успокоительно пахло книгами, где редкие посетители разговаривали шепотом, Катя с утра и до вечера чувствовала себя отгороженной от внешнего мира. Она в свободное время читала, читала без разбора, лишь бы этого мира не чувствовать. Это было время в монастыре, на покое.

Вера Ивановна сама хлопотала о свидании с Александром, но это не удавалось.

Опять у Кати рождалось чувство, что все временно, что надо ждать настоящего часа. Слова безумные Веры Ивановны приходили ей часто в голову, но в них ввела она свой порядок и дала им свой смысл.

Об Александре думала долго и мучительно, — она не знала, как он переживает последнее разочарование.

А Александр, сидя в общей камере с людьми, которых почти всех давно знал или по работе, или по каторге, долго не мог побороть чувства злобы на себя за последнюю неудачу. Дни шли по-тюремному медленно и однообразно. Сначала ему хотелось быть одному, но постепенно знакомые споры, общие интересы втягивали его в жизнь камеры. Как всегда, основной темой разговоров был вопрос о том, как пойдут русские пути дальше. Много спорили. Некоторые ждали освобождения скоро, чуть ли не через месяц; другие ни во что не верили больше, третьи думали, что большевиков свергнет контрреволюция, идущая с юга.

Александру же казалось, что вопрос тут, во-первых, не во времени. А во-вторых... Перемены, пережитые русским

народом, так непостижимо велики, что привычными старыми словами ничего больше объяснить нельзя. Тут современники еще, пожалуй, бессильнее, чем какие-нибудь люди средних веков, которые захотели бы характеризовать грядущее возрождение. И пусть во всем мире перемена эта еще не ощущается, — на самом деле в недрах России растится нечто еще невидимое, о чем мир и догадываться не может, растится в муках и лишениях... Скоро должна захлопнуться книга истории Европы. Скоро откроется новая книга, книга истории народа Русского, еще не рожденного, — но час родов его уже близок.

Вот о чем думал и говорил Александр. Над ним посмеивались. Тогда он перестал говорить. А жить ему в тюрьме стало по-старому, — привычно. Кате он пробовал писать, письма, наверное, не доходили.

После эвакуации добровольцев из Новороссийска Катя получила письмо от Юленьки. Та ей сообщала, что Петра, больного сыпным тифом, Павел Александрович увез за границу. Катя обрадовалась, что он спасен.

Но ее удивил весь тон Юленькиного письма: оно было проникнуто такой скорбью и такой нежностью, что Катя почувствовала всю силу любви этой девочки к ее брату. Ей захотелось повидаться с ней.

Весной она поехала домой на юг, остановилась в пустом и мертвом доме своей семьи. По странной случайности он еще не был реквизирован ни под какое советское учреждение.

На время ее пребывания Юленька тоже перебралась к ней из «ковчега». И начались у них тихие разговоры о прошлом. Спокойно называла себя Юленька невестой Петра. И действительно, она была вся проникнута чем-то, что в представлении Кати связывалось с понятием невесты: было в ней что-то очень собранное, сосредоточенное; большая любовь сквозила в каждом слове. Казалось, что ожидание, которое ей выпало на долю, было не пассивным состоянием, а деланием каким-то — она непрерывно ждала, готовилась непрерывно к встрече и верила в эту далекую встречу. Кате было ясно, что, несмотря на молодость свою,

Юленька не изменит этому чувству ожидания и будет им все свои дни наполнять.

А Кате не сиделось дома. Какая-то странная тоска тянула ее, будто в конце дороги, где небо слилось с землею, увидит она что-то новое и радостное. После месяца разговоров с Юленькой она решила опять ехать в Москву.

Но накануне отъезда получила письмо от Веры Ивановны. Та предлагала бросить пока все планы и идти бродить странницами, богомолками.

Катя сразу согласилась. Это казалось ей продолжением того душевного скитания, которому обрекла ее судьба.

На маленькой станции где-то в Воронежской губернии они встретились. Сразу вышли на дорогу. Сзади терялся в лощинке станционный поселок. Хлеба начали колоситься. Жаворонки пели над головой в синих волнах воздуха.

Вера Ивановна имела настоящий вид странницы. Катя казалась немного чужой на этой дороге.

— Вот, голубушка, — это самое хорошее. — Вера Ивановна показала рукой на поля и пригорки, покрытые редким леском.

Ночевали в какой-то маленькой деревне. Хозяин избы долго жаловался, что вот без света живут, — ни спичек нет, ни керосина. В темноте легли на полу в углу. Вера Ивановна что-то говорила шепотом.

Катя плохо слушала, потому что виделся ей в пути образ любимый и мучительный старухи безумной, слышались ее вопли. И вся дорога странная казалась ей погоней. По следам в пыли дорожной гналась она за матерью своею, которая родила ее, такой на себя похожей, такой же безумной и путей не знающей, такой же не ищущей спасения.

В полях бескрайних была Катя частью России, плотью от плоти матери своей; и хотелось ей больше и больше растаять, рассыпаться пылью, чтобы с матерью соединиться до конца, чтобы ее голосом безумным тревожить людей по деревням, чтобы ее костлявыми пальцами стучать в окна:

— Спите? Что спите? Вставайте! Пора!

Но было не пора еще. Надо было ждать...

Клим Семенович Барынькин

I

В середине лета, в самую жару, когда золотится пшеница, солнце может перестать освещать спутницу свою, — тяжелую хлебами землю, — и все равно в темном небе будет она сиять золотой полосой пшеничных своих полей.

Наш край... Как его назвать, наш край? Сказать ли, что это часть великого государства Российского? Но в Российском государстве есть и сибирские тундры, и бесплодные пески Закаспия, и леса, и унылые северные болота... Наш край на них не похож. Наш край, — пшеничное царство...

Миллионы десятин золота, не деленные на узкие полосы, как делят землю на севере, а сплошные, — от края неба и до края. Хоть целый день иди, — конца не увидишь; и другой день иди, — все та же золотая пшеница будет окружать тебя. И так будет, пока тебе не покажется, что ты даже не идешь вовсе, а давно уже растаял и растворился в золоте солнечного неба, в золоте солнечной пшеницы.

Потом заметишь вдали белую колокольню с ярким крестом, услышишь заливчатый собачий лай, потянет жженым навозом.

Это жилье человеческое, — Кубанская станица.

Пшеничные люди земли не жалеют. Станица вытянулась далеко. Дворы у хат огромны. В пыли у заборов возятся ребята, копаются свиньи и куры, собака греется на солнце и изредка поводит лениво ухом, — мух отгоняет. Трава выросла по улице, тонкой полосой вьется между нею проезжая дорога.

Пыль черноземных дорог. Мягкая, — нога в ней тонет, — пушистая, горячая...

Выйдешь в степь. По краям стоит пшеница засыпленная. Колосья лениво клонятся к земле. Набежит легкий ветер, — и волной золота зарябится пшеничное поле.

А в небо высоко парит коршун, да сыпятся искры раскаленного солнца.

В конце июня, когда скосят пшеницу, поля потемнеют немного, но до самых осенних дождей будут все же отливать золотом и сверкать на солнце.

Начнут расти в степи соломенные города. Молотилка призывно засвистит, и клубы дыма потянутся из ее тонкой трубы в воздух. Народ зашевелится около нее. Золотая соломенная пыль густым облаком подымется от земли. Повезут в станицу тяжелые мешки с зерном. А вокруг молотилки все гуще и гуще будут лепиться тоненькие переулочки между соломенными скирдами. Скирды вырастут выше и больше, чем хаты в станице.

По степи начнут бродить огромные отары овец, то расползающихся серыми комками, то сбивающихся в одну кучу; а старый пастух, весь высушенный солнцем, с крючковатым, длинным посохом, будет лениво глядеть вслед случайной подводе, исчезающей в облаках пыли. И если отрешиться на мгновение от того, что сзади осталась станица, в которой все же получают газеты и знают точно, в каком веке живут, — то такой седой древностью повеет от старого пастуха с его овечьим стадом, от синего, глубокого неба, от потемнелого золота скошенных полей, что просто неудивительно было бы увидеть вдали смуглую Руфь, собирающую колосья на полях Вооза.

Так неизменен лик земли, плодородной, насыщенной солнцем, тяжелой.

Крепкая земля в нашем крае. Крепкий, могучий народ. Пшеничные люди.

Если бы выбирать столицу пшеничному царству, то по всему надо было бы выбрать станицу Хлебную. От нее во все стороны одинаково далеко до голода, до холода, до болота и леса. Весь ее юрт, — тридцать тысяч с лишним десятин, — отливает летом пшеничным золотом.

И хлебов печеных, таких, как в станице Хлебной, нигде нет. Высокие, румяные, корочка хрустит, легкие, в меру вскисшие.

И не то, чтобы у баб станичных какая особая наука была насчет печения хлебов, а просто такие сами они удавались, — мука такая, значит, выходила из благодатной пшеницы станичной.

Всякому человеку понятно, что там, где хлеба хороши, вся жизнь должна быть сытой, довольной и веселой, — труд в степи благодатный, — всякий хлебороб уверен, что и в этот, и в следующий год не изменит ему черноземная степь, — наградит за работу сторицею. А от этого и тоска не растет, и жизнь идет счастливо, спокойно.

Станица вытянулась верст на десять в длину, а поперек было только по два двора с каждой стороны улицы.

Белая церковь, еще новая, с зелеными куполами, стояла на небольшом пригорке посередине площади. Вокруг площади были все каменные дома: станичное правление с красной черепитчатой крышей и с заплеванным подъездом, высокая, с большими окнами, школа, выходящая в чистенький палисадник, дом батюшки, отца Лаврентия Малахова, с цветными стеклами на полузакрытом балконе, с густыми зарослями дикого винограда вдоль стен.

На площади вообще жили больше люди именитые. А чем дальше к окраинам, тем беднее становились хаты, и дворы при них не так уж велики. Сады, пожалуй, везде одинаково зеленели вишняком своим густым.

И жизнь людская шла во всех хатах приблизительно по одному образцу. Работа у всех ведь одинаковая, — пожалуй, весь юрт можно назвать хлебной фабрикой, а казаки на этой фабрике все одинаковые мастера.

Разница только, что на фабриках настоящих труд противный и подневольный, а труд степной, — самый радостный и благодатный. Кроме того, хлеборобное дело летом в самую жаркую пору человеку и поспать почти не дает, — времени нету, ни часу в уборке пшеницы пропустить нельзя. Поздно ложиться приходится и вставать, когда раннее летнее солнце еще встать не успело. Зато зимою дела

почти никакого у станичников нету: озимые уже забархатились, черный пар влагой небесной насыщается, амбары стоят полные, — работы никакой и нету.

Слава Богу, что вечера зимою рано наступают, — спать можно ложиться с петухами.

А днем, если по хозяйству ничего не надо справить, то единственное дело в лавочке ли у площади или так по хатам собраться и рассуждать. И были в станице великие мастера рассказы рассказывать. Соберется народ вокруг них, а они издалека заводят, — часто уж и раньше всеми слышанное, — да это не беда, — когда хорошо говорят, и несколько раз одно и то же послушать можно.

Казаки вообще народ такой, что каждого будут слушать внимательно. И спорить они не очень охотники. Если даже враль какой рассказывать небылицы начнет, — и его не перебьют, только замолчат после рассказа все, да какой-нибудь старик заметит спокойно:

— Могёт быть.

И сам враль не поймет, кто же в конце концов одурачил кого, он ли своими выдумками, или слушатели его, которые и спорить с ним даже не захотели, а только и буркнули:

— Могёт быть, — отвяжись, мол.

Друг друга народ знал и понимал очень хорошо, кто чем живет и о чем про себя думает. А свежему человеку трудно было во всем сокровенном станичном думанье разобраться, потому что свежий человек, как ни старайся на чистую разговор вывести, как на споры своих собеседников не натаскивай, — тоже почти всегда услышит:

— Могёт быть.

А дальше, значит, — проваливай, — мы своим живы, а о твоем тебя не спрашиваем.

А так вот, не споря, отшить полегонечку, — это даже, пожалуй, вежливость станичная была.

Ну, а между своими и споров мало, потому что одна приблизительно у всех жизнь складывалась, и одни мысли у всех в голове роились: весною на небо посматривают:

— Дал бы Бог дождя.

В сенокос смотрят, — не надвигаются ли, не дай Господи, тучи.

Сын подрастет, — к службе готовить надо, а потом женить, а там у него ребят крестить. А там волов новых покупать или пшеницу в город на продажу везти.

Одним словом, жизнь известная, — другою в станице и жить нельзя. И все очень хорошо понимали, что все главным образом пшеницей определяется, — так с этим понятием и сообразовали всю жизнь.

II

Один был только человек в станице, который неизвестно откуда других понятий набрался, всем наперекор, все был недоволен, все тосковал и искал себе лучшего удела.

И не чужой человек, а свой, казак, — Семен Петрович Барынькин.

Еще как вернулся со службы, начали у него всяческие чудачества проявляться. Начать с того, что объявил он матери свою волю, захотел стать мясником.

Для нашего народа это занятие не считается особенно почетным. А Семен Петрович был человеком богатым, — мог бы и без такого ремесла хорошо жить. Но у него раз сказал, — значит сделал: открылась в станице мясная Барынькина.

Мальчишку он себе лет пятнадцати в подмогу нанял. Вот этот-то мальчишка своими рассказами и обратил внимание станичников, что Семен Петрович, — человек необычайный.

Рассказывал он, что когда зарежет мясник быка или овцу, освежует ее и потом начнет потрошить, — так потрошит не просто, а как-то по-особенному, — каждую кишку рассматривает, опять в утробу прилаживает; будто все хочет дознаться, на что она скотине нужна была. Так же и желудок, и печенку, и почки, — все проверяет, прилаживает.

Легкие однажды пробовал воздухом надувать. А с сердцем бычьим целый вечер возился, резал его на части.

И мальчишка рассказывал про такие занятия мясника не раз и не два, а уверял, что редко какая скотина через его руки без этих опытов проходит.

Все эти рассказы сильно разожгли любопытство станичников. Но никто не мог понять, к чему это Семен Барынькин так чудачит. У него же спросить не решались, — за насмешку примет и еще обругает.

Потом стали ползти слухи, что Семен Петрович у одного старика на хуторе научился целебные травы распознавать, и какая против чего помогает. И будто даже с наговорами всякими он этими травами врачует.

Сначала не верили. Потом мало-помалу начал к нему народ собираться со всякой хворобой. До фельдшера все равно пятьдесят верст, — не удосужишься в рабочее время.

Но все же шли к нему с опаской, потому что с детства знали его и не могли понять, откуда он премудрости набрался.

Он народа от себя не гнал, но и окончательно в своих знаниях не признавался. Все в шутку будто старался обратить.

— У тебя, мол, и болезни никакой нет, — одни мысли такие глупые. Вот тебе, наверное, такая пустяковина поможет.

Даст сушеной молодой крапивы, как чай пить, вместо слабительного, — человек действительно и поправится.

Сам, значит, в своих силах не был уверен, потому и не объявлялся народу, а исподволь на народе пробовал себя.

Уверовали в него сильно, когда дьячок на масляной чуть было ног не протянул, да Барынькин помог: сразу определил, что он себе глотку блином горячим спек, — дал какой-то настойки, прочел вроде молитвы, велел живот постным маслом растирать, — дьячок в два дня и поправился.

А потом получил Семен Петрович и научное признание: на огородах нашли мертвое тело; началось о нем следствие. Из города врач приехал на вскрытие.

Семен Петрович просил разрешения при вскрытии присутствовать: и смело начал с врачом разговор о всяких врачебных вопросах, показал полное знание строения человеческого тела и даже обратил внимание врача на какие-то неполадки у мертвеца в сердце.

Врач с удивлением спросил его, где он всей этой премудрости набрался. На что Семен Петрович ответил, что недаром он и мясником стал, — это самое премудрое дело для того, кто хочет врачевать.

Врач очень удивился этому ответу и с улыбкой спросил его:

— Значит, ты теперь и лекарь готовый?

Но Семен Петрович скромно ответил:

— Тело, можно сказать, что изучил, но душу человеческую только что изучать приступаю.

Опять тогда никто не понял ответа его и не сообразил, как же он теперь души человеческие потрошить начнет.

А народ стал валить к нему валом, так что он и мясную свою забросил. Одному палец молотилкой помяло, у другого в груди печет, у детей понос кровавый, — он на все средства знает.

Были у него лекарства и совсем особенные, — от чахотки, например. Это средство он только и давал тем, кому дни будто и сочтены совсем были, да и то по предварительному соглашению, потому что дело было серьезное: Семен Петрович предупреждал, что без его лекарства человеку жить не больше месяца осталось, а с лекарством, — или сейчас же умрет, — не выдержит душа яда, — или, если преодолеет, то месяца через три совсем здоров будет. И находились смельчаки, что соглашались на это лекарство. Выздоравливали действительно. Деготь, что ли, это какой-то особенный был.

Так стал он необходимым человеком в каждой семье. И трудные роды, такие, что около родильницы народ весь с зажженными свечами уже стоит, а она помирать совсем

приготовилась, — и детские болезни, и старческое хирение, — все проходило через него, всему он был свидетелем и помощником.

А в страданиях и болезнях душа человеческая открывается так, что читай в ней, как в открытой книге. В страданиях учился Семен Петрович познавать душу человеческую. И, пожалуй, если бы врач, который ему вопрос задавал, теперь приехал в Хлебную, Семен Петрович мог бы ему смело сказать, что и вторую часть науки своей он уже постиг.

Но постигнув ее и почувствовав себя мудрым, — мудрее, чем все станичные старики, — Семен Петрович возгордился и затосковал. Нелюдимым он стал, опротивело ему все. Работать работу такую, как все, — хлеборобную, — будто и не так интересно ему; дальше изучать свое дело тоже трудно, потому что и книги-то все по врачебному искусству, — он пробовал их покупать, — написаны так, как будто бы этим искусством простой человек и поинтересоваться никогда не захочет, — язык прямо суконный, как раз такой, что только мозги забьет и последние понятия вышибет.

К сорока годам достиг он большого влияния в округе, а тоска не унималась, — прямо до сухого звона в голове доходила.

Так навидался он всего, так научился распознавать людей, что с ними ему скучно стало. Человек начнет какую-нибудь хитрую речь, да обиняками, — а он уже знает, чем эта речь должна кончиться, и только от скуки не перебивает собеседника, дает ему до конца договориться.

В это время Семен Петрович решил жениться. Невесты у него подходящей в станице не было. Да он, пожалуй, и сам не знал, какая для него невеста подходящая, — только бы что-нибудь живое было в доме и вместе с тем не очень шумливое.

Услыхал от кума он, что в соседней станице живет вдова молодая, бездетная и хорошая хозяйка. Подумал и решил, что это самое подходящее.

Вскоре стала Дуня его женой. Венчались они не сразу, — Семен Петрович заявил, что прежде посмотреть надо, не очень ли она шумная, а потом уж на всю жизнь связываться.

Вскоре после свадьбы родился у Дуни сын, назвали его Климом, а отец с первого дня начал его Климом Семеновичем величать.

III

Когда Климу было уже лет восемь, Семен Петрович выстроил себе новую хату, как раз за батюшкиным двором. Врачевать он стал меньше, все больше теперь в чужих делах разбирался и, если надо, порядки наводил. Тоска его утихла.

Сын радовал, — лицом походил на него, — такой же разумный будет. Только весь он как-то шире костью удался, да и озорной очень, безудержный. Ну, да это еще не беда, — лишь бы сразу догадался, на что свою безудержность в жизни кинуть.

Клим через батюшкин двор и в школу ходил, никогда не забывал цепного пса подразнить и за косу дернуть одну из батюшкиных дочерей. Тем, пока что, знакомство между ними и кончалось.

Зато старшие, — отец Лаврентий и Семен Петрович, — жили не только как добрые соседи, но и как большие друзья. Отец Лаврентий любил пофилософствовать и в самый корень вещей углубиться. А для таких разговоров Семен Петрович был собеседником незаменимым: он ведь и к самому простому делу подходил издалека, отыскивал, откуда начало ему и какого оно корня.

Особенно часты их беседы бывали в зимние сумерки, когда отец Лаврентий, уже отдохнув после обеда и дожидаясь вечернего чаепития, бывал в отменно философском настроении духа. Усадит он соседа у себя в кабинете, сам опустится на стул против письменного стола и начнет сначала вопросы задавать.

— Так как же, Семен Петрович, значит, по-твоему, что человек, что скот, — все единственно?

Семен Петрович знает заранее, что каждый разговор у них приблизительно так начинается, и степенно разъясняет батюшке, что, может, разница какая и есть, но вот сколько народу прошло через его руки, а в строении тела человеческого он никак не мог найти ничего такого, что могло бы почитаться вместилищем души:

— Все так же, как и у скотины.

На это батюшка засмеется добродушно и начинает убеждать Семена Петровича, что душе никакого органа особого не надо:

— Читал, небось, что дух дышит, где хочет?

Так полегоньку и поспорят до того времени, когда окна станут уже совсем сизыми и черты лиц собеседников расплывутся в сумраке.

Тогда послышится из столовой стукотня посуды, Семен Петрович возьмется за шапку, а батюшка пойдет чай пить.

Батюшкин дом выделяется из всех станичных домов. Клим однажды по поручению отца был в комнатах и все разглядел. В зале полы вощеные, очень чистые, и по ним полотняные половички от двери и до двери постланы. Перед окнами на высоких подставках фикусы стоят, а на подоконниках герань в горшках. У стенки пианино, на нем фотографические карточки аккуратно расставлены. Стол посередине комнаты застлан вязаной скатертью с хитрыми узорами.

И в других комнатах тоже чисто, все блестит, везде салфеточки вышитые.

Летом Клим из своего сада через забор часто видал, как вся семья батюшкина на балконе чай пьет. На столе скатерть белая, вазочка с вареньем или с медом, хлеб сдобный и огромный начищенный самовар.

От всей жизни, словом, веет уютом и домовитостью.

Про отца Лаврентия надо вообще много рассказывать, чтобы сразу его жизнь понятной стала. В Хлебной был он

первым человеком и уважением всеобщим пользовался, и несмотря даже на малый грешок, который за ним водился. Такой был человек разумный, дельный, станичные дела хорошо понимал, с учителями в ладу жил, не кляузничал.

Только беда его была в том, что овдовел он рано. Оставила ему покойница жена двух дочерей погодков, — Олю и Наташу. С год он сам с ними возился, — старая стряпуха помогала. Но потом, видно, одиноко жить не по силам ему стало: появилась в его доме некая домоправительница, Марья Андрониковна, женщина хозяйственная, разбитная и лицом довольно приятная, — только суховата немного.

Стали девочки выбегать на улицу всегда причесанные, в чистых платьях. Варенья и соленья заполнили батюшкину кладовую, как и при покойной матушке не заполняли. А всякая натуральная плата за требы сильно повысилась, потому что Марья Андрониковна на малость какую и смотреть бы не стала.

И батюшка был очень доволен своей жизнью, хотя по станице сплетничали о нем и даже архиерею доносили. Но архиерей принял во внимание, что двум малолетним девочкам нужно женское попечение, и тем дело и окончилось.

Оля была годом моложе Клима, но по виду можно было думать, что между ними разница в летах гораздо больше. Клим был широкоплечий, сильный, большой, с грубым голосом и быстрыми движениями. А у Оли были такие тонкие руки, что просто палочками казались. Глаза большие и будто потушенные, грустные. Наташа была хоть и моложе, да живее как-то, здоровее.

Клим относился к девочкам с презрением, любил их дразнить, в игры с ними не вступал. Просто даже стыдно было подумать, чтобы с ними всерьез, как с равными в игру войти.

А девочки не обращали на него никакого внимания, — много их, удальцов, из школы мимо них бегало.

Только раз, когда Клим на площади поссорился с другим мальчиком и к удовольствию школьников начал его

жестоко избивать, в окошке батюшкиного дома появилась голова Оли, и она спокойным голосом сказала ему:

— Брось, Клим. Смотреть противно.

И он бросил. Сам не знал, отчего бросил, — послушался глупую девчонку. Да и голос этот ее спокойный надолго запомнил.

Потом он на себя страшно зол был.

А на следующее утро, идя в школу и встретив во дворе Олю, он подошел к ней сам первый и задорно сказал:

— Ты что, дура, меня не боишься?

Оля ничего ему не ответила и молча ушла в дом.

Это совсем озадачило Клима, и он решил добиться от девочки признания своего превосходства. Тут впервые проявилась вся его неистовость.

Сначала он просто хотел из-за угла напасть на нее и вздуть хорошенько, чтобы долго помнила. Потом решил, что не такая уж она дура, — и без трепки понимает, насколько он сильнее ее.

Тогда захотелось ему проявить себя перед Олей каким-нибудь невероятным геройством. Он долго думал, что бы ему устроить такое, чего еще никто не устраивал.

Наконец, пришла ему мысль: надо выкрасть из конюшни станичного правления племенного жеребца, прокатиться на нем перед батюшкиными окнами. Жеребец был строгий, — только лучшие наездники решались на него садиться, — это вся станица знала.

Клим стал все свободное время проводить около станичного правления, поджидая случая, чтобы вывести жеребца незаметно. Наконец, такая минута подошла. Тихо, никем не замеченный прокрался он в конюшню, отвязал жеребца, тут же в конюшне вскочил ему на спину и вылетел стрелой через пустой двор на площадь.

Жеребец сразу почуял, что седок на нем неопытный и, раздувая ноздри, помчался вдоль улицы. Пыль поднялась столбом.

Клим вцепился обеими руками в гриву коню и чувствовал какой-то совершенно дикий восторг от бешеной скачки.

Собаки неслись за ним с громким лаем.

Через несколько мгновений станица была позади. Пшеничные степи раскинулись перед Климом. Ветер свистел в ушах и четко раздавался топот копыт по дороге.

В правлении быстро заметили неладное. Но пока снаряжали погоню за беглецом, прошло некоторое время. И казаки, выехав за станицу, увидали, как далеко перед ними в степи несется жеребец, уже скинувший всадника и наслаждающийся полной свободой.

Его поймали с трудом. А Клима принесли к отцу без памяти, с окровавленным лицом и исцарапанными руками.

Когда он немного поправился, Семен Петрович сильно избил его. Но так колдун и не мог добиться, зачем его сын пустился на эту затею.

А Клим в это время, принимая отцовские побои и чувствуя еще невыносимую боль от падения, думал мучительно, узнали ли о его подвиге в доме Малаховых.

Оля, встретившись с ним через некоторое время, ничего не сказала, а Наташа прошептала задорно:

— Скакун...

— Значит, знает, — подумал он, — теперь уж, пожалуй, и задаваться не будет.

Наступило между ними полное перемирие, но все же более близкого знакомства не начиналось.

Прошло так лето. Семен Петрович начал пахать озимые. Клим ему помогал, пока в школу ходить не надо было. В станице бывал мало, — все с отцом в степи.

Только кончили пахать, — батюшка заболел, — послали за знахарем.

Семен Петрович его внимательно осмотрел, потрогал ему живот, кое-где сильно помял. Потом принес из дому всяких снадобей и долго учил Марью Андрониковну, что после чего давать и какие припарки класть.

На следующий день отцу Лаврентию стало хуже. Семен Петрович начал злиться, дал новых лекарств и велел написать батюшкиной сестре, которая жила где-то далеко,

чтобы она приезжала, потому что в доме лишние руки могут понадобиться.

И на следующий день батюшке не полегчало. Так длилось с неделю.

Наконец, Клим заметил, что отец его пришел от Малаховых прямо как туча черный. Только пообедать успели, как он велел Климу бежать к Марье Андрониковне, узнать, не случилось ли чего.

Клим скоро вернулся, — Марья Андрониковна сказала, что все по-старому.

Перед вечером Семен Петрович опять послал Клима к Марье Андрониковне за новостями, — видно, очень тревожился, ждал чего-то плохого.

Клим только вошел в столовую батюшкиного дома, как увидал, что происходит что-то неладное. Марья Андрониковна, красная и запыхавшаяся, тащила сундуки на балкон, носила огромные пуховые подушки. В следующей комнате, где лежал отец Лаврентий, Клим заметил, что весь письменный стол перерыт, ящики выдвинуты, бумаги валяются на полу.

Он взглянул на больного, — глаза закрыты, тонкие восковые руки недвижно лежат на одеяле, и только ноги, покрытые еще теплым платком, слабо вздрагивают.

Климу стало жутко. Он стрелой кинулся из комнаты. Отцу сказал, еле переводя дух:

— Он кончается, она грабит, а девочек нету.

Семен Петрович еще сильнее нахмурился, быстро взял шапку и палку и вышел на двор. Клим решил идти за ним. С отцом ему было совсем спокойно: он знал, что все будет как надо.

Теперь он особенно отчего-то обратил внимание, как в столовой кружатся мухи над вазочкой с медом и как сдернута скатерть с одного края стола.

Семен Петрович несколько раз сильно стукнул палкой, но все же им навстречу никто не вышел. Только через несколько минут распахнулась дверь и на пороге появилась Марья Андрониковна с новым тюком всякого добра.

Семен Петрович остановил ее:

— Ну-ка, покажи, красавица, много ли успела натаскать.

И двинулся на балкон.

Там стоял большой сундук, наполовину пустой. В него, видимо, складывались приносимые вещи.

Солнце в это время сбоку ударило в цветные стекла балкона. Семен Петрович вышел на крыльцо, пристально всмотрелся в пылающий закат и обернулся к Марье Андрониковне, стуча палкой по каменному полу балкона:

— Смотри, — видишь солнце, еще полвершка до земли осталось. Пока будет хоть кусок солнца на небе, — грабь, — ты свое заслужила. А как солнце скроется, — чтоб ноги твоей больше здесь не было, — остальное детское.

Марья Андрониковна без колебания и сразу уверовала в право колдуна разрешать и запрещать ей. Она кинулась быстро в комнаты, чтоб до заката успеть вытащить хоть что-нибудь.

Семен Петрович пошел к отцу Лаврентию.

Теперь Клим увидал тут и девочек: они стояли в ногах кровати, прижавшись друг к другу.

Климу стало до боли жаль их, и казалось ему, что он чувствует сейчас, как свою, каждую их мысль. Он знал, что им страшно. И страшно оттого, что вот между ними в этой комнате лежит человек, так недавно такой родной, такой близкий, а теперь уже отгороженный от них каким-то непроницаемым кругом, который очертила вокруг него приближающаяся смерть. И оттого, что она была так близко, они уже не могли различать, где жизнь властвует и все по-настоящему, а где воцарилось мертвое, чужое, необычайное.

Климу хотелось плакать, смотря на них. Он прижался к печке и старался быть совсем незаметным.

Семен Петрович посмотрел внимательно на больного и тихим, но спокойным голосом сказал девочкам:

— А вам здесь сейчас делать нечего. Клим, уведи их пока в сад.

Потом помолчал и добавил совсем ласково:

— Вы, красавицы, не бойтесь. Вот я вам моего Клима и на ночь в сторожа оставлю. Страшного ничего нет.

Дети с Климом молча вышли.

В саду сели на скамейку в самой дали и тоже продолжали молчать.

У Клима что-то щипало в глазах. Он тихо дотронулся до Олиной руки и сказал ей:

— Если бы я знал, что такое будет, никогда бы тебя не обидел.

Она ответила тоже тихо:

— Я знаю, — и даже попыталась улыбнуться.

Потом опять наступило молчание.

Через час, когда подвода уже отвезла вещи, предназначенные Марье Андрониковне, и в доме засветились огни, Клим услыхал, что отец зовет их с балкона. Они подошли быстро и волнуясь.

— Дети, батюшка приказал долго жить.

Наташа слабо вскрикнула, Оля низко опустила голову.

Прошли в комнату, где лежал покойник. Девочки плакали. Клим кусал себе губы и удивлялся, что у отца Лаврентия стало совсем незнакомое лицо, — еще более сухое, чем час тому назад, но какое-то очень важное.

Потом наступила ночь. Семен Петрович ушел домой. Клим свернулся калачиком на тюфяке в комнате Марьи Андрониковны. А девочки легли вместе на ее широкую кровать. Им обеим отчего-то казалось, что так, не в своей комнате, не на обычном месте, будет легче. Вообще сейчас должно быть все не так, как всегда, — даже на своих постелях спать нельзя.

Лампада горела перед образами, то потухая, то вспыхивая ярко. Пахло какими-то травами и было очень душно. В углу жалобно жужжала муха, попавшаяся к пауку. А через затворенную дверь доносился голос дьячка, читающий псалтырь над покойником. Слов нельзя было разобрать, — слышалось только непрерывное гудение. Этот голос долго

мешал Климу вслушаться в то, о чем шепчутся, изредка всхлипывая, девочки. Наконец, он уснул.

Утром осторожно, чтобы не скрипеть, отворил он двери и вышел из комнаты, когда девочки еще спали. После полумрака его ослепило яркое солнце, и особенно бросилось в глаза, как блестит пол в гостиной, как вытянулись цветы по окнам. Ничего не изменилось, — все было так же аккуратно и чисто, как всегда, — будто в доме и не царила теперь смерть.

К девочкам днем приехала тетка. Тянулись панихиды. Потом отца Лаврентия хоронили. Клим шел за гробом, насупившись.

Потом через два дня Семен Петрович сказал дома жене:

— Тетка-то завтра батюшкиных девочек к себе отвозит.

Клима эта новость поразила невероятно.

Вечером он пробрался к батюшкиному забору и стал ждать.

Вскоре он увидал, как в саду мелькнуло Олино платье. Он ее окликнул.

Она подошла и первая начала говорить:

— Это хорошо, Клим, что ты здесь. Мне тебя очень нужно.

Он покорно наклонил голову.

— Знаешь, Клим, о чем я хотела сказать тебе...

И замолчала, будто стыдно стало...

А потом зашептала еще тише:

— Знаешь, Клим, когда ты вырастешь большой, завоюй мне, пожалуйста, Индейское царство.

И Клим серьезно ответил:

— Завоюю...

Потом подумал и уже не так решительно добавил:

— А какое оно?

— Не знаю, — сказала Оля, — только это очень далеко и на всех крышах там колокольчики.

Тогда Клим повторил опять:

— Завоюю...

А на следующее утро они уехали.

IV

Настало для Клима тоскливое время, — все будто в станице чего-то не хватает. Озорничать он сильнее стал, задирал школьников, с матерью начал воевать. И только ему по душе было, что все свободное время шататься по степи: сядет, бывало, на какой-нибудь курган и смотрит, как ястреб в небе кружит. Так часами и просидит на одном месте.

Мать на него часто жаловалась, а Семен Петрович попрежнему сыном доволен был. Видел он, что в Климе есть дух, который его и на большие дела натолкнуть может. Конечно, понимал, что при его необузданности на пути и пропасть легко.

Время тянулось все же скоро для Клима. Осенью опять в школу начал ходить. По вечерам стал много читать, книжки из школы брал. Мысль у него часто являлась, — вот он человек станичный, — станичная и наука у него, — трудно дальше куда-нибудь сунуться. А Оля теперь в городе. Там все это легко. Придет, пожалуй, через несколько лет такой умной, что с ним и говорить не станет.

Весной он однажды спросил отца:

— Ну, батюшка, а как кончу школу, что ты со мной делать будешь?

Семен Петрович вопросу не удивился и сразу ответил:

— Учись хорошенько, — я тебя потом в город отдам, в фельдшерскую школу.

Клима ответ обрадовал:

— Фельдшер, — это уж не просто станичник. Даже, поди, умным надо быть, чтобы фельдшерское дело хорошо понимать.

На Страстную и на Пасху пахали. От весеннего ли воздуха, от тонкого ли духа согревающейся земли или от ветра, слабо шевелящего зеленя, Климу стало тоскливо. Раньше он тоски такой не знал, — будто веревкой к самому сердцу привязалась, — тянет за собой, неизвестно куда тянет, — лишь бы дальше за нею, непонятной, идти, не сворачивать.

Детство уходило. Детские годы, — годы, когда на свете праздники бывают. Заранее знаешь, что вот Пасха или Троица близится, что для большого дня и солнце будет светить по-особенному, — белым светом таким, и люди особенными будут, — будто украшением торжественным празднику. Чувствуешь, что вот совершается он, праздник этот, заранее ожидаемый.

А уйдет детство, — наступает обманное время. Торжество исчезает из дней жизни, праздники становятся праздниками только по имени. И великую волю должен иметь человек, чтоб в жизни своей яркую Пасху и Троицу зеленую создать. И от трудности этой юность человеческая всегда тоской, как огонь пеплом, подернута, — от детского опыта не оторвалась и не достигла еще праздника зрелого достижения.

Стал Клим уже и не по-мальчишески о своей жизни задумываться. Отцовская черта сказалась: захотелось ему поискать себе лучшего удела. Всю жизнь-то на краденом жеребце не проскачешь, а надо бы что-нибудь в этом роде, чтобы народ вокруг кричал и удивлялся, а сердце в груди сладко замирало и неслось на краю гибели. Иначе не мог Клим думать о жизни своей, иначе она ему, пожалуй, и не дорога была.

Летом Клим сворачивал с дороги в степь, где колосья выше его ростом были, ложился между ними так, что его и найти нельзя, и смотрел, не мигая, в глубокую синеву небесную, пока небо не казалось ему темным и тяжелым, будто готовым упасть на него, а звяканье кузнечиков не сливалось с медленными ударами сердца в один общий гул. Тогда он засыпал под солнцем.

К вечеру возвращался домой, ел лениво, молчал или перебранивался с матерью.

Однажды в августе неожиданно приехали в Хлебную девочки с теткой. Она должна была кончать дело по батюшкиному наследству: дом хотела сдать новому священнику.

Олю Клим видел мало. Однажды, оставшись с нею наедине, он спросил ее серьезно:

— Тебе нравятся фельдшера?

Она не сразу сообразила, чего он от нее хочет, но потом все же решила, что фельдшера ей нисколько не нравятся.

Для Клима вопрос о фельдшерской школе был, таким образом, решен отрицательно. И снова не знал он, как же ему со своей жизнью порешить.

А решать надо было, — кончилась станичная учеба.

Долго резонились с Семеном Петровичем. Наконец, сговорились на сельскохозяйственном училище. Да и то Клим согласился, чтобы больше не спорить, — душа у него и к сельскохозяйственному мало лежала.

Но город поразил его первоначально. И без всякой школы в то время в городе многому научиться можно было.

Потрясалось государство Российское. Нежданно и способами неведомыми били японцы многомиллионный русский народ на полях Маньчжурии и на волнах желтого океана своего.

Мукден ли и Цусима были причиной пылающей лихорадки, которою мучилось государство Российское, они ли занозили народное тело ядовитой занозой, — или, обратно, — прорвалась боль и мука народная кровавым нарывом там, за Уральским хребтом, за далеким Байкалом, в гаоляновых степях чужой страны? — Не все ли равно?

Поверженным в горячке было Российское государство, и народ его, всегда спокойный и притерпевшийся, как спокойна бывает кровь в жилах у здорового и ленивого человека, — народ его забурлил и задвигался, шумным потоком понесся по родным пшеничным полям, поднялся валом грозным, чтоб опрокинуться пеной, чтобы смести и уничтожить все бывшее.

Так чувствовали все. Так чувствовал и Клим.

Нужды нет, что попал он в город чучелой станичной, ничего не знал и в мудрейших науках никак не был натаскан. Нужды нет, что поначалу весь огонь его никому не был нужен.

Шептаться он по кружкам всяческим никак не умел, рефератов о Марксе с Энгельсом не только не мог написать, — а даже и чужих понимать не осиливал. Зато естеством своим, всею безудержностью природной был он частью общего кипенья. Весь в это ушел.

Он бывал везде, — в кружке украинцев, где по-русски говорить было не принято и где пели трогательные песни, и в кружке молодого помощника присяжного поверенного, который заставлял гимназистов читать рефераты по политической экономии, и в каком-то аграрном кружке, и на каких-то партийных собраниях.

Сначала ему быстро все это и наскучило, — что в школе уроки, что в кружках рефераты, — разница малая.

Но тут как раз война прикончилась, — из подпольных мышиных щелей, из опротивевших кабинетов поток вырвался на улицу, — началась революция. Уже никто не спрашивал:

— Что ты знаешь?

А только:

— Что ты можешь?

Клим же мог все: литературу распространял, листки расклеивал, из-под стражи политического освободил с самой беспримерной отчаянностью. На митингах даже выступать начал, — правда, уж под самый конец, под нагаечный свист, когда не умные слова требовались, а азарт безудержный, — так председатель ему и слово давал:

— Товарищ Барынькин, вам принадлежит последнее слово.

После уж начиналась потасовка самая настоящая.

Так длилось, пока в город не были вызваны войска. Начались обыски и аресты. Клима исключили из училища.

Надо было ехать домой.

Мелькнула у него мысль уйти в подполье, так продолжать работу. Он пошел к одному товарищу, человеку бывалому, за советом.

Тот выслушал его доводы серьезно и сказал:

— Я вас, Клим, очень хорошо понимаю и советую вам все это бросить. На революционной работе скоро истреплетесь и станете простой клячей. Волна пошла сейчас на убыль. Пока что учитесь, готовьтесь, — из вас может выйти и большой человек, и большой революционер.

Клим пробовал спорить, но товарищ сказал ему уже строго, что он употребит все свое влияние на партию для того, чтобы она отказалась от услуг Клима.

Клим ушел от него злой. Долго бродил по улицам и размышлял, как ему быть. В одном он был согласен со своим собеседником, революционная волна заметно шла на убыль. Значит, опять вся работа уйдет в подполье, опять начнутся кружки с рефератами, пустые слова, — это скучно и ни к чему. Он решил ехать домой.

Дома отец встретил сурово, хоть и ничего не сказал.

Но после всего, что было, он просто не знал, куда ему девать себя. Читать и подучиваться не хотелось. Хоть и понимал, что просто он неграмотный человек и так ему дороги дальше нет.

Да какая теперь дорога, когда революция кончилась и ничего больше нет такого, чтобы манило его. За этот год, буйный и бешеный, он от всякой учебы бесповоротно отошел.

Начал Клим озорничать вовсю. Даже напиваться стал. И более взрослые парни не могли с ним в озорстве потягаться. Девчата на улице стали его избегать. А ему будто и нравилось, что на него с опаской посматривают, — он еще сильнее старался показать себя.

Семен Петрович начал хмуриться, — впервые ему показалось, что из сына его толку не будет, — не найдет он себя.

Так шло время...

Однажды в весенний вечер увидал Клим, что к дому Малаховых кто-то подъехал. На минуту мелькнуло у него в мыслях, что, может быть, это Оля, но он сразу отогнал от

себя такое невероятное предположение. Спокойно вернулся домой, а вечером с компанией парней пошел по улице. Всех встречных задирал. Песни орал. Хотя пьян не был, но со стороны всем мог пьяным показаться.

И опять, возвращаясь домой, подумал, что вдруг правда девочки Малаховы приехали.

А на следующее утро он действительно в батюшкином саду увидал Олю. Она тихо шла с семинаристом, сыном нового священника, и о чем-то разговаривала. Клима она не заметила.

Он зато разглядел каждую черту ее лица. Высокая стала, но худая, как и раньше; смуглая, глаза большие, не блестят совсем, будто смотрят куда-то далеко.

У Клима стало радостно на сердце, но в следующую же минуту он возненавидел семинариста и решил его избить при первом случае.

Потом он залез на сеновал и лежал там долго. Ему казалось, что исполнилось теперь то, чего он раньше ждал: Оля стала совсем городской барышней, — с ним говорить не захочет. Таким городским девицам только и понятны, что пустые слова, как, наверное, этот семинарист несчастный ей говорил в саду. А Клим любит дела, пустые же слова ненавидит.

Через два дня на площади произошла драка: Клим избил батюшкиного сына, — кинулся на него даже без предварительной ссоры. Все, кто был рядом, говорили, что он был совсем как бешеный, — даже глаза кровью налились. Потом и его изрядно помяли.

Ночью он лежал опять на сеновале и чувствовал такую злобу и тоску, что даже проклятой луне погрозил в окошко.

Он решил по возможности с Олей не встречаться.

— Уж теперь, поди, целая Ольга Лаврентьевна, — подумал он со злостью.

А наутро, только с сеновала успел слезть, — злой, трепаный, с сеном в волосах, — как у себя же на дворе Олю встретил. Он сначала чуть не убежал, — так ему все вдруг противно стало.

А она спокойно подошла к нему, протянула руку и сказала, обращаясь на вы:

— Про вас, Клим, чего только тут не рассказывают. Правда ли это?

— Чего рассказывают? — огрызнулся он. — А мне-то какое дело? Живу, как хочу.

Теперь, наверное, она обернется и уйдет, как тогда в детстве, когда он ее обругал.

Но она не ушла, а, дотронувшись до плеча Клима, так же спокойно сказала:

— Пойдем поговорим, как в старину, — и повела его в свой сад.

И Клим пошел покорно, не умел не пойти.

Сели на ту самую скамейку, где сидели, когда отец Лаврентий умирал. Оля смотрела внимательно и без злобы.

— Чего вам неладно так? Чего вы хотите?

Клим продолжал злиться. И начал он ей отвечать сначала, главным образом, для того, чтобы показать, каким он теперь совсем другим человеком стал, — настолько другим, что, пожалуй, не о чем им и говорить. Он будто хвастался своим озорством, выискивал каждую мелочь, которая могла бы покоробить Олю.

Но потом он увлекся сам своим рассказом и уже попросту стал говорить, как в сельскохозяйственном училище революцией занимался, как весело было в минуты, когда самый большой риск настает, как он хотел этому делу весь отдаться, как ему в станице тоскливо, как не знает он, на что ему свою жизнь деть.

И Оля слушала так, что Клим был уверен, — она все понимает, она даже за битого семинариста не сердится, — да и куда семинаристу до нее?

Кончил он рассказ свой, а потом взял ее за руку, — совсем осмелел, — и промолвил:

— Понимаете, Ольга Лаврентьевна, простору мне нет, душно мне. И неужели же сейчас на земле никому подвиги

не нужны? Просто счастием было бы, если бы кто-нибудь сказал: Клим, соверши невыполнимый подвиг.

Тут и Оля ответила впервые на все его слова:

— Значит, корабль ваш уже совсем оснащен, а реки-то поблизости и нету.

Она любила так, красивыми словами, говорить.

Это понравилось тоже и Климу.

— Да, реки нету. На всякую реку согласен бы был, — хоть кровавую, — лишь бы плыть.

Оля остановила его:

— Это все уж лишнее. Вам, наверное, подождать придется... Очень мне хочется сказать вам что-нибудь такое, чтобы вам легче стало. Да не знаю... Разве вот что, — если, впрочем, это для вас значение имеет, — по-прежнему в вас верю и не прощу вам, — слышите, не прощу, если вы зря свою жизнь потратите.

И видел Клим, что она и вправду не простит, — такое лицо у нее вдруг сердитое стало. Он молчал.

А Оля только прошептала:

— Ну, прощайте, — и быстро пошла к своему дому.

Клим еще остался сидеть на скамейке в батюшкином саду. Задала ему Ольга Лаврентьевна загадку. С какого конца решать начинать, — не придумаешь.

Потом встречались они еще, но мельком. А в середине лета обе сестры уехали к подруге гостить.

На прощание Оля просила Клима писать ей, но он сразу решил, что писать не будет, потому что слишком много ошибок делает, — еще засмеет его она.

V

Стали Оля с Наташей в городе жить. Быстро почувствовали себя совсем другими людьми. Слишком многого пришлось насмотреться, слишком сильно пришлось хлебнуть и радости и печали.

Радость первая и самая большая, — они взрослые, гимназия позади, впереди широкая, необъятная жизнь.

Радость вторая, — из скучного уездного города переехали они в Петербург, людей узнали таких, о которых раньше только в книгах читали, жизнью живут такой, какая раньше им и не снилась.

Печаль самая большая, — что и старуха тетка умерла теперь, — одни они остались на всем Божьем свете.

Печаль другая, — что много мыслей, и сил, и времени отдавать надо на то, чтоб себе ежедневное пропитание зарабатывать.

Так просто сказать об этих радостях и печалях, — будто и нет ничего особенного, — а переживать их трудно, ох, как трудно; по-новому надо на весь мир взглянуть, чтобы в себе силы найти все как следует рассудить и на свое место приспособить.

Наташа как-то ловчее оказалась: кончила зубоврачебные курсы, к какому-то дантисту в помощники поступила. Днем чужие зубы ковыряет, рубли собирает, а вечером в театр пойдет, в концерт или просто в гости поговорить с людьми о разных вещах.

А Ольга человек путанный. Все ей мало. Все чего-то огромного хочет. Вот обидел ее Господь, что крыльев не дал, — она бы уж полетать сумела. А так, на простые земные дела у нее охоты никакой нет. В театральной школе была. Понятно каждому, что от театральной школы толку большого быть не может, а она все же поступила туда, полгода зря потратила, потом только за ум взялась и бросила.

Поступила просто в какую-то контору на машинке стукать, — лишь бы о заработке не было неотступной мысли, лишь бы хоть как-нибудь проканителить время до того, до главного, что в ее жизни непременно быть должно.

Наташа просто говорит:

— Замуж выйду за кого-нибудь. Все, мол, замуж выходят.

А Оля так не скажет, потому что любовь у нее не простое дело житейское, а такое, что только избранным душам дается и что всю жизнь воспламенить должно.

Когда война началась, Наташа со своею зубодерной наукой и на фронте понадобилась. А Оля на войне не нужна, да и война Оле тоже ни к чему.

В то время началось в ее жизни то, чего она ждала, — пламень этот, который должен был все спалить.

Надо заметить, что уж в эту пору она о станице Хлебной и не вспоминала.

А началось вот что, — любовь. И как началось, — сказать нельзя, потому что теперь Оле кажется, что так эта любовь всю жизнь с нею и была.

Господи, целую вечность, — год тому назад, — познакомилась она с ним, с Акинфиевым, с Сергеем Сергеичем. Теперь вспоминает, что с первого слова поняла, куда это знакомство приведет. А тогда даже Наташа ничего в ней особенного не замечала.

Акинфиев был присяжным поверенным, старше Оли лет на двенадцать; даже волосы на висках начали у него раньше сроку серебриться. Говорить он умел очень хорошо и даже возвышенно, и казалось Оле, что он умел каждую ее мысль возвысить. И была Оля перед ним маленькая и глупая, — вся в один комок собранная, — вот кинется этот комочек к ногам Сергея Сергеича, — делай, мол, со мной, что знаешь, — я сама себе не нужна, а если тебе понадоблюсь, так радости большей не надо.

Сергей Сергеич смотрел на нее благожелательно и принимал всякое ее такое кидание ему под ноги, как нечто естественное и непротивное ему.

Когда же один раз они вдвоем весною гуляли по островам, он даже сам очень возвышенно и тонко сказал ей, что любит ее, что готов ей посвятить всю свою жизнь, если бы еще больше, — больше всего на свете не любил бы свободы своей.

— Вот, — говорит, — как этот ветер, что с моря дует, свобода моя. И променять ее ни на что не могу и не хочу.

А потом опять о том, как ее он любит.

Оля сказала ему, что понимает его очень, что никогда не посмеет после этого о его свободе подумать с жадностью, что подчиняется его воле, потому что для нее самая большая радость знать, что он ее любит, так как у нее в душе кроме любви к нему ничего другого и не осталось, — вся в эту любовь претворилась.

И за руку шли они домой. А у Оли был такой сияющий вид, и такой вместе с тем скорбью мерцали ее глаза, что ни один прохожий, наверное, не мог бы сказать, что это, — невеста ли радостная встретилась ему на пути или вдова неутешная.

Сергей же Сергеич продолжал ей много говорить о своей любви и свободе, сам не понимая, что этой свободой делает он ее рабою, а любовью лишает любви.

И после этого разговора начала Оля гореть, — того, наверное, и хотела, когда о пламени мечтала.

Сидит в своей конторе с желтыми стенами, стукает на машинке и сама не понимает, что стукает, — буквы сами ложатся на бумагу. Ей же легко на душе и пусто. Правда, только крыльев не хватает, чтобы свой огонь яростный до самого неба донести.

А старый конторщик посматривает на нее, поглаживает бороду, улыбается тихо. И грустно ему почему-то на нее смотреть, — даже сердцу больно. Или свою молодость далекую вспоминает, или видит, как сжигается Олина душа в пламени любовном.

Так жила Оля, — без ответной любви и без свободы.

А Сергей Сергеич жил и с любовью, и со свободой. Ему душу пламя не сжигало. Свобода его слагалась из многих составных частей: из длинных речей, произносимых им в суде в качестве защитника, из таких же длинных речей, произносимых в заседаниях комитета партии народной свободы, из частых посещений букинистов на Литейной, где он покупал редкие книги, из вечной радости, что у него в кабинете так чисто и так тепло, и так располагает к работе, и,

наконец, из права прийти вечером в комнату к Ольге Лаврентьевне, целовать ее руки и смотреть в ее большие, немигающие и неблещущие глаза.

Сергей Сергеич дорожил своей свободой, потому что считал себя человеком общественным, призванным служить отечеству. И на самом деле он хорошо мог рассказывать, что отечеству нужно будет послезавтра и какими средствами этого нужного добиться. Вот насчет завтрашнего дня у него не все так благополучно было: никак не мог он найти того мостика, который соединяет существующее с должным. И происходило это, наверное, от того, что мостик такой дается только волевым людям, а у Сергея Сергеича в душе воли-то настоящей и не было, хотя о воле он много любил говорить и считал себя носителем ее.

Может быть, и Олину любовь отверг он, главным образом, потому что хотелось ему лишний раз в своей воле убедиться: хочу, — люблю, хочу, — и запрещу себе любить.

Тут-то ему удалось волю свою проявить потому, что от непривычного отказываться ему легко было, а к привычкам своим был он сильно привязан. От них, пожалуй, — от своего спокойного кабинета, от речей своих длинных и от пыльных магазинов Литейных букинистов, — отказаться бы не сумел. Жестокая вещь, — воля железная, — все на своем пути дробит и ломает.

А пожалуй, еще жесточе эдакое вот стремление к воле, без стержня внутреннего: все вокруг покалечит, — не доломает, не уничтожит, вечно теплит надежду, что все еще может на хорошее повернуться, вечно теребит, покою до самой смерти не дает.

Так и у Сергея Сергеича выходило.

Сильный человек, волевой, сразу сказал бы Оле:

— Не быть мне связанным с вами на всю жизнь, — просто потому, что я вас мало люблю. А чтобы не мучиться вам, надо нам с вами навсегда расстаться.

Оля бы страдала долго и сильно, но уж знала, что этого слова изменить нельзя.

Сергей Сергеич и от любви ее отказался, и не отошел от нее. Так и осталась она рабою его, калекой.

Но она-то, конечно, этого не замечала, — где заметить, когда вся душа пламенем переливается?

Она вообще ничего не замечала, — ни того, что война уже третий год продолжается, и по улицам то и дело полки на фронт идут, ни того, что еще что-то новое надвигается на Россию, шепчутся люди, довольных нет, все ненавистью живут, все ждут скорого разрешения.

Осенью поздней получила она неожиданно короткое письмо от Клима. Первое письмо. Писал он так, будто только вчера расстался с Олей и живет она их последним разговором и до сих пор.

«Дорогая Ольга Лаврентьевна! Вот воюю, воюю, — и конца этому не видно. Но по справедливости надо сказать, что тут хоть и тоскливо, да не так, как в Хлебной было: река намечается. Только думаю, что будет река моя не иначе как кровавая. Зря жизни своей не загублю. Обо мне еще в каком большом деле услышите. Тем и рад буду. А какое дело, — сказать еще не могу, потому что время наше неопределенно. Вас каждую минуту помнящий Клим Барынькин».

И за чтением этого письма застал ее Сергей Сергеич. Она ему рассказала все о Климе. И впервые начала вспоминать о детстве своем, о золотых просторах пшеничных, о житье легком и сытом, привольном и солнечном, как оно помнилось ей в станице Хлебной, — по праву столице пшеничного царства.

И странно, — Оля никак не могла вспомнить, какая там осень бывает и какая зима, — все мысли были только о золотой летней пшеничной поре.

Сергей Сергеич не очень внимательно слушал ее, а над письмом Клима посмеялся чуть-чуть: тут, мол, вот какие люди путей ищут, да толку нет во всероссийском безвременьи, — а вдруг путь этот мерещится, — кому же? — казаку простому, Климу Барынькину... Барынькину...

— Вот начнутся после войны волнения, — сказал он, — начнет нас ваш Клим нагайкой полосовать, — в герои выйдет.

Оля промолчала. Ей чудилось, что в комнате ее серой, с промозглым небом за окнами, с тяжелыми шторами, — вдруг пронеслось легкое дуновение ветра, вдруг запахло благодатной пшеницей золотой, вдруг солнце метнуло искры свои.

Но она отогнала воспоминания эти от себя: надо было приниматься за подвиг свой, — нести ношу свою непосильную, любовь безрадостную и безответную.

VI

Клим пошел на службу задолго до войны.

Сначала показалась она ему еще несноснее, чем жизнь в Хлебной. Одолевало то, что все по порядку налаженному жизнь строить надо, — да еще то, что он в самых младших был, — все кругом начальство, — хоть дурак, да начальство, — знай тянись перед всяким.

Служил он в Тифлисе.

Только это и хорошо было, что город новый, а жизнь вокруг не казачья, неизведанная.

В редкое свободное время шатался он по проулочкам старого Тифлиса, смотрел, как вокруг него толпа снует, — русская не русская, грузинская не грузинская, — и не поймешь какая. Армяне, татары, курды, персы, грузины, — сбор всей Азии, черноволосый сбор.

Одни в халатах ковры пестрые продают, другие в своих духанах терпким кахетинским торгуют. Персы щурят длинные свои глаза, сидят на солнцепеке в круглых бараньих шапках перед фруктовыми лавочками.

А соберется вся эта азиатчина вместе, — и толпа небольшая, — нашумят же, как целый полк солдат не нашумел бы.

Стали Клима в караул отряжать, Метехский замок сторожить.

Ночью луна в небе высоко. Кура, узкая и мелкая, будто не воду, а серые помои катит, громко гремит камнями и

клокочется. А за спиной толстые стены Метехские, — в узких окошечках свет еле желтеется.

— Слуш-ай... — раздается в ночи; да арба за Курой скрипит, да летучие мыши бесшумно летают...

Клим любил эти ночи, — чего только он ни передумал в них, — станицу родную, правда, редко вспоминал, — больше в дали сердце его просилось, — до самой грани земной, где начинается никем неведомое Индейское царство, звенят колокольчики на высоких крышах, жизнь совсем другая, легкая, прозрачная, лишенная того груза, каким наша жизнь пропитана.

Конечно, так думал он только тогда, когда все передумано взаправдашнее, когда долгий путь весь в мыслях измерен не сказочной меркой, а самой простой человеческой, — вот что завтра делать, а что послезавтра, а что после службы.

Все будто ясно. Есть такие пространства в пути, что, пожалуй, и тяжеленьки для него, простого станичника будут, — ну, да лишь бы время скорее бежало, лишь бы не мешкать в пути.

С товарищами своими по службе Клим ладил очень. Его любили за удальство и побаивались, пожалуй, за то, что перечить себе он не позволял. Вроде старшего он у них был: от него все затеи, за то ему и нагоняй от начальства.

Но особенно ему в службе противно было то, что вот военный он, — на действительной, — а все это не на самом деле, игрушки детские, канитель одна, — потому что в военном человеке толк только когда война есть, а иначе он, как соление впрок, — без толку своей очереди ждет.

Войне обрадовался поначалу. Даже не подумал, что она ему невесть на какой срок службу затянет. В станицу возвращаться ему особой охоты не было, а уж раз приспособился к ученьям всяким, к караулам и к строю, то обидно было бы бросать это дело, не показав себе и людям, впрок ли ему это учение пошло.

Сначала их погнали на Турецкий фронт. Опять первое время казалось глупым, что главный враг и не турок вовсе, а непроходимые Армянские горы.

Но это было недолго, — скоро и турок встретили... И пошло...

Конечно, воевать страшно, но от этого, наверное, и весело. Почти то же, что на краденом жеребце скакать, — свою жизнь под пули носить. Сердце летит куда-то вниз и замирает сладко, а потом будто берег почувствуется, — выносит нелегкая, — спасение близко, — тогда уж совсем себя не помнишь, не видишь лиц противников, сгрудившихся тесно, не слышишь ничего, пока откуда-то не налетит волною — «ура» — не захватит всего, не понесет с собою дальше, дальше...

Так во время конных атак бывало, во время дела.

Хорошо тоже было во время глубоких разведок, когда ползешь между камней в темноте и все время думаешь, что рядом за утесом враги притаились. Как игра азартная, — кто кого? Вывезет ли кривая?

Но нестерпимо тоскливо бывало во время медлительных наступлений или отходов, во время стоянок и отдыха. Тут были уж такие беспросветные будни, что таких в самую даже осеннюю погоду и в станице не бывало.

Под Саракамышем Клима сильно ранило. Его часть была на фланге. В самом бою участвовала мало. И ранило Клима случайно как-то. Вообще же в полку мало было потерь.

Рана была в живот, — жар поднялся. До железной дороги его четверо суток на волах везли, — по руслу какого-то пересохшего ручья, — с камня на камень, — голова как арбуз по арбе перекатывается.

Доктора не думали, что он выживет, а он сам ничего думать не мог, потому что без памяти недель шесть провалялся в Тифлисе.

Но железный человек был Клим, — выздоровел, — медленно только дело на поправку шло.

Получил он на полгода отпуск и опять в станице оказался. С Георгием приехал, — героем.

И Георгий, и ранение, и похудевшее лицо, и более степенное поведение, — все сильно изменило отношение станичников к нему. Уж даже Климом Семенычем и вправду стал.

Отец же начал разговоры с ним, как с равным. Как-то женить его предлагал. Но Клим наотрез отказался: где тут жениться, — во-первых, война неизвестно когда кончится, а во-вторых, он еще относительно себя ничего не решил.

Семен Петрович вспомнил, видно, что и сам женился поздно, человеком уже окончательно сложившимся, и не настаивал.

Были у них и другие разговоры, — уж совсем, можно сказать, дружеские. Разъяснял Клим отцу, что война теперь всем людям дороги перепутает, и если постараться не робеть и свою линию все время помнить, то можно очень далеко пойти.

— Пойми, батюшка, каждому умирать, — хоть там и за родину, — а не хочется все же. Потому и можно выйти в самые отчаянные герои, — против всех отличиться. И не так это уж мне опасным кажется, — потому что вот ранили меня все равно что в тылу, а многие по несколько суток из боя не выходили, — целы остались. Тут, значит, все случай, — беречься не приходится.

Семен Петрович не отговаривал сына выходить в первые герои — и бесполезно было бы, и самому ему нравилась мысль, что вот найдет, наконец, Клим себе широкую дорогу, — действительно, ведь от такой небывалой войны всего ждать можно.

После отпуска пришлось Климу уже на Австрийский фронт ехать, на немецкую науку военную смотреть. Как раз вовремя поспел, когда весь его полк перебрасывали.

В Севастополе был царский смотр. Государь обходил казаков, разговаривал с ними. Клима спросил, какой станицы

и женат ли, — и при этом очень застенчиво улыбнулся. Клим долго потом вспоминал его голос.

Вот человеку от рождения дорога дана. Знай, расширяй ее только. А, пожалуй, ему-то она и ни к чему, — голос такой у него и улыбка застенчивая.

Война на Австрийском фронте оказалась совсем другой, — много подлее, но, пожалуй, и легче.

Было и тут все ничего, пока наступали, брали Карпатские высоты, да и потом, когда началось отступление, — пришлось казакам тыл прикрывать, показывать себя всячески.

Но нестерпимо скучно стало, когда все остановилось и начало ждать неизвестно чего.

Кроме того, у Клима и личные его дела очень плохо обернулись. Вернулся он в полк и стал воевать сразу со всей отчаянностью и удалью, на которую только может быть способен такой безудержный человек. К концу первых боев он уже считался воякой и исполнителем приказов, какого другого и не сыщешь. Командир смотрел на него как на правую свою руку.

Дело так пошло, что стал Клим думать уже о производстве.

Однако других и хуже его произвели, а ему вместо того Георгия третьей степени дали.

В следующий срок опять не захотел командир лишаться Клима и вместо производства получил он Георгия второй степени.

Наконец, так вышло, что все самые последние вояки начали его обскакивать.

Клим злился на это, и мстительное чувство росло у него ко всем новым благородиям, которые теперь могли его заставить тянуться перед собой, а по делам были совсем ниже его.

Вот в это время на Клима опять все это прошлое нахлынуло, — стал он думать, что годы идут быстро, а толку все никакого не видно. Почувствовал он себя опять кораблем оснащенным, а реки нету.

Оля вспомнилась, к ней душа запросилась. Верит ли теперь в судьбу его или просто забыла? Ведь за такие страшные годы кто новым человеком не станет? — и она могла измениться.

Но чем чаще вспоминал он это все, тем сильнее росла в нем уверенность, что все неизменно и в Оле, и в судьбе его, — будто война не через его душу прокатилась, а только рядом прошла. И весь путь начинать надо с той точки, где он до войны остановился.

Тогда-то он и написал Оле письмо, над которым Сергей Сергеич подсмеивался.

А тут вскоре, в минуты, когда он ждал и сомневался, — река бурная где-то прорвала плотину свою, разгромила всю жизнь устоявшуюся, перевернула все вверх ногами, забурлила, заревела и, — нежданная, негаданная, — сама пенной волной своей Клима обдала, подхватила его, закружила в мутных своих просторах, понесла быстро и уверенно, так, что казалось ему, — для него она и хлопочет, для него в обломках весь старый мир по течению разметан...

Началась революция...

Клим сразу вошел в революционную работу, — сначала был избран членом полкового комитета, а вскоре стал его председателем.

Обида на обогнавших его прапорщиков укрепляла мысль, что теперь, мол, надо сосчитаться за старое, теперь все выскочки и прихвостни царского времени должны поплатиться за все. И так повел он себя, что вскоре все они поодиночке покинули полк, — поняли, что слишком им рискованно с Климом, облеченным доверием казаков, в одном месте служить.

Но наряду со злорадством и с желанием расплатиться за все старое в душе Клима была в это время уверенность, что войну надо во что бы то ни стало продолжать, потому что без нее и воды-то в реке взбунтовавшейся не окажется.

Говорил он об этом много и очень горячо; с генералами умел даже хорошо объясняться.

Удивлялся все, что генералы эти, — люди большие и ученые, вышедшие давно на широкую дорогу, — в конце концов, такие же люди, как и все. Мало у них хотения настоящего.

А вот он... Он ли не умеет хотеть? А пока все толку мало. Начальство новое, революционное относилось к нему хорошо, — товарищ Барынькин, за руку здоровается, — а ведь и для них он такой же, пожалуй, рядовой, как и для генералов, — только рядовой от революции. Это решил Клим преодолеть, потому что и воли и ума у него достаточно было.

Преодолеть, — это значит найти свой путь, — не говорить то, что теперь все говорят, — отечество в опасности, кинжал в спину революции и прочее, — а надо сказать что-то такое, что мало еще кто слышал, что слушатели целиком на его счет отнесут, и тогда уж обязательно за ним пойдут, какой он такой, Клим Семенович Барынькин.

И надо сказать такое, чтобы каждому понятно и желательно было, очень простонародное, очень доступное всякому солдату-серяку. Потому что теперь именно в серяке все дело, а генералы всякие, — военные и революционные, — одинаково без сил, если серяку по сердцу не придутся.

Эти мысли не долго были так неопределенны в голове Клима. Революция ширилась. Война казалась ему уж и ненужной. Стали доноситься до фронта голоса большевиков.

Клим несколько времени прислушивался к ним внимательно и следил, какое они впечатление на других производят. Наконец, объявил себя большевиком, стал доказывать, что война для простого человека ни к чему и если уж воевать, то против врагов внутренних, которые хотят революцию в пользу буржуям повернуть. И кончил он тем, что провозгласил мир хижинам, войну дворцам.

Солдаты и казаки, слушавшие его, подхватили эти слова громким «ура», и он единогласно прошел в корпусный комитет, — это уж значило быть большим человеком.

Вскоре и в Петрограде стала упоминаться фамилия Барынькина, — речами своими добился он того, что целый участок фронта был в его руках.

У него же было ощущение, что он не сам даже все это совершает, что какая-то посторонняя воля овладела им, и так надо, — иначе нельзя.

Заразой настоящей становился он. Заражал солдат каждым своим словом, и сам заражался от них их злобой и усталостью, а от этого становился сильнее, всенароднее.

Тут только для полной справедливости надо рассказать со всеми подробностями, как впервые на этом его пути кровь появилась, а появившись, все дальнейшее определила. Надо рассказать это, чтобы лишних мыслей ни у кого не оставалось, чтобы были люди поначалу только в своей вине виноваты, — и ее хватит, — без всякой чрезмерности.

Поражая тех, кого он мыслил врагами народными, ежедневными своими речами, Клим постепенно стал чувствовать сам к каждому из них острую ненависть. Тем более, что в первых рядах этих врагов оставались все те же произведенные за время войны офицеры, которые все ему предателями казались.

А главное, — он внушал эту ненависть еще сильнее и острее тем, кто его слушал.

Вскоре все солдаты знали, что врагами народными надо считать всех, кто не хочет согласиться с двумя главными солдатскими требованиями: мир во что бы то ни стало и земля народу сейчас же. Всякие резоны почитались барскими выдумками, призывы к терпению — преступлением, проповедь наступления — прямым предательством народного дела.

Страсти быстро росли. Сначала они находили себе выход в многочасовых спорах и пререканиях, — но потом этого стало мало.

Молодой и горячий поручик, выступивший на митинге с речью о том, что армия обязана защищать революцию

штыками от императора Вильгельма, — пал первой жертвой самосуда.

Никто не мог бы сказать даже, как это случилось, потому что к поручику относились солдаты неплохо. И Клим чувствовал, что, может быть, его ответные слова поручику были для того смертным приговором, но сам себе в этом чувстве не сознавался, потому что ведь его, — поручика, — он убивать не хотел, а говорил только вообще о том, что такие поручиковы мысли преступны.

Да и никто в отдельности из толпы себя убийцей не чувствовал.

Но, несмотря на это, всем стало ясно, что убивать легко, не только когда пули летят в невидимого врага или когда в пылу атаки не помнишь себя, но и тут, среди своих русских, когда вот был только что поручик среди них, — потом все сгрудилось, охнуло что-то, тяжело задышали солдаты, — и нет поручика, — только куски растерзанного мяса, — на одном куске погон болтается. Совсем нет поручика, — будто и не было.

И стала толпа как пьяная.

В это время на несчастие проезжал в автомобиле начальник штаба дивизии.

Остановили автомобиль, речей потребовали.

Увидал начальник штаба кровавое мясо перед своими ногами, — не так, наверное, от испуга, что-то сказал... Пьяная кровью была толпа, сумасшедшая... И убили начальника штаба, — штыком в грудь один солдат хватил.

Это уж было как-то нагляднее, явственнее, — не то что исчез, — а вот он, убийца, стоит.

Замолчала толпа. Потом медленно стала расползаться.

Клим прямо в степь пошел, один. В висках у него стучало, и был он тоже нетрезвый сейчас. Сам даже понимал, что пьян он этой пролитой кровью. И казалось ему, что пьян он теперь как бы на всю жизнь.

К началу большевицкого переворота сила Клима была хорошо учтена в Петрограде. О нем поминал даже в какой-

то своей речи и Ленин. Перед ним открывался широкий простор взбаламученного моря. Надо было только крепить паруса и точно знать, куда плыть.

VII

Быть может, во всем огромном Петербурге только Оля не понимала, какое великое чудо совершается. Поглощенная сама собой, она не видела, как запенилась жизнь, как рвется и стремится все к неизведанному. И даже Невский, летний Невский девятьсот семнадцатого года не поражал ее необычайностью своей.

Но она знала, что совершается революция, она знала это, потому что Сергей Сергеич стал приходить к ней реже и всегда как-то по-особенному взволнованный.

Сначала он радовался очень всему совершающемуся: мостик между настоящим и будущим был перекинут самой жизнью. Теперь только берись за дело и осуществляй все, о чем столько лет говорил.

Да он за дело действительно взялся: стал председателем какой-то подсекции, которая новые законы обсуждала, писал для своей подсекции доклады, оспаривал мнения председателей других подсекций. И свои дела он считал ужасно важными для отечества, — даже удивлялся, что кто-то торопит их, — жизнь теперь могла бы и подождать, пока новое здание законов выведут, по самым ученым образцам, лучше, чем в Германии, какого и в мире нет.

И уверовав в великую пользу своей работы, он как бы даже и забыл себя, — особенно ту сторону своего существа, которою был повернут к Оле. Ведь перед событиями даже любовь, — мещанство. Да вдобавок Оля так далека от всего, так не может заразиться всеобщим напряжением и восторгом.

Это его ужасно злило и раздражало в ней.

Особенно, когда революция начала забирать все выше и выше, и вдруг со всех сторон послышалось ему, что теперь

он со своей работой, пожалуй, и не очень-то уж нужен, — годилась бы его работа, если бы русская история постепенный путь избрала, а так все это уж ни к чему.

Тогда он и раздражению своему на Олю полную свободу дал.

Сначала сухо и строго пытался ей доказать, что не время теперь для совместного вечернего сидения. Но она на все эти слова открывала на него шире огромные свои глаза и смотрела на него тоскливо.

Наконец, когда все во внешнем мире ему уж окончательно не понравилось и когда он почувствовал, что не знает теперь, как дальше ему быть, обрушился он на Олю: она оказалась во всем виноватой. Она цепями висела у него на руках, — а он человек общественный, он должен быть свободен, у него руки должны быть развязаны.

Опять только смотрела она на него жалобно.

Тогда как-то по телефону пригласил он ее к себе и просил помочь в старых бумагах разобраться.

Она пришла покорно.

В кабинете у него топился камин, но старых бумаг не было видно. Только небольшую пачку Олиных писем передал он ей, которые она ему давно писала, когда он в Финляндию отдыхать уезжал.

— Вот, Ольга Лаврентьевна, что ненужное, сжечь надо.

И присев около пылающего камина, опустив голову низко, сжигала она ненужное, — письмо за письмом, — все свои письма сожгла.

Слезы подступали ей к глазам, и мука была нестерпимая чувствовать, что он на нее смотрит, как она свои письма сжигает.

Зачем он так поступил, он и сам хорошенько не знал. Наверное, чтобы пробить ее броню бесчувственную, чтобы заставить ее понять по-настоящему, как она ему мешает, как уже напортила много в его жизни.

И он добился своего.

Сожгла Оля письма и сказала, помолчав:

— Я, Сергей Сергеич, в Хлебную думаю ехать, — надо посмотреть, как наш дом там. Да и в конторе моей сейчас работы почти нет, — наверное, скоро закроется.

Он молчал. Ему это было весело слушать, — хоть что-нибудь по его выходит.

Тогда Оля встала, спокойно попрощалась и на пороге только еще добавила:

— Вы помните, Сергей Сергеич, если здесь все плохо будет, в Хлебной всегда вам переждать можно. И если устанете, — тоже приезжайте туда.

И ушла.

Наташе на фронт телеграфировала, звала ее тоже в Хлебную.

В станице дом Малаховых стоял пустой. Новый батюшка давно себе другое жилище отстроил.

Оле пришлось сначала переночевать на общественной квартире. С утра только пригласила соседа одного дощатые ставни отбивать, порядок у себя наводить. Пришлось протопить комнаты, потому что было сыро, пахло плесенью и нежилым помещением. На окнах висела густым слоем паутина, и свет еле пробивался серыми лучами сквозь пыль. Мыши шуршали по углам. На полу валялись клочки бумаги и сор, — видно, последние жильцы не вымели, когда уезжали.

Оля бродила по комнатам, которые показались ей теперь гораздо меньше, чем раньше были, и вспоминала, как они жили в Хлебной. Отца вспоминала, его смерть, отъезд Марьи Андрониковны.

Даже, наверное, и не знала она, в ее ли жизни все это было или только чей-то подробный рассказ она припоминает.

В окна был виден сад, разросшийся, густой. Деревья кое-где уже сильно пожелтели. Дорожек не видно, — травой затянулись. Вообще и в саду чувствовалось что-то мертвое, к чему рука человеческая уж давно не прикасалась.

В первую ночь спать было жутковато. Мыши сильно мешали и, несмотря на топку, было очень сыро.

Эти дни Оля не думала ни о чем. Сразу слишком ясно стало, что соприкоснулись две жизни ее, — детство и юность, — и друг друга исключили, сделали друг друга чужим каким-то, только хорошо запомнившимся рассказом.

Дня через четыре пошла Оля к ближайшему своему соседу, Семену Петровичу Барынькину.

Жена его, Дуня, за это время умерла уже. Сам он постарел очень, брови на глаза нависли, борода стала почти белая. И впрямь на колдуна похож.

Поговорили о станичных новостях. О Климе Оля спросила.

Старик нахмурился:

— Люди говорят, что Клим совсем окаянным стал, — лучше его и не поминать.

Большего Оля от него не добилась.

В тишине и пустоте своего дома перебирала она все, что было с нею за последние годы, и чувствовала себя тоже тихой и опустошенной, как старый дом.

Любовь... Любовь выжгла все в ее душе дотла и сама в этом горении погибла.

Теперь она спокойно вспоминала Сергея Сергеича, без волнения, без тоски, без злобы. Даже могла понять, что многое в нем было не такое, как надо, как ей виделось. И жестокость его к ней определила она правильно: от слабости, — все же бедный он, слабый. Где уж тут любить, когда силы у него на самое главное в его жизни не хватает.

Пожалела его, но пожалела с некоторой долей безразличия.

Сама-то она сильная, что ли? Да, сильная, потому что всю себя отдавать умеет. Не силою сильная, а напряжением своим, которое все ее существо воедино объединяет. И в любви своей была она сильной. Подумать теперь, — столько лет мучения вынести...

Что же дальше?

Пустая душа ничего не хочет. А если хочет, то такого невыполнимого, — сама даже не знает, чего.

Вот осень уже теперь, а душе хочется лета, хочется золотого сияния пшеницы, хочется пронзиться солнечным светом. Как пахнет пыль летом на дорогах, нежная, пушистая; как трещат кузнечики непрерывно; как небо могуче и глубоко. И орел широкими кругами летает над добычей. А в степи призывно стрекочут перепела, — будто незвонкие струны перебирают.

Этого всего хочется душе, — слиться с миром, забыть свою одинокую пустоту.

А тут в окна воет ветер. Дождь барабанит. И кажется, что ничего на свете не существует, кроме яркого круга на столе, освещенного лампой, кроме жалобно поющего самовара, кроме углов, тонущих во мраке.

Да вот еще на полке два толстых переплетенных тома «Нивы» за давно минувшие годы.

О, Господи, долго ли так? Или просто это томление невыносимое называется жизнью, и нет другой жизни на путях человеческих?

Легче и веселее стало, когда приехала Наташа. Она сразу перезнакомилась со всеми новыми станичными жителями, встала на сторону одних, перессорилась с другими, узнала, кто чего хочет и на что надеется, и закрутила колесо обычной станичной жизни, где время летит, летит, хотя дни отдельные и долгими кажутся.

Когда сестры оставались одни, Наташа все хотела затеять с Олей разговор об ее отношениях к Сергею Сергеичу. Но та все отмалчивалась, — не хотелось ей теребить старое, слушать Наташины наставления о том, что все это ужасно глупо, — совсем не так, как у людей полагается.

А потом и сама Наташа бросила об этом говорить, — показалось ей, что тут все кончено, что ничего от старого в Олиной душе не осталось.

С Наташей опять все сильнее и сильнее внешний мир проникал в сознание Оли. Слышала она, как люди волнуются, толкуют о новой большевицкой власти, ждут, чем это на их жизни скажется.

Станица большевиков не хотела, но пока что притаилась, голоса своего не подымала, — авось и так беду отведет, — удастся в глуши своей отмолчаться и отсидеться. Тревожнее и темнее плыли слухи, — станичники становились все молчаливее и затаеннее.

Перед Рождеством случилось в батюшкином доме такое, чего никто ждать не мог. Подъехала таратайка захудалая к подъезду, с нее спрыгнул закутанный человек, вошел на балкон, застучался громко и решительно, в окно и в двери.

— Просто по-хозяйски, — подумала Наташа.

Сергей Сергеич Акинфиев пожаловал.

Оля встретила его ласково, но совсем спокойно.

— Как мертвая, — подумала опять Наташа.

А Сергей Сергеич с первых же слов, злясь и брызгаясь слюною, начал рассказывать, как дело с большевиками вышло, как он раньше говорил, что так нельзя, как никто его слушать не хотел, и кончил, наконец, тем, что вообще русский народ, — удивительный подлец.

И с тех пор ежедневно повелись у них такие разговоры.

Наташа с ним спорила. Оля молчала, жалела и его, и русский народ весь, и чувствовала, что все, — Сергей Сергеич, война, большевики, казаки, — все, все, — не то.

А что то, — не знала.

Сергей Сергеич на ее отношение поначалу обиделся, — уж очень он привык, что у нее в жизни кроме него ничего и нету, а тут вдруг и его в Олиной жизни не осталось.

А потому ему даже как-то легче стало, — можно было проще все говорить и на высокое себя не натаскивать.

И он говорил, говорил без конца, брызгаясь слюною и злясь каждому новому известию. Жизнь их втроем приняла

какое-то совсем обычное течение. Сергей Сергеич вроде родственника брюзгливого очень хорошо прижился в Малаховском доме.

Все ему было холодно, все он ноги как-то по-стариковски в теплый платок заворачивал, дымил своей папиросой и читал нотации и Наташе, и Оле, и всему русскому народу, который его не понял и вот теперь в какую пропасть летит.

Потом станица была долго отрезана от внешнего мира.

Ни газеты не приходили, не приезжал никто.

Потом неожиданно как-то объявилось, что в станице уже советская власть, потому что везде власть советская.

Казаки замолчали совсем.

Но уж чувствовалось, что молчанкой не отыграешься от грядущих испытаний.

Самое же странное было для станичников услышать среди многих других имен большевицких имя Клима Семеновича Барынькина, военачальника очень прославленного и отчаянного.

Но и об этом они долгое время слышали только глухо. И Семен Петрович ничего им более ясного сообщить не мог, потому что от Клима не имел никаких известий.

Подошло дело к весне. Начало уже таять. Зеленя в степи забарахтались. Жаворонки зазвенели в бледном небе.

Потом стал от земли теплый пар подыматься, и дрожали зыбко в этом земном дыхании дальние деревья.

Весна яркая начиналась.

Буйная, славная, смертельная весна 1918 года.

VIII

В тихий вечер услыхали станичники отдаленный гул пушечной стрельбы. Но несмотря на все предшествующие слухи долго не могли понять, что эта стрельба обозначает.

На следующее утро в станицу на рысях ворвались отступающие большевики. Так быстро промчались части по улице, что опять-таки не ясно было, что происходит. Одни

говорили, что немцы близко, другие, — что какая-то украинская армия завоевывает Кубань.

Наконец, через некоторое время вошли в станицу добровольцы.

Был собран сход на площади перед правлением, так что из открытого окна Сергей Сергеич мог слышать каждое слово, которое говорил казакам маленький, сухой генерал, — главнокомандующий Корнилов.

Сергей Сергеич очень волновался и старался узнать у штабных офицеров, на что, собственно, добровольцы надеются.

Те улыбались загадочно и говорили, что генерал Корнилов верит в русский народ и в скорое отрезвление его после большевицкого угара.

Сергей Сергеич пожимал на это плечами и, оставаясь уж вечером без посторонних, только с Олей и Наташей, принимался доказывать, что для генерального штаба странно, по меньшей мере, заменять стратегию верой в русский народ, а тактику, — словами о грядущем отрезвлении.

Несмотря на всю суету, поднявшуюся в станице с приходом добровольцев, казаки были им рады, — может быть, только не очень уж уверовали сразу в их непобедимость, — кучка их, — вот все здесь могли разместиться — даже с обозом своим.

А в красных газетах писали, что против них и непобедимая 39-я дивизия, и какие-то части, прибывшие из Трапезунда в Новороссийск. Кроме того, по станицам большевики мобилизовали казаков.

И казалось, что кольцо красных войск должно окружить рано или поздно непроницаемой стеной кучку добровольцев. Только еще удивляться приходилось, как это они до сих пор по степи крутятся и не попались в железные когти врагов.

А от этого, несмотря на призывы Корнилова, на длинные и проникновенные речи Алексеева, казаки чесали в затылках и молчали.

Идти за ними? — Конечно, — отчего не пойти?

Но сегодня они уйдут, а завтра большевики в станицу ворвутся, — что тогда с семьей и хозяйством будет? Тут станица не так велика, чтоб большевики не могли дознаться в два счета, где кадетская семья и кадетское добро прячется, — а тогда уж расправа будет коротка.

Другое дело, — добровольцы. На Кубани они народ без роду и племени. Свою голову унес и слава Богу, — о других головах им сейчас думать не приходится, — от семей своих давно оторвались. Им, конечно, — обрекшим себя на смертельную борьбу, — никак и нигде нельзя отмолчаться да отсидеться.

Ну, а станичникам, пожалуй, до времени это самое подходящее не подставлять станицу на поток и разграбление красным, помолчать немного, посидеть тихо.

Оно бы, может, и еще какое другое решение казаки надумали, да тут как раз надо было начинать пахать, — все равно в такое горячее время ничего не выдумаешь. — Яровые не ждут.

Так и укатились опять добровольцы в весеннюю степь со всеми своими бесконечными обозами, с Алексеевым на линейке, старым, сморщенным, с Корниловым, над которым развевалось русское трехцветное знамя.

Попала станица в руки красным.

Заявили они, что казаки кадетов покрывают, что ничего другого они от казаков не ждали, — известные контрреволюционеры и нагаечники. И объявили войну самому казачьему духу.

А война эта была такова, что пошли красноармейцы по хатам, где увидят казака, — старика ли, молодого, — все равно, — всадят ему штык в живот или по голове шашкой хватят, — и дальше идут. И так в один вечер было убито народу много, — девяносто восемь человек.

Ночью кутили и бушевали, а утром их как водой смыло.

Так заметно росло с каждым новым приходом в людях что-то звериное, — да просто сказать, — зверями самыми лютыми постепенно все люди делались.

Двадцать девять раз переходила станица из рук в руки. Чего только народ не насмотрелся.

Видал, как пленные в одном белье, белые от страха, подгоняемые верховыми, рысью бежали по улице сами себе могилы копать. Видал, как пировали среди крови комиссары, как те же комиссары на виселице у самой церковной ограды болтались.

И, пройдя через ужас весь, вкусив горькую долю до конца, решили казаки, что надо им гарнизоваться.

Примкнули в конце концов к добровольцам: во-первых, у них без того много казаков, — даже казачье правительство, и Атаман, и Рада по степи вместе с ними скитаются, — потом они казаков только за казачество не судят, — большевики же против самого казачьего духа воюют.

Может быть, и говорить не стоит о том, как в это время жили Оля с Наташей и Сергей Сергеич при них. Чего говорить, когда каждому ясно, что жизни такой не дай Бог никому.

Но все же надо отметить, что по-разному на них кровь и страх сказались.

Всего больше перетрусил Сергей Сергеич, — ведь он считал себя общественным человеком, таким, какого большевикам одна польза была бы убить, потому что повернутся немного времена, и он против них может выступить откровенно, и тем их делу очень повредить. Теперь, мол, против них не сопляки какие собрались, а народ боевой, такой, что Сергея Сергеича слушать станет.

Но сначала этот страх был у него в пределах человеческих и он мог много рассуждать по-умному, как и раньше. А со временем, когда положение никак не прояснялось, опасность же увеличивалась и, главное, — уж очень близко было от окон дома до площади, до виселиц, до винтовок, — даже слышны были из двора правления крики тех, кого вновь вошедшая власть порет, — случился с ним страх, уже переходящий всякие человеческие границы. По ночам ему

спать в темноте было страшно, а днем не хотел в комнате один оставаться. Вдруг как бы малым ребенком стал, — даже плакать начал зачастую.

Смотрела на него Оля и удивлялась, — что от человека осталось.

А иногда после слез и страхов своих неожиданно в исступление впадал, до полного бешенства доходил. Кто бы в станице ни правил, ему тогда ни по чем.

Кричит:

— Я им покажу, я им расскажу, — мерзавцы...

Еле его успокоить можно было. Чуть что, — за свой револьвер хватался.

Наташа просто боялась, что подойдет в таком состоянии к окну и начнет палить в кого ни попало.

А успокоится, — и задрожит мелкой дрожью, ноги в пуховой платок укутает, уткнувшись в Олины колени.

Странно, что и Наташа сильнее Оли поддалась. Уж очень она раньше в жизни уверена была и отлично знала, что почему происходит. А тут такое время, что понять этих причин и последствий, пожалуй, и нельзя. И она в душе своей никак не могла концов с концами свести. Было ей поэтому ужасно томительно и тоскливо.

Оле же отчего-то казалось, что все происходящее она давно в одном мучительном сне видала. И, может быть, поэтому ей все сейчас немного сном казалось. Да, кроме того, она и ничего в жизни объяснить не могла, так что необъяснимость ее не смущала.

А самое главное, — казалось ей с очевидностью, что есть в этой крови, во всем этом ужасе предельном что-то должное, что-то заслуженное всеми, — и ею, и Сергеем Сергеичем, и казаками, и красноармейцами, — что из-под крови и грязи, сквозь дым и чад вдруг выступит в людях настоящее, горящее и рвущееся вверх, чего, может быть, человечество уж сотни лет не видало.

Опять искала она пламени и не боялась скверного, потому что верила, что пламя все очистит.

Это, наверное, так было с нею, потому что, повторяю, она как во сне была, а значит, может быть, до самого конца чувств своих человеческих не осязала простого житейского ужаса всего происходящего.

Наконец, настало будто бы успокоение: больше двух с половиной месяцев большевики станицы не занимали.

Даже Сергей Сергеич не таким плаксивым стал, понемногу рассуждать начал, причину искать.

И довольно быстро причину всех бед нашел.

— Все так происходит, потому что добровольцы по-настоящему государственности не понимают и немного от большевиков даже их пониманием заразились.

А на эту беду он и лекарство сразу нашел. Решил сам в Екатеринодар ехать и все сказать, чтобы на этот счет больше никаких недоразумений не было.

— Просто самому Деникину сказать. Он человек неглупый, — поймет.

Так он и поехал, хотя Наташа особенно сильно старалась отговорить его от этого. Ей казалось, что если не так уж удачно кончится его путешествие, как он рассчитывает, то потом его настроение так упадет, что просто спасения от переменных слез и бешенства не будет.

Перед отъездом он даже совсем загордился, — на Олю с презрением взглядывал. Ничего, мол, глупая, не понимает и к святому делу общественного строительства никак не годна.

После его отъезда тишина в Хлебной продолжалась довольно долго.

Уже осенью стали опять говорить, что красная конница прорвала фронт и может неожиданно в станице очутиться. Но опять этому не верили, потому что добровольцы засели прочно и намобилизовали огромную армию.

Наконец, пришли даже такие вести, что прорвавшейся конницей командует никто другой, как товарищ Барынькин, что добровольцы ничего с ним поделать не могут, что силы у него несметные, а лошади как на подбор.

Тут уж станица заволновалась немного, — коли Клим командует, то, стало быть, конница Хлебной никак не минует.

Таскали Семена Петровича в правление, как отца большевицкого главковерха. Да на его счастие времена немного спокойнее стали, а то ему несдобровать бы. Он успел доказать, что о сыне ничего уже несколько лет не знает.

Его и отпустили с миром.

IX

Клим же действительно стал командиром одной из самых непобедимых частей красной конницы. Случилось это как-то само собою, постепенно.

Сначала он был опьянен своим успехом и чувствовал себя близким к вершине всегдашних своих мечтаний.

Но время шло. Он привык к новому положению своему, и опять прокралась в его душу тоска. Может быть, первейшим врагом его была именно она, а не жизнь прежняя, несвободная, не буржуи-кадеты, с которыми он воевал, не все враги рабоче-крестьянского правительства.

В боях, забывая все, он и ее забывал. Тогда сердце в груди билось, как молот, и вихрем мчался конь, и радовали дикие возгласы и гиканье.

А потом опять становилось непосильно тоскливо. Чем дальше, тем больше.

Надо бы с этим врагом справиться, покорить его, уничтожить.

Как и чем уничтожить его?

А вокруг удалая жизнь, развеселая, пьяная кровью, утратившая память о берегах своих, несется и хлещется пеной. В него, в этот кровавый и пенный поток, с головой ушел Клим, чтоб захлебнуться, чтоб меру забыть, чтоб дни одним хороводом свистели вокруг него.

И стало так, — куда налетит конница Барынькина, там все покалечено. Спадет пьяная волна, — одни обломки торчат.

А добровольцы все становились сильнее, все глубже и глубже вклинивались в самую толщу советской республики. Самым центром своим, всеми силами ломились к Москве.

В Екатеринодаре и Ростове о звоне московских колоколов проповедовали, на священную войну народ созывали.

Положение красных становилось день ото дня труднее. Теснили их по всему фронту. Далеко в тылу лежащие города быстро эвакуировались, потому что не верили в свою безопасность.

Вот тогда-то и пришла Климу мысль, прославившая его по всей советской России.

Он пригласил к себе начальника штаба. Этот уж все должен разработать по требованиям военной науки, — на то его и держат. Да и недаром же, в конце концов, полковник еще при старом режиме четыре года в академии генерального штаба сидел.

Клим начал с ним издали.

— Что, товарищ, похоже, что скоро наше время придет на виселице у добровольцев поболтаться?

Товарищ полковник кисло улыбнулся и поправил пенсне.

— Ну, а что ж на этот счет ваша военная наука говорит?

Полковник только развел руками, а потом добавил неохотно:

— Военная наука говорит, что против силы нужна сила, против знающих специалистов нужны знающие специалисты. А у нас ни того, ни другого.

Клим тогда поудобнее уселся в кресло и начал спокойно выкладывать свой план.

Он предлагал, продолжая бои на главном северном направлении, двинуть отборные части красной конницы на восток, через Царицын к Ставропольскому слабому фронту противника и таким образом оказаться у него в тылу.

Полковник становился внимательнее с каждым словом Клима. Уже не впервые ему приходилось удивляться прирожденному военному дару своего начальника.

— Видите, товарищ Барынькин, с точки зрения современной науки, этот план, конечно, не годен. Но дело в том, что наука считается с техническими условиями, которые сейчас совершенно изменили военное дело. В Гражданской войне этот план, пожалуй, применим. Его надо только разработать подробнее.

И некоторое время в штабах лучшие специалисты давали окончательную отделку плану Клима.

Наконец, в начале осени Клим был назначен командиром особой конной части, которую спешно сняли с фронта.

На главном направлении бои продолжались все так же неуспешно для красных. Они еле сдерживали наступающего противника.

Клим же в это время был со своей конницей в Царицыне и заканчивал последние приготовления к быстрому наступлению.

Он работал со всей безудержностью своей, потому что знал, что в случае успеха последствия этого дела были неисчислимы.

Но все шло так гладко, а разведка давала такие утешительные сведения о слабости белых в этом направлении, что Клим скоро перестал сомневаться в удаче.

Сразу же дело показалось ему совершенно легким, а поэтому и мало интересным.

После этого началась тоска.

Разношерстный народ собрался в коннице Барынькина. Объединялись все ненасытимой жаждой наживы, склонностью к разгулу, легкостью убийства.

Но даже и в этом общем люди разнились.

Одним нравилось перепугать своим приходом село, переловить всех кур, попавшихся по дороге, до смерти застращать девчат, поджечь крайнюю хату, — и дальше.

Другие грабили, как жатву снимали, — переходили из дома в дом, не пропускали ни одного бабьего сундука. И только уж излишки от этих грабежей поступали на пропитие и изничтожение.

Были и менее жадные к бабьим сундукам, но строгие в поддержании советского духа у населения. Эти занимались расстрелами и поркой, искали везде контрреволюцию, заливали весь путь конницы кровью.

Начальник штаба, — все тот же полковник Карпов, был несколько другого нрава, чем конники. Безудержности в нем нельзя было заметить. Больше он любил наблюдать и заранее определять, на что теперь спрос будет, — так и свои познания все к спросу приспособлял.

Но войдя однажды в соприкосновение с жизнью конницы, почувствовав, что все живут в ней, как хотят, он решил и своих желаний не прятать, а по возможности жить так, как это для него весело и приятно. Самогону он не пил, а хороших вин всяких почти не попадалось. Расстрелов и бесчинств не любил.

Но зато от самого Царицына вез он собою очень нарядную и очень накрашенную женщину, которая ютилась то на повозке штаба, то в санитарном отряде, то гарцевала верхом, что ей, впрочем, было очень неудобно, так как платье ее к верховой езде приспособлено не было и ногам делалось холодно.

Эта женщина на стоянках пила не меньше красноармейцев, в походе ругалась не хуже их, имела характер буйный и смешливый и была совершенно безразлична ко всему, что вокруг нее творится, за исключением реквизированных вещей, к которым она проявляла особый интерес. Но мелочей, — тряпья всякого, — она не брала. Только ценное и не очень громоздкое попадало к ней.

Выгрузившись из вагонов и очутившись в Ставропольской губернии, конница еще долго не встречала противника.

Клим ехал впереди.

Здесь степь была такая, как родная Кубанская. В утреннем холодном свете темным золотом блестели скошенные поля. Над головой пролетали косяки журавлей и размеренно кричали, будто звали за собой всех лететь в даль бледного осеннего неба. Дороги, примятые первыми осенними дождями, еще не раскисли. От редких хуторов тянуло

запахом горелого навоза и звонко несся собачий лай. По пути попадались отары овец, кочующих в беспредельных просторах.

Климу хотелось, чтобы время шло быстрее, чтобы скорее все совершилось.

Наконец, добрались до линии противника. Он ничем не подкрепил ее, потому что об исчезновении Барынькина с главного фронта белые не знали. Завязалась перестрелка.

Случайной пулей был убит командир четвертого полка, матрос Агапин. Почти без потерь удалось коннице прорваться на вражескую территорию.

Перед Климом открывалась теперь дорога к сердцу добровольцев, — к Екатеринодару. Белые могли, конечно, спохватиться и выставить еще какой-нибудь заслон против него, но он был уверен, что они долго будут считать его успех успехом частичным, не предположат тут главного удара красных, а потому и заслон выставят пустяшный, чтобы не оголять главного фронта на севере, где бои идут с большим напряжением.

Но все же надо спешить, чтобы использовать всю выгоду от неожиданности прорыва. В быстроте лежит залог успеха.

Вошли в большое село, только что оставленное белыми. Первый разъезд, видно, изрядно похозяйничал здесь.

На площади две виселицы. На одной висел старик какой-то, и ветер слабо трепал его седую бороду. На другой виселице, вытянув толстую шею, болталось тело огромного и тучного человека.

Женщины голосили кругом.

От того, что толпа закрывала ноги повешенных, казалось, что они стоят на стульях, а не висят мертвые. Ветер слабо шевелил их тела, и от этого еще сильнее казалось, что посреди толпы возвышаются два живых человека.

В правлении было все по-обычному, — вносили реквизированное оружие, разгружали подводы со всяким добром, — сахаром, салом, бочонками вина, четвертями самогону. Да и одежды всякой набрали порядочно.

Климу все это было привычно и от того просто нестерпимо противно.

Вообще, как всегда, после боевого напряжения тоска начала одолевать его.

Он вошел в комнату туча тучей.

Под вечер согнали девок со всего села в правление, — песни петь. Они жались друг к другу и со страхом смотрели на веселых солдат, крутившихся вокруг них.

Старик какой-то пришел, со слезами умоляя внучку его отпустить:

— А то что я потом ее отцу скажу?

Сразу решили, что отец в белых. Солдаты начали над стариком глумиться. Девушка заплакала. За ней заголосили другие.

Клим вышел из соседней комнаты. Не спрашивая в чем дело, ударил со всего размаха кулаком в лицо первого солдата, который ему под руки подвернулся, буркнул потом, даже не взглянув на старика.

— Выпороть.

Того схватили под руки и потащили. Он весь побелел даже и закрыл глаза.

Девушки стояли как вкопанные. Слезы даже от страха высохли.

Клим прошел в соседнюю комнату.

Там стоял гроб Агапина. Горело три свечи. Почетный караул вытянулся по бокам. Тело убитого было покрыто красным сукном со стола правления.

Климу было жалко Агапина. С его смертью он лишился одного из лучших своих конников. Главное, что не только сам был он храбрым, но и приказывать умел. Заменить его будет трудно.

Он подошел ко гробу, провел рукой по холодному лбу мертвеца. Потом пристально всмотрелся в посеревшие крупные черты. Смерть всех меняет. Знакомое лицо стало каким-то чужим, будто в последнюю минуту узнал Агапин что-то небывалое и так с этим небывалым и ушел из жизни.

Свечи потрескивали и освещали неровным светом своим сумеречную комнату.

Клим повернулся и уж на пороге крикнул:

— Пусть над товарищем Агапиным дьячок читает. Все должно быть как следует. Последний почет надо ему оказать.

Красноармеец быстро выбежал искать дьячка.

Через полчаса началась попойка. Царицынская нарядная дама предложила влить стариковой внучке немного вина в горло, чтобы она стала веселее.

Несколько человек с хохотом принялись исполнять это.

Потом заставили ее плясать. И перед ней, изгибаясь и выворачиваясь дико, сыпля все время руготней, самой непристойной, носился по комнате солдат с прилипшими ко лбу волосами, с улыбающимся ртом, — и улыбался он, как скалился, — открывал гнилые зубы.

Клим смотрел по сторонам рассеянно, — только морщился иногда. Самогон на него не действовал. У девчонки был испуганный вид. Все они, положим, были не веселы.

А особенно уж надоело на каждой остановке смотреть на этого пляшущего дурака.

В комнате становилось нестерпимо жарко. На дворе начал тихо дождик барабанить.

Выйти разве? Но он не вышел, — там, наверное, тоже пьяные морды, да еще дед где-нибудь после порки стонет.

Пляска была неожиданно прервана, — несколько человек втащили пианино, только что реквизированное у батюшки.

Царицынская дама обрадовалась очень, уселась за пианино и стала барабанить различные польки.

Самогон сильно разобрал плясавшую девушку. Лицо у нее стало красным, глаза заволоклись туманной пленкой. Она шаталась и старалась спрятаться за своими подругами. Танцор шел за нею. Слышались визг и руготня. Солдаты хохотали громко.

Потом, как это часто бывает, наступило короткое молчание. Клим явственно услышал из соседней комнаты голос

дьячка, читающего псалтырь. Этот голос напомнил ему что-то. Так же вот в другой комнате читали псалтырь, так же по-церковному, особенно, голос то повышался, то понижался, певуче растягивая слова.

Где это было? Он не вспомнил.

Опять начался визг и смех. Царицынская красавица сидела уже на пианино, высоко подобрав юбки, и старалась каблуками своих туфель сыграть польку. У нее ничего не выходило. Тогда она с громким хохотом затопала ногами по клавишам. Начальник штаба протягивал ей стакан с вином.

К горлу Клима подступил ком какой-то. Вот, — знал он, — сейчас этот ком подымется, сдавит его, — станет нестерпимо.

А потом вдруг легкость найдет, все поплывет перед глазами, тело само станет двигаться, а сознание будет только рядом, за огромным и грузным телом спешить, будет замечать все, но само ничего не сможет исправить, изменить. Звериная сила одолеет. Зверь-хозяин начнет пировать.

Даже в комнате будто светлее стало, — не так чадили керосиновые лампы. И холодный пот на лбу выступил.

Потом началось... Началось то, что тоску побеждает.

С криками и руготнею вскочил он с места, толкнул по дороге ногою пьяного какого-то, успевшего уже заснуть на полу.

Ворвался в круг девчат.

Его крики подхватили другие.

Девчата завыли сначала, шарахнулись в сторону.

Потом все смешалось. Лампа потухла. Клим уже ничего не помнил. Кровь глухо шумела в ушах. Волна красная несла его.

Мелькнул в глазах корабль оснащенный, весь в пламени. В глазах вообще все время пламя, — пламенные круги.

Плоть человеческая, человеческая буйная кровь... Непонятною тайной прикреплена она к вольному духу Господнему, потом своим и грязью вольный дух облепила.

Что изменилось в душах девчат после Климова неистовства? Ничего не изменилось. Только вольность их на всю жизнь оказалась связанной, только плоть их гирей им на плечи легла, — с гирей этой, с грузом непомерным, никуда уж от себя не уйдешь.

На рассвете проснулся Клим на своей постели. Так в сапогах и спал. Голову ломило и во рту от самогону было противно. В соседней комнате все так же бубнил дьячок над Агапиным. Но сейчас это Климу ничего не напомнило.

На дворе слышался шум какой-то. Делили добычу.

Клим поднялся и вышел на крыльцо.

Начальник штаба с серьезным лицом пришпиливал брошку к воротнику своей Царицынской дамы. А она улыбнулась Климу ласково и значительно.

Вообще он последнее время замечает, что она его всегда такой значительной улыбкой встречает. Вот дура. А впрочем, не все ли равно?

Знал Клим только одну тайну, из-за которой все эти улыбки и вся эта значительность были ему противны. Что человек ни делай, как ни стремись порвать круг, ему назначенный, — безумство, преступления, подвиги, — все равно от себя человеку никуда не уйти, — и не только от себя, — а из душной клетки своей, в которую никому другому подступа нет. Одиноким бирюком живет душа человеческая. А от этого все, — любовь, пьянство, бои, — не лекарство. Так черта с два ему тогда эта любовь, — только муть одна.

Клим велел подать умыться.

Дул ветер. Опять срывался дождь. Небо было серо, и облака низко неслись над землею. Вдоль по улице раздавалась пьяная песня.

Клим велел собираться. Через час нестройная толпа всадников выезжала в степь. Скрипели скачущие рысью тачанки с пулеметами.

Тяжелый конь Клима ступал тихо по лужам. В ушах жалобно выл ветер.

Опять тоска. В этой голой степи под дождем всегда тоска.

Конница почти без отдыха неслась вперед.

Кубанская граница...

Помнит, помнит Клим, что тут он вырос, что тут он начал жизнь свою, — тоску свою, что тут он с Ольгой Лаврентьевной встречался.

И тоска утихла. Предстояло слишком большое дело, — впереди дорога на Екатеринодар была свободна. Клим мечтал уже, как он голыми руками возьмет в плен весь штаб Деникина с ним самим во главе.

Это было настолько важно, так изменяло всю обстановку, такой простор открывало Климу в дальнейшем, что не до тоски ему было.

Как зоркая птица вглядывался он в родные дали, будто гончая следил за добычей. И смотря на него, — красноармейцы знали, — дальнейшее будет важнее всего пройденного пути. Они верили, что товарищ Барынькин даст им победу, лишь бы слепо идти за ним, лишь бы в бою не потерять, где маячит его белая папаха над широкими плечами.

К Климу подъехал начальник штаба.

— Пока, товарищ, все идет блестяще. Если так будет и дальше, то мы можем рассчитывать дня через четыре быть в Екатеринодаре.

Клим ответил:

— Раньше бы надо, раньше. А то, черти, спохватятся. Ведь они по железным дорогам могут подкрепление своей ставке дать.

Начальник штаба только свистнул:

— Не догадаются. Все будут считать это дело частичным своим поражением.

Во встречных станицах не задерживались. Только уставших лошадей бросали, новых брали. Неслись по степи быстро. Врага не было видно.

Скоро, — а надо бы еще скорее.

Завтра на рассвете войдут в Хлебную.

Хлебная... У Клима что-то дрогнуло в душе. А вдруг там сейчас Оля. Нет, что ей там делать в такое сумасшедшее время?

А если там, — что она ему скажет? Как посмотрит на него? С ненавистью? С печалью?

Скорее бы только, скорее... Хлебная тоже не задержит. Надо дальше, дальше... В сердце удар, к Екатеринодару.

Все показалось вдруг таким осуществимым и сильный враг таким слабым, что Клим громко расхохотался.

Он решил в Хлебной не задерживаться. Но разведка донесла, что там обнаружен довольно сильный заслон белых. Это злило его.

Он громко выругался, — затяжка движения могла стать длительной.

Неожиданно после первой перестрелки белые отступили за станицу.

Он решил переждать до вечера. К вечеру стянуть все силы в Хлебную и попытаться опрокинуть противника атакой в лоб.

Может быть, и какое другое решение было бы более правильным, но Климу вдруг почему-то захотелось остановиться хоть на день в Хлебной, посмотреть, — может быть, действительно чудо совершится, — встретит он Олю там.

Сам он себе в таких мыслях не признался бы сейчас. Только въехав уже в Хлебную, он понял, что в решении его мысль об Оле была самой главной.

Вот и станичная площадь. Грязь такая же, как и раньше была. Около правления никого нет.

Клим пришпорил коня и хотел было проехать напрямик, но потом повернул направо и поехал мимо зданий.

Те же знакомые цветные стекла на батюшкином балконе.

Он вглядывается внимательно в окна.

Показалось ли ему? За темным стеклом очертания знакомого лица с большими глазами.

Он ударил сильно лошадь и промчался к правлению. Сердце билось глухо и отрывисто.

«Сама судьба», — подумал он.

И защемило что-то в груди радостно и тревожно, будто гибель была близко.

Через час началось в правлении обычное. Вели арестованных, несли отобранное оружие и добро. Но ввиду близости противника и серьезности положения Клим приказал всем быть в полной боевой готовности и по первому знаку выступать. На этом основании пьянства повального не было, — пили только в одиночку, — кто где раздобудет самогону.

Клим сам допрашивал станичников о силах белых и при каждом ответе становился все мрачнее и мрачнее. Было ясно, что заслон, выставленный против конницы, мало в чем уступает ей. Значит, можно было думать, что бои затянутся и потери будут велики.

У него мелькнула даже мысль просто уйти вечером назад, проскакать за ночь большое расстояние, спутать противника и обрушиться в новом месте на его фронт.

Но потом ему захотелось переждать еще с окончательным решением.

Надо было раньше во что бы то ни стало узнать, не ошибся ли он, когда по площади проезжал.

Спросить кого-нибудь из станичников он не хотел и долго стоял в недоумении.

Потом надел шапку и вышел на улицу.

X

Улицы были пустынны. Холодный закат обнял полнеба и пролился кровью между раздвинувшихся туч.

Опять защемила тоска.

Вот в такой закат, плещущий на землю холодом и отчаянием, особенно близко чувствуется смерть. И вместе с тем она, — смерть, — искажающая людские лица, кажется сейчас такой торжественной и спокойной. Она, — это выход из долгого заключения жизни; она порвет узы, отгораживающие человека от всего мира; она соединит все воедино.

Клим шел мимо знакомых хат. Все казалось мертвым, уснувшим. Приходилось лепиться около плетней, потому что дальше начиналась непроходимая грязь.

Вот большой камень на углу. Вот покосившаяся соседская хата. Потом плетень. И отступая от улицы, в глубине огромного двора родной дом.

Клим нагнулся и прошел в калитку. Старая подслеповатая собака тихо вякнула, но осталась лежать на месте.

Все стало каким-то заброшенным и неуютным за эти годы.

Закат бил теперь красной волной в низкие окна. Не стучась, Клим вошел в хату. Семен Петрович заметил его еще на дворе и встретил на пороге.

Молча остановились друг против друга, и пристально разглядывал отец сына.

Наконец тихо сказал:

— Ну что ж, коли пришел, гостем будешь... Заходи.

Вошли в комнату. Сели. Начало уже темнеть, а лампы Семен Петрович все еще не зажигал.

Климу показалось, что в хате сыро и воздух промозглый какой-то.

Опять помолчали.

И Семен Петрович, продолжая опасливо вглядываться в сына, начал первый:

— Наслышаны о тебе. Прославлен ты там у своих. Ну, что ж? Кому какая судьба...

Клим перебил его и поморщился:

— А у тебя, батюшка, тоскливо как-то.

— Не всем на роду написано веселиться да безобразничать.

Клим промолчал.

Отец продолжал уже вопросом:

— Правда о тебе говорят, что на безобразия другого мастера такого и не найдешь?

И стало Климу вдруг скучно, скучно, опять припомнился закат холодный. Он махнул рукой.

— Тоска... Ты-то, я знаю, это понимаешь... Тоска все.

Потом неожиданно добавил:

— А кто теперь в Малаховском доме живет?

Семену Петровичу все ясно стало. Даже жалость зашевелилась к этому огромному и страшному человеку, который все же для него родным был, надеждой долгой и последней.

— Ольга Лаврентьевна тут... Обе они тут... Повидай их. Изменилась она очень.

— Счастлива?

— Кто ее поймет? Неспокойная она. Наверное, не до счастия ей.

Разговор пошел легче. Клим даже начал немного о своих дальнейших планах рассказывать. Он отчасти хотел теперь похвастаться перед отцом, но старый колдун чувствовал, что хвастаться, может быть, и есть чем, да не это в Климовской жизни главное, а главное, — несытость прежняя, гибельность какая-то. И все сильнее становилось ему жаль Клима.

Наконец, он сам прервал разговор:

— Ну, а дальше, из Хлебной, скоро?

— На рассвете.

— Так спеши, а то поздно будет, — Ольгу Лаврентьевну напугаешь. Да она теперь, пожалуй, тебя все равно и при дневном свете испугается. Навидались мы всего.

Клим нахмурился от этих слов и поднялся.

Отец вышел на крыльцо.

— Ну, желаю тебе всякого... Однако вряд ли все для тебя добром повернется. Все равно себя не преодолеешь. Знай лишь, чего хочешь, и о постороннем не думай.

Попрощались спокойно. Заря уж совсем погасла.

Через сад прошел Клим к забору и простоял долго неподвижно, вглядываясь в одно освещенное окно Малаховского дома. Свет по временам затенялся, будто по комнате взад и вперед ходил человек.

Наконец, он перепрыгнул через забор и тихо подошел к самому дому. Теперь он ясно увидал, что по комнате ходит Оля. Лицо у нее очень сосредоточенное. Глаза открыты широко. Руки за спину заложила.

Он осторожно стукнул в стекло.

Она вздрогнула и быстро открыла окно.

— Кто там?

— Я, — Клим Барынькин. Не прогоните?

Оля заторопилась как-то:

— Входите, входите, я ждала вас.

Через минуту он уже был в ее комнате. Жарко топилась печка... Дрова потрескивали. Оля смотрела на него так тревожно и вопросительно, что ему даже жутковато стало.

Наконец, она усадила его в кресло, а сама опять принялась ходить по комнате.

— Мне, Клим Семенович, вам рассказывать нечего, — вся тут. А вас слушать готова. Все говорите.

Опять, как в детстве, это звучало почти приказанием. Но Клим знал, что и пришел-то он сюда, чтобы все рассказать, все положить перед ней, — пусть судит судом своим, — единственным судом, решению которого он безропотно покорится.

Он закрыл глаза рукою и начал медленно говорить.

Оля молчала.

— Когда я шел сюда, я еще не знал, какой я человек. Теперь знаю... Вы, Ольга Лаврентьевна, слыхали про товарища Барынькина, знаете, что люди его зверем почитают. Люди не врут. Я по-звериному живу. Грабить, — грабил. Насиловать, — насиловал. Убивать, — убивал.

Клим остановился.

Потом продолжал уже криком:

— Одну мерку греха знаю, — грех то, о чем мне вам трудно сказать. Делаю так, потому что хочу. И не надо мне господина надо мною, который мог бы указывать. И вам рассказываю все это, — не каюсь, не каюсь отнюдь. А просто, чтоб вы знали, чтоб вам на минуту в одной комнате со мною страшно стало. Да и так, небось, уже испугались, когда услыхали, что конница Барынькина в станицу ворвалась, — хоть старый знакомый, а долго ли до греха?

Лицо Клима покраснело и теперь он смотрел на Олю вызывающе и насмешливо.

Оля продолжала ходить по комнате. Потом спросила его, глядя куда-то в даль.

— Много вы мне наговорили, чтобы я узнать могла, каким вы теперь человеком стали, а о главном молчите. Что ж, и вы довольны?

И сразу Клим догадался, что она о главном его уже знает, поняла.

Опять он опустил голову.

— Понимаете, Ольга Лаврентьевна, если бы бой или разгул никогда не прекращался, я бы, пожалуй, счастлив был, себя бы не помнил. А так, — промежутки есть... Вот закат сегодня... Вы не обратили внимания? Закат сегодня такую тоску нагнал.

— Чего же вы стараетесь?

Клим шепотом ответил:

— А вдруг... Понимаете, — верю еще, что вдруг случится такое... что такого достигну... Радость будет...

Оля была по-прежнему спокойна, только увидал Клим в глубине ее глаз искорки какие-то: слезы, может быть, наливались и зрели в ее глазах, не блестящих таких, будто не видящих вблизи ничего.

Она провела рукой по лбу.

— Ну, а теперь скажите, — ведь коммунист вы? Правда?

Клим даже улыбнулся:

— Это вы насчет Ленин-Троцкого и рабоче-крестьянской? Вам откроюсь. Мне на них совсем наплевать. Дела

мало. И о коммунизме не думаю никогда. А все не в этом совсем заключается. Нам с ними очень по пути. Но, может быть, и ненадолго. Ну, скажите, кто кроме них дал бы мне волю развернуться? Кто кроме них стал бы меня за полновесного человека почитать? Все другие меня бы в услужении держали, боялись бы, что своим безудержьем прорвусь и беды натворю. А они дали мне направление, — войну эту гражданскую, конницу мою, — жарь, действуй.

Оля кивнула молча головой. Она поняла, видимо, что Клим говорит правду. Теперь она слушала совсем спокойно и что-то соображала.

Потом сказала вопросительно:

— Дорогу дали, а может, и не ваша дорога-то. Ведь если бы настоящая дорога была, то вряд ли с тоской пришлось бы возиться. Может быть, настоящего и не будет. Ну, а если будет, то как бы вам не каяться. Зверь-то сквозь все ваши поры пророс. Пожалуй, уж больше вам с ним и не совладать... Да... Вы еще о страхе говорили. Я ни минуту вас не боялась, Клим, и не боюсь, и думаю, что вам самому страшнее должно быть, чем мне.

Оба замолчали надолго.

Потом Клим встал, побелел весь даже, взял Олины холодные руки в свои и тихо, тихо, почти шепотом стал ей говорить, не отводя своих глаз от ее лица:

— Оленька, милая, родная, я мой единственный путь знаю, с самого детства знал. Только все его заслоняла жизнь... На этом пути тоска уйдет, зверя смирю... Оля, помнишь Индейское царство? О нем я все время думаю. Хочешь, завоюю тебе это Индейское царство. Только смири меня волею своею, не отпусти человека от себя.

Он даже задохся будто.

А потом веселым голосом начал ей рассказывать, как он после победы здесь первым человеком в красной армии будет, как начнут его Ленин с Троцким бояться и не будут знать, куда его силу от себя отвратить. Да он сам им подска-

жет, — он от знающих людей все на этот счет выпытал. Индейское царство коннице Барынькина завоевать очень просто, — там и так народ недоволен, освободителей ждет, изпод английского ига чтобы вызволили. Вот он освободителем и явится, — по всем пустынным пескам, где даже Скобелев не ходил, от моря и до моря пронесется Клим Барынькин со своими конниками. А Москва, — даром что поначалу думала от него таким путем надолго отвязаться, — Москва тогда волей-неволей с ним посчитаться должна будет. И посмотрим еще, кто кого одолеет, — он ли, — герой всенародный, или комиссары московские. Да, впрочем, тут-то и смотреть нечего, — с ним будет сила и слава.

— И поклонится мне вся Россия, — так кончил он. — А я ей скажу — вот мои законы, которым следовать надо.

Оля дрожала.

— Это безумие, Клим, это безумие... Индейское царство... Россия поклонится... Так нельзя говорить.

Оля начала плакать.

Клим не понимал в чем дело и даже растерялся.

А Оля причитала:

— Несчастные мы, несчастные... Как же быть-то теперь?

Потом вдруг замолчала.

Клим стоял перед ней грузный, растерянный.

Небывалое совершалось в Олиной душе. Будто горячей волной затопилась ее душа. Налилась любовью напряженной ко всему живому, испоганенному, гибнущему. К Климу этому дикому, к себе, — такой всегда беспомощной, — ко всем людям страдающим по просторам русской земли. И даже не любовь это была, а острое чувство, что все это живет, живет по-настоящему, чувствует все, — как кожу ветер обдул, как Климова шашка на плечо опустилась, как закат холодом своим напугал, как тоска сердце охватила.

Все живое, и она, Оля, тоже живая, и ей, как и всему, больно. И нет разницы между нею живой и другими живыми, — и все неотделимо.

Она подошла к Климу, положила ему руки на голову и сказала:

— Завоюй мне, Клим, Индейское царство.

Потом поцеловала его в лоб и показала рукой на дверь.

Как в детстве, он деловито ответил:

— Завоюю.

И вышел из комнаты.

В саду он сел на глухую скамейку. Было как-то тихо на душе у него. Будто только в самом начале пути был он.

А с площади неслась пьяная песня и визг какой-то. Потом опять все затихло.

В небе, среди мути облаков неожиданно показалась луна, и быстро поплыли ей навстречу разорванные низкие тучи. Клим смотрел вверх. Ему мерещились города с огромными башнями, драконы и старики с горбатыми носами в причудливых очертаниях облаков. А потом он явственно увидал, как к луне приближается огромный оснащенный корабль, — паруса раздуты, стройный корпус плывет, не вздрагивая.

Потом он начал думать об Индейском царстве, о звонких колокольчиках на крышах.

И незаметно заснул.

Проснулся от тревожных возгласов и от цоканья копыт, доносящихся с площади. Минуту прислушался и сообразил, что происходит что-то неладное. Быстро поднявшись, он вышел на площадь и пошел к правлению.

XI

В правлении Клим застал настоящую панику. Во дворе толпились верховые. Люди искали своих лошадей и метались по площади.

Оказывается, только что примчался разъезд и донес, что белые перешли в наступление. Пехотные цепи приблизились уже к Хлебной.

Клим не успел даже распорядиться, как топот его конников раздался вдоль по улице. Началось настоящее бегство. Он слишком долго просидел на скамейке в Олином саду. Его искали и, не найдя сразу, потеряли сердце, — растерялись.

Уже верхом он пробовал остановить людей, стремящихся проскочить как можно скорее через ворота на площадь. Около церкви затарахтели тачанки с пулеметами. Вокруг Клима оставался только десяток, другой людей. О том, чтобы отстаивать станицу, нечего было и думать. Клим выехал на площадь и увидал, что она уж совсем опустела. Тогда он тоже направился к выезду, хмурый и недовольный собой. В степи он думал нагнать своих и попытаться восстановить положение.

Через короткое время на площади показались верховые казаки. Первый разъезд быстро промчался назад. Вскоре по улице вытянулся конный полк белых. Народ начал высматривать из хат. Правление опять загудело и зашумело. В нем остановился штаб отряда. Станица была отбита от красных.

Суд и расправу добровольцы не начинали, — враг был еще слишком близок и положение казалось очень неустойчивым.

На границу станицы выступила пехота и залегла в своих старых окопах. Конные разъезды то и дело скакали взад и вперед. Тяжело пофыркивая, прополз по станичной грязи броневик.

Оля спала и не знала еще о происшедшей перемене. Ее разбудила Наташа, взволнованная и бледная.

— Как бы в самой станице боя не было. Красные ушли. Добровольцы уже здесь. Все ужасно напоминает обстановку боя, — люди без памяти мечутся по улице.

Оля плохо слушала. В уме ее был вчерашний разговор с Климом. Сейчас ей было как-то особенно тоскливо.

К чему еще ее вчерашние слова приведут? Зачем было вмешиваться? Ведь пути их так разошлись, — все равно по-своему, наверное, он понял ее, — не по-настоящему.

Наташа говорила еще что-то, — долго и нудно. Наконец, ушла.

У Оли слабо кружилась голова и вставать не хотелось.

Потом опять пронеслись чередой все слова, сказанные вчера. И росла уверенность, что все же иначе ей нельзя было говорить, чем она вчера говорила. Потом даже радостное спокойствие появилось, — все будет хорошо. Клим понял, — не мог не понять. Может быть, даже она своими словами на настоящий его путь направила. Клим большой человек, даже сам не знает, какой он большой. Просто тесно ему в жизни. А если сумеет из этой тесноты выбраться, то дороге его и конца не видно.

Потом вспомнила она все рассказы о зверствах конницы Барынькина и его собственные признания.

Глаза закрыла, жутко стало.

Но просто сил нет поверить, — пусть и сам признавался. Вот тут на этом кресле сидел перед ней, такой ей понятный был, — и не может, просто не может быть, чтоб это он о себе рассказывал.

Впрочем, если это даже и так, она ли судьей ему будет? Она знает, какая тоска у него.

И стало Клима жалко, как ребенка большого и беспомощного.

Потом впервые во всю жизнь проснулась жалость и к себе. Господи, Боже, — как нелепо жизнь сложилась. И ей уж выхода нет, — сама обрекла себя на полное бессмыслие какое-то.

Только вот разве один выход есть... Один... Индейское царство...

Она даже сама не знала, что называет этим своим детским Индейским царством. Только это тоже было нелегкое, мучительное, — но зато какое-то быстрое, стремительное, пламенное...

Подвиг в этом был и высота недоступная.

Подвиг, — и зверства Клима. Высота, — и она сама такая приниженная... Но это ничего, — так надо. Пусть у него грех,

кровь, — он очистится. И она из приниженности своей восстанет. А остальные препятствия все будут сразу сломлены.

Только к обеду встала Оля. Голова продолжала кружиться, и какое-то странное ощущение легкости было во всем теле.

Наташа все время вглядывалась в окна и продолжала волноваться. Они не успели сесть за стол, как услыхали, что около подъезда остановилась подвода. Наташа быстро подбежала к окну. Ей померещилось что-то страшное.

Она увидала, как с подводы спустился человек и стал подыматься по ступенькам подъезда.

— Сергей Сергеич, — крикнула она и пошла отпирать ему двери.

Действительно, это был он, но в виде просто неузнаваемом. Весь как-то сжался в комок, дрожал мелкой дрожью, плакал по-детски. Еле успокоили его, — усадили за горячий суп.

После некоторого времени он отошел немного и начал говорить, как всегда безудержно.

Он, оказывается, не знал ничего о прорыве конницы Барынькина и спокойно возвращался из Екатеринодара. Даже на станции не поверил, что около Хлебной идут бои. А потом попал в такую кашу, — раз даже под настоящий артиллерийский обстрел. Отступал вместе с добровольцами. Сегодня с утра все у них пережидал. Наконец, можно было двигаться домой. Замерз, измучился, — помилуйте, три дня от станции ехал. А главное, наверное, глупость сделал, что не повернул назад, — будто бы здесь не прочно, — а ему теперь уж окончательно нельзя красным попадаться, — все знают, что он с Деникиным разговор имел, — гибель его в случае возврата красных предрешена.

И, говоря все это, он продолжал ежиться и вздрагивать.

Оля попробовала перевести разговор на его Екатеринодарские дела. Но оказалось, что и об этом неподходяще говорить.

Он окончательно в отчаянии.

Деникин ничего не хочет понимать. Он окружен генералами, которые думают, что они ужасно как умны, а на самом деле в государственном праве просто ничего не понимают. Их он слушает, а до простых смертных, как Сергей Сергеич, ему просто дела нет. Вообще, если все будет и дальше так продолжаться, то он предсказывает, что дело обречено на гибель.

Наконец, просто приходится признаться, что Россия несчастная страна, что она идет к гибели, что в России принято не ценить тех, кто понимает обстановку. Так было и так будет.

После обеда его уложили спать, напоив липовым цветом и закутав в различные платки и одеяла.

Наташа испуганно твердила Оле, что Сергей Сергеич внушает ей самые серьезные опасения.

— По-моему, он просто ненормальный стал. Помяни мое слово, — втянет он нас в беду.

Оля слушала плохо и безразлично.

Тогда Наташа стала опять глядеть в окно и тревожилась при появлении верховых со стороны красных, — ей казалось, что это начало отступления добровольцев, и сейчас перед их окнами начнется бой, а пушки весь дом разнесут.

Оля же ушла в свою комнату и по-вчерашнему стала ходить взад и вперед, заложив руки за спину. Вот и Сергей Сергеич опять здесь. Как все складывается так, что надо окончательно себя проверить.

Что было в жизни? Была любовь, большая любовь, — и ничего не осталось.

Может быть, Сергей Сергеич и прав, что она слишком для себя и собой жила.

Вот с Климом говорила, — учила Клима, — ведь он враг, он их, большевицкий.

Надо во всем разобраться.

И вспомнила она время любви своей. Вот тогда, кто бы ни старался ее из круга любовного вывести, — все равно

нельзя было, — такая ей уж судьба была. Так, наверное, и у всех, — просто судьба, — а греха или подвига нету нигде никакого.

Но ей, — ей дана великая власть над судьбой одного человека, — над судьбой Клима. Без нее он зверем будет, — начальником звериной конницы своей. С нею он пойдет на другое, на настоящее. В нем так много таится, так широка может быть дорога его.

Как он говорил:

— Вот мои законы, которым следовать надо.

А главное, ему уж очень тоскливо, уж очень она нужна ему. Быть может, это и есть все дело ее человеческое.

Вечером опять собрались вместе за чаем. Сергей Сергеич выспался и набрался немного сил. Теперь он говорил уже не так плаксиво. Громил всех, — и Деникина, и большевиков. Говорил, что за эти три дня войны навидался всего, сам военным стал.

Если Деникин со своими генералами не может защитить мирных граждан, то мирные граждане должны показать, что сами за себя постоять умеют.

Он теперь без револьвера никуда. Он свою жизнь не продаст дешево. Теперь ясно уже, что все идет по-звериному и каждый должен сам себя защищать.

И вспомнились Оле Наташины утрешние страхи по поводу Сергея Сергеича. Ей показалось, что в Сергее Сергеиче действительно безумие проступает, что не сам он это говорит, а страх его, победивший в нем до конца человека. И не волен он уже больше в своих поступках.

Но это на минуту только такое проступило в нем. Потом он стал опять более спокойно говорить о том, как все надо бы сделать, и где ошибки командования, и как их еще исправить можно, если не опоздать.

Главная ошибка, что дали людям озвереть. Теперь от этого звериного начала надо каждого русского, как опасного больного лечить. Поэтому законы должны быть мудрыми и мягкими, сочетанием разумной свободы с

принудительной властью диктаторской. Когда народ поймет, что законы мудры, — преступников карают, заблудившихся милуют, а невинным гражданам обеспечивают мирную жизнь, — тогда, конечно, большевики сами собой исчезнут, потому что никто за ними не пойдет.

Сестры слушали его молча, не перебивая. Наташа чувствовала, что это не то, что не об этом жизнь велит сейчас думать, а Оля продолжала подсчет своих сил и казалось ей, что приближается какой-то необъятно великий час в ее жизни, к которому надо быть совершенно готовой.

Разошлись рано. Наташа носила в комнату Сергею Сергеичу воду. Он показал ей, что на столике около кровати револьвер заряженный лежит.

— Это теперь единственный друг, которому верить можно.

Наташа от него прошла к Оле.

— Слушай, я серьезно говорю, что на Сергея Сергеича надо обратить внимание. Около него всю ночь револьвер лежать будет. Он совсем сумасшедшим от страха стал.

Еще на рассвете проснулись от близкой команды. Оля же слушала глухие выстрелы, ни о чем не думая.

На площади стояли оседланные кони в поводу у казаков. Потом проехала медленно мимо окон батарея. Чувствовалось, что напряжение у добровольцев растет.

Оля села на подоконник своей комнаты, выходившей в сад. И опять старалась сосредоточиться, до самого дна своего дойти, все определить и быть готовой. Не хотелось больше слушать Наташиных страхов и печалей Сергея Сергеича.

И вместо того, чтобы идти пить чай, она вышла в сад, прошла через калитку во двор Семена Петровича и постучалась в дверь.

Она давно не была у него в хате, но он ей не удивился.

Так в прихожей остались стоять, — Семен Петрович забыл, что надо гостью в комнату пригласить. А она уперлась

рукой в косяк двери и смотрела на него своими будто невидящими, тоскливыми глазами.

— Вот, Семен Петрович, скажите мне, — может так быть? — один человек большой, но пути своего не знает, а другой, — маленький — и большому дорогу показывает, — на великое, может быть, дорогу.

Семен Петрович понял сразу, что говорит Оля о Климе и себе. Понял и обрадовался.

Но велика была в нем привычка раньше всего понаблюдать, что в человеческой душе, на самой глубине делается. А тут он уж слишком явно увидал, что в Олиной душе огромное происходит, — вся она стояла перед ним особенная, напряженная, как стрела, которую сейчас пустят из лука лететь.

Он ответил иносказательно:

— Сильный да слепой посадил себе на плечи хромого да зрячего. Отчего же?.. Так, видите ли, даже в сказке говорится.

Оля помолчала. Она плохо понимала его слова. О чем-то другом опять задумалась.

— Семен Петрович, Клим большой человек. Мне его ужасно жалко.

Она опустила глаза.

А старому колдуну, видевшему так много на своем веку, хранившему у себя в душе все станичные тайны и изучившему душу человеческую, — вдруг впервые как-то жутковато стало. Уж очень в Оле что-то было стремительное и хрупкое вместе с тем, что-то такое, гибельное, само себя сжигающее.

Он обнял ее за плечи.

— Ольга Лаврентьевна, Климу конец скорый, — это я вижу, — догорает его свеча... Ну, если чудо какое, может, и спасен будет. Только думаю, что и вы с ним сгорите в одночасье. А затем, — воля ваша... Ведь и вам, вижу, только и радости, что гореть.

Это Оля слышала и поняла, даже по-особенному ясно поняла, как редко человеком слова другого человека воспринимаются.

— А если я за него против судьбы войну начну? Вы не думайте, что я слаба. Это вы правы, что только гореть умею. А огонь всегда сила, — что бы ни горело.

Семен Петрович пожал плечами:

— Воля ваша, — вы хозяйка себе.

Оля пошла домой, — даже попрощаться забыла.

Семен Петрович смотрел ей вслед, пока она не исчезла за забором.

Дома Оля застала еще большую тревогу: мимо по площади пронеслась часть казаков. Пулеметы трещали у самой окраины станицы. Было ясно, что красные наступают и скоро ворвутся.

Наташа стояла бледная около окна. А Сергей Сергеич сидел в кресле и плакал. Наташа показала на него глазами.

Оля заметила, что около него на стуле лежит револьвер, и он время от времени каким-то осторожным движением поглаживает его. Но вид у него был совсем не воинственный, а скорее вид загнанного зверя, — злой и растерянный.

Наташа охнула, — на площадь вылетела казачья сотня и понеслась к противоположному краю станицы. Отступление шло быстро. Вот спешным шагом мелькнула перед окном пехота. У всех лица тревожные и усталые. Люди что-то кричали. Ружейная стрельба была слышна совсем близко, — чуть ли не в самой станице. Минут через двадцать вся площадь наполнилась верховыми. Слышались отрывистые приказания. Потом, быстро строясь в колонну, отступали казаки из Хлебной. Перестрелка стала совсем редкой. Наконец, проскакала последняя сотня, прикрывавшая отступление. На площади было совсем пусто. Звуки сразу смолкли.

Наташа прислонилась к стене и глухо рыдала. Оля все таким же безразличным взглядом смотрела на площадь.

А Сергей Сергеич побелел весь, дрожал тихо и сжимал рукой свой револьвер. Во всем его лице отпечатлелось такое отчаяние и действительно безумие какое-то, — будто не от него была та решимость, которою горели глаза.

Наконец на площадь вынеслись карьером пять всадников. Оля сразу узнала Клима, скачущего впереди. Наташа глухо сказала:

— Большевики.

Сергей Сергеич поднялся со своего кресла и встал за Олиной спиной.

Всадники на минуту остановились. За ними показалось еще несколько человек.

Клим что-то говорил ближайшим и показывал рукой по направлению ушедших казаков.

Потом они опять тронулись, но уже не так быстро и не наперерез площади, а мимо училища и Малаховского дома. Через мгновение они поравнялись с окном. Оля успела заметить, что у Клима лицо возбужденное, — таким она его не видала еще.

Она не почувствовала, как мимо ее щеки протянулась рука Сергея Сергеича с револьвером. Раздался выстрел. Со звоном упало разбитое стекло.

Сергей Сергеич ахнул и без сил опустился в свое кресло.

По площади несся конь Клима.

Сам Клим лежал на земле с широко раскинутыми руками. Он был убит.

Наташа громко кричала. Оля кинулась на улицу к Климу.

Но в дверях ее оглушило что-то. Она только успела разглядеть несколько человек с безумными лицами.

Через мгновение Олино тело, окровавленное и истерзанное, валялось на крыльце. А из комнаты разнесся безумный крик Наташи.

Конники отомстили за смерть своего вождя, — все трое обитателей Малаховского дома были зарублены.

К полудню Хлебная была опять в руках белых.

Йота

Нет, не на белом свете живу, а в дыре кромешной!

Избеглица, штабс-капитан, рабочий на все руки, человек, одинаково успешно коверкающий несколько балканских языков, — о чем мне думать, кроме того, что Дунай разлился и затопил кирпичный завод, где я работал, глину месил. И вот сиди уже второй месяц без заработка.

А тут еще эта грязь невылазная, небо серое, одиночество в сырой и нетопленой комнате, лампа чадит, а штукатурка со стен облупилась вся. Только и остается, что лечь под шубу и заниматься воспоминаниями.

Каждому русскому человеку много есть, чего вспомнить. Даже, пожалуй, и слишком много. Только не дай Бог итоги подводить, ум за разум зайдет. Кроме самого черного отчаяния ничего не получится.

А я вот сдуру именно этим и начал заниматься. Смотрю в окно, как ветер срывает солому со стогов, что стоят против дома, слежу, как жирные гуси стаями вперевалку бредут к разливу Дуная, и думаю приблизительно так: «если бы да кабы», и опять «если бы да кабы».

Что было бы, если бы не то, что было? Дальше ясно, — становишься полоумным.

Но есть и другой способ думать. Обо всем себя спрашивать: отчего? Тут уже и итоги сами приходят в голову, и все делается более или менее ясным. Но не веселее все от этого.

И думается мне, что на всем пространстве Сербии, в грязи ли белградских улиц, на высотах ли снежных перевалов, — везде, — такие же, как я, избеглицы руссы одинаково мозгуют: отчего?

Как увижу где английскую старую шинель, так и мелькнет мысль: до чего, брат, уже успел додуматься? Понял ли, наконец, что к чему.

У меня же эти два месяца оказались неожиданно плодотворными. Именно потому, что совсем я от теории всякой

отошел сначала, а просто вспоминал людей отдельных, разговоры, университетские лекции, бои в Галиции, первые дни революции, отдельные дни Гражданской войны, — а потом, когда вспомнились и чувства свои прежние, все стало ясным, слово нашлось, которое объединило разрозненное, и душу до конца повергло в отчаяние.

Наша русская душа, — испепеленная душа. Куда ни кинь нас, чем ни старайся поразить, — мы будем все те же, до конца дошедшие, в самую глубину заглянувшие.

Право же, русский человек одинаково себя чувствует, что на берегах Босфора, в кипучих кварталах Галаты или между сонными, торжественными улицами Стамбула, что под Триумфальной аркой Парижа у могилы Неизвестного солдата, что среди снежной метели на горных перевалах Балкан, — все это не то, не Россия, и все немножко призрачно, нарочно, не всерьез, — чужое.

Ну, а в прошлом всякое было.

В молодости удивительно мне везло в сообщении с людьми: в Петербурге, студентом еще, стал бывать я в славящихся тогда по всей интеллигентской России кружках, квартирах литературных; слушал все слова из первоисточников, внимал, можно даже сказать, и бессознательно наблюдал, наблюдал верующих, говорящих. Это был период увлечения религиозно-философским обществом, идеями богоискательства.

Еще дома, в восьмом классе, я сам к этим мыслям и увлечениям подошел вплотную. А приехал в Петербург, — с головой ушел в этот круг идей.

Но уж, видно, такова моя натура: ужасно люблю все точное и определенное: уж если православие, то поклоны бей и церковной службы не пропускай, а главное, — смирись, смирись до конца; и не надо в этом деле слов лишних, — нецеломудренны лишние слова.

И вспоминается мне стальная Нева и две зори белых ночей, полыхающие на небе. В эти ночи особенно легко думалось, особенно легко бродилось, шире как-то были открыты

глаза, а дух воспринимал весь мир до самой его глубины, приобщался к миру.

Ну, а на людях я молчал все больше.

И вот столкнулось мое это молчание с таким торжеством слова, с таким праздником речи, с такой любовью к отточенной фразе, которое господствовало в то время в литературно-философских кружках Петербурга.

И странное получилось у меня впечатление: я молчу, таюсь; мучительно сам с собою, с духом своим ищу правды, — а там, в центре, просто говорят, слов не боятся: «с Христом или с антихристом»; а другой доказывает, что таинства Дионисиа близки сокровенному смыслу Евангелия. А главное, каждый каждого тут же публично разлагает на составные части, в самой глубине человеческой души копается. Ошибется такой препаратор — какое-нибудь движение души неправильно определит, — препарируемый его поправит: «Я, мол, не так, а эдак чувствую, вы неверно определили; а чувствую так по таким-то и таким-то основаниям».

Подавай себя всего, одним словом, до самого дна, чтобы все разглядеть можно было, чтоб уж без недоумений. И потрогают, и перещупают все твое духовное содержание, разложат по полочкам, а то и жонглировать им начнут, перебрасываться с места на место, комбинировать всячески. Ну, точно ты среди <них> голый стоишь, — именно нецеломудренно как-то.

Но я тогда молод был, авторитеты всяческие очень высоко ставил, — поэтому решил так: что для меня, молокососа, тайна тайн и глубина глубин, то для них, посвященных, ничто: глубина их глубинная такова, что мне и во сне не снилось.

На этом и успокоился.

Меня же быстро разобрали, на полочки разложили, — несложная птица, можно сказать, просто ничего особенного, — из публики внимающей.

А потом опять мои смущения начались. Поднялись уж вопросы теоретические.

Увлекались все помаленьку общественностью. Ждали новой революции, которая должна была окончательно мессианский лик России выявить.

Надо сказать, что я тоже очень ждал революции и не представлял себе даже, что я при тогдашнем положении вещей после университета делать буду: уж очень мертвая, сонная жизнь была, просто ни к чему вся.

Но революция для меня была, как какой-то неизбежный и практический выход из того положения, в котором оказался русский народ. И ясно было, что участие в ней должны принять все независимо от того, что одни будут людьми религиозными, другие нерелигиозными. Как все ежедневно едят, дышат воздухом, имеют заработок и так далее. Вроде воинской повинности для целого поколения должна была быть революция в моих представлениях.

А в кружке религиозном неизбежность ее доказывалась текстами, чуть не третьей ипостасью Божества она объявлялась. Просто поругание митрополиту Филарету с его катехизисом, где на основании текстов делалось уж такое сильное ударение на том, что власть, ныне сущая, от Бога.

И тогда мне бросилось в глаза, что удивительно легко текстами подтвердить любое положение, обзаконить ими любое настроение. Вроде того, что закон, как дышло, — куда повернешь, туда и вышло.

Тогда начался у меня отпад от этого всего, протестантизм известный. Просто на подозрение все решительно взял, вплоть до Церковных Соборов, все мне дышлом показалось.

Но настоящее слово я нашел гораздо позднее и по другому случаю. А нашел, и все же не сумел распространить на все и подо все фундамент подвести.

Слово это, — йота.

Обстоятельства нахождения такого слова были очень поучительны.

После октябрьского переворота я скрывался долго: офицер, — самая приятная дичь, — скроешься поневоле.

К весне оказался в сфере действия чехословаков.

Пробирался из деревни в деревню, насмотрелся всяческих чудес, опытным путем изучал родной народ свой, и могу теперь сказать, что учебники все по этому предмету, — литература наша, изучению этому не помогают, а только способствуют усвоению совершенно неверных и предвзятых точек зрения. Это вся литература, — справа налево и обратно, — без единого исключения.

Основная ошибка, — это искание в народе каких-то особых черт, отделяющих его от интеллигенции, — на самом деле ничего тут за скобки особенного, народного, не вынесешь, — все то же. Только, пожалуй, типы ярче и цельнее.

А главное, — уж очень высока стена, отделяющая даже не интеллигенцию, а город от земли настоящей. И стена эта высокая воздвигнута волею земли, гордой и презрительной ко всему, что так или иначе оторвалось от нее. Тут молчат не потому, что нечего сказать, а просто из высокомерия, — не стоит, мол, говорить, все равно не всякий поймет. Тут отказываются от борьбы не потому, что где-то в глубине души таится зародыш толстовского непротивления злу, а просто из чувства, что нечего руки марать, и без склоки проживем сами с усами. Да, мимоходом замечу, что из Толстого-то, пожалуй, в его непротивленчестве, если до глубины копнуться, тоже презрительность ко злу была: меня, мол, зло не полонит, в глубине я очень хороший, ну так и пусть себе старается на здоровье, мне с ним бороться не пристало.

Но когда я потерял свой городской облик, свыкся со скитаниями своими, прокормил вшей на десятках железнодорожных станций, проработал в качестве простого рабочего за харчи во многих деревнях, намозолил себе руки, — весь сплошной мозолью стал, — перестали меня по деревням дичиться, и сам я научился настоящему русскому земляному языку.

А тогда и понимание пришло. И не только народ стал я понимать, а и интеллигенцию всю через это понимание легче определил и в определении этом утвердился.

Все дело в йоте: от этого и большевики в России пошли, от этого и белые армии рассыпались, от этого еще неведомое и страшное ждет нас впереди.

Был у меня хозяин, мужик зажиточный, с огромной серой бородой, с крепкими и жилистыми руками, со взглядом острым и умным, из старообрядцев, — вся деревня была старообрядческая, — Иван Семенович Пазухин.

Очень он меня попервам за мое курево ругал, и не просто ругал, а все текстами, текстами. И выходило, действительно, что именно по Писанию нельзя курить табаку.

Но несмотря на это, отношения у нас были самые хорошие, — оба любили пофилософствовать о событиях, оба любили загадывать, что же дальше русскую землю ждет.

Я рассуждал на основании редких номеров «Правды», доходивших до деревни, а он к тем же печальным выводам приходил на основании все тех же текстов, которых он знал неисчислимое количество, а книгу Иова мог всю наизусть сказать. Но в его рассуждениях всегда преобладали мысли недоговоренные, намеки одни, эдакие указания перстом, — вглядись, мол, и, коли Бог умом не обидел, пойми хорошенько и восчувствуй соответственно.

Когда чехи начали приближаться, он стал рассуждать явственнее и определеннее.

А в один раз, — уж ясно было, что скоро к нам чехи придут, — рассказал он мне совершенно доверительно, что большевицкая власть несомненно от дьявола, и является она преддверием царства антихристова. И в доказательство этого привел мне целый длинный ряд текстов, которые сомнения не оставляли.

Надо сказать, что и я по своим источникам пришел к выводам, довольно близким к выводам Ивана Семеновича. Он только головою скорбно качал, когда я рассказывал ему о судьбе Ярославского восстания, о том, как потом глумились большевики над своими жертвами.

И единомыслие было у нас полное.

А главное, — обоим в глубине души мало верилось, что спасут Россию чехи или еще кто, — путь ей другой обозначился, — через великие испытания.

Тут началась горячая пора, — сенокос. Дожди перепадали, — надо было спешить. Работу мы начинали до зари, а домой возвращались после заката. Уставали, как собаки, — не до рассуждений было.

Но удивительно, как совместная трудная работа объединяет людей. Больше, чем все наше единомыслие по большевицкому вопросу, объединил нас сенокос этот. Одновременно машешь целый день руками, идешь плечо к плечу; под одним небом, на той же зеленой шири обливаешься потом; дышишь даже в такт, и будто в одно какое-то существо четырехрукое сливаешься; — жжжих — падает трава, а солнце жжет спину невыносимо.

Так ли или нет чувствовал нашу близость Иван Семенович, только после сенокоса стал он много откровеннее, — совсем, казалось мне, перестал таиться.

Я же в ту пору уже совсем отчаялся в том, что чехи до нас дойдут, и решил сам к ним пробираться: надоело скрываться, да и неуместным казалось сенокосом и философией заниматься, когда можно по-настоящему свое дело делать, — за свой образ родины воевать и бороться. И хоть плохо я верил в спасительность этой борьбы, однако долгом своим почитал в нее свои силы влить, — ведь каждый человек, может быть, на счету.

О своем решении идти сообщил своевременно Ивану Семеновичу.

Он меня с места начал отговаривать: не то работника не хотел в горячее время лишиться, не то и взаправду считал мою затею негодной.

Сначала отговаривал соображениями материального свойства; потом, видя, что это не действует, перешел к излюбленному доказательству текстами.

Я было попробовал его оспаривать его же текстами, что он против большевицкой власти выдвигал, но он только ухмыльнулся.

Это, дорогой, все, как повернуть: есть и против белых самые настоящие тексты, потому что ведь и они самозванцы, сиречь лжепророки, волки в овечьей шкуре. И блажен, кто не соблазнится.

Я даже рассердился.

— Ну, так по-твоему, Иван Семенович, царь, значит, один только и не был самозванцем, а помазанником Божьим? Значит, за царем вся правда?

Он руками замахал:

— Что ты? Что ты? А Саула забыл? Цари наши, — истые Саулы; нет в них правды; слава Господу, что сгинули.

Даже колдунью Аендорскую каким-то образом с Распутиным сравнил.

На том и разговор кончили.

Потом потихоньку стал я собираться. Несколько дней прошло в молчании.

И опять начал Иван Семенович разговор затевать, но уж, видно, на полную откровенность решился. И вид у него стал такой проникновенный, значительный.

— Слушай повнимательнее, родимый, что я тебе скажу. На этот раз скажу уж всю полную правду... Всякие места в Писании бывают... А если все внимательно изучить, тогда уж с несомненностью ясно будет: человеческая власть вся от дьявола. Ведь вот возьми, к примеру, Давида: был самый праведный человек перед Господом, а как стал царем, сразу начал обнаруживаться, потому что, значит, и дьявол в нем участие принял. А уж об остальных и говорить не приходится, — каждый свихнулся... Да и ни к чему эта власть, если подумать... Только привычка одна; сами себя тешат, да армиями командуют. А народу какое до этого дело? Так-то, голубчик, подумай, стоит ли еще собою неизвестно на что жертвовать. Тебе-то какое дело до большевиков? Живи себе тихо, — авось не тронут. А если они тронут, значит, и другие тронуть могут, потому что все на один манер, — власть человеческая, — дьявольская.

— Иван Семенович, — воскликнул я, — знаешь ты, в чем тут дело. Были в Петербурге последнее время люди такие, все Бога искали. Так ты и богоискатель эдакий, и митрополит Филарет — все в одном лице соединил. И грех какой в твоих словах, — знаю я теперь точно. Йота, помнишь, — йота, что по Писанию изменить нельзя. Пока ни одна йота неизменна, до тех пор Писание, — истина, а как изменишь хоть йоту, — все ложью становится. Одну йоту ты против большевиков изменил, другую против белых; понадобилось к слову, — против царя у тебя йота для изменения нашлась; а потом всех одной изменной йотой дьяволу предал, вместе даже с пророком Давидом.

Вот и они, петербургские, тоже йоты меняют: все как будто по самой настоящей правде. А вот нравится одному из них революция, — и выходит, будто все Писание только в оправдание революции написано; а другой тоже на основании Писания докажет, что только и правды, что в сочетании православия, самодержавия и народа. А у митрополита Филарета все уж просто за одного царя свидетельствует.

На самом же деле Писанию ни до чего этого и дела нет. Просто и вопросы там поважнее в божественном смысле, чем революция, царь, большевики, белые и прочее. Не больше дела Писанию до этого, чем до нашего сенокоса, к примеру.

Это был наш последний разговор. Я ушел на следующее утро.

После бесконечных скитаний оказался не у чехов, а у добровольцев на юге. Отмаршировал с ними до Орла, докатился обратно до Новороссийска, эвакуировался в Крым, наступал, отступал, оказался в Константинополе, торговал пончиками, работал в сапожной мастерской, попал в Сербию, рисовал вывески, мостил мостовую; сейчас жду, чтобы опять начал работать мой кирпичный завод, а то динары к концу подошли.

И за все это время слишком напряженно и трудно жилось, чтобы найти в себе силу и охоту подвести черту под всем прошлым и написать: «Итого».

А вот сейчас само собой все всплыло, все встало в рубрики, черта подвелась.

Все надежды, — израсходованы; в графе прибыли одна жгучая горечь и опыт искалеченной жизни. А за словом «Итого», — другое слово: «йота».

Теперь я знаю, что это не только к Писанию относится, — это относится ко всей нашей жизни: к нашим индивидуальным жизням и ко всему существованию народа русского, родины нашей России.

Белые, черные, красные, — все нарушали закон неизменности каждой буквы своего писания.

По писанию своему все служили народу, и все изменяли понятие народа на одну незначительную йоту, — и становилось все дело не служением народу, а служением специальным задачам различных групп.

Впрочем, все это, пожалуй, уж слишком сложная политика. Не моего ума дело.

Я же, как одно из бесконечно многих действующих лиц нашей родной драмы, сижу сейчас, жду, когда спадет вода в Дунае, и без конца, без конца вспоминаю.

Проклятые воспоминания! Какой в них толк?

Разве еще где-нибудь найдешь изменение йоты и в тысячный раз разуверишься в очередной надежде.

Такова судьба наша...

Соседи

Часто бывало со мной прежде, — да и теперь бывает, — что какими-то особыми своими чертами, — иногда чужими и даже отвратительными, — привлечет меня человек, и смотрю на него, смотрю жадным таким смотрением. И ничего мне от него не нужно, и никак он в мою жизнь не может вклиниться, и лежат между нами пропасти непроходимые, — а вот между тем чувствую я, что надо мне в мыслях отобразить, запечатлеть этого человека, определить точно и внимательно, как книгу прочесть и на полях сделать заметки.

Иногда лишь малая черта человека так запечатлевается, штришок самый незначительный. И потом род и племя забудешь, — ничего от человека не остается, — только штришок этот, — ухо какое-нибудь без мочки, или фраза случайная, или приговорочка: «ну-ти, ну-ти», или взгляд поверх очков, когда неправда говорится, — что-нибудь такое незначительное от человека остается и в нужную минуту из хаоса памяти всплывает, как самое верное доказательство, как самая убедительная правда, — и сразу почувствую, — знаю, мол, — на складах моих это знание точно подтвердить можно.

Часто под влиянием времени как-то сочетаются различные штрихи в памяти. Из случайных к общему переносятся. Много в моих воспоминаниях таких сделанных людей, у которых нет ни одной черты выдуманной, а вместе с тем никогда они на свете не существовали.

Но есть в памяти моей и люди, вошедшие целиком, — разве только мелочь какую-нибудь забыть пришлось. Есть и такие, что целиком вошли, но слегка потом для верности изменены были.

Все это — богатство, накопленное многими годами, Брокгауз и Эфрон, составленный собственным трудом и на основании собственного опыта, музейная тишь, объясняющая житейский шум, любовная умудренность, лаборатория будней, — все это моя правда.

И так нужны, и так ценны иногда эти найденные черточки, что на многое можно часто пойти, в самые опасные научные экспедиции пуститься, чтобы только, — у одного, — на дне душевного моря выудить нужную затонувшую мелочь, — у другого, — под пустыми песками тягучих будней откопать забытый храм и угадать его Бога.

Есть в этом деле несколько ступеней. Вначале, — радость накопления. Потом, — некоторая изумленность перед тем, как часто в обычном прячется необычное. Потом, — духота и тошнота от липкой сладости чужих жизней, от отсутствия ветра широких просторов в них, оттого что все тайны и непонятности наших дней вскрываются легко одною воровскою отмычкою, — знанием мутного бессилия брата моего человека.

И, наконец, — завершением, — жалость и оправдание. Милые кривульки человеческие, если случайно врываюсь я в ваш размеренный путь, то не мне ли и надлежит искать последнего оправдания этого пути, — исток которого, — жалость, захлестывающая все, перекатывающаяся волною через все человеческие жизни.

И вот, раз начав собирание людей и поступков, черт и черточек, как-то помимо воли своей сталкиваешься с самым неожиданным и самым нужным. У обычного находишь такое, что всю необычайность нашей жизни легко подтверждает.

Были у нас, например, соседи. Крепкие, несмотря ни на что люди. Особенно сам Герасим Иванович. Не надо быть мудрецом, чтобы таким, как он, определение дать. «Ну-ти, ну-ти», — как раз его присказка к каждому слову. Главное его, — что богатеть и хотел и умел. Себя помнил, — это, во-первых.

И пиджак крепкий, и сапоги крепкие, и плечи крепкие, и походка тяжелая, и скулы, как у гуся широкие, глаза чуть раскосые, волосы очень прямые и седеть начали, а нос до последней возможности курносый, — будто кто ему тяжелым кулаком нос раз навсегда придавил.

Любил он: собственность (даже когда у самого не было собственного клочка земли, как к избранному существу относился ко всякому, кто землею владел, и совсем не понимал, в чем еще можно святость, кроме собственности, найти). Еще любил — охоту, — даже если и убить ничего не удавалось. Еще любил, чтобы на обед был борщ со сметаной и непременно мясное блюдо. Еще любил, чтобы его на общественные должности, — вроде попечителя школы или чего там другого, — избирали. И еще, наконец, чтобы жена его была не хуже других одета.

Не любил: революции, лентяев и бездельников, безденежья, недожаренного мяса и больных в доме.

«Ну-ти, ну-ти», Герасим Иванович, что еще о вас сказать можно? И так будто уж всякому, не знающему вас, ясно, какой вы, а знающий скажет:

— Как же, это он, вот уж именно он самый и есть.

Тут бы, казалось, и точка. Мелкобуржуазная стихия и баста. Даже непонятно о чем разговор идет, раз всякий человек по десяти раз на день Герасима Ивановича или ему подобного встретить может.

А между тем есть в этом деле маленький зигзаг такой, тоже от общего существа Герасима Ивановича и не уводящий, но все же — кое-что очень значительно меняющий.

Для начала сплетни одни только. Был у нас тоже сосед, сплетник очень талантливый. А от талантливого сплетника многое спрашивается: должен быть он, во-первых, человеком наблюдательным, чтобы если и сочинить что про когонибудь, так сочинить кстати, а не то, что совсем неподходящее. Кроме того, у хорошего сплетника фантазия должна просто лимонадом играть и пениться, потому что без фантазии настоящая сплетня выходит пресной и просто ни к чему. Талантливых сплетников на свете так же мало, как талантливых артистов и художников, а наш знаменитый сплетник по исключительным его достоинствам был то же, что среди певцов Шаляпин, что ли: самый он был первоклассный и непревзойденный.

И главное что хорошо. Посмотришь на него и заранее знаешь: сейчас вот творить начнет, — и уж слушаешь дальнейшее с особым вниманием.

Верным признаком этого вскипающего творчества был взгляд такой особый, — поверх очков, — очки он синие носил. Взглянет вопросительно, — будто спросит, — готов ли собеседник к восприятию невероятного, — а потом и начнет.

Все он насчет скупости Герасима Ивановича прохаживался, — и так кстати всегда, что и не понять, где правда, а где творчество.

Была у Герасима Ивановича теща, — старуха совершенно ослепшая.

И вот сплетник наш говорил, что однажды он по делу долго в столовой Герасима Ивановича поджидал, — отлучился тот. От нечего делать начал газету просматривать и сидел очень тихо. И вошла тут в столовую теща эта слепая, его не учуяла, к буфету подобралась, стул подставила, сама на стул этот вскарабкалась, мешок бумажный с сахаром нашарила и давай сахар горстями есть.

— Вот до чего он скупостью своею тещу довел, — и взгляд вопрошающий поверх синих очков.

Правда там это или неправда, а похоже на правду. Сразу как-то слепую старуху на стуле, поедающую сахар горстями, все себе легко представили.

А через несколько времени еще один рассказ, который и подтвердился потом различными воспоминаниями детей Герасима Ивановича, — Андрюшки и Ниночки, — они из этих воспоминаний тайны не делали.

Заболел у него конь чем-то: надо было коня пристрелить.

Но Герасиму Ивановичу стало пули жалко, — на что другое может пуля пригодиться. Долго и семейно обсуждали способ, коим лишить коня жизни.

Порешили.

Собрались все, — и дети, — у конюшни на дворе. Супруга Герасима Ивановича, Ольга Афанасьевна, хоть и заинтересована была, но Андрюшкины дырявые чулки штопать не перестала, — с ними и во двор вышла.

Вывели коня из конюшни. Больной, понурый такой конь, да и возраст не маленький.

Герасим Иванович накинул ему петлю на шею и начал душить. Конь сначала попятился назад, потом заметался, ноги заплел от напряжения, глаза выкатил, — длинные ресницы у конских глаз, — зубы желтые оскалил.

А Герасим Иванович ногами в землю уперся и тянет, душит коня. От натуги лицо покраснело и жилы на лбу налились.

Дети смотрят с любопытством, но серьезно. Ниночка палец в рот засунула. Жена от штопки оторвалась, иголку даже в кофточку засунула, чтобы не потерять.

Конь задними ногами упирается. Веревка туже сжимает шею. Язык изо рта вывалился. Слюни густой пеной текут. Белки глаз красными стали.

Герасим Иванович устал, но отдохнуть нельзя.

Конь боком пошел, зашатался, потом рухнул грузно на землю.

И все же Герасиму Ивановичу передохнуть нельзя, потому что конь и отойти опять может.

Так до конца и без перерыва потрудиться пришлось.

Потом собственноручно освежевал Герасим Иванович коня. Все по-хозяйски сделал. Жена пошла вечерний чай собирать, за ней и дети побежали.

Перед сном, — конец месяца был, — Герасим Иванович подсчитывал свою приходно-расходную книгу. Никак не мог припомнить, куда он три рубля пятьдесят копеек задевал.

Этот рассказ, хоть и подтвержденный многократно Андрюшкой, все же нам невероятным казался, пока уже от самой Ольги Афанасьевны не услыхали историю другого звериного удушения. А так как она сама виновницей всего дела была и рассказывала сразу после события, — сгоряча и со многим волнением, то уж тут всяческие сомнения были неуместны, — приходилось все на веру без всяких разговоров принимать.

Дело в том, что появился у нас к тому времени участковый землемер Павлов, — непьющий человек, только в долг любил занимать, а другого ничего не замечено.

Очень ему Ольга Афанасьевна понравилась. И он ей тоже. Собственно, ничего в этом такого и не было, но раз их вместе кто-то за кладбищем увидал, а потом на гимназической вечеринке они особенно переговаривались, — так что только им одним эти переговоры понятны были. С этого и пошло. Все сильно способствовали Герасиму Ивановичу в его чувствах укрепиться. А Ольга Афанасьевна этого всеобщего похода ни ждать не ждала и ни заметить не сумела, — и таким образом своих мер не нашла нужным принимать.

Герасим Иванович притаился и ждал, когда самая достойная минута выпадет ему за честь свою вступиться.

И случилась эта минута как раз на Рождестве, когда взаимное хождение по гостям так оборачивалось, что три вечера подряд Ольга Афанасьевна рядом с землемером за ужином сидела.

После третьего вечера, вернувшись домой, Герасим Иванович решил приступить к полной ликвидации этого дела и вообще в настоящий азарт пришел.

Запер он дверь на замок и велел жене кончину больного коня хорошенько припомнить, потому что, мол, ее точно такая же участь ждет.

Она сначала не поверила, усмехнулась даже. Он же совершенно решительно приступил к ней и велел к немедленной смерти быстро готовиться.

Уже и веревку начал он в петлю ссучивать.

Полночи они в разных угрожательных разговорах провели. Как только Ольга Афанасьевна ни пыталась доказывать свою чистоту и полную невинность. Каких только страхов и туманов не наводил Герасим Иванович.

Трудно даже и приблизительно передать, что у них в эту половину ночи происходило и что они перечувствовали и передумали.

Однако все это перечувствованное и передуманное общего положения не меняло, а лишь оттягивало развязку,

потому что был Герасим Иванович к рассвету так же тверд в своем решении, как и с самого начала.

И лампа начала потухать, — керосину не хватило, — и окна по-утреннему просерели, — а он все с веревкой по комнате метался.

И случилось тут, что старый черный Марс с седеющей мордой, охотничий пес Герасима Ивановича и неизменный друг детей его, спавший на подстилке у печки, от шумного разговора проснулся и, подойдя к двери, стал проситься на двор.

Видно, к этому времени у Герасима Ивановича настоящая воля к умерщвлению жены своей уже отошла, а вместе с тем податься было уже некуда, как бы против воли приходилось на что-нибудь из ряду вон выходящее решаться.

И уж, наверное, все бы кончилось очень печально, если бы Марс не начал чрезмерно надоедать своим повизгиванием и не скреб дверей лапами.

Тут-то и обозначился выход для Герасима Ивановича, — и вместе с тем смог он от первоначального плана без урона для самолюбия своего освободиться.

Отомкнул он дверь, дал ногой пинок Марсу и с веревкой в руках кинулся за ним сначала в столовую, потом в кухню, а затем во двор.

Как там дело произошло, Ольга Афанасьевна не знает. Только через четверть часа вернулся Герасим Иванович уже без веревки, — хоть и угрюмый, но будто успокоенный, и молча начал раздеваться, молча лег в постель и укрылся одеялом.

А на следующее утро Ольга Афанасьевна обнаружила во дворе, на заборной перекладине повешенного Марса. Вместо нее отдала собака свою жизнь, по этому делу.

Вот и все, не совсем обычное, что мне удалось узнать о Герасиме Ивановиче. Но могу сказать, что без этого необычного все, что в его жизни обычно, только наполовину понятно было бы.

А уж раз пришлось узнать, значит, буду это знание в памяти беречь, хоть оно веселья не прибавляет.

Жуткое

В деревне, — час езды от Парижа, два километра пешком от станции, — уже глушь, провинция.

Наискось через улицу, в ряду других домов, — дом из серого камня с захлопнутыми всегда ставнями. Даже когда из него несутся дребезжащие звуки расстроенного пианино, ставни закрыты. По вечерам только, в щель окна на втором этаже падает желтоватый свет.

Играют на пианино, желтый свет по вечерам, — значит, дом обитаем.

Среди фермеров, ведущих по мостовой своих тяжелых и медленных лошадей, среди рабочих, спешащих к утреннему поезду на вокзал, среди устойчивого быта, аперитива в свободную минуту, школьничьего гама от одиннадцати до часу, вяжущих чулки старушек в корсетах, — женщина, живущая через улицу, наискось, кажется совсем необычайной.

Лет ей под семьдесят. Начесанные наперед волосы крашены в ярко-рыжий цвет. И рыжесть эта, — (что живее рыжего огня?), — у нее кажется мертвенной, придает всему ее лицу печать смертную. Глаза умные и злые. На губах всегда улыбка, — так теперь не улыбаются, — улыбка только из вежливости, как еще со времен Марии-Антуанетты полагается улыбаться, — а за этой улыбкой ничего нет. — Не взыщите. Подбородок вперед выдается, — маленький и крепкий. Руки тоже маленькие, — кошачьи лапы, — кости легко прощупываются.

А тела нет. Вместо тела, — широко задрапированные траурные ткани, — и плащи какие-то, вуали траурные до пят, — тела же совсем не чувствуется. Будто как в куклах фетишах автомобильных, траурные ткани на проволоку намотаны, и голова и руки к проволоке прикреплены.

Она писательница, у нее есть своя собственная понедельничная газета.

На мой вопрос, какова программа этой газеты, она мне сказала:

— Мы занимаемся аграрным вопросом, феминизмом и спиритизмом.

Об аграрном вопросе у нее есть целая книга. Основной принцип ее, — каждый человек должен иметь возможность родиться, жить и умереть на своем клочке земли. А практическое применение этого принципа, — десятки десятин земли, разбитые на крошечные участки с полуобитаемыми свинушничками.

Феминистка... Во-первых, все мужчины, — бездарные и грязные животные. Во-вторых, они связали женщину традициями и законами, только им выгодными.

— Вы знаете, отчего французская революция приняла такой трагический оборот? — О, всего-навсего оттого, что Мария-Антуанетта отвергла ухаживание Мирабо.

Вторая Империя погибла из-за неприступности императрицы Евгении, — этой замечательной женщины, далеко опередившей свой век. Если бы она уступила!..

Нет сомнения, что высокие моральные качества русской императрицы сыграли трагическую роль в развитии русской революции, — не так ли, mon pauvre ami[6]?

И, наконец, спиритизм...

Семидесятилетняя женщина, надевающая для поездок в Париж тяжелую серебряную цепь и брошку с аметистами, носящая на пальце аметист с вырезанным профилем Данте...

У меня нет основания утверждать, что по ночам не она, ощерившись черною кошкою, крадется вдоль желобов. Я не имею уверенности, что наш русский Левко в лунную ночь не увидит остов железных когтей сквозь кошачьи крепкую руку в просвет траурных тканей.

В ней живет дух мадам Жанлис, — в этом она не сомневается.

А мне кажется более вероятным, что в свое время, причастная к тайному колдовству Калиостро, была уведена она от ступеней гильотины и с тех пор скитается по Франции, ненавидя новую жизнь и презирая всех, кто моложе ее.

---

[6] Мой бедный друг *(фр.)*.

Впрочем, презирает не всех. Есть исключения. Среди них, — Шатобриан, мистически воплотивший в себе романтическую душу Франции. Он, живший на всех семи планетах, он, растворившийся сейчас в солнце, подобно Жанне д'Арк, — с тою только разницей, что она была два раза на планете Земля: в первый раз в качестве св. Женевьевы.

Шатобриана она не презирает, а, заведя высоко свои умные и злые глаза, шепчет:

— Oh, mon pauvre ami!

В доме с закрытыми ставнями много книг, блох и пыли. Если сдвинуть посреди комнаты стоящий стул, — а стоит он так, наверное, не менее полугода, — хозяйка недовольна. Комната, — застывший хаос; будто давно здесь убили кого-то, перевернули убийцы все комоды и шкафы, — и ушли.

С тех пор люди в ней не живут, а живет колдунья, кошка черная, друг мадам Жанлис и Шатобриана, знающая, что Вильгельма Второго на земле не ждет никакое наказание, потому что в следующем своем воплощении он должен будет с мукой неописуемой все искупить.

Занятия спиритизмом накладывают особый отпечаток на всю жизнь.

До часу приходится лежать в постели: во-первых, так теплее, — не надо тратить лишних дров, во-вторых, именно в это время можно беседовать с потусторонними. Для этого существует полукруглая фанерная доска красного дерева. По бокам написано «oui» и «non»[7]. Веером расположены все буквы, под ними цифры. Надо только отдаться настроению и водить рукой, как она сама идет.

И вот точные сведения, касающиеся биографии Наполеона, в бытность его еще на Марсе и на Юпитере.

— ...Да, да, это можно считать совершенно установленным, что ему была дана возможность совершить только эти два, хотя и значительные, но, конечно же, недостаточные путешествия.

---

[7] *Oui* — да (*фр.*). *Non* — нет (*фр.*).

Иногда в полдень, — правда, при закрытых ставнях, — около кровати появляется сияние. Это Жанна д'Арк воплощается, — обитательница солнца.

Спиритке, конечно, не страшно, но она очень устала. Необходимо подкрепить себя, а выползать из-под теплой перины на холод не хочется. Для таких случаев в ящике ночного столика заготовлен шоколад.

Беседа с Жанной д'Арк и плитка шоколада. И опять тайны обители солнца и опять шоколад.

— Когда священник говорит мне о Христе и о христианстве, я молчу. Я с ним согласна — я католичка... Но вместе с тем я жду, чтобы он кончил, потому, что там, где последнее слово христианства, там мое первое слово. Mon pauvre ami, как люди слепы!

Однажды она уговорила меня пойти в общество феминисток, где сама работала.

Помещение библиотеки. В задней комнате чай со сладкими пирожками. На дамах бриллианты, у всех красные губы сердечком.

Моя приятельница знакомит меня с рыжеватым господином, у которого за пенсне глаза бегают и косят.

Меня она представляет так:

«Вот мой русский друг, человек замечательный: дважды приговорен к смертной казни» и т. д.

Рыжий господин, писатель.

Ему нужны точные указания русского собрата для некоторых мелочей в авантюрном романе из эпохи русской революции.

Я удивляюсь: откуда знаком Monsieur с русской революцией?

Глаза писателя скашиваются:

— А, Боже мой, он много читал, и вообще...

Фабула романа не сложна. Действие происходит в транскавказских республиках. В лесах около Баку скрывается Grand duc[8].

---

[8] Великий князь (*фр.*).

О, эти грандюки! Они положительно вытеснили «Samovar» и «Vodka».

Они смело конкурируют с развесистой клюквой.

Я делаю вежливую и приличную улыбку:

— Monsieur не пытался еще написать авантюрный роман из истории Мексиканской революции?

— Нет, а что?

— Может быть, он бы вышел более похож на действительность.

Писатель отходит.

Моя приятельница довольна: она вообще любит, когда говорят злые вещи с приятной улыбкой. А мы, русские дикари, мы так мало на это способны.

Вообще она воспринимает нас немного как сенегальцев: очень забавно молодо-зелено, а у нее в жилах двадцативековая кровь.

Я чувствую, я знаю, что древняя, медленная кровь и старинный, чеканный французский язык, и аметисты в серебре, и сладостно-приличная улыбка, — все это, — так, видимость одна. Я чувствую железные когти панночкиной матери, я угадываю оскал ощерившейся черной кошки.

Столб света, возвещающий появление Жанны д'Арк, — это не представляемо в пыльной комнате, с грудой непереплетенных книг на полу, с двумя полками карточек, — на одной живые, на другой, — мертвецы, среди мертвых и Императрица Евгения.

Свет — в сочетании с удушливой жутью Эдгара По... Солнечная обитель, — и блохи в пыли, неделями не убранная кровать.

А кроме того, запахи. Запахи плесени и тления. Запахи пожелтевшей бумаги и мышей, почти выветрившихся пачулей и развешенного в столовой стиранного белья. И среди них еле чуемый, скорее угадываемый трупный запах.

Нет, не юпитерская, и уж никак не солнечная обитель...

* * *

На днях мне пришлось узнать много новых подробностей о ней.

Раньше, оказывается, в доме жили три женщины. Моей знакомой, младшей из них, было тогда лет шестьдесят. С нею жила ее мать и мать матери столетняя старуха, неподвижно сидевшая и днем и ночью в кресле.

Тогда в доме топили, потому что две старшие любили тепло.

Старшие женщины были обычны, — трезвые и практичные француженки.

Сначала умерла собачонка. В ящике, обложенным цветами и еловыми ветками, ее зарыли в саду.

Потом стала болеть мать. Водянка вздула тело и душила ее. Много месяцев развивалась болезнь. Наконец, старуха умерла.

Тело ее было положено в гроб и на него надвинули крышку, потому что разложение шло очень быстро.

Столетняя бабушка смертью дочери не то что была огорчена, а просто отупела как-то, — без сна и без сознания сидела в своем кресле на верхнем этаже.

И вот воистину делятся люди на тех, кто связан с жизнью, на дневных, солнечных, от воли и от ветра, — и на тех, кто насыщен смертью, на людей ночных, с лунным загаром, с безвольными заклинаниями и тихой болотной прелестью.

Внучка была из их числа.

В доме трех старух, трех оттрудившихся поколений, в ночную пору, при желтом свете свечи и при закрытых ставнях, в окологробовой тишине начала она действовать по-своему, по-дикому, по-ночному.

Тайком в саду кухонным ножом выкопала ящик с останками собаки, принесла его в комнаты, напрягаясь и задыхаясь, сдвинула крышку с гроба, — и неловко сдвинула: задела углом голову матери, — и в ноги поставила собачий ящик.

Так их и хоронили потом...

Вот, услышав это и вспомнив бестелесные плащи и вуали, я как-то сразу понял, что в жизни самой размеренной и трезвой, там, где танцуют фокстрот и вообще упразднили тайну, иногда может быть...

О, Господи, зачем нам Шатобриан, и Наполеон, и Жанна д'Арк, и все планеты, когда наше дело при земном ветре и под земным солнцем упорно и упрямо волочить свой плуг.

Непобедимая

— Ну-ка, жизнь, покажи мне тех, кого ты опять победила? Всех, смертельно усталых, всех, утерявших веру, всех, не ждущих завтрашнего дня.

У жизни синодик длинный. Каждый день, каждый час — новые жертвы. Все, — по разделам и рубрикам. Банкир, потерявший на биржевых операциях три четверти своего состояния и не знающий, как жить с одной четвертью, — несколькими миллионами. Выход найден, — пуля в лоб. Его наследники считают и пересчитывают наследство.

Неудачная любовь, измена, ревность. «В смерти моей прошу никого не винить».

Просто усталость. Сегодня работа, завтра работа. О, глупая, никому не нужная работа. Каждый день десять часов, в неделю шестьдесят часов. Сколько часов на протяжении всей жизни? И зачем думать, мечтать, стремиться? Лязг машины, — вот она жизнь. Оборот колеса, — вот они дни. Челнок прядает взад и вперед. Челнок-маятник отмеряет бесцельно погубленное время.

— Ну-ка, жизнь, покажи мне тех, кого ты опять победила? Всех, смертельно усталых, всех, утерявших веру, всех, не ждущих завтрашнего дня.

Гибнут надежды и планы, гибнут люди, рассыпаются семьи.

В молодости говорят: «Все будет завтра».

В старости: «Все было вчера».

И никогда, никогда, никогда не бывает дня, когда человек говорит:

«Все, — сегодня».

И завтра, и вчера, и сегодня, — суета сует.

Но существуют непобежденные. Существуют люди, которых победить нельзя.

В синодике жизни, внизу, под списками, есть мелкими буквами напечатанные сноски: «Непобедимые».

Не цари, не банкиры, не удачливые любовники, не изобретатели, не ученые, — просто, — непобедимые.

* * *

У соседей сегодня с утра слышны звуки скрипки.

«Ехал раз с ярмарки ухарь купец, ухарь купец, удалой молодец».

А потом:

«Ямщик, не гони лошадей».

И еще, и еще...

Тонким и быстрым ручейком текут знакомые напевы.

Сочетание удали, певучести и тоски, тоски, тоски.

Тоска кабацкая, пьяная и рыдательная.

Это в гости пришла Ариадна Аркадьевна и скрипку свою по всем пересадкам метро протащила, — в черном футляре, — кормилицу и поилицу.

Легкую жизнь Господь послал Ариадне Аркадьевне.

Во-первых, — уже возраст такой, что всяческие кафе и бары никаким соблазном обернуться не могут. (Кстати, — в чем разница между кафе и баром я не знаю, и она не знает.)

Во-вторых, работа, можно сказать, по специальности, — доставлять людям удовольствие игрой на скрипке и за это снискивать скромное пропитание.

Загудят струны, запрыгает мелкими брызгами поток знакомых напевов, что-то в сердце защемит, глаза у человека откроются в даль, — к ушедшему или к грядущему, — расступится табачный воздух бара, и душа как на уздечке безвольно повлечется в мечту. Вот и день обедом обеспечен. Скромный труд имеет скромную награду.

«Не осенний мелкий дождичек...»

Маленькое окно в иной мир, в иное бываньe.

Влекись, усталая душа, на крепкой уздечке, в невозможное, в мечту...

Истинный артист, — все равно где, — перед многосотенной концертной толпой, или в кафе, где за столиками обнимаются парочки, а у стойки громко спорят забежавшие

на минуту приятели, или на улице, во дворах-колодцах, — истинный артист, — всегда кудесник и всегда творит свою легкую, крылатую тайну.

В списках жизни около имени истинного артиста всегда стоит звездочка, а внизу сноска — «Непобедимый».

Такой звездочкой и такой сноской была и Ариадна Аркадьевна в списках жизни отмечена.

О Господи, и терять-то нечего, — вот богатство. Бумаги в цене не упадут, потому что их нет. Разориться нельзя, потому что скрипка кормилица в руках. Неудачная любовь? — это дело давно миновавшее. Теперь и о неудачной любви с приятностью вспоминать можно. Потому что хоть неудачная, а все же любовь. И часто неудачная многих удачных стоит. Ну, а разочарование в жизни? — Как в ней разочароваться, когда вокруг так много хороших людей существует...

Вот на днях была Ариадна Аркадьевна в консульстве. Там квитанции на бесплатные обеды выдают. Народу много, — безработные русские.

Очень хорошо провела все утро. Очередь большая, со многими поговорить пришлось. Как приятно с русскими не торопясь побеседовать.

Есть, конечно, в жизни существенные неприятности. Во-первых, каждые две недели за квартиру платить надо. Во-вторых, совершенно неизбежна покупка башмаков. Самое безотлагательное время пришло. В-третьих, уж очень поздно приходится спать ложиться со всеми этими ресторанными выступлениями.

Но на эту беду управа нашлась. Ариадна Аркадьевна решила несколько изменить вид труда. Перейти с ночной на дневную работу. На счастье молодой француз попался с голосом удивительным. Поет, — прямо за сердце хватает.

Немножко сложно с репертуаром вышло. Он все больше «Mon Paris [9] » и другие французские мотивы,

[9] Мой Париж (*фр.).*

а «Ямщика», «Мелкий дождичек» совсем не знает. Ну, да кой-как срепетировались.

Только русские слова ему не даются. Одна надежда, что слушатели-французы и не обратят внимания на неправильности в русской речи.

Стали ходить по дворам. Надо только знать, в какие дома пускают, а в каких консьержка нечеловеческая и до ажанов[10] дело дойти может.

Ариадна Аркадьевна проведет смычком по струнам, француз поднимет голову к верхним этажам, обведет взглядом все окна и начнет.

Хороший голос, молодой и свежий, так и льется и «Mon Paris», и «Ухарь купец». Только выходит «Ухарь купэс».

Скрипка поет протяжно, точно радуется сотоварищу, вежливо ему главное место уступает, нежными звуками сопровождает его, будто охраняет, будто покровительствует его силе и свежести.

Замолкнет певец, — тогда скрипка подбодряюще призывно устремится вперед, дорогу ему показывает и расчищает. И уже без боязни он на эту дорогу всею силою голоса бросается.

Окна открылись. В третьем этаже высунулась кухарка, наверное. А в первом двое детей к стеклу прижались носами. А вон старичок стоит в окне и попыхивает трубочкой.

Хорошо доставлять людям удовольствие и таким путем зарабатывать себе на ежедневное пропитание.

Ариадна Аркадьевна прижалась подбородком к скрипке и сбоку наблюдает за окнами. Француз-певец закинул голову и тоже следит.

Вот упал один белый пакетик. Вот с самого верхнего этажа другой.

Француз не умолкает. Нагибается и кладет бумажки в карман.

---

[10] Agent — полицейский *(фр.)*.

А они еще сыпятся. Не так уже много, но все же раз восемь певцу нагнуться пришлось.

Потом в следующий двор, если консьержка добрая.

И опять «Ухарь купэс».

И опять белые пакетики из высоких окон.

Вечером, — дележ.

Только стала замечать Ариадна Аркадьевна, что заработок сразу как-то очень уменьшился. Даром что бросают такое же количество белых пакетиков.

И открыла, что певец ее обманывает.

Да как хитро выдумал. Рукою сквозь бумагу нащупает, есть ли в монете дырочка или нет. С дырочкой, — мелочь значит. Без дырки, — франк. Дырявые в один карман, а цельные — в другой кладет. Вечером же делится одними дырявыми.

Одним словом, так работать нельзя. Хоть работа и совсем подходящая.

И не только работать нельзя, а совсем вообще это предприятие с мошенничеством Ариадну Аркадьевну из всех расчетов вывело. Совсем все иначе предполагала и иначе свои доходы рассчитывала. А тут ни за квартиру не заплатить, ни, уж конечно, башмаков не купить.

И такой голос хороший, а обманывает.

Пришлось применять экстренные меры.

Давно приглашал старый знакомый, — еще по России, — за комнату и стол давать уроки игры на скрипке детям, — мальчику и девочке.

Ферма своя, коровы, молоко, сад фруктовый, место хорошее и воздух чудный.

Пришлось поехать.

Дети к музыке не очень способные. Воздух, местность и молоко, — это правда, — первый сорт.

Но только все вовремя, все вовремя. Обед в положенный час, а в десять вечера все спать ложатся.

Пишет Ариадна Аркадьевна друзьям в Париж:

«Я здесь как птица в золотой клетке. Плохого сказать ничего не могу. Люди отличные и воздух дивный. Кормят как

на убой, постель мягкая и часто белье меняют. Маленькая у меня просьба к вам, — пришлите пять франков. А то покурить не на что. При случае верну. Думаю скоро быть в Париже, потому что здесь скучновато. И как меня мой француз подвел. Ну, кто мог думать. А голос великолепный. Ну, да ничего».

* * *

Жизнь, жизнь, признавай себя побежденной. Чем ты можешь соблазнить, чем можешь смутить непобедимых?

Все соблазны твои, — клетки золотые. Все соблазны твои для бескрылых. А крылатым принадлежит власть над тобой, — над синим небом и над зеленой землей. Над барами и кафе, над улицами и дворами, над певцом-обманщиком, — над всем миром.

Что же? Ломай и калечь слабых. Пусть разорившиеся банкиры стреляются и неудачные изобретатели пьют, пусть устают и разочаровываются те, кто не таит великого богатства в своем сердце.

Ты вольна над ними.

Но отойди в сторону, и пригнись, и стыдливо умолкни, когда встретишь тех, кто в списке твоем отмечен звездочкой, а внизу сноска, — непобедимый.

Ряженые

Если у человека есть какое-нибудь несоответствие — горб ли, глаз ли кривой или даже только сердце с перебоями, — нечего от него ждать правильных понятий, — обязательно все вверх ногами видит такой человек.

А уж горбатые люди, — это совсем особенные люди. Руки и ноги у них непомерно длинные, — голова же на короткой шее еле поворачивается. И душа у них рукастая, цепкая, — за что только уцепиться правильно не понимает, потому что вся жизнь им с одного и того же поворота видна.

В полозовском семействе вообще все благополучно. Старик веселый и делами заниматься не охотник, — дела созданы только, чтобы на них жаловаться. Младшая, Верочка, с курсов домой приезжает и на лето, и на Рождество, гости каждый день неизвестно зачем приходят. Пелагея по воскресеньям пироги ставит. Только Саша, старшая дочь, совсем к общему благополучию не пристала.

От рождения Саша горбатая. Как ни крои ей балахоны, из каких шелков и бархатов не мастери их, а всё одно плечо на вершок выше другого, все спереди грудь однобоким камнем торчит, а сзади будто под платьем мешок с чем-то твердым привешен. Будто камнями по горло засыпана Саша и из каменного мешка только голову высунула, — тоже особенную, как у горбатых у одних бывает, — с костями жесткими, точно под кожей обозначенными.

И в голове ее все мысли перевернуты: в летний вечер, когда закатный сумрак теплым туманом крадется по земле, когда с берега речки пение и смех слышны, — Саша тоскует. Нет ей покоя, все хочется, чтобы что-то яркое и пламенное всю душу ее испепелило, ничем не довольна, воздух такой, что и дышать-то им противно, а уж если что и есть на свете, на что без противности смотреть можно, так это первая звезда на закатной зелени небесной, — да и то оттого, что звезда эта, — верный знак самой безысходной тоски.

Это когда всем весело.

А когда людям неуютно и жутко, в зимние, застуженные вечера, во время панихидного пения всех четырех мирских ветров, в часы, когда стены домов содрогаются, а стекла в окнах жалобно позванивают и дребезжат под ударами дождевых капель, — Саша ощущает покой. Сидит с ногами в кресле перед печкой, перебирает на груди бахрому вязанного платка, смотрит, как медленной волной пламя переливается по рдеющим углям, и думает — о легком, о мирном, о том, что не придавлено к земле двумя каменными горбами.

А отец и Верочка жалуются на тоску и на то, что ногам холодно. Места себе в большом доме найти не могут. Верочка на полке старые книги в сотый раз перероет. Вытащит истрепанный роман Вернера без конца, перелистает стоя, две страницы в середине прочтет и опять в общую груду кинет.

Верочке, положим, всегда скучно, когда в доме гостей нет. Все отцовские усмешечки и словечки давно наизусть знает, а с Сашей говорить, — это спорить, — неизвестно о чем.

В больших городах квартира к квартире прилеплена, как соты медовые, — человек себя среди товарищества чувствует. Даже на улицах в позднюю пору не страшно, потому что электричеству великая сила дана, — страх отгонять.

А вот в такой дыре, где Верочке свои каникулы проводить приходится, все иначе. Выйдешь вечером на улицу, — в беспросветный мрак, как в черную реку окунешься. Редкие, желтые огни фонарей, точно гвозди в черноту вбиты, — света от них нет. Ветер, словно огромной метлой улицу метет, в телеграфных проводах, как в паутине муха путается и визжит протяжно.

И сразу покажется, что светлая комната, в которой только что чай пили, без возврата растаяла в ночи, что вот

только и есть на свете, что эта чернота да упорный собачий лай где-то на окраине, — будто большое и могучее существо посадило на ладонь человека и высоко, к самой небесной крыше его подняло.

И Верочка, и отец не то что боялись Сашу, а как-то неловко чувствовали себя с нею. Им весело, а она грустную муть около себя разведет, тошно вокруг станет. Им тоскливо, — а она в кресле блаженно жмурится, на огонь мигает, будто чужой тоске радуется.

А заводила Верочка к себе ежедневно целые таборы молодого люду со всего города. Саша совсем в свой каменный мешок голову втягивала, морщилась, к себе иногда даже уходила. Пелагея сбивалась с ног, — то в лавчонку за лимоном сбегай, то самовар подогрей, то чью-нибудь шубу под горой других шуб угадай и выволочи на свет Божий.

Отец же доволен был. Очень тонко, как в его молодости принято было, говорил всякие остроумные слова, улыбался молодым барышням, щурил глаза ласково и насмешливо, подкладывал варенье на блюдечки.

Студенты каждый приезд появлялись с особой поговоркой: то все кстати и некстати говорили «очень просто, понимаешь», то повторяли при каждом случае «сквер-рно, дорогой мой», то о каждом замечали: «хитрый, как бублик».

Кроме них приходили чиновники, учителя, гимназисты, но студенты все же были первыми гостями и тон всей компании задавали.

Каждую зиму в полозовском доме бывали ряженые. Ряженые предупреждали о своем появлении, Пелагея с утра начинала готовиться, в подсвечник у рояля вставлялись новые свечи.

А Саша впадала в тоску. И уйти нельзя, потому что она за музыкантшу слыла и должна была польки и вальсы барабанить. Так ряженые и выбирали, куда ехать, — где рояль есть или хоть гитара какая-нибудь.

Вот и теперь, накануне предупредили. Пелагея затеяла к ужину заливное и сладкий пирог пекла. Старик без дела по зале прохаживался, изредка стул переставит, чтобы посередине больше места было. Ковер с утра свернули огромной трубкой и вдоль стены положили.

Ряженым рано, а весь дом уже не так живет, как обычно. С пятичасовым чаем опоздали. Саша сама два раза на кухню ходила: самовар никак не хотел закипеть. Два раза потухал, а Пелагея ворчала и гремела посудой. Печи тоже не натопили как следует, — народу много ждали, и без печей жара будет. Верочка всю комнату перерыла, маскарадный костюм себе ладила из всякого старья, шумела, собою весь мир заполонить хотела, так что Саше и места больше не оставалось.

Самое несносное, — эта веселая суета. Будто ключом открывает она двери в такой бездонный провал, в такой страшный мрак, что зажмуриться хочется Саше.

Вообще ряженых она не любит и боится. Все ей кажется, что могут они безнаказанно посмеяться над ней, что за рожами крашеными настоящие лица они теряли.

К восьми часам кое-как чаю напились, отец, выбритый и надушенный, звонков в передней поджидал, улыбался. Верочка оделась принцессой какой-то, старую тюлевую занавеску широким шлейфом распустила, русую голову золотой короной из елочного дождя украсила. Пелагея зажгла в зале три лампы. У рояля поставила свечи.

Первой пришла тетушка Мария Александровна с мужем на ряженых посмотреть, похвалила Верочкину выдумку занавеску приспособить. Саша стала их разговором занимать, потому что Верочке не до того было, — забегалась.

Потом раздались оглушительные звонки на парадном. Пелагея кинулась со всех ног отпирать, отец пробежал, потирая руки.

Влетели с визгом и хохотом ряженые, закружили Верочку, даже Пелагею подхватили, Сашу повлекли к роялю.

Многих можно было сразу узнать. Сын начальника почты только натянул клоунский колпак, а две батюшкины дочери были в летних своих вышитых мордовских костюмах, следователь неумело менял голос. А остальные: ведьмы, черти, паяцы, цыгане, — казались сначала совсем незнакомыми, чужими.

Саша играла польку. Ряженые кружились парами, человек в красном фраке с огромным наклеенным носом неистово дудел в длинную трубу. Огромный клоун кувыркался через голову и сбивал с ног танцующих.

Саша кончила. У нее болела голова, а визг и хлопанье хлопушек каждый раз заставляли вздрагивать. Отец, под руку с ведьмой, угощали гостей орехами и финиками. Верочка старалась заглянуть под маску длинному и худому паяцу — единственному, кого она не узнала.

У дверей передней толпились гости Пелагеи, соседский кучер с женой и две горничные, видимо, заранее ею приглашенные.

Саша осталась сидеть за роялем и напряженно старалась улыбнуться. Самое глупое — это иметь трагическое лицо, когда всем весело.

Потом она начала играть вальс, но ее прервал новый звонок, не такой бешеный, как первый.

Через минуту в залу медленно входила новая толпа ряженых. На самодельном деревянном троне сидело чучело Масленицы, сплошь увитое соломой. Первую минуту казалось, что кроме соломы на троне ничего и нет, до того неподвижно восседала Масленица. Но то напряжение, с которым несли трон странные люди, — не то лешие, не то ведьмы, с густо приклеенными бородами из пакли, с замотанными шеями, — неузнаваемые, ни на кого не похожие и, — Саше показалось — трагически-взволнованные, — указывало на то, что человек, изображающий Масленицу, очень тяжелый. Из соломы торчало только ухо и свешивалась прядь волос.

Саша опять заиграла. Трон с Масленицей поставили посередине комнаты. Около него, как бы на страже, остался один леший. Остальные закружились в бешеной пляске.

Саша барабанила неистово. Ей минутами казалось, что вот только такими рублеными, крепкими звуками она прикрепляет эти кружащиеся маски к комнате, а остановится, — и все исчезнет, заклубится призраками, развеется.

Верочка уже не пыталась никого узнавать. Она что-то рассказывала, улыбаясь, паяцу и кружилась вместе с другими вокруг соломенного чучела с человеческим ухом.

После вальса окружили Масленицу и начали петь:

«Прощай, прощай, Масленица».

Следователь хотел обнять неподвижную фигуру, но леший сурово его оттолкнул.

Саша встала из-за рояля и вышла в столовую.

Накрытый белой скатертью стол был заставлен бутербродами и сладостями. Пелагея расставляла чашки на подносе. Соседский кучер принес из кухни кипящий самовар.

Саша заглянула в окно. Черная, беззвездная ночь совсем близко прилипла к стеклу, будто черным тестом замазала его.

Лешие внесли свою Масленицу и поставили во главе стола. Другие ряженые, уже немного остепенившись и устав, входили в столовую. Саша села на другом конце стола, против Масленицы и начала разливать чай. Верочка уговаривала всех съесть пирога. Узнанные соглашались, а не узнанные прятали свои подбородки в воротники, натягивали колпаки и глухо мычали, отнекиваясь. Лешие выпили коньяку и торжественно предложили рюмку своей чучеле, таинственно пряча ее в соломе.

А Масленица не меняла положения, высилась соломенной горой, над которой где-то виднелось ухо с прядкой волос, прикрытое сверху соломенным колпаком, вроде бредня для ловли рыбы.

Отец провозглашал тосты и поминутно наполнял свою рюмку. Ведьма, давно снявшая маску, предлагала через часок ехать дальше, в следующий дом. Верочка хотела ехать вместе со всеми.

После чаю опять танцевали. Саша играла кадриль и вальс.

Только Масленица и лешие остались в столовой, допивая коньяк.

Верочка бесилась, что так и не узнала никого из второй компании. Не может быть, чтобы в этой дыре незнакомые люди оказались.

Батюшкины дочери сооружали ей маску из куска материи. Красили щеки и прорезали дырки для глаз и рта.

Потом стали собираться.

В передней долго не могли разобраться в горе шуб. Установили очередь. Сначала одевались пришедшие позднее, так как их шубы были наверху. Лешие торопили свою компанию, чтобы дать место следующим.

Верочка была уже одета и стояла около дверей.

Первая компания уже отъезжала, бубенцы звенели на тройках.

Паяц долго не мог найти свою шапку, а следователь уговаривал старика Полозова ехать с ними.

Пелагея сбилась с ног, разыскивая шапку.

Саша стояла на пороге с той же натянутой улыбкой и думала, что вот сейчас у них в комнате беспорядок после Верочкиных сборов, а Пелагея не скоро угомонится и приберет все, да и во всей квартире пахнет табачным дымом и какими-то отвратительными духами.

Кода последние гости, уводя с собой Верочку, исчезли в черноте подъезда, отец пошел к себе в кабинет, а Саша попросила Пелагею поскорее убрать у них в комнате.

Потом она вошла в зал. Хотела потушить свечи перед роялем, но забыла. Села на табуретку и стала играть. После первых аккордов отец крикнул из кабинета: «Как у тебя все не кстати. После ряженых похоронный марш какой-то. Это на тебя похоже».

Саша быстро закрыла рояль, задула свечи. Потом подкрутила все три лампы.

Пелагея еще не кончила убирать. Саша прошла в столовую.

Там, на своем неуклюжем троне сидела соломенная Масленица, такая же неподвижная и громоздкая.

Саша сказала: «Послушайте, все уехали...», — но оборвала недоконченную фразу. Ей стало жутко.

Через мгновение она решила, что ошибалась, что это просто соломенное чучело, забытое ряжеными. Она подошла близко, дотронулась до колпака, он упал и обнажил седеющую голову с довольно длинными, растрепанными волосами.

Не соображая, что она делает, Саша отогнула сноп соломы, скрывающий лицо ряженого. На нее уперлись мертвые, невидящие, стеклянные, немигающие, застывшие в недоумении каком-то глаза.

Как во сне, Саша дотронулась пальцем до лба незнакомца и отдернула руку: лоб был холодный и сухой, — лоб мертвеца.

Крепко привязанный веревками к своему трону, обложенный снопами соломы, уставив свой неподвижный взор в Сашины глаза, скрыв под соломой уже не кровоточащую рану, в столовой полозовского дома, над допитыми рюмками коньяка и недоеденными бутербродами, сидел мертвый человек. Саша громко закричала и бросилась из комнаты.

Вообще Саша не могла понять, отчего люди не видят всего ясного, что ей видно. Тоненькой пленкой, как первым ледком рек, покрыта бездонность этим вот видимым и всем доступным миром. А вглядись только попристальнее, и за жизнью, за Верочкиной суетой, за отцовскими усмешечками, такая рожа осклабится, мертвенная, с пустыми глазами, что поймешь сразу — нет ничего, все в ничто упирается, все смертью отсвечивает, небытием. А рожи ряженых тем страшнее для Саши, что и без того зыбкое лицо человеческое стирают.

В передней раздались звонки. Протрусила Пелагея двери отпирать. Отец пробежал, потирая руки.

Ввалились ряженые. Холодным ночным ветром пахнула широко раскрытая парадная дверь. Далекими, из другого мира, показались Саше визги и словечки пестрой оравы.

И даже то, что она сразу узнала двух батюшкиных дочерей — по их летним мордовским костюмам, и следователя по неумело измененному, картавому голосу, не показалось ей достаточно убедительным, чтобы всех за настоящих, живых людей почитать.

Она села за рояль и заиграла польку. Застывшие в улыбке, белые с красными щеками, мелькали отвратительные мертвые маски. Пестрые клоунские балахоны и серые халаты ведьм кружились. Какой-то толстый человек в красном фраке с огромным наклеенным носом надувал щеки и дудел в трубу. Паяц кружил Верочку и нелепо вскидывал ногами.

«Все, все, нарочно, — думала Саша, механически барабаня по клавишам, — все, чтобы совсем настоящее потерять».

Вообще настоящее будто на волоске висело. Куда-то отступили привычные стены дома, завешанные фотографиями и японскими веерами с бабочками и рыбами. Красное и желтое, визгливое и тревожное, под рубящие и крепкие звуки польки кружилось и металось по комнате.

Саша кончила и старалась улыбнуться. Самое нелепое — иметь трагическое лицо, когда всем весело.

Вадим Павлович Золотов

Вадим Павлович Золотов считал, что самая существенная часть в обстановке всякой комнаты — это то, что видно в пролет — окна. Если за окном высятся серо-рыжие стены дворового колодца, то в такой комнате работать нельзя. Нельзя тоже работать, если комната слишком низка и в окно можно увидать людей и ломовых, гремящих по мостовой.

Искал он всегда квартиру в верхнем этаже, с окнами большими, открытыми на всю необъятность города. Днем крыши и верхушки деревьев исчезали в сизых туманах, лиловые дымки курились над ними, галки летали в пустом, бледно-сером небе, будто вестники неведомых стран пламенели на западе, фиолетовые тени ложились на ближних крышах, от окна начинался невидимый мост в мир восторга и тревоги, в мир далеких огней города, сизой мглы и тревожащей тоски.

Письменный стол Вадима Павловича стоял всегда у незанавешенного окна. Во всем мире была тишина, торжественность, напряженное ожидание. И Вадим Павлович писал.

Не встречающийся с людьми и одинокий, он писал повести о людях, о том, что делается — на дне колодцев домов, о трескотне ломовых колес по раскаленной летней мостовой, о смехе в подворотнях, о дребезжании трамваев, о больной и задушенной любви человеческой. И молодое его литературное имя с каждой повестью приобретало все больший вес. Перед ним была широкая литературная дорога.

Сейчас писать нельзя, — темнеет. Свет зажигать не хочется, — он своей определенностью отрежет сразу от комнаты призрачный мир за окном. Вадим Павлович смотрит в прозрачную даль, думает...

В передней тихий звонок. Потом робкий стук в дверь. На пороге показался небольшой человек, в сумраке лицо не разобрать.

— Позвольте представиться, — Мавриди Георгий Георгиевич. Служил раньше на табачной фабрике, происхождение, — грек, а теперь просто чердачное существо.

Стоит у дверей, ждет.

Вадим Павлович указал на кресло около письменного стола.

— Садитесь. Чем могу служить?

Мавриди замялся, помолчал немного, будто совсем в сумрак ушел. Потом тихим голосом начал:

— Моя просьба к вам, я знаю сам, очень несуразна. Но вопрос идет о моей жизни. Вы — необыкновенный человек, вы — писатель большого таланта, и потому вы поймете, вы обязаны понять... — И опять замолчал, собираясь с духом.

Вадим Павлович заинтересовался.

— Я слушаю вас.

— Видите, я — ничтожество, табашник, больной человек, — только в банной температуре жить могу, а иначе от воздуха кожа на груди воспаляется и мучительно больно. И сейчас больно, но это не то... Я ничтожество, и полюбил одну девушку, одну... Ну, не важно вам знать, кого... Она, конечно, на меня не может обращать внимания. Она умница. А я так не в силах... Я долго страдал... Потом сказал, что я пишу под псевдонимом Вадим Золотов... Стал ей мои... то есть ваши повести давать. Заинтересовалась.

Вадим Павлович перебил его.

— То есть как так? Ведь это подлость, ложь!

Мавриди замахал руками.

— Знаю, знаю, не говорите, иначе не могу... Поймите, поймите! Для этого и пришел к вам. Я в типографии недавно у знакомого наборщика вашу рукопись на несколько дней взял... Переписать только пришлось... она читала... понимаете — еще неизданное, первая читала... свои замечания делала...

— Слушайте, ведь это же недопустимо!

— Нет, допустимо! Вы должны понять... У меня просьба к вам. Давайте мне ваши рукописи на одну ночь только.

Я переписывать буду. Вам, ведь, все равно... Во имя любви прошу. Вы не можете не понять...

Стало совсем темно. Вадим Павлович не знал, что ему ответить. Мавриди молчал и весь как-то ушел в кресло. Наконец Вадим Павлович сказал:

— Нет, я, конечно, не согласен.

Мавриди медленно поднялся из кресла, подошел к окну, где стоял Вадим Павлович, и опустился перед ним на колени.

— Умоляю вас... Во имя любви, поймите... никогда я в жизни радости не знал, — это единственное... понимаете... Я конченый, больной человек. Перед смертью, напоследок... Вот, чтобы она приходила ко мне, садилась на диван около печки и говорила: «Это хорошо, а это не так. Я в вас верю, — вы будете большим человеком...» Пусть это и не ко мне относится, но я не могу иначе... Если вы не поймете, то кто же поймет. Это вот, настоящая жизнь, та, о которой вы пишете, — вы должны не только понять, вы должны полюбить нас...

Потом встал так же медленно.

— Вот у вас огоньки далекие видны в окно, и за плечами будто крылья, а я живу на чердаке, от мира желтыми обоями с цветочками отгорожен, и стиркой в комнате пахнет. А в окне соседняя желтая стена, и неба, как грязный холст, маленький кусочек виден, и вязаная занавеска. И кожа на груди от воздуха воспаляется. Чердачное существо.

Вадим Павлович колебался. Ведь в конце концов Мавриди просит о том, что ему легко сделать. Во имя любви, чужой и огромной, сделать это. Обман? Но разве любовь эта не покроет обмана? Если он любит так, как говорит, как чувствуется это?

Он согласился.

Мавриди наклонил голову так же торжественно, печально, как и раньше.

— Я знал, что вы поймете.

Внезапно взял руку Вадима Павловича и поцеловал ее.

Потом начал деловито уславливаться о размерах рукописей, о сроках их получения и возврата, о том, где какая из них должна быть помещена, — чтоб не ошибиться, не выдать себя.

Ушел он, аккуратно свернув трубочкой новый рассказ Вадима Павловича.

На следующее утро он вернул его.

Через две недели пришел за новой рукописью.

Из кармана вынул сложенную тетрадку.

— Может, захотите полюбопытствовать... Критика.

Он слабо улыбнулся.

Тетрадка была исписана его крутым и мелким почерком. Сюда он списал первый рассказ, а поля были испещрены узкими и прямыми буквами.

— Каждую вашу фразу она взвесила, иное одобрила, а иное нашла несоответствующим. Целых два дня изучала. Обратите внимание.

Вадим Павлович попросил оставить тетрадь.

Мавриди согласился и ушел с новой рукописью.

Заметками своего неведомого критика Вадим Павлович очень заинтересовался. Ловко построенный и стилизованный рассказ его рассматривался совсем не так, как обычно рассматривают журнальные критики. Техника, школа, философская подоплека были автору заметок на полях совершенно неинтересны.

Единственное, что отмечалось им, — это правда, страдание, проникновение в душу одураченного и забитого человека, сила понимания и прощение.

С тонкостью исключительной критик этот отмечал все слова и фразы, в которых, кроме истинной боли, кроме перевоплощения Вадима Золотова в жизнь его героя, была хоть тень позы, украшающего завитка, вычуры.

В таких случаях на полях беспощадно стояло: «Ложь! Ближе к истине».

И в конце рассказа, на последних листках тетради, была написана целая рецензия. Вадим Павлович читал ее с нескрываемым волнением.

«Милый друг, — стояло там, — я вижу, что перед Вами лежит широкий путь. Одаренность Ваша исключительна. Сила любви и страдания делают Вас зрячим и заостренным. Но вот Вы пишете об огромных просторах мира за Вашим окном, о пламенных вестниках в закатном небе. Милый друг, страшно учить такой талант, как Ваш, но от всей глубины моего калечества, взываю к Вам: вестники, — они далеко... мертвые, холодные просторы доступны только ветрам. Не уходите от нашего мира в эти заповедные страны. Поймите и оправдайте нашу слепую жизнь, и эту стену, что закрыла перед Вашим окном весь свет Божий, и вонь от стирки белья, на которую Вы всегда жалуетесь, грязь и пыль земную, на которую Вы тоже всегда жалуетесь. Сумейте преобразить Вашу убогую жизнь, и тогда Вы будете достойны Вашего дарования. Не надо лжи, сделайте правду сказочной. А.»

Вадим Павлович задумался. В мутном небе медленно кружились галки. Оконная рама четко ложилась крестом на простор. Ненаселенным и пустым показался мир Вадиму Павловичу. Он открыл окно и высунулся. Внизу чернел пролет двора. Мальчик тащил поблескивающий жестяной лист. Из какого-то кухонного окна торчал погребец, полный кулечками. А рядом свешивалось красное ватное одеяло.

На следующее утро Мавриди пришел смущенный.

— Простите, Вадим Павлович, в вашей рукописи есть такое, что я не могу переписывать. Вы тут о калеках пишете, о том, что внешнее убожество соответствует духовной калечности. Не могу я этого принять. Александра Семеновна немного тоже калечная, — горбатая она. Как бы ей это оскорбительным не показалось.

— Что же вы хотите? Не переделывать же мне повесть из-за вас.

— Это как вам будет угодно. Может быть, просто другое дадите.

Вадим Павлович сердился. Сердился не только на Мавриди, но и на то, что поддался вчера этой рецензии неведомого человека.

Он дал черновик еще неоконченной повести.

Мавриди ушел. Не писалось. Вадим Павлович в раздумье шагал по комнате.

Так шло время. И с каждой новой рецензией, аккуратно приносимой Мавриди, Вадим Павлович все сильнее и сильнее подпадал под обаяние неведомого существа, все понимающего, мудрого, измученного и так дружески-ласкового.

Постепенно все, что он писал, писалось ей, таинственной Александре Семеновне. Далекая жизнь чердаков и мостовых, полного угара и многодневных будней, нищенства и тоски, подступила к широкому пролету окна, закрыла бездонно-пустое небо лиловым дымом далеких труб.

Рассказ о калеках был переделан. В нем восхвалялась теперь мудрость страдания, отвергалась тупость и пошлость нормальной и радостной жизни.

Журнальные критики писали о повестях Золотова, что в русской литературе совершается величайшее событие: нить порвалась с смертью Достоевского, и вот — найдена. Могучий гений Золотова с небывалой силой освещает и преображает страдание, оправдывает человека в грязи и тине жизненного дна и ведет русскую литературу к яркому свету любви и человечности.

Но эти рецензии мало интересовали Золотова.

С напряженным вниманием читал он узкие и прямые строчки:

«Милый друг, в мире, где человек навеки отгорожен от человека стеной, в мире, где все обречены на одиночество, чего можно еще желать, когда совершается чудо. Из этой замкнутости вдруг намечается выход во вселенную, — человек понял брата своего человека. Вы даете мне это чудо, эту

радость. Вы поняли, какая тоска в приниженности моей, в убожестве моем. Вы говорите о любви. Я не стану Вам отвечать, а отошлю Вас к Вашим же страницам. Я — ничтожный и маленький человек, Вы, — тоже больной и жизни не нужный. И вот, вне любви человеческой, в Вашем творчестве мы преображаемся».

Однажды Вадим Павлович начал расспрашивать Мавриди об Александре Семеновне, все хотел знать.

Мавриди за эти два года их знакомства совсем истаял как-то. На груди бесчисленные шарфы, каким-то восковым стал, ресницы желтоватые гноились, — совсем мертвец.

Но об Александре Семеновне мог говорить всегда и сколько угодно.

Какая она? С желтыми волосами, глаза большие, немигающие, голос, как колокол, но не самый глухой, а что на тоску звенит. Горбатая — да, но это быстро совсем незаметным становится. Руки тонкие, а кисти рук большие и тяжелые. И вообще и не расскажешь, какая она.

Кто она? — У нее было очень трудное детство. Мать ее швейкой была. Отца она не знала. Отец их бросил, когда ей три дня было. Кажется, что он был студент. А подросла она и помнит, как мать к себе гостей приводила, ее высылала на лестницу, ночью там холодно, кошками пахнет.

Потом за носильщика мать замуж вышла, а ей, благодаря исключительным способностям, удалось на стипендию в гимназию поступить. Теперь на курсах, скоро кончает.

И Вадим Павлович впитывал каждое слово рассказа Мавриди. Все мысли его были с Александрой Семеновной.

Большой роман, задуманный им не так давно, писался.

Властно и решительно, на весь мир, на грязь и пыль земную, на муку и убожество, — смотрела со страниц этого нового романа Александра Семеновна, милый друг, всепонимающий и мудрый.

По частям, в черновиках, роман сдавался Мавриди.

Отзывы были точные, сжатые. Она будто вместе с Золотовым творила этот роман, — свою жизнь.

Наконец последняя часть была кончена и отослана.

Вадим Павлович с тревогой поджидал Мавриди. Он думал, что окончательная рецензия уже обо всем романе будет самой значительной.

Но Мавриди не приходил.

Однажды утром раздался звонок. Вадим Павлович сам вышел отпирать дверь, и он был уверен, что это пришел Мавриди.

На пороге стояла маленькая горбатая девушка в сером стареньком пальто.

Еще не входя в переднюю, она сказала:

— Три дня тому назад Георгий Георгиевич отравился и мне оставил письмо, в котором все объяснил. Обманывать больше не мог. Вот я и пришла к вам.

Вадим Павлович очень заколебался и первый прошел в кабинет.

Александра Семеновна шла за ним, засунув руки в пальто, будто ей зябко было.

У письменного стола остановились молча.

Чтобы не молчать, засовывая руки в карманы, Александра Семеновна сказала:

— Вот ведь как все вышло! — и заплакала.

Вадим Павлович взял ее за руки и смотрел в окно... Галки кружились в пустом небе, перемещаясь из одного квадрата рамы в другой.

Канитель

I

Привыкли мы себя и людей обманывать. Да так привыкли, что обман за условную какую-то правду почитаем. Вот, к примеру, если захочет кто-нибудь о человеке все точно написать, всего человека изобразить, — то кроме знаков слабых, обозначений условных — ни у кого ничего не выйдет.

Из каких свойств слагается полный облик человеческий? Из сотни и тысячи свойств, часто таких мелких, что уследить за ними нельзя. А забудешь хоть самую малую малость — и остается от человека не человек, а знак один условный.

Любой отрезок жизни, час один, прожитый человеком, — требует тома для описания своего.

Вот задумалось мне рассказать о многом, хорошо известном и часто виденном, рассказать о канительном хитросплетении различных жизней, о днях медленных и тягучих, о людях очень обыкновенных, потому что каждый человек при рассмотрении из обыкновенных частей состоит. Но разбиваются люди на сотни и тысячи планов, и каждый план свое самостоятельное значение имеет. Это только в пристрастии своем к некоторым из них, что-то мне напоминающим, хочу рассказать о сотой или тысячной доле того, что на самом деле знаю.

А главное, хочу я говорить сейчас не только о людях, а и о многом другом. О серовато-желтом доме, где в трех различных этажах живут Столбцовы, Колоколовы и швейка Анна Ивановна с матерью, — о лунном загаре на коже Николая Колоколова, о дарвинизме, о вязании с узорами, о письмах без адреса, — и как узел всего, центр домашней жизни, — о лестнице, ведущей от дверей столбцовской квартиры к дверям колоколовской квартиры,

и от дверей колоколовской квартиры к чердачному помещению, где обитает швейка Анна Ивановна с матерью. Лестница в моем повествовании — становой хребет. Без нее и повести не будет, без нее вся жизнь дома распадется.

Лестница — становой хребет. А Александр Константинович Столбцов, — корень, главный квартирант и плательщик, отец семейства, ключ ко всей жизненной канители.

С этого ключа и повествовать начну, чтобы потом, ступенька за ступенькой, всю лестницу измерить и всю жизнь желто-серого дома посильно показать и объяснить.

Александр Константинович знал о всех своих достоинствах очень точно. Во-первых, он происходил из очень хорошей семьи, от целого рода крепостников и англоманов, от людей талантливых и вырождающихся. А в известном смысле лишь то, что вырождается, имеет некоторую цену, — так думал Александр Константинович, и на этом основании давал волю себе и своему вырождению. Во-вторых, был он очень свободомыслен и даже имел свою законченную философскую теорию, покоящуюся на дарвинизме и в корне пресекающую все пошлости социализма. Эта теория и заставляла его особо в себе уважать все черты так называемого вырождения, и был он на основании этой теории уверен, что вся власть в мире находится в руках у вырожденцев.

И теория его, — сверхдарвинизм этот, — очень просто все объясняла, но так, как до него, Столбцова, никто ничего не объяснял. Род человеческий, происшедший из рода обезьяньего, по законам природы должен выделить из себя новый род, — сверхчеловеческий, который будет в таком же отношении к человечеству, в каком человечество к роду обезьяньему. В настоящее время происходит этот отбор будущих предков сверхчеловека. Это те, кого толпа считает вырожденцами, но кто на самом деле владеет властью, деньгами, биржей, фабриками, армиями, пушками, — всем, что может поработить другую часть человечества. Для

этих избранных существует наука, только им доступна утонченность искусства, им на пользу работает вся человеческая масса, обставляя их жилища с роскошью, добывая им алмазы в толщах гор и жемчуга на дне океанов. Эти избранные владыки мира, обладая вкусами утонченными и высоко эстетическими, имеют возможность насыщаться питательными обедами, жить в теплых и удобных комнатах, всячески холить и лелеять себя.

Им противоположна, им враждебна толпа, — предки будущего рабочего скота в хозяйстве сверхчеловека, — и в бессильной злобе своей создает теорию социализма, проповедует всеобщее равенство, говорит о грядущей революции.

Все это, конечно, не страшно, потому что о равенстве можно говорить в каком-то одном семействе животных — равенство моллюсков, равенство птиц, равенство обезьян, равенство людей, равенство сверхчеловеков. Людское равенство не может принизить до себя сверхчеловека и победить его не может, и даже до известной степени полезно, потому что создает хорошо организованный рабочий скот.

И будучи точно уверен в непреложной истине этой теории, Александр Константинович особенно тщательно и любовно собирал все сведения, касающиеся прошлого семьи Столбцовых, и по ним устанавливал несомненность своей принадлежности к группе избранных предков сверхчеловечества.

А себя Александр Константинович чувствовал очень приблизившимся, даже по сравнению с прадедом, к намеченной цели.

У прадеда была еще помещичья грубость эдакая, — результат незавершенного периода борьбы. Александр Константинович был уже победителем, — грубость у него заменилась такой особенной твердой и цепкой ласковостью — как люди собак гладят, чтобы с ними познакомиться, оградить себя от укусов, с полной уверенностью, что собаку ввести в обман очень легко, — так оглаживал

Александр Константинович и близких и далеких людей. Властной ласковостью давал им понять, какой он такой, и какого он особого внимания требует, и на какие блага в жизни особое право имеет.

И выходило всегда все по его ласковой воле: жена его, болезненная и слабая, до самой своей смерти в его исключительность верила, и детей ему, двух девочек, растила, — как великое задание столбцовского рода выполняла.

А после ее смерти, да, положим, и за два года до ее смерти, когда она очень болела, Вера Васильевна Колоколова, несмотря на все сложные причуды натуры своей и несмотря даже на всю свою привычную избалованность, так же безоговорочно и преданно стала лелеять Александра Константиновича, как раньше жена его лелеяла.

Стал он и в колоколовском семействе полноправным и ласково брезгливым хозяином.

Просто против всей своей натуры пошла Вера Васильевна, перед сыном унижение терпела, ласково заискивала и улыбалась, когда встречала на лестнице Ольгушу или Соню Столбцовых.

Соня пофыркивала на ее улыбочки и поругивалась дома, говорила о пудреном носе Веры Васильевны, а Ольгуша каждый раз тревожилась очень, потому что она тревогу вообще любила, и еще по одной причине, которая совсем небывалое осложнение в жизнь Колоколовых и Столбцовых, а вернее вообще в жизнь всей лестницы, — станового хребта желто-серого дома вносила. Но об этом еще не время рассказывать.

Единственный человек, не поддающийся на ласку сверхчеловека Александра Константиновича, был Николай Колоколов. Он вообще был человеком накрахмаленным, с лунным загаром на лице, на лице падшего ангела, как думала Ольгуша, на лице Коленьки любимого, как думала швейка Анна Ивановна.

II

Каким-то непонятным вывихом во всей теории Александра Константиновича были дочери его Ольгуша и Соня, — даром, что друг на друга мало походили, — обе самым существованием своим до корня отрицали веру отца в призвание столбцовской породы быть предками сверхчеловека.

На Ольгуше весь дом держался. И не то что любила она хозяйство и с удовольствием обучала кухарку, как пироги ставить, а просто в виде служения у нее это выходило. В самые мелочи, — в пыль на карнизах, в топку печей, — азарт подвига вносила. И все молча, не ожидая похвал, будто награда ей не здесь обещана, — а потом взрывом каким-то обидится, что никто ее трудов не замечает, никто ее не ценит, не любит, — и тогда ляжет плашмя на кровать, — пусть пыль на карнизах, пусть пирог не взошел, пусть печи не топлены.

Тяжелый человек Ольгуша, — на всех своей заботой, как каменной глыбой, обрушивается. Если заметит, что гость какой-нибудь любит печенку, а другой грибы, так уж и не спутает, — сколько бы раз эти гости ни приходили в столбцовский дом, и уж всегда одному печенка будет, а другому грибы.

Но это еще ничего — в днях обычных и ничем исключительным не отмеченных.

Тяжелее становилась Ольгуша там, где находила способы из обычного устроить необычное и мучительной канителью, как иглами, дни свои пронзить.

И к этой канители открыла она себе широкую дорогу. Сначала, встречаясь на прежней квартире с Верой Васильевной Колоколовой, когда та изредка по самому неотложному делу к отцу забегает, она только чувствовала себя этими ее посещениями как-то сладко униженной и вспоминала особенно яро о покойной матери.

Потом случай вышел ей совершенно неожиданно с Николаем Колоколовым у одних знакомых столкнуться. И разговорилась она с ним, не зная, что он сын Веры Васильевны. Да и он не знал, что она столбцовская старшая дочка. Если бы так дело в незнании продолжалось, то, наверное, из знакомства этого ничего бы и не вышло. Но ко второй их встрече хозяева дома постарались обоим раскрыть глаза на то, кто они такие, и сами не без особо повышенного интереса наблюдали за их разговором.

Ольгуша сначала оскорбилась существованием Николая, сына Веры Васильевны, мать опять вспомнила и обиделась уже окончательно. Но потом почувствовала, что скорее всего его своим существованием, — а уж во всяком случае нелепой беседой на людях оскорбить может, и тогда показалось ей, что она перед ним очень виновата и ничем этой вины загладить не может. Тогда она разговор прервала и заторопилась домой.

Николай Колоколов посмотрел на нее долгим, но очень невнимательным взглядом, а потом гораздо внимательнее стал рассматривать свои овальные точеные ногти.

Возвращаясь домой, Николай думал о том, что у Ольгуши глаза мученические, голос придушенный, походка тяжелая, — на всю ступню сразу ступает.

Может быть, и не знал он, что с такими глазами мученическими любят люди мучение свое, вину свою, подвиги себе выискивают, и чем придушеннее у них душа, тем незаметнее и мучительнее должен быть подвиг.

И начинают они подвиг свой обожествлять, и тех, кого как труд на свои плечи берут, за тяжесть и муку любить до самозабвения.

Так вот и Ольгуша выбрала в тяжесть свою Николая Колоколова и за это его полюбила. И тем любимее, и тем тяжелее он был, что все это должно под знаком запрета и вины быть.

Может Ольгуша до самой глубины дойти, а похвастаться ей перед собой нечем: тяжесть, одна только тяжесть.

Потом Александр Константинович решил, что в одном доме с Верой Васильевной ему жить гораздо удобнее.

Поселились Столбцовы и Колоколовы на одной лестнице, — столовая над столовой, гостиная над гостиной, спальня Веры Васильевны над комнатой Ольгуши и Сони, кабинет Николая над кабинетом Александра Константиновича.

Стала тогда Ольгуша из дома выходить озираясь. Сначала у дверей долго стоит, — слушает, не движется ли кто сверху по лестнице, а потом выскочит, быстро, быстро, опустив голову, пробежит на крыльцо, и через двор быстро, и в подворотню. Только на улице оглянется, — путь свободен, — и тогда степенно пойдет в колбасную московскую колбасу или сосиски к ужину покупать, — это ко второму ужину, когда все в доме спят, а Александр Константинович со второго этажа в третьем часу ночи спускается.

Знал ли Николай об Ольгушиной любви? Знал ли, как она от него в подворотне к дворнику в комнату будто за делом спускалась? — Тоже не ко времени сейчас об этом говорить, потому что сказать, — знал, — не сказав, какой он такой, Николай Колоколов, и что в его жизни в это время происходит, — значит сказать просто слово «знал», ничего этим словом не объяснив.

А между тем никто кроме него об этом не знал. Отец замечал стойки Ольгушины перед дверью и посмеивался, — он над всем умел подсмеиваться, — наследственная, мол, ненависть ко всему колоколовскому духу у Ольгуши.

А Соня... Соня в своем кругу жила. Да и жила ли Соня? — Просто вернее сказать, что в своем замкнутом кругу дремала она.

Была она человеком без ретивости, без заботы. С утра и до вечера вязала все время. Вязала шарфы и шапочки, кофты и одеяла. Никому уже ее вязание не было нужно. Вся семья была ее шарфами в изобилии снабжена, — всевозможных швов, с ввязанными рисунками, в полосочку, в клеточку, гладкие. Целый сундук ломился от вязаний всяких,

а Соня все еще продолжала вязать, — говорила, что так думать легче. А о чем ей думать?

Думала она, что вот она вдруг певицей окажется, и все ее слушают, а она о самом, самом настоящем поет. Или она на море под парусом летит и ей это не страшно. И все в таком роде думала она.

Если же кто невзначай придет в гости, — она смущалась и краснела — руки до самых локтей, как в красных перчатках бывали.

Когда шерсть кончится и вязать нечего, она кривыми ножницами ногти стригла, — тоже думать помогает, если медленно, часами стричь.

Скрытная и застенчивая была Соня, и тяжело ей было от этой скрытности. Давно уже она выдумала, как одиночество одолевать и как себе неведомых друзей находить.

Часто по вечерам, оставшись одна у себя в комнате, она писала письма, в которых рассказывала обо всем, о мелком и большом, — и об опостылевшем вязании, и о том, что вокруг все пусто, пусто, и что больше она так не может. Много в письмах бывало многоточий и восклицательных знаков. Подписавшись С. Столбцова, она запечатывала конверт и утром на углу соседнего переулка опускала письмо в ящик, не надписав на нем адреса. Неведомому писала она и ответа не ждала. Потом возвращалась домой и принималась за свое вязание у печки, где потеплее.

Однажды Ольгуша и Соня, возвращаясь домой, у двери столкнулись лицом к лицу с Николаем Колоколовым, который спускался по лестнице. Он вежливо и холодно поднял шляпу и сказал:

— Pardon.

Ольгуша испугалась и затревожилась, как бы ей не слишком нелюбезно и не слишком ласково, а в меру, — безразлично поклониться.

Соня же, пофыркивая себе под нос что-то, на поклон только головой мотнула.

Войдя в свою комнату, она сказала:

— Каков, — кланяется. Пальто, как у Евгения Онегина!

И хотела уже идти в столовую, за вязание браться, но Ольгуша остановила ее, и пристально смотря на нее своими мученическими глазами, спросила:

— Ты что о нем думаешь?

Потом будто извиняясь:

— Пальто, — это ничего. А вот бледность эта... лунный загар этот, — и засмущалась.

Соня посмотрела на нее удивленно, но ни о чем не догадалась. Подумала только, что и на самом деле есть крепкая нить, связывающая их, столбцовских дочек, с сыном Веры Васильевны Колоколовой.

Она серьезно ответила:

— Что я о нем думаю! — Знаешь, он как салфетка чистая и накрахмаленная в ресторане или на вокзале. Хоть и чиста, хоть и накрахмалена, а все хочется рот вытереть своим грязным платком носовым, а не этой салфеткой.

Ольгуша не спорила, а только глаза опустила и начала быстро свой ящик в комоде перебирать.

Больше уже о Николае они не говорили.

Еще раз только разговор о нем зашел, но это уже сам Александр Константинович начал.

За обедом журить стал дочерей, что они одеваться не умеют: у Ольгуши волосы притянуты, будто облизанная голова, а Соня поперек головы пробор проводит косой, но нелепый. Переднюю часть волос напуском на лоб начесывает, а сзади косичку плюшкой закручивает.

— Точь-в-точь как будто на акушерских курсах, — жаловался Александр Константинович. — Вы посмотрите хоть на Николая Колоколова, — даром, что мужчина, — одет всегда как следует, ногти лакированы, пробор ровный, костюм модный, носовой платок духами пахнет и взгляд такой... — он не нашел, как определить взгляд Николая.

А потом неожиданно добавил:

— Ну, просто ангел падший... А у вас вид настоящих мещанок.

Соня с отцом не стеснялась и не любила его. Она поднялась со своего кресла у печки, скрестила руки на груди, подошла в упор к Александру Константиновичу и отчетливо сказала:

— Наплевать.

— То есть на что наплевать? — закипятился тот.

— На все наплевать. На проборы, на духи, на Николая Колоколова, на эту даму из второго этажа, на все наплевать.

А потом будто устыдилась своей горячности и опустила голову над вязанием. Вообще, при всей ее застенчивости каждый разговор ее с людьми руготней оборачивался.

Александр Константинович возмутился. Он повернулся к Ольгуше. Она более благоразумна. Но, увидев, каким странным пламенем горят ее глаза и как мучительно сжался рот в необычную для Ольгуши усмешку, он замолчал, ничего не поняв, а про себя подумал, что в головах его дочерей предрассудков больше, чем у любой деревенской бабы.

Разошлись молча.

Ольгуша не стала Соню расспрашивать вечером и только в постели уже решила, что действительно отец прав, — у Сони всегда кофточки какие-то тесные, шерстяные и под мышками вылинявшие, а у нее... ну, а у нее вообще такой облик весь, что просто смешно сопоставлять с Николаем Колоколовым.

— Как отец сказал: падший ангел... — Она задумалась об этом определении.

А на следующее утро, по причине, ведомой только ей одной, вытащила из старого сундука особенные, уродливые боты-корабли, которые мать носила перед смертью, когда у нее ноги пухли. И в этих ботах стала Ольгуша на улицу даже выходить, — так что прохожие обращали на нее внимание, а знакомая булочница спросила:

— Что это, барышня, у вас с ногами случилось?

— Пухнут, мерзнут, — больные ноги у меня, — неохотно ответила Ольгуша.

И надев на ноги эти корабли, стала она меньше бояться встреч на лестнице — будто все равно ничего уж изменить эти встречи не могут, и ботами она это и себе и всему миру доказала.

Впрочем, надо сказать, что с ботами она поторопилась. Вскоре после разговора с отцом была она случайной свидетельницей такого обстоятельства, после которого в самую пору было бы боты ей надевать.

Дело было так. Под вечер возвращалась она домой. Лестница на второй этаж не была освещена еще. Она остановилась и как всегда прислушалась, не опускается ли кто-нибудь сверху.

Вдруг раздался явственный звук поцелуя и потом заглушенный шепот. Ольгуша вдавилась просто в темный угол около своей двери. С лестницы спускался Николай Колоколов, обняв за талию швейку с верхнего этажа, Анну Ивановну, шившую недавно Столбцовым рубашки. Николай нагнулся к самому лицу Анны Ивановны. Она слегка отшатнулась от него и слушала его шепот смущенно.

Ольгуша себя не помнила и начала неистово звонить к себе в квартиру.

Тогда Николай заметил ее, пропустил Анну Ивановну вперед, а сам, проходя мимо Ольгуши, церемонно приподнял свою шляпу и сказал, глядя на нее в упор холодными и безразличными глазами:

— Добрый вечер, Ольга Александровна.

Анна же Ивановна проскользнула перед ним, не догадавшись от смущения даже поздороваться с барышней Столбцовой.

III

Каждый раз в десять часов вечера, когда самовар убирали со стола и Ольгуша домывала чашки, Александр Константинович уходил во второй этаж, к другому, еще кипящему самовару.

Вера Васильевна ждала его, ставила заранее перед его обычным местом корзиночку с солеными сушками, аккуратно размещала сбоку колоду карт и вечернюю газету.

На звонок она сама открывала дверь и с той же улыбкой, что и восемь лет тому назад, встречала Александра Константиновича.

Он покряхтывал, потирал руки, усаживался медленно на привычное кресло, рассказывал длинную и уже рассказанную давно историю, в которой надо было на заранее известном месте улыбаться, а дальше тоже на известном месте сочувственно качать головой.

И он знал, что улыбаться и качать головой Вера Васильевна будет, и она знала, что он этой улыбки и сочувствия ждет.

Это у них вроде какой-то условной игры было, которая обоим очень нравилась: и сушки, — уж, в конце концов, он вовсе не так любил эти сушки, — но полагалось считать, что он их любит и что они необходимая принадлежность всего этого разыгрываемого уюта, — и рассказ его, и покряхтывание, и потирание рук, и пасьянс бесконечный после двух стаканов чая с молоком.

Пасьянс, — это, положим, совсем особая наука была: сначала карты тасовались медленно и долго, а Вера Васильевна в это время щеточкой крошки со стола сметала.

Потом аккуратно раскладывались рядами слегка уж припухлые, но привычные рукам карты. Черви надо было класть носиками вниз, а пики вверх, так же как и трефы должны были ягодками вверх лежать.

Вера Васильевна становилась коленьями на стул, клала локти на скатерть и смотрела, как медленно движутся руки Александра Константиновича.

Если он зевал, то добродушно покряхтывая говорил ей:

— Зевака — собака.

А она отвечала:

— А я-то при чем? Сами виноваты.

Потом опять замолкали. Целый час перекладывались карты с места на место. Лежащие вверх рубашками переворачивались, собирались в отдельные места, чередуясь — черная красная, черная красная, целые грозди карт, до самой двойки. Грозди эти переносились целиком с места на место. Под ними открывалась новая карта, на нее нанизывалась постепенно уже не такая длинная гроздь из колоды.

После «косынки» шла «могила Наполеона», потом «большой пасьянс», потом «тузы», потом опять «косынка».

Если пасьянс не выходил, Вера Васильевна лукаво поглядывала и говорила:

— Жаль, а сколько времени пришлось зря потратить.

И ее словам, повторяющимся почти ежедневно, Александр Константинович довольно и значительно улыбался, — и даже не намеку улыбался, а опять этой игре в простой и легкий уют, в создаваемый ими быт.

Потом он пересаживался к камину, начинал кочергой угли тревожить. Вера Васильевна пододвигалась совсем близко и смотрела, как красные мухи улетают в трубу, а угли, только что покрытые серым пеплом, заалеют и выкинут вверх синие язычки пламени.

И трудно сказать, хорошо ли было в эти вечера Вере Васильевне и хорошо ли Александру Константиновичу.

Много лет прошло с первой их встречи. Вера Васильевна все свои силы в эту последнюю любовь вложила. Раньше ревновала его к семье, ко всем случайным встречным, — хотела, чтобы был он ее нераздельно.

Потом ревность ушла, может быть, и любовь ушла, осталась только такая прочная и необходимая привычка, игра эта осталась, память о прошлом, отсвет молодости. И может быть, оттого, что на людях продолжали они играть роли чужих друг другу людей и оттого, что Александр Константинович дома внизу к десяти часам вечера заявлял, что ему нужно по делу уйти, а Вера Васильевна, услышав ночью звонок Николая, спускала ноги с кресла и приглаживала волосы, — может быть, от того, что делало их отношения как

бы запретными и ежевечерние свидания как бы у судьбы уворованными, — казалось им обоим, что в «косынке» и в «могиле Наполеона», и в сушках, и в гудящем самоваре, и в ночной тишине спящего дома, и в искрах растревоженных углей, — нет будней, нет ничего обычного и скучного, — а есть, наоборот, им одним понятная значительность и тайна.

Возвращаясь домой, Николай часто не заставал уже у матери Александра Константиновича. Но если и заставал, то суховато говорил ему: «Спокойной ночи», — и уходил в свою комнату.

Там он зажигал электричество, подходил к морозному и черному окну и долго бесцельно смотрел в эту морозную и черную муть. Потом выводил пальцем по стеклу сложный зигзаг какой-то, перебирал разложенные на столе стопками книги и начинал медленно раздеваться, аккуратно раскладывая вещи на стул.

Делал он все это как всегда, в полусне каком-то, и думая в это время о том, как он запутался и как невозможно из всей путаницы выхода найти. Анна Ивановна была главным, что его сейчас окончательно спутало. Но кроме нее была еще очень сложная система отношений со всем миром, — с матерью, которая с каждым днем так жалобно стареет, с Александром Константиновичем, который ему в конечном счете совершенно безразличен, — даже самому противно на себя, что он ему безразличен, с матерью Анны Ивановны, которая смотрит на него очень искательно, как бы хочет сказать: «не добивайте», — и наконец, с этой странной девушкой, еле отвечающей на поклоны и таящей черный пламень в глазах, у которой походка такая тяжелая, а голос придушенный, и которая его, наверное, ненавидит, как только может ненавидеть. — Обе сестры его ненавидят — и Ольгуша и Соня. А он перед ними ни в чем, в конце концов, не виноват. Продумав все это несколько раз подряд и убедившись, что из этой запутанности выхода нет, и главным образом потому, что он даже по-настоящему не понимает, в чем же именно запутанность выражается, Николай

взял томик французских стихов, наудачу, первый попавшийся ему на полке. Но, перелистав несколько страниц, он отложил книгу, закурил папиросу и, уже отвлекаясь от собственных своих бед и осложнений, стал рассуждать философски о том, как вообще все в жизни должно было бы быть.

Он был твердо уверен, что все проявления человеческие не только законны, но и божественны, так как, проявляясь полно и цельно, человек осуществляет красоту, а красота — высшее выражение божества. Более точно он не определял этих своих мыслей.

Но жизнь насквозь пронзена нелепыми запретами, которые приходится невольно признавать, не видя в них смысла. Теперь, пожалуй, только и можно жить, имея такой черный пламень в глазах, как у Ольгуши Столбцовой...

Опять Ольгуша... Что ему до этой девушки, которая долгом своим почитает ненавидеть его?..

Запутался, — вот что главное.

И потом бесконечно жалко мать, когда она сначала с самого утра десяти часов вечера ждет, а потом, как наизусть, фальшивые словечки Александра Константиновича повторяет. А он противен, просто безотносительно к матери противен. Самодовольством своим, уверенностью в своей исключительности, избранности, — ведь кроме пасьянсов ничего не может делать, а вместе с тем никаких сомнений ни в чем не знает.

Но это не его дело. А вот Анна Ивановна, — тут надо что-то решить окончательно, потому что дальше так продолжаться не может.

Он повернулся на другую сторону, потушил электричество и старался поскорее заснуть, чтобы больше об этом не думать.

IV

Ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой поднимается лестница от дверей столбцовской квартиры.

До второго этажа она покрыта красным сукном, а по сукну полотняный половичок протянут.

А от второго этажа, от квартиры Колоколовых к третьему, чердачному, к дверям Анны Ивановны, — только половичок тянется, сукна уже нет.

Внизу в каждой квартире по четыре комнаты, а наверху только две, потому что полчердака под сушку белья отведено для всего дома. Там стропила в черную вышину поднимаются, балка протянута от стены к стене и подперта кое-где толстыми столбами. Между ними, как струны на гитаре, натянуты веревки для белья. Небольшое окошечко слуховое в крыше, — в пустое небо прорезано, — даже труб и соседских крыш в него не видно, — только один угол проводом телефонным или каким другим перерезан. На чердаке, как в церкви, — уходят в высокую темноту стропила, столбы поддерживают балки, — свет мутный, рассеянный, — белеют в нем растянутые по веревкам простыни и рубашки, частыми квадратиками носовые платки нанизаны, полотенца длинными полосами спускаются.

Одна неделя — белье Столбцовых сохнет, следующая — колоколовское белье прачка развешивает, а потом Анна Ивановна свои рубашки и блузочки щипчиками к веревкам прикрепляет и дует на покрасневшие от холодной воды и колючего мороза пальцы.

Анна Ивановна все сама, все сама. Утром комнаты приберет, постели застелет, кофей сварит, все к обеду купит, потом за шитье берется и готовит тут же. На руках шьет, — без машинки, чтоб наряднее выходило. Мелкие складочки закладывает, нитки для мережки по тонкому полотну продергивает, кружевами узенькими вырез рубах обшивает, потом в пяльцах выпуклой гладью метит, хитро сплетенными буквами, одна буква за другую завитками завилась, выкрутасами всякими, тонкими колечками и выпуклыми нажимами.

Потом гладит Анна Ивановна сшитое белье, складывает стопками, цветным шнурочком обвязывает крест-накрест, несет заказчикам сдавать.

Все сама, все сама, — мать одышкой страдает, — по лестнице ходить почти не может, сидит, кофей из большой чашки пьет целыми днями и на судьбу свою вдовью жалуется. Все ее путешествия за целый день с кровати в кресло под канареечной клеткой у окна, а с этого кресла на стул у обеденного стола, а потом опять на кровать, а потом на кресло, — и так до вечера, до девяти с половиной часов, когда она спать ложится.

Тогда Анна Ивановна лампу к себе в комнатушку уносит и продолжает работать. Большие меты на скатертях вышивает. По белой выпуклой глади красной бумагой точки выводит.

Так из года в год, с шестнадцати лет, сразу после мастерской. Не было времени Анне Ивановне задуматься, как же дальше все будет, — или всю жизнь ей надлежит чужое белье метить и кружевами обшивать. Только последний год что-то будто оборвалось старое и крепкий узелок на новой ниточке завязался. Незаметно это как-то произошло. Между прочим.

Раньше, очень редко, правда, — ходила Анна Ивановна в кинематограф. В темноте, смотря на многоверстные драмы, тихонько плакала, а домой возвращалась, будто чужой яркой и праздничной жизни была свидетельницей. Вот была героиня нищенкой или продавщицей цветов, потом графу жизнь спасла, полюбил ее граф, — стала она не нищенкой, а королевой, обсыпанной бриллиантами, с огромными белыми перьями в пышных волосах.

Но и не перья и не бриллианты главными были, а эти самые графские тонкие пальцы, и чисто выбритый подбородок, и взгляд такой — значительный и вместе с тем ничего не значащий, весь этот мир особенный, который облаком за графом несся, облаком светлым нищенку окутал и возвысил. И вот это светлое облако, и тонкие губы графа, и вообще эта жизнь такая тонкая и возвышенная, — вот это все тревожило сладко Анну Ивановну.

И метя чужие рубашки или застывшими руками развешивая материнские стиранные тряпки на чердаке, — дверь в дверь со своею квартирой, Анна Ивановна задумывалась о том, как это все в жизни бывает. Светлые и ясные ее глаза задергивались туманной пленкой мечты. Застенчиво, сама себя стесняясь, клала она подбородок на хитро сплетенные кисти рук, — так героиня-нищенка во второй части картины несколько раз делала. Потом вытягивалась по-кошачьи и улыбалась.

Хорошо так... А он говорит... Что он говорит? Она никак не могла придумать, какие такие особенные слова должен граф говорить ей, только зато как живого видит его — склоненную голову с прямым пробором, тонкие пальцы, — на одном тяжелый перстень. Не кольцо, — а перстень. Это у них, у нищенок, у таких, как Анна Ивановна, — кольца, колечки даже серебряные с сердоликом, а у графа тяжелый перстень с темно-лиловым камнем, а на камне фигурка вырезана.

Завитые метки на чужом белье, стоптанные свои башмаки, обои с желтенькими цветочками, запах кофея жареного в комнатах, вязаная скатерть на комоде, — кружочек к кружочку, — а на ней полинявший портрет отца с матерью, — мать сидит, руки на колени совочком положила, — прямо сидит, колено к колену, а отец покойный стоит за нею, тоже прямо, глаза вытаращил, одну руку тоже совочком на плечо к жене опустил, — вот все это, — и вдруг на самом деле, а не в кинематографическом мелькании, — граф с тонкими пальцами.

То есть не граф, конечно. Но это не важно. На самом деле все равно, как в кинематографе. И она — нищая цветочница или швея, — это похоже, а он, Николай Сергеевич Колоколов, — он, — граф.

Познакомились. Познакомились на лестнице. Он спускался, она подымалась. Он улыбнулся ей, а она из озорства, просто из озорства, — два дня раньше в кинематографе

была, — ответила ему такою улыбкой, какою ответила Луиза в кинематографе. Очень похоже вышло — она знает.

И сначала даже ни о чем не подумала другом, как только о том, что похоже вышла улыбка.

Он заговорил, спросил, давно ли она живет тут, чем занимается. Она ответила не смущаясь, но уже забывая, как надо по-настоящему, по-кинематографическому, графам отвечать.

Потом он вежливо попрощался и пошел вниз, а она добежала до своих дверей и перегнулась через перила. Так простояла, пока парадная дверь не хлопнула за Николаем Сергеевичем.

Вечером, когда мать легла спать и она осталась одна в своей комнате, освещенной зеленоватым светом лампы с низко спущенным колпаком, — задумалась Анна Ивановна опять. Но теперь думала она не об Адольфе и Луизе, и не о графе и цветочнице, а о Николае Колоколове и себе.

И думала так:

— Он скажет... А я отвечу... А он опять скажет... А я опять отвечу... А потом он улыбнется особенно так, а я опущу глаза и тоже улыбнусь. А он скажет... а я отвечу.

И так долго, — он скажет, а я отвечу. А потом уже иначе:

— Я скажу, а он ответит... Я опять скажу, а он опять ответит.

И все так гладко, гладко, так благородно и возвышенно выходило, что Анна Ивановна даже удивилась: ведь выдумывай нарочно и не выдумаешь ничего лучше, — она труженица, швея, молодая девушка, живущая под крышей, а он, хоть и не граф, правда, но Николай Колоколов зато, — это не хуже графа... и вдруг на одной лестнице живут, и все как нарочно, совсем как нарочно.

Рассказываю я о мыслях и мечтаниях Анны Ивановны все очень точно и правильно и не боюсь наскучить мелочами, — потому что надо ее понять и ни в чем дальнейшем особенно не винить. И понять надо то, что, конечно, кроме

кинематографических графов и цветочниц знала она и многое другое, что совсем не как нарочно выходит. Знала она жизнь с высоты своего чердачного этажа или, что то же, — из глубины городских подворотней. Знала она, как на улице молодые лоботрясы пристают, знала она, как грустно обернулась жизнь у некоторых ее подруг по мастерской, часто спешила от выгодного даже заказа отделаться, чтобы избавиться от приставанья барина какого-нибудь почтенного, и наставления матери, очень точные, очень грубые даже, — хорошо помнила. Вот и теперь мать:

— Хороший человек! Что ж! Стекла не ест? Гвоздями не закусывает?.. Ну, а по мне, лучше, чтоб подальше этот хороший человек...

Но это все было, — вообще. И было правдой, — вообще. А у нее в жизни, — в этом она была уверена, — правда будет совсем другая, особенная. С ней все случится именно, как нарочно, как с нищенкой цветочницей. Уж такая в ее молодости праздничность внутренняя, и вообще в жизни так все торжественно, так светло, так весело по-особенному, — даже на чердаке ее весело, — одним словом, — пусть есть правила для других, и жестокие правила, — а у нее не по правилам будет, а «как нарочно».

Потом видела она однажды, как Николай от матери вечером гостей провожал, на извозчичьих санях полость так ловко запахивал.

И вообще был он совсем из особенного мира, — духами пахло на лестнице, когда он проходил, и пальто было у него не как у всех, а узкое, в талию.

Вот эту-то отдаленность, чуждость, духи и пальто, запахнутую полость саней, взгляд особенный, браслетку на левой руке, с часами, тонкие пальцы с длинными ногтями, — все разглядела и полюбила Анна Ивановна.

Спросить: на одном берегу окно с вязаными занавесками, рыжие столбы и рыжеватое небо за ними, обои с желтыми цветочками, ночные вздохи матери, — что на другом берегу? — Анна Ивановна скажет, — Николай Сергеич.

Спросить: на одном берегу стоптанные башмаки и мечта о невозможном, — что на другом берегу? — Опять скажет, — Николай Сергеич.

Был он всем, что у нее не было. Отрицал весь ее мир. Вот за это она и полюбила его.

Он и Анна Ивановна, — это уже весь мир целиком, дальше ничего не противоположишь.

Стали встречи их чаще и чаще. Сначала на лестнице между колоколовской квартирой и чердаком, потом гуляли два раза по каким-то глухим переулочкам на петербургской стороне. А один раз целое воскресение на Волковом кладбище провели.

Галки в голых прутьях деревьев кричали и тяжело хлопали крыльями, песок хрустел под ногами на узеньких дорожках, протоптанных среди снежных сугробов. Огромные снежные шапки прикрывали, каждый раз немного набекрень, чугунные кресты, мраморные часовни и венки в стеклянных коробках. Было так тихо, что казалось, будто все кладбище таким стеклянным, прозрачным колпаком прикрыто. И галочий крик казался мудрым, все объясняющим.

Так бродили по посыпанным дорожкам, пока ранняя заревая алость не засквозила в черных узорах переплетенных деревьев, и пока от холодного воздуха лицо не начало гореть по-особенному, как всегда после долгого дня, проведенного в морозной тишине.

Потом еще встречались у себя дома, на высоком, сумрачном чердаке, под перекрещивающимися балками и стропилами.

День за днем, встреча за встречей, становился Николай Сергеевич ближе и милее Анне Ивановне. Уже не граф, не мир далекий, не сказка как нарочно, а просто Коленька любимый, глаза ласковые, руки нежные.

Стала жить она от встречи и до встречи. Для этих коротких часов на чердаке, под влажным бельем распяленным, и жила Анна Ивановна.

И опять в голову не приходило ей, что все это старая повесть, повесть большой беды и глухого отчаяния. Пусть так у всех, а у нее с Коленькой все будет иначе.

Один раз только испугалась. Сначала догадкой, а потом и точно узнала она, что беременна. Ребенка ждет.

Сразу мелькнула мысль, как же дальше? Что мать скажет? Что люди скажут? Как вообще ей дальше с собою после этого быть?

Вечером подкараулила Николая на лестнице, ему, смущаясь и заводя его в темноту, об открытии своем рассказала. Он не успокаивал, — сам, наверное, не знал, как дальше быть, — и только целовал молча ее руки, палец за пальцем, потом по голове гладил.

А ночью, уже в своей постели, Анна Ивановна вдруг поняла, что материнские слова, и людская недобрая молва, и трудность, и позор даже, — все это пустяки и ничтожество.

Не пустяки же, важное же и единственно истинное и справедливое, что вот сейчас она, Анна Ивановна, швейка с чердачного этажа, — несет в себе целый мир. Что любовь ее стала творением.

— Как Бог сотворил человека, — подумала она.

И никакой хитростью, никакой наукой, никакими словами самыми даже умными не может никто сравниться в деле с великим делом создания нового человека.

Это она подумала. А к этому еще почувствовала, что ребенок, наверное, будет на Николая похож, что будет он маленький, маленький, и что вообще так надо, и ничего не страшно, что около нее, как каменная стена крепкая, — Николай.

Так и заснула спокойно.

Потом же в течение нескольких месяцев лишь изредка тревога пробивалась в ее чувства.

Не до тревоги было. Надо было бережно и торжественно нести в себе весь мир, всю тайну, всю жизнь, — надо было нести в себе человека, нового человека.

Да не просто человека, а ее ребенка, ее и Николая.

И казалась Анна Ивановна себе огромной, огромной, как земля. И такой же тяжелой, такой же насыщенной и медлительной, как земля. Покойной, умудренной, объявшей собою все, принявшей в себя все. Началом и концом, путем земным, женским, материнским, казалась Анне Ивановне жизнь ее. И была ее жизнь матерью жизни, сама она была матерью жизни.

Это все внутри, — в том таинственном деле, которое совершается в ней.

А во внешнем мире, где никто этого главного и самого важного понять не может, там есть Коленька. Он огородит, защитит, не даст в обиду.

V

Вера Васильевна заболела. С вечера еще почувствовала себя плохо. По спине сладко и мучительно озноб проползал, ноги холодели, а голова пылала, и в висках тяжелыми ударами билась горячая кровь.

С трудом улыбалась она на словечки Александра Константиновича, с трудом старалась сделать вид, что ничего с нею не случилось.

Но все же на вопрос какой-то ответила невпопад, чай расплескала, забыла в стакан сахару положить.

Александр Константинович взглянул на нее удивленно и заметил, что глаза у нее блестят как-то по-особенному, а щеки красными пятнами покрыты.

— Что с вами? — спросил он полутревожно, полураздраженно.

Вера Васильевна хотела улыбнуться и скрыть от него болезнь. Но в эту минуту от шеи по спинному хребту волнами пополз озноб, веером разбежались холодные мурашки, слабость одолела, глаза зажмурились, а в висках сильнее, до

боли сильно застучала жаркая кровь. Скрывать не захотелось. Она жалобно скривила губы и тихо ответила:

— Простудилась, наверное... Знобит что-то... Впрочем, пустяки, пройдет.

Села поглубже в кресло, голову на спинку откинула, мерзнущие ноги вытянула к камину.

Александр Константинович был недоволен. Он вообще больных не любил. Кроме того, болезнь Веры Васильевны уюта не прибавляла. Прежде всего он совершенно не знал, что ему делать и как теперь весь вечер налаживать. Будто и пасьянс разложить неловко. Вообще какое-то ложное положение у него. Ясно, что весь вечер исковеркан.

Он раздраженно сказал:

— В таких случаях меряют температуру, милая моя. Неужели вы этого не знаете?

И сразу обрадовался, что так легко догадался, что ему делать надо.

— Непременно, непременно, сейчас же надо поставить градусник.

Вера Васильевна возражала:

— Все пустяки.

Александр Константинович почувствовал сразу, что надо облечься диктаторской властью, и что его дружеский долг состоит именно в том, чтобы заставить ее смерить температуру.

— Голубчик, это безумие... Я категорически требую, чтоб вы поставили градусник.

Раздражение у него прошло. Выходило все очень как надо.

Вера Васильевна улыбнулась ему слабо, как бы благодаря за заботливость, позвонила горничной и приказала ей принести градусник.

Александр Константинович вынул свои часы из кармана, хотя против него на стене висели тоже часы, но уж так как-то полагается, чтобы градусные десять минут отсчитывались по карманным часам, и очень, очень точно, — ни секундой меньше, чем десять минут.

Ведь, в конце концов, традиции освящают жизнь: и традиции должны быть во всем, — даже в измерении температуры.

Но, только что восстановив равновесие, Александр Константинович вновь потерял его, когда внимательно выискивая ртутный столбик на градуснике, — самой Вере Васильевне он этого дела не доверил, — он убедился, что температура очень высока, 39,2, — это уж вне традиций приятных забот о больном, а доктора надо звать и вообще неизвестно, что делать.

Он решил обратиться за помощью к Николаю. Постучал к нему в дверь решительно.

Тот встретил его удивленным взглядом. Не бывало еще, чтоб Александр Константинович к нему в комнату заходил.

Выслушав весь раздраженно-встревоженный рассказ о расплеснутом чае, о высокой температуре, о необходимости послать за доктором, — Николай решил, что мать должна немедленно лечь в постель, что до утра ничего особенного предпринимать не надо, а там он пошлет за доктором и выяснит, в чем дело.

Александр Константинович обрадовался.

— Вот, вот, конечно, так... А за мной пришлите, когда доктор придет. Я очень волнуюсь. Теперь же мешать не буду. Пусть больная отдохнет.

Он зашел только проститься к Вере Васильевне и спустился вниз.

Утром, часов в 10 пришел доктор, поднялся Александр Константинович и в столовой ждал результатов осмотра больной.

Доктор вышел из спальни с Николаем и имел вид серьезный.

— Пока еще ничего особенного, сильный бронхит, инфлуенца. Но можно ждать, что начнется воспалительный процесс в правом легком. Надо быть очень осторожным. Необходим хороший уход и точное выполнение всех предписаний. Надо поставить компресс...

Доктор ушел.

Во всей квартире, даже непонятно в чем именно, был налет какой-то бесхозяйственной суеты. Николай сохранял каменное спокойствие, но заявил, что компресса он поставить не сумеет.

Тогда Александр Константинович, которому очень хотелось поскорее спуститься вниз, так как тут он чувствовал себя очень беспомощным, да, кроме того, и с Николаем не любил оставаться вдвоем, решил, что он попросит Ольгушу поухаживать за больной, — она это любит и умеет.

Николай не спорил, но подумал, что Ольгуша, наверное, откажется, и что вообще это и матери и ей будет тяжело и неловко.

Но Александр Константинович как-то сразу такому своему решению обрадовался и заспешил.

У себя дома застал дочерей в столовой. Соня вязала, а Ольгуша записывала расходы в черную узкую книгу.

Слегка смущаясь, но стараясь сделать вид, что все очень естественно и само собою понятно, Александр Константинович громко и непринужденно сказал:

— Вот что, Ольга, там наверху Вера Васильевна Колоколова опасно заболела. Воспаление легких, наверное. Надо компресс поставить и вообще поухаживать. Не можешь ли ты за это взяться? Ведь я знаю — ты любишь возиться с больными.

Соня положила вязанье на колени и пробормотала, глядя на отца:

— А нам-то дело какое? Там сын есть, горничная есть. Нам-то дело какое?

Александр Константинович заволновался:

— Послушайте, дети, я взываю к вашему чувству...

Он замолчал, не зная, к какому чувству дочерей может он взывать, вообще, какие чувства у них есть, а каких нет. Потом продолжал:

— Я взываю к вашему чувству христианского милосердия... Надо поставить компресс.

Ольгуша положила приходо-расходную книгу на камин и спросила:

— А клеенка там есть? Впрочем, у нас найдется.

И, не торопясь, пошла искать нужные для компресса принадлежности.

А Соня продолжила вязать и пофыркивала:

— Дура Ольга, дура... Там модники, духами пахнут, а мы что? Мы мещане, мы с курсов акушерских... Дура Ольга. Куда лезет?

Александр Константинович чувствовал себя неловко и заискивающе смотрел на Соню. Потом подошел к ней и сказал, стараясь быть ласковым и дружески-равным:

— Ты, Сонечка, напрасно так. Я вас обеих очень ценю. Скромницы вы... Ну, а тут дело такое, — помочь надо. Понимаешь?

— И понимать нечего... Дура Ольга... Куда лезет?

Ольгуша вошла с завернутым пакетом. Она была готова.

— Ты уж сама, Ольгуша, дорогу найдешь. Я предупредил там, что ты придешь, — сказал ей все так же дружески-ласково Александр Константинович и пошел проводить ее до передней.

Ольгуша быстро взбежала по лестнице и с каким-то отчаянием решительно позвонила.

Дверь ей открыл Николай.

Стараясь не глядеть на него, Ольгуша сказала:

— Вот. Я пришла для компресса. Где больная? У меня все есть, только воды прикажите подать.

Николай молча провел ее в комнату матери и ушел на кухню распорядиться о воде.

Ольгуша сразу заметила, что в столовой посуда стоит еще не вымытая после утреннего чая, а Вере Васильевне лежать на низких подушках неудобно.

Вера Васильевна очень засмущалась, увидав ее, и пыталась сделать вид любезной и обрадованной хозяйки, но, заметив, что Ольгуша сразу принялась за дело и на нее не

обращает внимания, облегченно закрыла глаза и опять подчинилась власти сладкого и волнами разбегающегося по всему телу озноба.

Потом ей опять было неловко и неприятно даже, когда пришлось спустить рубашку и чувствовать близко около своего подбородка гладко прилизанную черную голову этой суровой и чужой девушки.

А Ольгуша, расправляя мокрое полотенце на спине и на боках и прикрывая его клеенкой и толстым слоем ваты, почувствовала вдруг какую-то щекочущую жалость к этому рыхлому и горячему телу, к наросшему на спине жировому горбику, к складкам на красной шее.

Она ловко наматывала широкий бинт, охватывая своими сильными руками всю Веру Васильевну. Горничная только поддерживала сзади клеенку, потом подавала булавки, помогала надеть рубашку.

Ольгуша не любила чужой помощи и чувствовала себя всегда очень уверенно, когда на ней хоть самая маленькая ответственность лежала. Вообще, ей нравилось быть нужной и умелой и чувствовать около себя людей слабых и неумелых.

Покончив с компрессом, она подложила под подушку свернутый платок, приподняла Веру Васильевну, хоть та уж и не так слаба была, чтобы самой не подняться, стряхнула с простыни хлебные крошки, оставшиеся после утреннего чая, аккуратно расправила одеяло на ногах, прибрала баночки и бутылочки на ночном столике и, попрощавшись, вышла.

В столовой она увидала Николая. Он ждал ее.

Прямое ее дело было кончено, и поэтому она чувствовала себя сейчас более смущенной, чем входя к Колоколовым.

Надо было что-то сказать.

— Ну, компресс поставила. Только вы, видно, за больными ухаживать не умеете. Днем-то ничего, и прислуга поможет, а на ночь приду я.

Николай поблагодарил ее и проводил до лестницы.

Теперь он с какой-то странной тревогой ждал вечера.

Матери он не был нужен. Она только слабо улыбалась, когда он заходил в комнату, и чуть заметно пожимала его руку, когда он брал ее за руку.

Ольгуша также тревожно ждала внизу у себя этой ночи.

В конце концов, все очень просто. Там, рядом с больным человеком, она себя чувствует нужной и уверенной. О чем тревожиться? И кроме этого ничего нет... Есть, положим, но есть — у нее боты материнские на ногах и серый оренбургский платок с дырочками на плечах, а у Николая, — пробор прямой и взгляд безразличный, — так о чем же тревожиться.

Вечером Николай опять только встретил ее в передней, а потом больше не появлялся. Она же, наладив у больной все так, как считала нужным, уверенно и решительно больше из спальни не выходила.

Лампу затенила книгой раскрытой, поправила дрова в топящейся печке, одернула одеяло на кровати, сделала лимонаду в голубой кружке и села у стола штопать Сонины чулки.

Вера Васильевна опять поначалу засуетилась и хотела что-то такое наладить, показать, что она все понимает и чувствует Ольгушино поведение очень тонко, и что вообще все это в каком-то высшем порядке.

Но сразу от этих усилий устала. А потом почувствовала себя так спокойно и по-сказочному от перевернутой холодным полотном наверх подушки, что ни двигаться, ни говорить, ни улыбаться больше не хотела. Она задремала.

Ольгуша штопала чулки долго. Сначала она думала только о том, что в час ночи надо не забыть микстуру дать. Потом вдруг набежала волною какая-то непонятная тревога, будто заброшенной оказалась она в неведомом месте и все вообще не так уж просто, а, наоборот, решающе и мучительно.

Тогда она отложила начатый чулок в сторону и сжала виски руками.

Печка догорела, и слабо потрескивали рассыпающиеся уголья. Вера Васильевна тяжело и шумно дышала.

В час Ольгуша разбудила ее и, полусонной, как маленькому ребенку, дала столовую ложку микстуры, стараясь не пролить ее на одеяло.

Потом опять наступила тишина.

Днем или вечерами, когда люди не спят, тишина бывает тихой. Но стоит только одинокому человеку остаться бодрствовать среди заснувшего мира, как звонким комаром начинает гудеть тишина, непрерывно и касательно, обнажая какие-то тайные недра свои, тонкой иглой пронзая одинокого человека.

Ольгуша, сидя в спальне Веры Васильевны, чувствовала не только слухом эту звонкую тишину. Она смотрела на розоватые обои, подернутые тенью от поставленной перед лампой книги, на белые простыни и пухлые руки Веры Васильевны, на всю эту комнату, точно такую же, как и ее комната внизу, и чувствовала, как она сейчас далеко от этой своей нижней комнаты, от всего своего вчерашнего мира.

Бессонная ночь странным ощущением налегла на нее. Будто была она в грязном белье, прилипшем к телу, будто запорошились глаза тончайшим песком, а башмаки на ногах стали тесны, и под коленями неудобными складками сбились чулки.

За кружевной занавеской слабо стала выявляться противоположная стена, желто-серая стена с черными пятнами мертвых окон. Над стеной бледной серостью подернулось пустое небо. Где-то далеко на улице медленно прогремели колеса ломовых и затихли. Утро начинало озабоченно копошиться в сумраке. Свет лампы, желтый и жалобно-тревожный, с каждой минутой становился слабее и желтее, уступая комнату холодному, стальному свету окна.

Ольгуша медленно вышла в столовую, кутаясь зябко в свой серенький платок.

Она вздрогнула от неожиданности, увидав там Николая.

Он только что зажег на буфете спиртовку и ставил на нее кофейник.

В призрачном утреннем свете был он как-то на себя не похож, а спиртовка мягко горела синим пламенем.

Ольгуша сразу подумала, что он тоже всю ночь не спал, и что у него в комнате также назойливо и требовательно звенела тишина. Значит, и мысли были у него такие же, как у нее, и что все сейчас очень покойно и совсем просто.

Действительно, не по обычаю своему просто Николай сказал ей:

— А я вам кофей решил сварить. После бессонной ночи это обязательно нужно, — и прибавил огня в спиртовке.

Ольгуша села в кресло Веры Васильевны около камина — забыла поблагодарить его. А только сказала, даже не ему, а просто так:

— Отчего это по утрам так особенно холодно, зябко так?

Помолчали они, пока кофей не закипел и Николай не налил две чашки.

— Черный придется пить... Молока сейчас нету.

Когда начали пить кофей, Николай слегка дотронулся до Ольгушиной руки и сказал ей, все так же просто:

— Вам, наверное, быть здесь очень противно.

— Нет, мне сейчас только тревожно... И потом, знаете, я, наверное, умру именно на рассвете, когда небо сереет.

Сказала это Ольгуша, и сразу ей еще тревожнее стало. А Николай пристально посмотрел на нее.

Потом вдруг он решил, что даже против воли надо ей сейчас все сказать, что сейчас она все понимает, и он все понимает, и такая минута больше никогда не повторится.

Он подошел к окну и стал смотреть куда-то вдаль, в черный провал окна напротив.

Ольгуша внимательно глядела на него, на этот взгляд, взгляд падшего ангела, как отец говорил, на лунный такой, особенный загар на лице.

Николай начал прерывисто:

— Вот какая вы — походка тяжелая, голос задушенный, черный огонь такой в глазах... Я каждый раз на вас смотрю...

Уж теперь знаю вас, наверное, даже хорошо знаю... А я запутался совсем... Тогда вы меня с Анютой встретили, с Анной Ивановной... Не знаю я, к чему это... вот...

И замолчал, так же продолжая неподвижно смотреть за стекло. А потом добавил:

— Вы с нею, с Анной Ивановной, поговорите, а то вдруг и не захотите больше тут кофею пить... Она вам все скажет. А я ничего не понимаю больше и запутался. У вас же все ясно, все мучительно и черный огонь.

Ольгуше стало опять очень тревожно, будто куда-то вниз скользила душа. Но о многом, Николаем не сказанном, она догадалась, и поэтому рядом с тревогой было торжество, страстное, напряженное и само себя пожирающее торжество, — будто не надолго торжествовать можно было, а дальше чернота сплошная.

— Знаю я, — медленно растягивая слова, сказала она, — знаю все, понимаю все... Поговорю с Анной Ивановной... Что ж, что запутались? Наверное, так и надо... Канитель канителить... Все запуталось. Я тоже запуталась... Вот кофей здесь с вами пью... О, Господи, как оно все выходит.

— Как?

— Как? Мучительно все выходит, но напрямик, хорошо, торжественно... И себя никто не изменяет.

— Не изменяет?.. А запутанность моя?

— Это все ничего. Так надо!

Николай подошел к ней совсем близко и пристально посмотрел прямо в глаза:

— Вы запутанность, значит, принимаете?

— Принимаю... Ведь я радостей никаких не жду, а только жду того, что неизбежно.

Николай усмехнулся.

— Понял я... Хорошо я вас разглядел. Давно уже. Пусть по-вашему будет.

Вера Васильевна слабо позвала из своей комнаты.

Ольгуша кинулась туда.

Этим зовом Вера Васильевна как бы кончила ночь. Началось настоящее, совсем уже проснувшееся и от тайны освободившееся утро. Горничная пришла комнаты убирать. Во дворе разносчик какой-то кричал.

Вера Васильевна чувствовала себя лучше и уговорила Ольгушу идти спать.

VI

Еще с неделю Ольгуша ходила наверх, к больной Вере Васильевне, но уж больше таких разговоров с Николаем не было, потому что тогда, в первый раз до всего договорились, и надо было еще сначала это договоренное жизнью исчерпать и заполнить. Только так, словами такими особенными перекидывались, будто глухонемые знаками, только им одним и понятными.

Вера Васильевна поправлялась, а поправляясь, чувствовала, как неловкость ее от присутствия Ольгуши у нее в комнате все растет и растет.

Стыдно ей было перед Ольгушей и своих голых рук, и помятой постели, — всей себя неприбранной и ослабевшей стыдилась она.

А уж особенно, когда Александр Константинович при Ольгуше зашел в комнату и начал какие-то свои привычные словечки говорить, не отвечала даже.

Вера Васильевна почувствовала себя как на позорище какое-то выставленной, покраснела даже.

Ольгуша виду не подала, но бывать стала реже, — не нужна, мол, больше, — а там и совсем свои посещения прекратила.

Теперь было перед ней важное дело: надо было с Анной Ивановной поговорить обо всем. Но Ольгуша решила, что поговорить надо как будто невзначай, начать, а там дальше уж видно будет, как разговор пойдет.

И никак все такого случая не подходило, чтобы с Анной Ивановной невзначай на лестнице столкнуться.

То Соня помешает, вместе из квартиры выйдет, то сама Анна Ивановна уж очень поспешно к себе наверх по лестнице проскользнет.

Николай же, видимо, этого разговора ждал, а так как его не было, то будто сторониться стал, хотя все это не на самом деле, не на лестнице, проходящей через весь желто-серый дом, — а в других плоскостях, непонятных, но отчетливых для Ольгуши, во встречах их, когда она свой разговор единственный с ним вспоминала у себя в комнате, — и теперь решила, что он обязательно должен отстраняться.

Николай чувствовал <в> это время, что запутанность его разговором с Ольгушей не устранилась, а стала, наоборот, еще как-то ответственнее.

Кроме того, после разговора он долго думал о своих отношениях к людям, и что для него Анна Ивановна, и что для него Ольгуша. Выходило нехорошо.

В конце концов, кроме нежности, как к птице подшибленной, он к Анюте ничего не чувствует. Сейчас ему даже ее серые глаза и смех колокольчиком не нравятся.

Но нежность есть. И оттого, что она беспомощна, он сам чувствует себя беспомощным и не знает, что с собою и с нею делать. А она в него верит, и этим окончательно по рукам связывает.

Кроме того, помимо шепота под сохнувшим бельем, помимо поцелуев и пожимания рук, а последнее время помимо еще каких-то новых утешающих и успокаивающих слов, он не знает, что ей говорить и как ей понятным стать.

Все запутывается и завинчивается, а Анюта улыбается и себя, как полный сосуд, по земле несет и о путанности ничего знать не хочет. Властно это все и решающе.

И вот еще Ольгуша... Если взять себя в руки и думать с трезвостью, то ничего и не было. Так только случайная минута откровенности, после бессонной ночи, на рассвете. И никакого в этом обязательства ни с чьей стороны нет.

Но если забыть о трезвости этой, а думать, как чувствуешь, то ясно, что и Ольгуша своими словами дала ему знать,

что и она с его жизнью как-то связала давно уже свою жизнь, и он сказал ей, что разрешение всей канители в ее руках, а этим самым настоящее обязательство на себя взял. И он уверен, что она именно так все это понимает.

Все тянулось так неопределенно, пока все трое, — Ольгуша, Анна Ивановна и Николай, — на лестнице неожиданно не столкнулись. Николай вниз спускался, Анна Ивановна только что в парадную вошла, а Ольгуша на пороге своей квартиры показалась.

И все остановились, смотря друг на друга.

Первый сообразил Николай, что делать надо.

Он протянул правую руку Ольгуше, а левую положил на плечо к Анне Ивановне и сказал:

— Вот и встретились все вместе. Надо поговорить нам. Пойдемте на чердак.

Анне Ивановне неприятно было, что он посторонней столбцовской барышне на их чердак предлагает пойти. Но главным образом, она смутилась сначала, как это он так открыто ей руку на плечо положил, — смутилась, а потом восторжествовала, — ведь как же иначе, что скрывать-то, чего стыдиться? Скоро все это ясным будет и никто ее за любовь упрекнуть не посмеет.

Ольгуша заторопилась. Она очень хотела все понять, все принять, ничего горького не почувствовать, будто само собой разумеется ее роль, — роль дружественной советницы в материнских ботах-кораблях. И сейчас впервые, поднимаясь по лестнице за Анной Ивановной, она обратила внимание, как та необычно, вперевалочку идет и дышит тяжело, какая у нее особенная округлость во всей фигуре, — что<-то> такое очень неловкое, неуклюжее, неприглаженное.

На чердаке уселись на пустых ящиках в темном углу.

Николай закрыл глаза и почувствовал, что сейчас все решается, что он как в глубокую воду нырнуть должен.

— Ольга Александровна, — сказал он и остановился. — Ольга Александровна... Вот мы с Анютой... Дело в том, что Анюта ребенка ждет...

Он опустил голову. Ольгуша молчала. А Анна Ивановна почувствовала что-то очень оскорбительное в том, как он это все сказал. Чего им перед этой барышней тянуться? И чего перед ней откровенничать так торжественно? И что она за судья такая? А главное, отчего это Анюта ребенка ждет? а он-то тут ни при чем, что *ли*? — Но сказать этого всего она не сумела, а только закинула голову с гордостью и посмотрела на Ольгушу в упор.

Николай взял руки Анны Ивановны в свои руки и криво усмехнулся.

— Я у вас совета спрашиваю. Живя в одном доме, поневоле почувствуешь друг друга, — это он для Анюты так сказал, — и вот я чувствую, что вы посоветуете, поможете.

Потом, уже забывая об Анюте и желая спасти что-то, что безнадежно уходило, уносилось течением каким-то:

— Ведь все я понимаю: вот вы в ваших ботах ходите, чтоб отступление было отрезано, а я для этого вас сюда привел и говорю все. Напрямик, по-хорошему, без измены себе. А дальше что будет? К черту, к черту все, что дальше.

Теперь Анна Ивановна начала тихонько плакать. Дальше, — это он, ребенок. А кроме него никакого дальше и нету. Николай же говорит: к черту, что дальше. Ее, Анну Ивановну, оскорблять можно, потому что она знает, что недостойна Николая, и что все это вообще незаслуженное для нее счастье, а главным образом потому, что она его любит, — ее можно оскорблять, а уж маленького оскорблять она никому не позволит. А главное, что это за судья такой непререкаемый, столбцовская барышня?

Ольгуша сидела также молча. Ей, пожалуй, как и Анне Ивановне, было совершенно ясно, что тут уже самое главное, и что раз все так случилось, то и изменить ничего нельзя. Просто тайной своей заворожило ее это творение нового существа, а Анна Ивановна показалась бесконечно важной и значительной; сама же она себе представилась совершенно ненужной, набором слов каких-то пустых и вообще просто невоплощенной в жизни.

А Николай отошел. Чужим, ее, Анны Ивановны, был Николай, непонятностью и тайной от нее отделенный.

Наконец, она заставила себя начать говорить:

— Что я могу? Я, конечно, понимаю. Я не осуждаю, а радуюсь. Я очень радуюсь. Если вам, Анна Ивановна, я понадобиться могу, то вы не сомневайтесь во мне, — я на все готова, чтобы вам помочь. Я вам друг, если вы это позволите.

Она подошла к плачущей Анне Ивановне и обняла ее за плечи. Та затихла, но на ласку не поддалась, а только недоуменно взглянула исподлобья на Николая.

Ольгуша опять почувствовала, что она сама и весь ее мир стал шатким и призрачным. И как-то цепляясь за то, что еще казалось ей непризрачным, подогревая и раскаляя острую боль, она стала говорить Николаю:

— Вы не ошиблись, вы правы, — я вам обоим друг. Только нужна ли, право, не знаю. А если нужна, то рада, просто рада.

Она задыхалась совсем.

Николаю было совершенно нестерпимо слушать ее. Ему казалось, что он не должен видеть, как Ольгуша себя унижает, ему казалось, что он ее оскорбил уже теперь совсем непоправимо, и она, чуть ли что не назло, простила ему.

Он начал чувствовать злобу на Анну Ивановну, да вообще на все.

— Слушайте, Ольга Александровна, уж коли напрямик и не изменяя себе, так до конца и до последней точности. И ты, Анюта, если решаешься свою жизнь с моей связывать, тоже должна все до конца знать, — да я, положим, и раньше тебе это говорил, только ты усмехалась все... Вот смотрю я на нас на двоих сейчас и не знаю, куда мне от отчаянья деться... Ты, Анюта... Любовь наша, — хохот твой, как колокольчики, поцелуи вот здесь, на этих ящиках, а теперь ребенок этот наш... Ну, а пройдет это все, — и не будешь ты знать, что тебе со мной делать, говорить о чем, как

молчать. Буду я тяжестью в твоей жизни и все тут... И вам, Ольга Александровна, хочу я два слова сказать. Вы уже сейчас в моей жизни нестерпимая тяжесть, и я в вашей жизни тяжесть. И задыхаемся мы оба, глядя друг на друга, и замучаем друг друга — и от этого нас не разорвать, и от этого только и смысл во всем есть. Поняли?

Анна Ивановна плакала теперь громко и причитала:

— Коленька, Коленька, как же это ты так все изничтожил.

А Ольгуша чувствовала сразу два исключающие друг друга чувства. Еще осталось ощущение тайны, которую Анна Ивановна знает и несет в себе и которая отдалила Николая от нее, от Ольгуши, и в этом было одновременно и ощущение собственного убожества и жалости к Анне Ивановне, не убогой, а, наоборот, насыщенной, богатой.

Но наряду с этим появилось и другое чувство, чувство какого-то торжества. Да, она нищая здесь сейчас, да, она несет за плечами только тяжесть, но сила ее, — и судьба ее все это изничтожит и гибель всему пророчит, и уж ее крепкое и последнее.

Она так и не подумала даже, а только почувствовала. А потом, выпрямляясь и сложив руки крест на крест, спокойно сказала:

— Ну, что ж, все ясно. Думаю, что большего к сказанному не прибавишь. Пусть каждый решает, как ему быть.

И пошла к двери. На пороге же будто опомнилась и обернулась.

— Только я, Анна Ивановна, повторяю, — если вам что нужно, можете на меня вполне рассчитывать.

Потом вышла и медленно закрыла за собою двери.

VII

Вера Васильевна плакала уже второй день.

Сначала рыдала и металась по кровати в полном отчаянии, — уж дальше некуда. А потом будто немного успокоилась, — лицо вымыла, напудрилась, — но только

вспомнит все, как опять слезы на глаза против воли наворачиваются.

Случилось в семействе Колоколовых необычайное дело: Николай заявил матери, что женится на верхней жилице, швее Анне Ивановне.

Сначала Вера Васильевна просто верить отказалась такой несуразности, вопросы начала задавать. Но с Николаем говорить, когда он этого не хочет, нельзя. Решил, мол, и все тут.

Тогда Вера Васильевна пришла в отчаяние и начала плакать такими уж окончательными слезами, после которых вообще всему конец.

Вечером совещалась она с Александром Константиновичем. Тот возмутился до самой глубины всех чувств своих, забрюзжал, зафыркал, заявил, что мальчишку сечь надо, что это он без мужской твердой руки погибает, — и даже решил, что он-то и есть мужская твердая рука, потребная Николаю, — поговорит с ним властно и ласково, и тот одумается.

Но поговорить не решался и, подойдя к двери Николаевой комнаты, сразу обратно повернул:

— Поймите, дорогая моя, под каким титулом я с этим мальчишкой говорить буду? — сказал он, будто извиняясь, Вере Васильевне.

Она страдальчески на него посмотрела и прижала носовой платок к опухшим и красным глазам.

Николай ждал всяческих увещаний и воздействий, но заранее знал, что это, конечно, ничего изменить не может.

Тогда, после чердачного разговора втроем, он долго думал, что делать. С одной стороны, Анна Ивановна была без вины унижена и заплевана, с другой стороны, Ольгуша будто возгордилась и возненавидела все. И бросать ей под ноги Анюту, себя, ребенка, — так, впустую бросить, потому что все равно из этого никакой радости не будет, а только эдакий взаимный угрызающий и тошнотный восторг.

Если же не радость, если же не создавать ничего настоящего, ничего достойного их, Ольгуши этой и его, Николая, — так пусть уж угрызаться до конца, до полного своего изничтожения, чтобы поворота назад не было и чтоб ее, Ольгушу, в этом изничтожении обскакать и не дать ей права большим жертвовать, чем он жертвует. Так решил он жениться на Анне Ивановне.

Анна Ивановна, пребывавшая после разговора в глухом отчаянии, сразу его словам о необходимости венчаться не поверила, — да и не так он говорил, чтобы очертя голову обрадоваться и успокоиться.

Но он настойчиво стал ее торопить, чтобы свадьбу через два воскресенья назначить. И вообще все было так определенно, что она начала верить, — само по себе событие это значительностью своей покрыло то, как Николай к нему подходил.

Да и дела оказалось очень много. Сам Николай обнаружил себя просто ребенком большим, — ни о квартире их будущей, ни об обстановке и белье, всяких кастрюлях, ложках и плошках думать не мог.

Дал Анне Ивановне денег и сказал, чтобы она все по своему вкусу устраивала.

Пришлось бегать целыми днями. А беготня эта, осмотры квартир и прикидыванье, какая комната к чему будет приспособлена и как ее получше обставить, — все это заняло не только время, но и все мысли Анны Ивановны. Она решила, что их жилье должно быть совершенно уютно, как гнездышко, и по своему крайнему разуменью начала об этом уюте хлопотать.

Квартира была найдена в три комнаты, — светлая и большая. Для них и для будущего маленького комната, для матери Анны Ивановны комната и столовая.

Потом начала свозиться в эту квартиру мебель, — самая необходимая только, но очень миленькая и располагающая. Долго Анна Ивановна сомневалась, купить ли ей зеркало, круглое, и его дама такая серо-зеленая держит, — в

талии узкая, а юбка колокольчиком расходится, а волосы по-японски сначала начесами наперед заложены, а наверху собраны куликом. Вся эта фигура с зеркалом очень ей нравилась и была недорогая. В конце концов, она решила, что не только же все полезные вещи покупать, а надо хоть что-нибудь для красоты.

Для красоты, положим, был у нее дома не очень уж малый сверток вещей припасен, — скатерть большая, цвета экрю, вязанная и положенная на красный сатин, накидки на подушки с прошивками и складочками, занавески на окна, сверху кончающиеся кружевами из белых тесемочек, две дорожки на стол, вышитые гладью фиалками и ландышами, — стирались только один раз, — и некоторое количество белья постельного, столового и носильного с метками и с продернутыми ленточками где надо. Но, несмотря на это обилие, она все же не удержалась от покупки японской ширмочки, — можно на камин или на подоконник поставить, — тоже вещь очень миленькая и недорогая.

Наконец квартира приняла совершенно готовый вид. Было в ней чисто, светло, уютно, в спальной в уголке стояла колыбелька для маленького, и в столовой между окнами висели два веера с приседающими маркизами, открытки, — одна с картины Бэклина, другая — «Лес» Шишкина, а третья какой-то «немой простор».

Да и время было все эти приготовления кончать, потому что день свадьбы приближался.

Возила она и Веру Васильевну на будущее жилище ее сына взглянуть. Та осмотрела все внимательно, вздохнула, но ничего не сказала. А вечером шептала Александру Константиновичу, что будущая невестка ее совершенная мещанка и с нею Николай, наверное, очень скоро опустится.

Александр Константинович утвердительно кивал только. Вообще он считал совершенно недопустимыми неравные браки. Надо все же чувствовать людям свою ответственность перед родом и не засорять фамильную кровь черт знает чем.

— Ведь дети у них только наполовину Колоколовыми будут, а наполовину швейкиными детьми. Вот что непозволительно.

Он был так всем этим возмущен, что даже дочерям дома жаловался.

Ольгуша ничего на его жалобы не говорила, а Соня спорила с ним.

— Очень все это даже хорошо. Решил человек настоящим человеком стать, а не куклой надушенной. А впрочем, может, и эту свадьбу из-за выверта особенного затеял. Нам же наплевать.

В воскресенье, в день свадьбы, все окончательно смешалось в голове Веры Васильевны. Только вот сейчас она бесповоротно уверовала, что так оно все и будет и что ничего изменить нельзя.

А тут началась суета, так что и поплакать времени не было.

Гостей не звали никаких посторонних. Но и близких накопилось достаточно, да и без шаферов не обойдешься.

В церкви Вера Васильевна чувствовала себя просто как на панихиде, у Александра Константиновича был вид, будто он в совершенно его недостойное место попал. Николай сохранял каменное спокойствие. Анна Ивановна из-за смущения ничего не видела и только боялась, что беременность ее уж очень сейчас некстати заметна, шафера и гости смотрели с недоуменным любопытством на невесту, и только мать Анны Ивановны чувствовала себя блаженно и понимала, что дочери ее неожиданное счастье прикатило.

Перед ужином, у Колоколовых, она очень достойно и с большим сознанием важности своей роли протягивала всем гостям руку совочком, уселась на диване в гостиной и вздыхала громко.

А за ужином, рядом с Александром Константиновичем, почувствовала себя уж окончательно введенной в круг новых родственников, ела мало, оставляя на тарелке, и складывала губы бантиком, совсем по-благородному.

Вера Васильевна несколько раз посматривала на нее с тоской. Вообще свадьба была не веселая. Все не знали, о чем говорить, и не понимали, отчего это чувство такое, будто все это игра такая, комедия, нарочность, ничем не оправданная.

Ольгуши и Сони не было, конечно, на свадьбе. Они сидели дома и слышали, как наверху ногами стучат и стулья передвигают. Соня вязала. А Ольгуша ходила по своей комнате взад и вперед и думала о том, что так оно все и нужно, что ничего вообще изменить нельзя и не надо, и что в сущности она очень счастлива, потому что душа у нее, как большая птица, что по ночам в мрак и в неведомое зовет. Однако ботов своих не сняла и как бы всем существом своим к бою приготовилась.

Потом было слышно, как народ по лестнице от Колоколовых спускается, — наверное, молодых в их новое жилье провожают. Ольгуша к дверям в передней подошла даже, но кроме общей суеты и шарканья ног ничего не разобрала. Тогда она вернулась к себе в комнату, не раздеваясь легла плашмя на кровать и вдруг почувствовала отчаянье от того, что, наверное, — уж теперь совсем, наверное, — все дни в жизни на этот вот и на вчерашний, на всю череду пустых и бесцельной тяжестью насыщенных дней, похожи будут.

VIII

Белые перья в пышных волосах и хитро, по-лебединому изломанные кисти рук, цветы и внимание изысканное, жизнь праздничная преображенной цветочницы, — этого всего не дождалась Анна Ивановна.

Не дождалась она и того, чтоб квартира ее стала уютным гнездышком, где всегда на коврике перед комодом квадратик солнца из окна лежит, где смех беззаботный и большая ласка все насыщают.

А дождалась она совсем другого. Молчаливых и угрюмых обедов, прежних, как на чердаке, оханий матери, рассеянного взгляда Николая, своих пустых, срочной работой не заполненных, часов.

С утра сама смотрит, чтоб румяная Маша пыль везде стерла и все салфеточки перетряхнула, потом начнет пеленки маленькому подрубать или белое с голубым одеяло крючком вязать, но все это не оттого, что надо, а оттого, что делать нечего.

Николай ласков, предупредителен и смотрит все с такой тоской непонятной, что и ласковости, и предупредительности этой совсем не нужно.

Так вот и дни идут, тревожное все еще, будто может еще раз все измениться, будто не окончательно жизнь вырешена.

А от этой тревожности неопределенной растет самая настоящая, самая определенная тревога.

Живот таким огромным уже стал. Устанет Анна Ивановна, — маленький начинает ворочаться, тугим кулаком таким к боку подкатит, потом нежными и тупыми ударами внизу живота отзовется и будто в глубину куда-то провалится, а дальше опять в другом месте начнет твердеть и прощупываться.

Совсем он уже ясный, уже существующий, — как самый настоящий человек. И страшно Анне Ивановне от этой неотделимости нового человека от нее, и еще почему-то страшно.

Кажется ей, что вот весь мир напал на нее и на ее ребенка, и что должна она его от всего мира защищать.

Икона вспоминается, — женщина крылатая и ребенок во чреве: даны были жене два крыла большого орла, дабы спасла она в пустыне Того, кому надлежало от нее родиться.

Где у Анны Ивановны крылья? Нету их; слабость только и страх — не страх даже, а жуть у нее в сердце. А кто спасет, и кто защитит? И разве есть силы человеческие, которые защитить могут, когда тут весь мир, весь хаос вселенной на душу надвигается, сердце сжимает, распадается обыкновенное и ясное прахом, песчинками мириадными, ледяными иглами колючими, и на нее, на чрево ее вихрем — походом идет.

Страшно Анне Ивановне. Чувствует она, что это уже гибель.

Дни все высчитаны, сроки известны, еще два месяца ждать можно спокойно. А спокойно не ждется. Ребенок о себе все время помнить заставляет. Стучится, всю волю душевную и всю кровь телесную из Анны Ивановны в себя впитывает, и остается она сосудом мертвым, тяжестью неподвижной, оболочкой тайны.

А тут и дома это страшное. Длинные обеды, во время которых никто слова никогда не произнесет, взгляд пустой Николая, — нет ласки, нет тепла, — холод, холод, сушь такая морозная, одинокая.

И так случилось все, что Анна Ивановна уж окончательно страху этому поддалась, себя окончательно потеряла и до последнего отчаянья дошла.

Николай ушел куда-то из дому. Она побродила по комнатам, нигде себе покоя не нашла, никаким делом заняться не сумела и тоже ушла.

Сначала до усталости скиталась по городу. Осторожно, вразвалочку, по переулочкам, по весенним гулким и ясным улицам. До ломоты в пояснице наскиталась, до слез соленых надумалась. Пуст людный город. Одна она идет, младенца своего по каменным мостовым несет, вперевалочку, осторожненько.

Идет Анна Ивановна, идет до усталости, и некуда ей вернуться.

Вот это некуда почувствовала она вдруг с такой ясностью и с такой мукой, что уж и не знала, как ей за угол ближайший повернуть. На веселенькую квартиру, гнездышко нету путей, потому что и в веселенькой квартире как бы все тот же путь в пустыне безлюдной продолжаешь.

А когда она все это ясно представила себе, то не только в мыслях почувствовала боль и жуть, но и во всем теле будто что-то переломилось, будто обруч железный около поясницы кости сжал, а потом тяжелая гиря вниз опустилась.

Но отпустила боль скоро, только слабость оставалась в ногах, и свет солнечный белее показался, прозрачнее.

А потом опять и опять.

Уже не помня себя, брела Анна Ивановна по весенним улицам. Но теперь знала, куда она спешит, куда ей дорога обозначена сейчас. Спешила, живот свой тяжелый и будто закаменевший по каменной мостовой несла.

А боль все сильнее, все чаще кости ломает и свинцом ноги наливает.

И когда стало нестерпимо, пришла она. Притягиваясь за перила руками на третий, на чердачный этаж добралась. На пустые ящики в темном углу доползла кое-как. Сначала села, чтоб отдышаться, но не усидеть было — встала, согнулась, всею тяжестью руками на ящики оперлась, чтоб неподвижной быть, чтоб раскаленной волне боли дать пройти...

С каждым разом сильнее сжимало поясницу, а потом будто всю жизнь, все тело, все жилы железная рука мяла и вниз тянула.

Начала Анна Ивановна стонать громко. Но теперь ее тут никто услыхать не мог, — соседняя квартира в две комнаты пустая стояла.

А ей как раз стало казаться, что самое страшное, — это одной остаться, а всякий человек — это уж верная помощь и спасение.

Как боль отпустит, — сразу холодно станет, — до пота на лбу такого липкого, до мурашек в ногах.

А потом от боли, от труда этого и напряжения, — жарко.

Вскоре уже не в силах сдерживаться, кричала Анна Ивановна.

И на счастье ее был этот крик таким громким, что на лестнице можно было его услышать. Соня, выходя из своей квартиры, и услыхала его.

Сначала только не сообразила, — зверь ли это, или человек кричит, испугалась даже.

А потом решила пойти посмотреть, — с чердака крики неслись.

Там она увидела в темном углу, на полу около ящиков Анну Ивановну. Голова закинута назад, глаза так открыты, будто она их из орбит выдавить хочет. Руками уцепилась за железный край ящика, напряглась вся. Огромный живот будто придавил ее к земле, будто размозжить может. Ноги скрючены и напряжены.

— Что с вами? Что с вами? — закричала Соня и кинулась к ней, чтобы приподнять ее.

Анна Ивановна ничего не могла ответить. Только знаком руки показала, что не трогайте, мол, хуже будет.

Соня растерялась. Ольгуши дома не было, не у кого спросить, что делать надо.

Кинулась вниз, к Вере Васильевне позвонить не догадалась, сама к ближнему доктору побежала.

Через час Анну Ивановну отвезли в больницу. Соня с ней ехала и всю дорогу повторяла только:

— Фу, ты, пропасть! — Фу, ты, пропасть.

А Анна Ивановна то затихала и по-звериному жалобно взглядывала на Соню, то опять начинала напряженно вытягиваться и стонать.

К обеду дали знать Николаю.

Но в больнице его к жене не пустили, велели на следующее утро прийти. Сиделка сказала, что положение серьезное, операцию сейчас делают.

А наутро в приемной собрались все: Вера Васильевна, Ольгуша и Николай. Молча ждали, когда их позовут. Николай ходил по приемной нервно взад и вперед.

Пустили к Анне Ивановне только его одного.

Она была после хлороформа в полузабытьи, лежала на спине вытянувшись. Живот опал, так что оделяло аккуратно и плоско прикрывало ее тоненькое тело.

Недоношенный ребенок жил только полчаса. Мальчик был.

Больная слаба очень, но опасности для жизни нет.

Потянулись медленные дни выздоровления. Николай навещал ее каждый день. Ольгуша приходила тоже часто, но старалась прийти всегда в другое время, чем Николай.

Анна Ивановна с ними мало говорила, делала вид, что ей спать хочется и вообще не до разговоров.

Даже Соня, поваркивая и будто с безразличностью, забегала часто в больницу.

С нею с первой стала Анна Ивановна о своих сокровенных мыслях беседовать.

Забыла будто, что она жена Николая, мадам Колоколова, стала опять Соню барышней величать.

— Вы, барышня, человек простой, и я человек простой. Вот поэтому я к вам и обращаюсь. Больше не к кому. Устройте вы там, у нас в доме, чтоб опять квартира на чердаке за мною оказалась. И мать предупредите, но так, чтоб никто пока не знал, что больше я на эту новую квартиру возвращаться не буду.

Соня поняла ее сразу, но все же начала уговаривать:

— Слушайте, ведь вы же ему жена, сеньора... Что за черт?.. Куда вам опять от мужа на чердак забираться. Плюньте с высокого дерева...

Анна Ивановна только рукой махнула:

— Какая я ему жена? Матерью ребенка его должна была стать, да вот не вышло. А теперь этому конец. Его развяжу, себя развяжу.

— Что за черт? Что за черт, сеньора... Бросьте дурь разводить, миндали разводить... А впрочем, наплевать, вы правы.

И потихоньку сговаривалась со старшим дворником относительно чердачной квартиры. К матери Анна Ивановна ходила, но ее убеждать было не долго:

— Как Анюточка хочет. Ей виднее.

Месяц провела Анна Ивановна в больнице. Когда срок пришел выписываться, заявила Николаю о решении своем к нему больше не возвращаться, а поселиться опять в старом своем чердачном помещении, чтобы все было, как раньше.

Николай ее долго уговаривал это решение изменить, но ничего не добился, потому что она чувствовала, что во всех его словах много жалости и много стремления свой долг до конца выполнить, а настоящего, этого теплого, все освещающего и соединяющего нет.

Так и вышло все по воле Анны Ивановны. Сам Николай ее из больницы на чердак доставил, на лестницу чуть ли не на руках внес. Там опять мать ее поселилась, канарейка трещала, пахло жареным кофеем. Только добавилась еще горничная Веры Васильевны, которая почти полдня на чердаке помогала, да Ольгуша с молчанкой и печалью своею, да Соня, с вязанием, с поругиванием:

— Что за черт? Что за черт? Фу, ты пропасть... Дурите вы, дурите, сеньора.

IX

Ступенька на ступеньку, ступенька на ступеньку, как позвонок на позвонок, высится лестница — становой хребет желто-серого дома.

Внизу живут Столбцовы, во втором этаже Колоколовы, — Вера Васильевна с сыном, а на чердаке, — швея Анна Ивановна с матерью. Канителью, как канатом корабельным, тесно связали себя, — никуда не уйти.

Встретится Ольгуша с Николаем на лестнице, он шляпу церемонно приподнимет, скажет:

— Добрый день, Ольга Александровна.

И она только кивнет.

А на самом деле не о «добром дне» сказал он, и не просто она головою кивнула, — а льдистыми иглами уколол он ее, и черным пламенем она его обожгла.

И обоим нестерпимо стало. Но не обернулись уж дальше, она за собою дверь захлопнула, он ключик американский в свою дверь вложил.

К Анне Ивановне ходила часто Ольгуша. Придет и молчит, и молчит все. И сразу Анне Ивановне как-то неудобно становится, будто воротник на платье тесный.

Раз этой тесноты не выдержала, при Соне даже не смогла умолчать. Искоса взглянула на Ольгушу и сказала будто спокойно:

— Не пойму я, Ольга Александровна, чего вы теперь-то канитель канителите. Была я наметочкой, наживочкой в жизни Николая Сергеича. За узелок потянули и выдернули, — и следа не осталось. Теперь ваша очередь уж на прочное шить, на век, до износу.

Ольгуша покраснела вся и сердито сказала:

— Глупости, Анна Ивановна. Не надо так говорить. Глупости.

А Соня посмотрела на обеих внимательно и расфыркалась:

— Обе дуры, дуры канительные. Эх вы, жизненное надругательство... Разве так живут?

И быстро стала перебирать разноцветные шерстяные мячики, — вязала длинную кофту с узорами пестрыми вдоль борта.

Только и было без затей, — это у Веры Васильевны по вечерам в столовой.

Александр Константинович после всех событий и после обратного вселения Николая в материнский дом очень много философствовать начал.

— Дорогая моя, — говорил он, медленно тасуя колоду карт, — в наши времена все иначе было. Молодежь теперь не нам чета.

Вера Васильевна, облокотившись на стол и <смотря> за движениями пальцев Александра Константиновича, задумчиво говорила:

— Вы правы, мой друг. Мне кажется, — разница в том, что мы умели любить так, чтоб всю жизнь любви отдать. А они не умеют.

— Так, так, совершенно верно. Все один надлом пустой. Сегодня на швейке жениться. Завтра с женой разойтись и

каменным видом свидетельствовать, — вот я, мол, каков и какие у меня чувства необычайные. А на самом деле одно ломанье, поиски небывалого, не как у других.

Потом Александр Константинович умолк и внимательно стал раскладывать пасьянс, — пики носиками вверх, трефы ягодками вверх, черви кончиком вниз, а бубны так, чтобы сверху от края большое пространство оставалось.

Разложив уголком косынку, он остановился и опять зафилософствовал.

— Теперешняя молодежь всего более напоминает мне такую вот колоду карт. Тасуются, раскладываются по воле случая, чьих-то чужих рук. Сейчас черви с бубнами рядом, потом с трефами, все от случая или от правил каких-то вне их лежащих.

Вера Васильевна слабо улыбнулась и продолжила его мысль.

Опять принялся Александр Константинович за косынку. Черную на красную, черную на красную, — до двойки, вниз.

Дочерей своих вспомнил. И чего они в эту общую перетасовку запутались, в канитель эту?

Он давно уже заметил, что и у них что-то неладно. Особенно у Ольгуши.

А внизу в это время Ольгуша и Соня сидели в тишине. Ольгуша сидела в столовой, подперев подбородок руками, и без мыслей смотрела на электрическую лампочку.

Соня же, уже раздевшись и в постели, писала письмо.

«Научи меня, как жить, — писала она неведомому, — или дни наши, как петли вязанья, петля за петлей без смысла и нужды? Или вот в этой окружающей бесцельной боли правда жизни? Или уж действительно всякая радость обманна? Научи меня, как мне стать легкой и вольной, носиться по седым волнам на легкой лодке, дышать воздухом крепким и соленым.

Ты знаешь все дни мои. Ты знаешь, как трудно тянуть эту тонкую нитку. Облегчи меня».

Она подписала письмо, запечатала его в конверт и положила под подушку, потом вытянулась в кровати и крикнула:

— Ольгушка, черт, иди спать, а то тушить буду.

Ольгуша очнулась от Сониного голоса. Встала медленно, потушила в столовой электричество и пошла в спальню. Молча, ни о чем не думая, стала раздеваться. Только неясными образами роились в голове эти встречи странные на лестнице, слова Анны Ивановны о наметке и ушедшие уже, — разговор на чердаке, рассвет в Колоколовской квартире, шум за парадной дверью, когда молодых там провожали.

Все равно изменить ничего нельзя. Только тяжесть, только горесть. Но в тяжести этой есть непонятный восторг какой-то, будто всегда душа к бою готова.

Несколько правдивых жизнеописаний

I. Введение

Прежде чем приступить к выполнению данного мною обязательства, — подробного и правдивого жизнеописания семьи нашей, — семьи Иконниковых, — и всех тех лиц, кои в ближайшее соприкосновение с нашей семьей вступали, должен я выяснить два вопроса, чтобы в дальнейшем избегнуть всяческих недоразумений.

Первое: кто я, что писать о чужих жизнях решился? — Ответ таков: никто или почти никто в происходящих здесь действиях. Я приемный сын Семена Алексеевича Иконникова, младший в семье, ко времени всех описываемых мною событий почти еще несмышленое существо, — и тем не менее не смущает меня сложная задача жизнеописания, потому что, во-первых, так условлено было между нами: мною и сестрою моею Екатериной Семеновной, а, во-вторых, несмышленость и молодость мои делали меня по мере сил беспристрастным наблюдателем всего происходившего и, таким образом, могу я передать виденное, не кривя душой ни в чью сторону.

Из ответа на этот первый вопрос вытекает и ответ на второй вопрос: может ли быть жизнеописание мое кому-либо нужно и интересно? Полагаю, что как труд молодого и мало сознательного человека жизнеописание никому интересным быть не может. Зато как повествование о событиях давно прошедших и неповторимых, а главное, как повествование о характерах существовавших на свете людей, из коих многие занимали потом значительные посты и были почти повсеместно и всесветно прославлены, — с этой точки зрения повествование мое должно иметь интерес для всех лиц, имеющих склонность к истории родного своего народа, иногда отблеск истории блестит и там, где труд

принадлежит неизвестному мемуаристу, — случайному свидетелю событий.

Ни семья приемного отца моего Семена Алексеича, ни наша тихая Медынь, ни ее обитатели, вроде Митяйко или Пелагеи Михайловны, ни даже съезды неведомого люда в наше Медовое, — не это все в отдельности является историей; а общая комбинация лиц и характеров, мелких событий и единого Великого события, — это все уже исчезло и постольку стало историческим достоянием.

Мне никогда не приходилось еще писать систематический труд, и очень страшит меня возможность забвения каких-либо основных черт в описываемых мною людях и событиях. Дабы избежать такого несчастья и дабы иметь возможность распределить свои знания с абсолютной точностью, я решил в жизнеописаниях моих придерживаться определенного плана.

Сначала я хочу сообщить сведения, так сказать, топографические с легким историческим отклонением в более отдаленное прошлое. В эту часть войдет: 1) описание Медыни и 2) описание усадьбы Медового.

Второю частью хочу я избрать описание характеров, так сказать, изначально данных мне. Сюда войдет: 1) описание семьи Иконниковых, 2) описание некоторых лиц, проживающих в Медыни, как то: Митяйки и его жены, Пелагеи Михайловны и ее квартирантки Марьи Сергеевны и некоторых других.

Наконец, в третьей части хочу я приступить к изложению событий, правда, не столь уж и бурных, но во всяком случае показательных для определения как Иконниковских характеров, так и других. В эту часть войдет: 1) характеристики трех приехавших друзей Федора Иконникова, 2) описание всех имевших место событий.

И дабы уж не продолжать рассказ, а сделать из него окончательные выводы, заключительно сообщу я о разнообразных судьбах всех, принимавших в событиях моих участие и так или иначе поглощенных единым и все поглощающим событием — революцией.

Чтобы избежать каких бы то ни было нареканий, я еще раз повторяю, что целью моею не является дать занимательный и захватывающий рассказ о различных трагических или героических положениях, из которых так или иначе выходят победителями действующие лица. Цель моя, — дать правдивое и точное жизнеописание лиц с известными мне характерами, причем эти характеры я считаю величиной самой значительной в моем повествовании и их прошу внимательно прослеживать.

II. Часть топографическая

По всем историческим, географическим и экономическим данным наша Медынь могла бы быть настоящим центром большого Восточного района России, если бы этому не помешали некоторые случайные факты: во-первых, не слишком далеко от нее к северу и, немного подальше, но все же близко — к югу, — оказалось два города чрезвычайно центральных. И Медынь, находящаяся между ними, не сумела стать по отношению к ним метрополией, а превратилась в изрядное захолустье. Второй факт, также отразившийся печально на судьбе Медыни, это расписание поездов. Все поезда выходили из соседних центральных городов по вечерам. Ночью скрещивались в Медыни и утром прибывали к месту своего назначения. И третий факт, — река с каждым годом мелела. Более подробно этих обстоятельств не буду касаться.

План Медыни таков: посередине довольно широкая и очень синяя река. На север низкий луговой Монастырский берег. Там домов не много, зато огромное пространство занимает Отрочь монастырь. А так как смотреть на него приходится всегда с высокого городского берега, то сверху не только зубчатые стены монастырские видишь, но и зеленый луговой двор его, и двухэтажные здания, к которым кирпичные дорожки ведут, и церкви многоглавые, и за ними

опять зеленый двор. Только две колокольни и одна башня стенная на небе вырисовываются, а все остальное на луге зеленом. И никто из художников настоящих этого изобразить не умеет, а вот почему-то лубочные картинки, что у мещан Медынских около киота развешаны, они все это очень подметили и так и Афон, и Киево-Печерскую Лавру изображают, — только посередине картинки облако в небе голубом, а из облака Божья Матерь с покровом малиновым, а по бокам два предстоятеля. Мне всегда казалось, что если долго на монастырь смотреть и над ним белого облака в ясный день дождаться, то и остальное все будет как на лубочной картинке.

Все это я не только к слову говорю, а к тому, чтобы показать сразу, какую цену должен моему писательству свежий человек давать.

Перейдя к описанию города, я уже и не знаю, с чего начать. С точки зрения исторической, самое замечательное в городе — это старинный собор с огромным темно-синим куполом, а по куполу золотые звезды. Однажды обратил я внимание на этот купол в грозовой день, когда в небе медленно тянулись друг за другом клубящиеся облака, будто с недоверием друг друга оглядывая, будто псы какие-то дикие, перед дракой угрожающе-внушительно и медленно толкущиеся на месте. И вот взглянул, а соборный купол темнотою своею синей как открытый путь в заоблачную страну. В детстве это было, и я с тех пор с особым чувством на купольные звезды гляжу, будто что-то они мне открыли.

От собора начиналась главная улица и тянулась тоже до исторического места, — круглой площади, — дома в ней с таким внутренним ущербом были, что вся площадь круглой казалась. Тут был дом губернатора, земская губернская Управа и Казенная палата.

Собственно, моя повесть к исторической площади касательства не имеет. Я сюда забрел по привычке каждому новому человеку все городские достопримечательности показывать.

Для моей повести важнее отметить: во-первых, — на Московской дом Товарищества мелкого кредита, где помещались: склад сельскохозяйственных машин, выдаваемых напрокат, канцелярия и бухгалтерия правления и квартира из двух комнат бухгалтера Митяйко Ивана Андреича и жены его Ксении Степановны. Это раз.

Два. Важно отметить еще за огородами, там, где и летом дорога грязноватая, дом Пелагеи Михайловны. Он, кроме своих обитателей, ничем не замечателен.

Вот, собственно, этим можно и ограничиться при описании Медыни.

Далее начинается третья составная часть всего плана: Медовое, — усадьба моего приемного отца Семена Алексеевича Иконникова.

Самая замечательная черта Медового заключается в том, что у него нету ни начала, ни конца. Редкий Медынский обыватель сумеет вам план нашего города изобразить так, чтобы и Медовое правильно в него включить.

Так граница идет: ну, по обрыву реки все знают, что вот столько-то саженей берега речного, — иконниковское; потом граница идет рядом с городским садом; в самой чаще дикой и непроходимой: вал не вал, забор не забор, а препятствие. Потом по каким-то навозным задворкам граница проходит, от живого мира самыми нищими конурами отгорожено Медовое; только и вестей о нем, что котов этих конурочных Медовный сторож из ружья бьет, чтоб за дичью в гнезда не лазили. Потом непонятно каким выкрутасом выходит Медовое железной калиточкой в самый центр города, между двумя огромными магазинами. Уже никто никогда не догадается, что эта калиточка в тополевую аллею ведет, а потом через лужайку во фруктовый сад, а дальше к самому дому. Река с одной стороны, сад городской, — с другой, с третьей, — город — окружили Медовое, с четвертой же — начинаются сосновые перелески, подъем в гору, — опять там не разобраться, где чему начало, где конец.

Медовое, — усадьба одна, — земли давно нет. Старый дом очень потрепан со внешней стороны, — штукатурка облупилась окончательно. Ну, а внутри каждая комната соответственно своему хозяину. Есть комната как бы древняя от пыли, паутины и серых отблесков на окнах, есть, — последнее европейское издание, как комната брата моего Федора Семеновича. Общие комнаты сразу все века и все страны смешали. Но уже тут, пожалуй, надо с топографией кончать и к жизнеописаниям переходить.

III. Жизнеописание изначальных характеров

1

Чтобы не чрезмерно и не сразу затруднить себя жизнеописаниями лиц, близких и дорогих мне, я начну дело, так сказать, с разбега, с лиц мне безразличных или даже неприятных, но к повести моей имеющих непосредственное касательство.

Более того: начну с таких анекдотических ничтожеств, как Иван Андреевич Митяйко и жена его Ксения Степановна.

Что такое Митяйко? Бухгалтер Общества взаимного кредита. Как его описать? С внешним описанием дело обстоит очень просто. Таких, как он, много можно встретить. Роста он очень высокого, даже если судить в соответствии с узостью его плеч, то рост его непомерно высокий; носит он всегда такие тоже очень часто встречающиеся и приметные узкие и короткие тужурки, так что как руки в карманы засунет, — сразу, на мой взгляд, какой-то мещанский и неприличный вид получается; лицо у Митяйки без особых примет, только что всегда неважно выбрит.

Думаю, что в повествовании о жизни Медового вряд ли пришлось бы упоминать о таком городском обывателе, как Митяйко, если бы не был он довольно крепко связан с моим

старшим братом Федором Семеновичем. Связь эта была очень таинственная поначалу. Потом, когда вообще в России не оставалось тайн, мы узнали, что с давнего времени и брат мой Федор Семенович Иконников и бухгалтер Взаимного кредита Иван Андреевич Митяйко принадлежали к одной и той же нелегальной и конспиративной социалистической партии. С тою только разницей, что Федор Семенович, по причине многих исключительных свойств своего ума и образования, был в этой партии одним из самых первых зачинателей и начальников, слово которого было обязательным к исполнению по всей России, а Митяйко являлся как бы рядовым солдатом. И в этом отношении объединялись они не общностью работы, а скорее территориальной близостью единомышленников.

Впрочем, Федя никогда особой склонности к Митяйке не обнаруживал и ограничивался только товарищеской вежливостью.

Должен сказать, что все эти партийные товарищества и нелегальная работа, — все это было в то время почти совершенно уже историческим прошлым.

Брат мой Федор Семенович очень много потрудился для девятьсот пятого года. Я был тогда еще совершенным мальчиком, но знаю, что он и в тюрьмах сидел, и скрывался подолгу, и из ссылки бежал и вообще всячески гремел на всю революционную Россию. Тогда же и Митяйко у нас в городе довольно жарко все дело поставил.

Кончился девятьсот пятый год, потом пришел конец и поре всяческого начальственного возмездия и жандармской подозрительности. Тихонько и полегоньку начал Митяйко после тюрьмы опять в нашу провинциальную жизнь вкликиваться, ну и вклинился постепенно, но окончательно.

О брате рассказ дальше.

Теперь, говоря о Митяйке, я все касался внешних и общественных его примет, а между тем личное его жизнеописание представляет тоже значительный интерес.

Многого рассказывать не стану. А чтобы показать всю его неистовость, расскажу историю его женитьбы. (Кстати, партийный его товарищ, мой братец, этой истории, конечно, не знает.)

Одно время, по каким-то служебным делам приходилось Митяйке очень много разъезжать по селам, чуть ли что не целый уезд объезжал он: и вот в какой-то деревеньке встретилась ему баба Аксинья, — красавица, умница, работница, — и бойка, и скромна за один раз. Шутки шутками, а кончилось дело тем, что полюбил он ее со всею своею неистовостью. Но как ни уговаривал ее на эту любовь ответить благосклонно, она каждый раз отвечала, что любит своего мужа, а потому ей до Ивана Андреевича и заботы мало.

Совсем Иван Андреевич загрустил и затревожился, — хоть руки на себя накладывай. А Аксинья при встрече, даже если муж рядом, все подразнивает его.

Вот он и решился на отчаянное дело. Раздобыл где-то тройку; вечером поздним подкараулил, когда Аксинья одна с нивы в деревню возвращалась, подхватил ее, рот полотенцем завязал и умчал к себе в город.

В кабинете своем запер ее, — отпирал только, чтобы пищу давать. На слезы ее и жалобы никакого внимания не обращал. А с другой стороны, и не трогал ее никак, — с любовью не приставал, будто и не любовь была этого умыкания причиной.

Три дня просидела Аксинья взаперти. На четвертое утро вошел к ней в комнату Иван Андреевич, закурил папироску, руки засунул в карманы, оперся о печку и говорит:

— Вот что, Аксинья Степановна, сама понимаешь, небось, что тебе теперь дороги к мужу нету. Не поверит он никак, что ты у меня тут три дня и три ночи в одиночестве полном просидела. А не поверит, — значит, убьет. Ты его знаешь.

Аксинья принялась тихонько плакать. А он подошел к ней, положил ей руку на плечо и продолжает.

— Аксинья Степановна, плачь не плачь, а слезами делу не поможешь. Одно тебе и остается, это чтобы ты согласилась моей женой стать. Посуди же сама.

И с этими словами ушел.

А Аксинья Степановна целые сутки примеряла и прикидывала. Действительно, выходило так, что ей в деревню возвратиться никак нельзя, — муж убьет. И одной без защитника на свете жить тоже и непривычно и боязно.

На следующее утро, когда Иван Андреевич пришел к ней, она ему сама первая сказала:

— Быть, мол, по-твоему, Иван Андреевич, а там видно будет.

Все это мне сама Ксения Степановна рассказывала. Может быть, в обычную минуту она бы на такую откровенность и не пошла, а тут как раз дело такое вышло, что всем этим своим преступлением Митяйко пренебрег и в открытую влюбился.

— Это трех-то лет с моего умыкания не прошло, — жаловалась Ксения Степановна.

Вот и все, что я почел нужным о Митяйке сообщить, дабы дальнейшая его роль была бы достаточно ясной.

2

Вторые городские жители, имеющие к нам касательство, собственно, могли бы быть введены в повествование и после, но мне хочется, говоря о них, рассказать один совершенно особенный случай, который должен остановить внимание человека, имеющего склонность к изучению человеческих душ.

Мой рассказ должен был бы касаться главным образом Марьи Сергеевны, как девушки, вошедшей потом в нашу семью. Но на самом деле я как бы придрался к ней, чтобы попутно сообщить о ее квартирной хозяйке Пелагее Михайловне.

Пелагея Михайловна была чрезвычайная калека. В молодости она, говорят, отличалась изрядной красотой и музыкальными талантами, так что должна была даже в концертах выступать.

Была она замужем, с мужем не ладила. И однажды даже проклял ее муж. А она на это обратила мало внимания и уехала в соседний город на бал к каким-то знакомым.

Но по дороге случилось несчастье. Во время хода поезда вышла она на площадку вагона, оступилась как-то и ухнула в пролет под колеса.

Ну, как дело было, подробно не знаю, — только жива осталась. Руку ей правую колесами отрезало, и ослепла она окончательно.

А самое страшное в ее слепых глазах было то, что, не мигая, смотрит она ими и будто видит, только все отчего-то на четверть аршина в сторону смотрит.

Какая ее жизнь была, легко себе представить. Комнаты начала она квартирантам сдавать.

У нее и поселилась Марья Сергеевна, когда в наш в город приехала.

И вот к чему я все это говорю. Через долгое время после этого вселенья, уже когда мой брат Федор поселился в Медовом, пошел я по его поручению к Марье Сергеевне. А она меня встречает, и плача и смеясь.

— В чем дело? — спрашиваю.

И рассказала она мне тут дело действительно мало обычайное.

Сидит Марья Сергеевна у себя в комнате, в уголок дивана забилась и читает. Вдруг отворяется дверь и совсем неслышно Пелагея Михайловна входит. Вошла и спрашивает:

— Марья Сергеевна, вы здесь?

А та возьми и промолчи, так, неизвестно отчего.

Тогда Пелагея Михайловна ощупью, ощупью к стулу; стул к полочке подвинула. Ощупью на стул и давай по верхней полке руками[11] шарить. Нашарила кулек с сахарным песком и давай это горстями в рот, горстями в рот.

Тут где-то шорох какой-то раздался; она притаилась,

[11] Так у автора.

потом со стула соскользнула, на место его протащила и ушла, — дверь затворила. Как раз в это время и я пришел, — вижу, Марья Сергеевна и плачет и смеется сразу.

3

Приступая к самой трудной части жизнеописания моего, — к подробному изложению характеров членов нашей семьи, — я чувствую, что весь этот разбег, все Митяйкины фокусы и выверты Пелагеи Михайловны, не подвинули меня никак к настоящему делу.

А поэтому начну прямо:

Приемный отец мой, Семен Алексеевич Иконников, был человеком ни на кого совершенно не похожим. Душа его состояла из взаимно исключающих качеств, и потому был он постоянно в борении сам с собой.

Если знатный человек мог бы указать на Семена Алексеевича как на самого большого гордеца, которого ему удавалось встречать, то какой-нибудь железнодорожный служащий Прокофьев, — правда, не дурак, — но человек темный, — имел полное право ухмыльнуться и сказать:

— Семен-то Алексеич? Да мы с ним закадычные друзья.

В городе Семена Алексеича считали нелюдимым. А между тем я не преувеличу, если скажу, что Медовое было известно многим в самых отдаленных углах России как место, куда можно незваному пожаловать. И дом был действительно всегда этими незваными набит.

Федор говорил о них:

— Отцовские кривульки.

И воистину так. Кого только не перебывало в Медовом: какой-то полицеймейстер из приволжского городка, который одиннадцать месяцев в году был самым настоящим полицеймейстером; а один месяц, — в отпуску, бродил по России с бродягами, пропивал с себя все, в рыболовные ватаги на Азовском побережье поступал, даже раз, под осень, с голоду фасоли целый мешок украл. Был еще инженер,

изобретатель аэропланов особенных. Мой брат ему часто доказывал, что аэроплан его построен на таком законе, что сел человек в клетку, одну руку из клетки вытянул, взялся за кольца и давай сам себя с клеткой от земли подымать. Еще гостил малиец один, — фокусник. Он все твердил: для непосвященных — ловкость рук; а для посвященных, — сила самовнушения. Еще был монах беглый, — уже бороду сбрить успел, — с голосом удивительным, — хотел стать ветеринарным фельдшером. Еще Максим Прокофьевич, — фамилию забыл, — очень озлобленный человек. Все во время разговоров руки и ноги выбрасывал, будто их за веревку дергали, аристократов ругал, богачей ненавидел и виселицы всем предрекал, ни во что не верил и никому не верил; потом детей трое гостило у нас как-то: с их матерью Семен Алексеевич у знакомых в Петербурге встретился; она говорила, что не знает, куда детей на свежий воздух весной отправить. Он их и захватил с собой.

Не зря я это все перечисляю. Скажу даже, что это только одна десятая часть всех шатунов, которым Медовое по дороге оказывалось. И убедив в этом читателей моих, я, может быть, почти точно определил, какой человек был Семен Алексеевич.

Вот уж воистину чужие дела его и поседеть заставили. Сидит в Медовом и пишет письмо куда-нибудь на Волынь, какой-нибудь неведомой жене неведомого нового гостя, что должна она, мол, его по человечеству понять. И что же вы думаете? — случалось, что такая жена десять лет по человечеству своего мужа не понимала, а после письма Семена Алексеевича проплакала целую ночь, утром в путь собралась, а через два дня в Медовое уже с полным понятием прибывала.

Ясный, чистый, искристый, любящий, — вот он, мой отец приемный.

А если и был у него какой недостаток, так не мне о нем судить, потому что любви его отеческой я именно соответствием в этом недостатке у него заслужил. Не было для него

большей радости, как человека понять. Особенно когда какая-нибудь новая, раньше им еще невиданная черта в человеке обнаруживалась. Уж тут безразлично: черта эта — из добродетелей или пороков, — важно, что еще невиданная или даже только еще не определенная раньше. И как бабочку коллекционер бережно расправляет, не считаясь с тем, дневная она или ночная, так Семен Алексеевич в своей коллекции новым открытиям радуется.

А — по-настоящему — я сын садовника в Медовом. Мать умерла при моем рождении, а отец, когда мне лет восемь было. С тех пор я и попал в семью к Семену Алексеевичу.

Но усыновил и полюбил он меня, когда мне уже лет тринадцать было. И сразу это после одного разговора случилось, где моя страсть к жизнеописанию характеров для него явной стала.

Теперь, чтобы покончить с обычными обитателями Медового, я должен сказать еще несколько слов о сестре моей Екатерине Семеновне Иконниковой.

Катя, человек от природы своей и неизбежно несчастный. Лучшего друга, вернейшего товарища, нежнейшей сестры нельзя найти, — а вместе с тем Катя неизбежно несчастный человек. Более того. Я часто замечал, что Катя очень легко нравится, — несмотря на известную свою неуклюжесть и на совершенно непомерную застенчивость. Было у нее в глазах что-то такое притягивающее и обещающее, что заставляло многих за нею идти. А ей многие нравились. Но как бы все это легко и просто ни бывало, я всегда знал, что Кате от самого легкого одна тяжесть достанется, и от самого радостного, — огорчение.

А застенчивость ее была действительно совершенно невероятная. Для примера приведу только два случая из молодости ее. Пошла она в гости к своей однокласснице, — в гимназии еще тогда училась. Дошла до дому, и сомнения ее взяли, — идти ли. Наконец, она нашла, как ей поступить — пробралась на черную лестницу и позвонила на кухню.

Открыла ей прислуга, провела в гостиную. Там на нее накинулись, отчего она с черного хода пришла. А она потупилась и говорит:

— Я подумала, что, услышав мой звонок на парадном, вы решите, что вот кто-нибудь приятный пришел. А потом вдруг это я.

Другой раз она долго слушала разговор Федора с приезжей нашей гостьей Татьяной Александровной. Очень они действительно умно говорили. Потом Катя ушла.

Мне почудилось что-то неладное. Я к ней в комнату пошел и вижу, лежит она на кровати, лицом в подушку и плачет.

Я и так и сяк. Молчит.

Наконец, добился я ответа от нее.

— Кислород, — говорит, — понимаешь, кислород?

Ничего я не понял.

— Обидно мне, — говорит, — что вот рядом с такими, как Федя и как Таня, — и я существую даром и у них кислород выдыхиваю.

Вот она какая, сестра моя любимая и друг верный. И пусть глупец посмеется над ней. Но не для глупцов я пишу это и знаю, что мудрый поймет Катю и заочно полюбит ее.

Так как брат мой Федор Семенович до известной степени был в нашем доме отщепенцем, то о нем буду я говорить лишь тогда, когда по ходу действия он на родную почву Медового вступит.

IV. Остальные характеры и события жизнеописания

1

Часто и раньше бывало, что нежданно-негаданно к нам в Медовое Федор заявится, — то отдыхать, то работать, то от скуки, то от переутомления. Его вообще не поймешь, потому что в его характере было многое наперекосяк. Ленив,

например, совершенно без границ, — лежит на диване, с босых ног и туфли спустил, а толкует, какие в саду вкусные яблоки растут.

Катя на это улыбнется и скажет:

— А ты пойди, нарви к обеду.

Так Федя даже глаза выпучит. Чтобы он из-за яблок с места двинулся? Пусть они на дереве сгниют, и он о них на диване мечтает, — если кто другой не поможет, так он этих яблок и не попробует.

— Работа, — говорит, — всегда работа... И всякая работа неприятна.

А наряду с этим станет он свое прошлое вспоминать. Не преувеличивает, — я его знаю.

И извозчиком-то он был, и в морозы в самые трескучие по Петербургу катался, у костров зимних грелся, рукавами в варежках себя по ребрам для теплоты хлестал. И машинистом одно время служил, — так прятаться приходилось. И из тюрьмы побег устраивал, — в каком-то возу с картошкой проехал мимо всей стражи; и лекции в рабочих кружках читал, и статьи писал, и сам журнал печатал на особых машинах, и гримировался всячески, — ну, одним словом, не жил, а кипел.

Домой же приедет. Все пиджаки к черту. Воротнички там, галстуки. На босу ногу туфли оденет и заявит, с улыбкой:

— Облекаюсь в ветхого человека.

А дальше на диван, «Север» за 1889 год в руки, папиросу в зубы и конец.

Последнее время он много за границей жил; будто службу там даже какую-то имел. К нам наезжал на месяц, на два. Сначала было примечательно, что он наезжал как бы урывочно. А когда война началась, видимо, совершенно закончил он свою прежнюю конспиративную работу, — появился в Медовом довольно открыто, прожил полгода в полном спокойствии и потом еще не раз наезжал.

И вот, наконец, весною 1916 года приехал он к нам как бы окончательно. Дальше я сообщу все подробности основного дела, из-за которого Федор Семенович к родительскому дому возвращаться стал. Теперь же, придерживаясь стремления к жизнеописанию характеров, вспомню о первом дне его пребывания в Медовом и о разговоре с приятелем нашего отца, — Прокофьевым. Уж очень этот разговор жизнеописательный.

Пришел Прокофьев, не зная, что Федя дома. Тот на него никакого внимания, лежит на самом солнечном месте, мухи над ним кружатся, волосатая грудь открыта, — не то книгу читает, не то дремлет.

Прокофьев очень так весь опочтенился, или не знаю, как и выразить это: одним словом — ти-ста да п-ста, мы, мол, понимаем, что к чему. Минутку помолчал, а потом без особых приготовлений и начал, даже не смущаясь моим пребыванием в комнате.

— Это мне, знаете, Федор Семенович, очень повезло, что я с вами встретился. Давно подобной встречи искал; Семен Алексеич, это, конечно, наш человек, только скептизмом сильно зараженный. А на вас я, извиняюсь, совершенно рассчитываю.

Федя открыл лениво один глаз, почесал шею и пробормотал:

— Ну, жарьте.

Тогда Прокофьев пододвинул стул к Фединому дивану, уселся поудобнее и начал излагать.

— Вы как насчет революции полагаете?.. Я полагаю, что забастовочка с революцией вышла. Вот на эту тему разрешите мне вам, как лицу заинтересованному, кое-какие соображения привести... У меня, знаете ли, приятель был, очень боевой человек, в Триполитанской войне добровольцем участие принимал, потом во всех Балканских войнах. Может быть, читали, — он раньше книжечку чрезвычайно полезную и дельную выпустил: «Тактика уличных боев».

Ну, так вот он и открыл, что вообще на Европу ставок не стоит ставить.

Так быстро, убедительно и отчаянно проговорил все это Прокофьев, что Федя будто немного очумел даже, приподнялся на локте, внимательно взглянул на своего собеседника и сказал:

— Ну, дальше.

— Дальше-с? Извольте... Все спасение в цветных народах. По существу европейский пролетариат, если сравнить его с колониальными массами, — является классом привилегированным. Ясно?.. Поэтому сначала цветная революция, а потом уже социальная... А конкретное мое предложение таково: вы можете достать мне три тысячи рублей?

— Зачем?

— Очень просто. В Восточной Африке имеется оазис Адалия. В нем 40 тысяч жителей. Европейская дипломатия закрасила этот оазис зеленой краской — находится, мол, под протекторатом Италии, а на самом деле никакого протектората. 40 вооруженных по-европейски людей, 2 пушки, и я положу корону Адалии к вашим ногам. А для этого немедленно нужно достать три тысячи... Слушайте, не корона, так республика. В африканских условиях это не имеет значения... Ясно?..

Федор расхохотался.

— Знаете, — говорит, — вы пока что по этим делам с моим полномочным представителем снеситесь. Коля, — обратился он ко мне, — я тебя назначаю моим посланником, при адалийском дворе.

Прокофьев, видимо, обиделся и ушел. Почем знать, может быть, и напрасно поступил с ним так Федор Семенович. Мне, например, достоверно известно, что у него имелись какие-то очень подробные африканские карты, и он зачастую письма получал с совершенно невероятными марками.

Впрочем, заношу все это только для жизнеописания...

В этот же первый день своего приезда Федор обратился к отцу с вопросом, может ли он гарантировать ему свободу Медового от всевозможных окончательно посторонних кривулек в течение наступающего лета.

Дело в том, что ему очень хотелось бы продолжительно и окончательно договориться с некоторыми своими товарищами, принимавшими вместе с ним раньше участие в революционном делании. Попутно же он был бы рад дать этим своим друзьям возможность отдохнуть в деревенских условиях. Можно думать, что их будет трое или четверо, но во всяком случае, хотя сейчас они совершенно от всяких надзоров чисты, однако он не рискнет звать их в Медовое, если не будет уверен в том, что здесь им не придется иметь дело с различными полицмейстерами, африканцами и прочими кривульками Семена Алексеевича.

Отец подумал, посовещался со мною и с Катей и, наконец, заявил Феде, что на 3 месяца гарантирует его товарищам полную изолированность Медового. Так Федя им письменно и сообщил.

Я лично начал ждать с большим нетерпением их приезда, потому что чувствовал, сколь интересным элементом они для всяческих жизнеописаний могут оказаться. Думаю, что и отец был рад таким неожиданным гостям.

Федя же, наладив это дело, как бы забыл о нем и начал предаваться тому, что я давно и справедливо почитал основным смыслом его появлений в Медовом.

2

Их приехало к нам в Медовое трое. Татьяна Александровна Александровская, Виктор Иванович Канатов и Алексей Алексеевич Столбцов.

Приехали они без всякого особого предупреждения, и в этом отношении помимо нашей воли договор оказался нарушенным: сразу застали они в Медовом Митяйку.

Феде было это неприятно, хотя Митяйка именно в данном отношении своим человеком мог бы считаться. А гости, наоборот, мало на него внимания обратили.

Сначала недолго приводили они себя в порядок по своим комнатам, а потом к обеду вышли в столовую. Митяйко все у стены стоял и покашливал. Он как-то догадался, какие все это важные птицы были в их партийной жизни.

А я сразу принялся копить материал для своих жизнеописаний.

Столбцов был очень маленького роста и с чрезвычайно белой кожей. Голова у него начала сильно лысеть; по бокам оставался такой особенный, будто сияющий пух. Глаза были очень острые, будто в светлые зрачки кто-то гвоздики вколотил; губы тонкие; и непомерно большие, красивые, очень белые руки. Напомнил он мне побеги весенней травы, оказавшиеся под черепком каким-нибудь. Вся трава вокруг зеленая, а эти побеги теневые, бледно-желтые, прозрачные.

За всем тем сразу я понял, что в Алексее Алексеиче большая сила заложена, и что он и любит и умеет приказывать. И это несмотря на то, что голос у него был очень вкрадчивый и тихий, будто извинялся все.

Виктор Иванович Канатов сразу поразил меня какой-то непобедимой молодостью своей, прямо мальчишеством. Напоминал он елочные звезды такие, которые искрами во все стороны сыпят и сияют. Никакой я в нем сначала упористости не почувствовал, а решил отчего-то, что мне его жалко. Вот уж, наверное, ему бы было смешно, если бы он о моей жалости узнал, потому что сам себя хоть и любил, — не скрою, — но уж, во всяком случае, не жалел.

Более всех в тот первый день Татьяна Александровна проявилась. Сама себя рекомендовала, когда Семен Алексеевич с ней знакомился.

— Слыхали вы, дедушка, — (так прямо с первого раза дедушка) — сказку про «Веселую девчонку»? Так это про

меня сказка написана. Не слыхали?.. Виктор Иванович, расскажите то, что вы в дороге рассказывали.

Виктор Иванович улыбнулся, будто давно с Семен Алексеевичем в заговоре шутливом против Татьяны Александровны состоял, и рассказал нам эту сказку, сологубовскую, оказывается:

— Жила, мол, на свете веселая девчонка. Что ей ни сделай, а она все смеется. Вот отняли у нее подруги куклу. А она бежит за ними и кричит: «Наплевать, очень мне кукла нужна...» Вот прибили ее мальчишки, а она хохочет и кричит: «Наплевать, где наша не пропадала...» Тут и мать ее на нее разозлилась и говорит: «Вот погоди. Я веник возьму, тебя выдеру».

А девчонка пуще прежнего смеется: «Вот уж не заплачу. Вот уж мне наплевать». Веселая, мол, такая девчонка.

Виктор Иванович кончил и опять подмигнул Семен Алексеевичу. А тот, видимо, впервые почувствовал, что в знатных гостях Фединых есть его любимая черточка — кривульность эта, без которой он готов был все лето проскучать, — а потому широко улыбался и разглаживал свою длинную бороду с желтыми проплешинками. Катя внимательно и удивленно слушала эту сказку, Столбцов с Федей о чем-то серьезно говорили, а кто меня совсем поразил, так это Митяйко. Он сразу какое-то особое значение и в высшем смысле дал сказке о Веселой девчонке, очень усиленно стал себе в кулак кашлять, отделился от стены и, покачиваясь, будто на хороших рессорах коляска, подплыл к Татьяне Александровне. О чем они говорили, я не приметил; потому что тут меня Катя позвала.

Потом сели обедать.

После обеда в сад вышли.

Татьяна Александровна опять-таки всем пример подавала и игру особую предложила. Каждый должен был рассказать совершенно искренне и правдиво, чего он в детстве всего больше хотел.

Митяйко сидел рядом с Татьяной Александровной, а потому за ним был черед исповедь свою начинать. Он отчаянно откашлялся в кулак, потом покраснел очень и, уж, наверное, не искренне и не правдиво, а для того, чтобы всех удивить, сказал:

— Я, когда мальчиком был, к мрачным мыслям склонность имел. Видимо, потому и мечты были с известной мрачностью... Хотелось мне на возвратном пути после каких-нибудь похорон на катафалке под балдахином от кладбища до города доехать...

Сказал эдакое, несосвятимое, — и гордо на всех посмотрел.

Все очень хохотали, а Виктор Иванович ударил Митяйку по плечу и начал своим громким до неприятности голосом говорить:

— Вот, дорогой мой, у нас с вами общее оказалось. Я, по правде сказать, когда мальчишкой был, тоже прокатиться мечтал, только не на катафалке похоронном, а на пожарной лестнице, знаете, такой бесконечно длинной. Лошади-звери апокалиптические ее по мостовой мчат, погромыхивают, а она как на пружине в воздухе качается, — роскошь просто.

Опять все начали смеяться. А Таня сказала с досадой:

— Вот всегда так. Я думала, что вы все что-нибудь эдакое такое расскажете, а на самом деле вышла одна чепуха. Теперь только на вас, Алеша, и надежда, потому что ведь от Федора Семеновича одной мечты дождешься: чтоб ему на ночь пятки чесали...

Алексей Алексеевич поднялся зачем-то с травы, руки в карманы засунул, посмотрел куда-то и далеко уж очень, и пристально чересчур, и сказал:

— Моя мечта детская? Да, пожалуй, она и теперь все та же. Хотелось мне, чтоб жизнь моя была бурной, чтоб по самым диким хаосам носился мой дух, чтобы много света и много мрака, чтоб много всего, одним еловом, было в моей

жизни. Ну, а под старость, — это вот и есть настоящая моя детская мечта, — под старость хотелось мне стать смотрителем плавучего маяка. Понимаете, друзья мои, вокруг море на солнце блестит, просто назойливо блестит, и чайки летают, и корабль на якоре медленно колышется, — и никого, никого вокруг... Вот.

Мы промолчали все. А Татьяна Александровна велела Феде говорить. Он отказался, будто оттого, что она его обидела:

— У всех, мол, мечты могут быть, а у меня только пятки чесать... Нет, благодарю за честь. Мы лучше помолчим.

На самом же деле ему как раз пора было по ежедневному своему делу, о котором я и раньше мельком поминал, отлучиться.

Постепенно вся компания разбрелась. Катя взяла меня под руку и увела в глубину сада.

— Слушай, дружочек мой, — говорила она взволнованно, — ведь это здорово: сначала гореть, гореть, биться, биться; понимаешь, все в свою жизнь вместить, — а потом вдруг маяк плавучий и ни-ко-го, понимаешь.

Я удивился этой ее горячности. Но пока собирался ей ответить, заметил, что из соседней аллеи Семен Алексеевич с Митяйкой вышли. Митяйко изгибался по-особенному и каким-то не своим голосом твердил:

— Примите во внимание, Семен Алексеевич, что глаза у меня прозрели в одно мгновение, загубил я свою жизнь... Ведь вот бывают же такие женщины, как эта. Ведь вот...

Я сразу догадался, что это речь о Татьяне Александровне идет, и мне отчего-то очень неприятно и как-то оскорбительно стало.

Они прошли, нас не заметив. Но я уже начал чересчур рассеянно слушать Катины слова, и она покорно повернула домой.

Этим и завершились все события первого дня пребывания Фединых гостей у нас.

Прежде чем рассказ мой дальше продолжить, я должен рассказать о Феде то, о чем уже не раз намекал, но что рассказать мне трудно, так как, не пользуясь откровенностью ни одной стороны, я многого в данных взаимоотношениях не понимал.

3

Вместе с моими немногочисленными наблюдениями по этому поводу, решил я в этой главе изложить Катины мысли и замечания, а также философские объяснения многих явлений со стороны отца моего Семена Алексеевича. И уже скомбинировав эти все разнородные элементы, я постараюсь дать правдивую картину Фединых переживаний.

Как я уже упоминал, Федор был очень ленив. А если сопоставить эту лень с большой подвижностью в его революционных делах, то можно было сделать очень правдоподобный вывод, что лень тут ни при чем, а одна усталость очень исключительная такую роль играет.

Семен Алексеевич, сам очень подвижный и всегда занятой и ленивцев не любящий человек, — к безделью Федора относился очень снисходительно, — никогда его не попрекал им. И Катя уверяла меня, что несколько раз удавалось ей поймать у Федора такой тоскующий и понуждающий себя взгляд, что стала она думать, — недаром он зря все валяется, — наверное, в это время что-нибудь трудное решает.

Мне же он однажды очень серьезно сказал:

— Заметь, милый мой, что человеку в 38 лет очень трудно быть все время всем недовольным. Отчаянно надоедает все только критиковать и чрезвычайно хочется в какой-нибудь положительной работе участие принять.

А подумав, добавил:

— Все это в мои года так же естественно, как стремление иметь семью, свой угол, где всегда дома, никогда не лишний, где покой, и куда никакие бури этой проклятой моей судьбы не доходят.

Вот, взвесив эти рассуждения, я почувствовал, что Федору, несомненно, на ум пришло себе такое тихое пристанище создавать. И тогда объяснимыми стали частые его пребывания в доме у Пелагеи Михайловны.

Заинтересованный этим всем до чрезвычайности, я поделился моими наблюдениями с Катей, но она промолчала. Тогда я задался целью установить, что из себя являет Марья Сергеевна, у которой Федор все свое свободное время проводит.

Да, уж воистину тишина. Тишина и скромность. Трудовая девушка. Будто больше и добавить нечего. А только с самого основания я в эту тишину и скромность не верю. Мое мнение такое: гордость самая беспредельная; от нее и скромность, — чтобы, Боже сохрани, кто чего не подумал. И так все. Тишина, потому что буря не удалась, — вот и вид такой, что тишине радуется. И трудовая учительница-послушница, потому что опять-таки приказать-повелеть некому. Впрочем, это досужие наблюдения. А я не раз замечал, что если чрезмерно наблюдать и с выводами торопиться, то они потом сами начинают поспешность высказывать и один за одним выплывают уж без всякой связи с наблюдением.

К слову как-то этими своими мыслями я с Семеном Алексеевичем поделился. Он заволновался сразу, всю бороду себе в руку забрал и давай ее теребить. Потом гулять меня повел. На обрыве у реки сели, и стал он мне свои философские выводы по поводу своих наблюдений того же самого предмета излагать.

— Тяга у них взаимная... Это ты прав... Ну, а чем эту тягу объяснить? Тоже ты близок к истине, сынок. Так, на мой взгляд, дело обстоит. Каждому в другом привлекательно то, что самим человеком изничтожению предопределено. Поясню: Федя с бурями своими покончить окончательно хочет; надоело ему опасное мыканье. Причаливает. И вот чудится ему в Марье Сергеевне пристань крепкая. Да если хочешь, так оно и есть: всегда работает, причесана гладко,

лицо такое — скромницы-монашки, — что себе цену знает, — в комнате, наверно, порядок и уют, — и книг в меру, и каких-нибудь украшеньецев, а то и лампадка есть. Вот на эту лампадную часть ее души и тянется Федор. А у нее как раз дело обратное. Буря она, страсть она; на неудачи — оскорбляется; унижением, — гордится. Сама себя в железную рукавицу сжала, пригнула, судьбе подчинила... И уж больше ей этот покой и тишина совсем не посильны. Хочется, чтоб иначе жизнь шла, чтоб борьба, и страх, и страсть, и вихрь в жизни были... А тут Федор, с этим своим буйным прошлым, от которого он еще не вполне отделался... И получается в этих отношениях начало очень сложных жизнеописаний. Ведь друг друга они не обманывают, а вместе с тем друг насчет друга обманываются очень жестоко. Вот.

Я сразу решил, что отец прав. Он же задумался и не обращал на меня никакого внимания, будто не мне он все эти мысли излагал, а сам с собою беседовал.

После этого разговора Федор не раз и на довольно продолжительные сроки уезжал из Медового. Но теперь нам всем ясно было, что он вернется, потому что не Медовое, а Медынь его привлекала.

Теперь же, когда в отцовском доме он вроде главного хозяина оказался, так как гости были все его друзья, — почувствовал он, что надо дело с Марьей Сергеевной немного менять, и что должен он ее в круг своих друзей ввести. Наверное, по гордости и самолюбию ее случилось все это не просто, — вроде посольства пришлось к Марье Сергеевне отряжать. Федя долго все это налаживал, никому ничего не объяснял. Но, видимо, и без объяснения все догадались, в чем дело, и Алексей Алексеевич сказал ему, посмеиваясь:

— Ладно уж, довольно дипломатию разводить. Веди нас, куда знаешь.

В это самое посольство вошли: сам Федя, Катя, Алексей Алексеевич, Татьяна Александровна и я.

Через весь город прошествовали вчетвером по самой жаре и солнцепеку. Федя шел впереди и нас поторапливал.

К Пелагее Михайловне в дом я лично не заходил, чтобы не создавать там чрезмерной толпы. Да и на улице ждать было приятнее, потому что можно было стоять под тенью огромной акации.

Ждать пришлось недолго. Вскоре наша компания вышла из дому вместе с Марьей Сергеевной. Очень мне бросилась в глаза ее наружная разница со всеми нами. Мы все, — от жары ли, от того ли, что летом отдыхать полагается, — мы все имели вид несобранный, расхлистанный, будто застали нас здесь под акацией врасплох. Лица у всех от длинного путешествия по городу, — вспотели и раскраснелись.

А Марья Сергеевна, в черном своем очень длинном и плоском каком-то платье, с поясом, туго стягивающим талию, с белым чистым воротничком и с белыми манжетами, с зонтиком в руках, — а на руках темные перчатки, — бледная сама до неестественности, под глазами тени довольно приметные и в волосах густая прядка седых волос, — она казалась среди нас матросом на вахте, солдатом на часах, мудрой девой, неспящей, но уж, пожалуй, чересчур мучительно и напряженно караулящей час, когда грядет судьба ее.

Она отнеслась без особого любопытства к Фединым друзьям, будто давно уже знала, что они именно такие должны быть.

На обратном пути мы разбились на пары. Впереди почти бежали Федя и Марья Сергеевна, — мне даже на минуту смешно стало, — успокоит она его, — подумал я.

Дальше шли Катя и Алексей Алексеевич. Им тоже постепенно становилось все безразличнее и безразличнее окружающее, когда они оставались вдвоем. Я это давно начал подмечать.

За ними волей неволей и нам с Татьяной Александровной пришлось в паре идти. Но мы молчали. А я прислушивался к вкрадчивому и будто извиняющемуся голосу Алексея Алексеевича. Он говорил.

— Я ехал из Вены в Париж. И случилась у меня в Инсбруке пересадка. Надо было часов 8 поезда ждать. Я пошел в город... Снег тихо падал... Улица пустынная. Небо темнее земли оснеженной. Дома со вторыми этажами выступающими, в нишах часто Божья Матерь стоит, будто от тихого снега укрылась, — или святые монахи какие-то, в коричневых халатах таких... Я очень долго бродил... Как-то забыл даже, каким образом я в этом городе очутился. И вдруг понял, что город-то мой, что я здесь свой, родной... Вы понимаете это?

Катя слушала очень взволнованно. Она все это, конечно, очень хорошо понимала. Задумчиво отделила она прядь своих волос и начала их грызть, — с самого детства признак напряженной мысли. А Алексей Алексеевич продолжал:

— Тихо падающий снег... Отчего-то он мне всегда мертвых напоминает. Не вообще мертвых, а моих, близких, любимых... Со души праведных скончавшихся... души рабов твоих, Спасе, упокой... Понимаете?

Катя долгим взглядом посмотрела на него, и они повернули к реке. Мы с Татьяной Александровной остались одни на улице. Мне было отчего-то не очень по себе. А она, обычно разговорчивая, тут как назло молчала.

Выручил нас Прокофьев. Из-за угла разлетелся, чуть с ног не сшиб. Новость, видите ли, сообщить должен.

— Не могу, — кричит, — ничего возразить, когда что-нибудь гениально. Пусть подлец — лишь бы гений... Слыхали? Набрал наш полицмейстер добровольных даяний от торговцев различных в пользу войск. Накупил всякой дряни и снаряжает ресторанщика Алеева подарки от Медынских граждан в полк полицмейстерского сына вести. Алееву сначала ехать не хотелось, — на свой-то счет, — кому лестно? А потом сторговались: он на свой счет подарки везет, а за это ему полицмейстер разрешение дает на вывоз с нашего винного склада трехведерного бочонка коньяку. Поняли, какая гениальная комбинация? За дорогу платит

Алеев, но зато на фронте он продает коньяк. Офицеры в полку коньяку будут более рады, чем кисетам и другой всякой дряни. А кто в убытке? — Никто... Ге-ни-аль-но.

И он помчался дальше.

Татьяна Александровна расхохоталась, и мы дошли домой уже без всякой принужденности.

С того дня повелось, что в общей нашей Медовой компании и Марья Сергеевна стала бывать. Целыми днями шла такая обычная в Медовом жизнь. Лишь по вечерам, да и то не каждый день, Федя со своими товарищами о чем-то совещался, но это было вполне конспиративно, и упоминаю я об этом не для того, чтобы свою осведомленность обнаружить, а только чтобы показать, что недаром компания вся жила у нас, не баклуши били, а к каким-то постепенным решениям приближались.

4

Самое, может быть, значительное, что мне пришлось в жизни увидеть, самая мучительная красота, открывшаяся мне, — было зарождение и рост любви у сестры моей Екатерины Семеновны.

На глазах моих утончалась она как-то, особым таким горением загоралась вся, напрягалась, как тетива, и вся была охвачена ожиданием небывалого чуда, которое вот уже у дверей ее жизни.

Катю я знал хорошо, а потому, забыв наблюдать и поучаться, просто любовался ею.

Зато другая сторона, вступив на этот, видимо, неожиданный и неизвестный путь любви, многим моим заключениям давала пищу. Я говорю, конечно, об Алексее Алексеевиче Столбцове.

Но, следуя самому правильному способу в ознакомлении с чужими характерами, я сначала расскажу все, что мне удалось установить во мнениях других людей по отношению к Алексею Алексеевичу.

В этом отношении богатую пищу давала Татьяна Александровна, у которой откровенность носила почти болезненный характер. У нее личных своих тайн, видимо, не было, и никак она не считалась с чужими личными тайнами. В деле, — не тайна, а конспирация. А в личной жизни, — все, мол, должно быть наружу, потому что надо каждому знать, с кем он дело имеет.

Из ее слов, а отчасти и из тех споров, которые иногда имели место между Федей и его товарищами, удалось мне установить, что Алексей Алексеевич, несмотря на все свои бывшие революционные добродетели и заслуги, за последние годы стал в партии почитаться чуть ли не отступником, — якобы очень отклонился вправо от основных положений их партии. А именно: из войны сделал самые крайние выводы, ругал всех за беспочвенное фрондерство и резкостью своих мнений, высказанных даже с большой презрительностью, очень способствовал полному прекращению конспиративной работы, так как его мнения ребром поставили вопрос о том, что раньше-де надо расколоться, а потом можно работать. Время же для работы было глухое, так что во имя его раскол уж очень обидным при теперешних условиях казался. И вся их организация как бы захлороформировалась.

Я заранее хочу предупредить, что об этих вещах я с полным невежеством рассуждаю, а потому стремлюсь своих рассуждений поменьше вставлять, а больше передавать то, что слышать пришлось от других.

В данном-то случае важно мне установить, что подавляющим большинством своих товарищей Алексей Алексеевич почитался лицом, очень заблудившимся и уклонившимся вправо.

Надо заметить, что и он будто со своей правизной согласился и часто с иронией некоторою говорил: «Я, мол, правый...», или «с правой точки зрения», или еще как-нибудь. А на самом деле выставлял на посторонний взгляд ни правую, ни левую, а какую-то упрямую точку зрения. Впрочем, опять напоминаю, что в этом я большой невежда.

Однако очень в курсе всех этих вопросов была Татьяна Александровна, а и та до известной степени такого же взгляда, как я, держалась.

Мне однажды пришлось от нее такие слова услыхать (очень верные, во всех отношениях, на мой взгляд):

— Алексей, — говорит, — поправел? От социализма ушел? Революционером перестал быть? Очень все внешне судить надо, чтоб к таким выводам прийти. Вся его эта военная тактика — грош ей цена, конечно. И главным образом оттого, что в ней ничего длительного нет... А каждого человека надо в корне рассматривать. Вот возьмите, к примеру, на сравнение Федора Семеновича и Алексея Алексеевича. Все скажут — Иконников левее. А я вам говорю, что это чепуха: у Федора Семеновича всяческие левые программы только в голове остались, а на самом деле в душе у него давно произошло оседание внутренних революционных пластов, — ему теперь все это просто скучно, скучно. А у Столбцова дело другое. Его судьба, — не только революционером вечно быть, — а при случае и революционным диктатором. Впрочем — это последнее, если бы не было в нем одной запятой...

Какая запятая, она не пояснила. Не все ее в этом будто поняли.

Вечером я зашел в комнату к Семену Алексеевичу. Там и Катя оказалась. Вид у нее был невнимательный. Неуклюже так в кресле сидела и смотрела на огонь лампы.

У нас же с отцом обычай был, — делиться по вечерам наблюдениями. Он первый и начал о словах Татьяны Александровны.

— Что ты скажешь? Права она?

— Думаю, что насчет обоих права.

Отец задумался, а потом вспомнил наш прежний разговор о Марье Сергеевне:

— Что ж, — выходит, что без этих самых революционных пластов у них толку не будет...

Опять помолчал и дальше уже о Столбцове говорить начал, — уж не знаю, — вообще ли или в большой мере для Кати старался.

— Да, запятая, — это она права... Посмотри-ка внимательно: он у них самый умный, и самый разумный даже. И воли в нем больше, чем в других, — просто даже скажу, редкая воля, — часто, наверное, и злая воля бывает. И может он заставить других себя слушаться, и сам себя подчинить делу может. А с другой стороны, — знаний много, образованнейшая личность. Все, все, все есть. Чем, правда, не кандидат в диктаторы? А тут эта самая запятая. И какая такая запятая, — понять не могу. А как до нее дело дойдет, так всему аминь, конец. Сам себя, наверное, изгрызет, сам себя, как бабочку на булавку пришпилит, всю свою силу на подмогу врагам сам на себя обрушит.

Катя слушала теперь внимательно, — изредка лишь ухмылялась, будто она гораздо больше об этом деле знает, чем отец.

А отец, уже уклоняясь от Алексея Алексеевича, к общим рассуждениям перешел. Опять думается мне, что многое говорил он для Кати.

— Еще интересная вещь: знаешь ли ты, что вообще их всех за безбожников принято считать? — Ну, так я утверждаю, что все это нелепость какая-то. Про Татьяну Александровну не знаю и про Канатова не знаю. О Феде нашем не сомневаюсь, что в самое ближайшее время он к Богу вплотную подойдет. Сейчас уже на полпути. А насчет Алексея Алексеича я тебе больше скажу: он просто самый настоящий православный христианин, помяни мое слово. И естественно, — потому, что при таком характере податься некуда. Ведь людей ему только презирать можно, — таков уж; а от себя уйти тоже нужно, потому что это компания невеселая. Друзей у таких не бывает, потому что отталкивает всех. Вот и нужно последнее прибежище.

Не успел отец договорить этой фразы, как Катя очень быстро поднялась и прямо выбежала из комнаты. Лицо

у нее было все в красных пятнах, а походка сделалась еще тяжелее, чем обыкновенно.

Я спросил отца, зачем он так.

Он очень серьезно покачал головой, будто сочувствуя чему-то, мне неизвестному, а потом сказал.

— Заметь себе и запомни хорошенько, что Катерина наша, с одной стороны — глупая, слабая и застенчивая женщина. А с другой стороны, Катерина наша — если и не мудрее мудрых, то во всяком случае сильнее сильных. Бывает это у редких женщин, — назвать можно — покровность, — понял. Вот и у нее так. Нужно ей чувствовать сильного и гордого человека ребенком слабым. Он молотом скалы дробит, а она с него от великой жалости пылинки сдувает. И в этом много справедливости. Без таких, как Катя, многим бы собственной силой и собственной гордостью удавиться бы пришлось. А она — двужильная, все вытянет. Пусть глаза на лоб выскачут, — вытянет.

— Знаешь, — добавил он — уже смеясь, — Прокофьев мне про нее как-то говорит: «древнеисторического вида дочь ваша, Семен Алексеевич, — не девушка, а Апшерон настоящий». Это он, видимо, вместо Першерон Апшерон сказал. Ну, и похохотал я над этим. И правда все же, именно тиски.

Много раз в дальнейшем приходилось мне убеждаться в истинности слов моего отца.

С Катей нашей случилось что-то значительное, будто вся душа у нее в новые одежды облачилась. Вся какой-то торжественностью и ответственностью прониклась.

И уж тут не могу я не рассказать самое интересное мнение о ней, высказанное самим Алексеем Алексеичем.

— Вот, — говорит он, — если бы на земле остались жить только такие люди, как Екатерина Семеновна, — тогда бы нигде никто ни против кого борьбу бы не вел. Все было бы совершенно спокойно. Ну, а если бы таких людей, как Екатерина Семеновна, никого бы на свете не осталось, — тогда

бы тоже и первый бой был бы последним, потому что некому было бы на смену первым азартным борцам выступить, никто бы за них, им на защиту не встал. Начинают борьбу, — фитюльки, мы, а доводят ее до победы, — земляная сила, Катерина Семеновна.

Это излагаю в очень непонятном духе, потому что, по правде сказать, за Катей я никогда никаких склонностей к войнам не замечал. Наоборот, кротости она и смирения редкого. А впрочем, я при всей этой противоречивой непонятности ощущаю, что доля правды в этих словах есть. Если ей на долю придет кого-либо защищать, то уж, наверное, не выдаст, как собака своих щенят не выдает.

А за всеми этими уж чересчур торжественными словами можно сказать, что происходило явление частое и довольно в наших жизнях обычайное. Не знаю, в каком порядке, а полюбили друг друга Катя и Алексей Алексеич. И от всех нас этого уже не скрывали.

Я видел, что Катя очень счастлива, просто не верится, чтоб она такой счастливой могла быть, — вид она такой имела — будто что-то переполнило ее до краев, и она не идет по земле, а шествует, чтобы этого драгоценного переполнения не расплескать. Действительно, «покровное» что-то было в ней.

А рядом Алексей Алексеич. Конечно, я его мало знаю, и сравнивать его мне трудно с тем, каким он раньше был.

Но все же сдается мне, что в нем эта любовь новая была причиной какого-то настоящего успокоения, будто нашел он лесенку, ту самую, которую ему только и не хватало, чтобы на самую нужную вершинку забраться, будто Катя и любовь ее были ему единственным раньше недостающим мосточком через главную пропасть, — а дальше, — все ясно и хорошо.

Полно уж, — не заменила ли любовь эта ему основной запятой недостающей? Не воздвигла ли она его здание, стоявшее раньше на песке, не воздвигла ли она его на некрушимом фундаменте?

Радостно было нам всем на них смотреть, будто и мы во всем этом деле немало виноваты.

Чтобы эту линию до новых и потрясающих событий всю целиком определить и к ней пока не возвращаться, я должен добавить, что в течение всего лета отношения Кати и Алексея Алексеевича развивались в том же русле. Ни для кого из нас не было неожиданностью, когда мы узнали осенью, что они собираются повенчаться, и что Катя вместе с ним уезжает из Медового.

Я без всяких сомнений радовался.

Семен же Алексеич хотя огорченным и не был, но очень задумчиво сжимал свою бороду в ладонях и говорил:

— Конечно, может это и хорошо обернуться. Однако не верится. Боюсь я, что Катю большие трудности и непереносимые испытания ждут. Впрочем, она, я думаю, сама это знает и на всяческие испытания идет с большой радостью. А сил у нее хватит, потому что это ей на роду написано, — покровность эта.

5

Должен со всей откровенностью признаться, что, несмотря на всю свою любовь к душевным наблюдениям и несмотря на то, что гости Федора с самого начала вызывали у меня большое любопытство и даже большую любознательность, только к концу лета удалось мне заметить некоторые очень значительные явления. Вернее даже будет сказать, что явления эти я и раньше замечал, но давал им совершенно неправдоподобное объяснение.

Я уже упоминал как-то о болезненной какой-то откровенности, свойственной Татьяне Александровне. Подметив эту черту, я раньше из нее никаких выводов не делал и только к концу лета обратил внимание, что это вовсе не так просто.

Трудно мне вдаваться в более подробные объяснения, потому что это значило бы говорить о многих мне очень

мало известных предметах. Но, однако, не рискуя обнаружить чрезмерного невежества, я скажу, что вся Федина компания была как бы на распутье и совершенно ощупью искала настоящего пути. А так как во внешнем мире тогда еще ничего не объявлялось, что могло бы знамен<и>ем послужить, то и стремились они эти знамения внутри собственных жизней найти и как бы все время взрезали свою душу в различных направлениях и распинали себя с большою жестокостью.

Усвоив такое объяснение <по> многим словам и разговорам, я в дальнейшем стал еще внимательнее прислушиваться, и вот что, к примеру, в один и тот же вечер мне удалось отметить:

Собрались все в саду, под вечер, кроме Медовых жителей, и Марья Сергеевна и, конечно, Федя рядом, и Митяйко, — один, без Ксении Степановны, приплелся, — уселся с видом мечтательным и свирепым около копны сена, недалеко от Татьяны Александровны, конечно.

Должен признаться, что незадолго до этого я Татьяну Александровну в историю Митяйкиной женитьбы посвятил. Татьяна Александровна, хоть и много на эту историю смеялась, но осталась, по-видимому, недовольна, — может быть, и мною, что рассказал.

До прихода Митяйки мы сидели молча. Федя усиленно наблюдал, как по соломинкам муравьи ползут, и отлежал себе даже руку.

И среди такой всеобщей лени, — только Семен Алексеевич и Катя с Алексеем Алексеевичем отсутствовали, — вдруг Татьяна Александровна говорит:

— Иван Андреевич, мы тут без вас игру выдумали. Каждый должен, опять-таки откровенно и правдиво, рассказать историю своей первой любви. Теперь ваша очередь.

Митяйко заволновался и заявил, что ему сначала других надо послушать, а то что это он первый, да первый.

Татьяна Александровна только головой тряхнула:

— Хорошо, — говорит, — коли вас робость одолела, так я начну.

И начала...

Эх, сказка о веселой девчонке, недаром она так хорошо запомнилась, потому что тут уж веселая девчонка сама себя бьет и хохочет: «Наплевать, мол».

Рассказ таков был. Была еще Татьяна Александровна девочкой лет 13–14. Только что осиротела она, и поместили ее в дом к богатой тетке в Петербурге. Оттуда и в гимназию ходила. И вот как-то на улице встретила она сестру старшую своей подруги прежних времен — с родины приехали.

Разговорились об общих знакомых. А девица эта встретившаяся на фельдшерских курсах была, и очень у них было принято самые секретные вещи своими именами называть, — принцип какой-то в этом заключался.

И вот в рассказе о различных знакомых девица и говорит:

— Помните, мол, Журавского? Дурной болезнью болен.

Татьяна Александровна мало этого Журавского помнила, — встречалась раза два и только. Знает, что о нем говорили, — хоть умен, а есть в нем что-то, что доверия не внушает. Кроме того, что такое за дурная болезнь, — она совсем себе не представляла.

И вот, несмотря на эти два обстоятельства, так ей жалко стало почти неизвестного Журавского, что она прикидывала всячески и, наконец, решила написать ему письмо.

Так и письмо начала: «Журавский, я на днях узнала, что Вы заболели дурной болезнью...»

Ответа не получила.

Она опять письмо написала. И опять осталась без ответа.

На четвертое, кажется, письмо пришел ответ, — брань самая площадная.

Она опять письмо написала. Тут уже ответ был хоть сухой, но вежливый.

Так постепенно между ними утвердилась самая дружественная переписка. Татьяна Александровна серьезно думала, что вот руководит чужой душой, настоящую дорогу человеку показала.

Длилось это дело года два. Наконец, получает она однажды от него письмо, что едет он в Петербург со специальной целью с ней повидаться и о важных делах переговорить. Условились, где встретиться.

Целый день бродили они по легкому морозцу, в пасмурный денек. Набережную всю вдоль прошли, в какой-то чайной на Песках сидели, и на верхушке конки по Невскому проехали.

И все, значит, говорили...

Если бы кто тогда Татьяну Александровну спросил, — любит ли она этого самого Журавского, — она, наверное, ответила, что любит; а на самом деле, конечно, это не любовь была, а просто радость веры в собственную мощь.

А он, герой-то этот, сначала очень куражился, все из крахмального воротничка свою шею высвобождал. А потом, видимо, внимательнее к Татьяне Александровне присмотрелся, чего по письмам недосмекнул, то уж тут ясно стало, — и понял, и разговор изменил.

— Слушайте, — говорит, — Таня, дело мое к вам такое: благодаря вам я сейчас на ноги встал, новым человеком сознаю себя. Но я горд. А потому не хочу больше чувствовать вашу дружескую руку около себя. Не нужна мне больше ничья помощь.

Татьяна Александровна все это выслушала не менее торжественно, чем оно говорилось, со своей стороны сказала несколько прочувствованных слов, и они расстались навсегда.

А через несколько месяцев Татьяна Александровна опять ту же свою приятельницу фельдшерицу встретила. Та на нее так и накинулась:

— Из дому письмо получила. Вас касается... Журавского помните? Так он некоторое время тому назад по всему городу распространил слухи, что вы огромное наследство получили и что он едет в Петербург на вас жениться. А потом действительно исчез. Что вы скажете? Вот нахал-то.

Татьяна Александровна обомлела. Теперь ей, пожалуй, и не понять, на что она тогда так обиделась. А в ту минуту обида эта казалась ей самой глубокой, будто все в ней опачкали и омерзели.

Теперь же, расхаживая мимо нас по скошенной поляне, она только изредка всем в лицо взглядывала по очереди:

— Что, мол, хорошо? Веселая девчонка?

Любопытно, что при последнем ее слове Митяйко сорвался и, не прощаясь, домой помчался. Про себя скажу, что я очень зол был.

Федя продолжал муравьев с соломинки на соломинку перегонять, а Марья Сергеевна, ухитряясь и на скирде сидеть прямо, как аршин проглотив, недовольно как-то и на него и на нас всех поглядывала. Видно, все это ей только словами казалось.

Я же до того зол был, что расхрабрился и говорю:

— Вот, Татьяна Александровна, вы, конечно, много опытнее меня, а на самом деле причины этих событий не уяснили. Вы меня простите, а барства тут много. С жиру-с, с жиру-с все это. Со стороны нашей, мужичьей, — так оно сразу видно.

А на меня за эти слова гроза наскочила, откуда-то и не ждал. Виктор Иванович просто разбегом ко мне подлетел:

— Бросьте, бросьте, Коля, — говорит, — не мне об этом барстве слушать. Вы-то, небось, здесь у Семена Алексеича сызмальства забыли о той, о прежней, о небарской жизни. А я помню...

И опять, как Татьяна Александровна, вызовом, усмешкой, стал говорить о себе:

— Почтенный родитель мой, — говорит, — служил городовым в Нижнем Новгороде; хороший был человек, царство ему небесное, только выпить малость любил...

И все так вот, с глумом, с глумом и над собою, и над нами.

Семеро их детей было, а мать умерла рано. Отец бил. Старшая девчонка отцовскую водку пить приспособилась.

— А младший мой брат, — поверите ли, — если отец прольет, так он языком все вылижет... Ну-с, существовали в таком благополучии до следующего несчастного случая: вел отец арестованного жулика. Идут мимо кабака, а тот и говорит: «Выпить бы». И сговорились, что жулик на скамейке посидит, подождет, а отец зайдет в кабак, водку купит. Вытащил жулик полцены, — в складчину покупали. Ну-с, а пока отец с покупкой возился, жулик и удрал, не дождался его. За это происшествие он был со службы уволен, а по причине пьянства другого места найти не смог и обратился в самые профессиональные бродяги, чем, собственно, нас, детей, мало обидел, — без его отцовского попечения наше воспитание пошло вольнее. Из семерых четверо умерло. А трое, сестра и два брата, до сих пор живы. Сестра у портнихи в Нижнем работает, брат в пекарне служит, а я, как вам известно, нечто вроде журналиста, — впрочем, образование более чем законченное имею, — так-то-с.

И, в конце концов, этими словами больше всего он Татьяну Александровну устыдил. Будто она была виновата, что ему так обидно распоясаться пришлось.

Так и она это поняла. Просто до слез покраснела вся.

Многого не понимая, предчувствовал я, что мы к самой какой-то границе подошли. Даже Федя муравьев своих оставил, на живот перевернулся, руками подбородок поднял и с волнением в Канатова всматриваться начал.

Одна Марья Сергеевна наподобие гордого монумента возвышалась <нрзб.>.

Татьяна Александровна начала очень мягко:

— Слушайте, Виктор Иванович, дорогой мой, не кажется ли вам, что уже довольно этого всего? Кого мы еще обучать хотим? Все всем ясно.

А убедясь, что такие спокойные слова еще больше всех смущают, она, будто с вызовом, воскликнула:

— Ну, что ж? Правды хотите? Не боитесь самой настоящей правды?.. Хорошо же... Виктор Иванович, вы просто

очень маленький и очень средненький человек. И точка... А потом, понимаете, другая фраза начинается. Вашей силы, — нету, вашего разума, — нету, вашей воли, — нету. Но стоит другой воле, и другому разуму, и другой силе до вас коснуться, как каждое движение малейшее вы усилите в сотни раз. Вы — рычаг, огромной мощности. Если никто его не трогает, он бессилен, но стоит надавить его плечо одним пальцем, как рычаг этот каменные глыбы, как песчинку, в воздух подымет... Разве можно сказать, как вы кончите? Про всех можно, только не про вас. Я у вас ничему не удивлюсь, потому что все зависит от того, кто эту вашу сумасшедшую интуицию оседлает, чей голос вами, как великим рупором, воспользоваться сумеет, — точкой приложения чьей силы будете вы. Вот и правда вся целиком.

А потом, очень неожиданно и в великой злобе, сама себя прервала Татьяна Александровна.

— Марья Сергеевна, отчего это вам кажется особенно интересным?

Марья Сергеевна, действительно, слушала с повышенным вниманием, и даже как будто рвануться ей все время хотелось вперед.

Но тут, после этого неожиданного вопроса, будто ее разоблачающего в чем-то, она очень спокойно и насмешливо сказала:

— Понятно. С самого детства интересуюсь хиромантией, гаданием по почерку и прочей чертовщиной.

Тут уж меня не только злоба взяла, а какое-то отчаяние, и я просто решил уйти. За мною, что-то насвистывая, и Виктор Иванович побрел к дому.

6

Тут, может быть, следовало бы и точку поставить, потому что больше за все лето никаких уследимых невооруженным глазом событий не произошло.

Однако, помимо уследимых событий, бывает нечто, столь же существенно воплощенное, но как бы не поддающееся спокойному наблюдению. Мыслей моих в этой области доказывать не берусь, потому что нет ни одного слова и ни одного взгляда ни с чьей стороны, которые их бы подтверждали.

Однако все то, что имело место через какие-нибудь полгода, настолько подтверждало правильность моих наблюдений, что я смело решаюсь излагать их в виде непреложных фактов.

Опишу подробно всю обстановку, какая она была к концу этого лета перед всеобщим разъездом.

Совершенно из общего действия можно исключить Алексея Алексеича и Катю, которым вообще до всего этого мало было дела. Со стороны смотреть — можно было заметить, как чередуются у них бури и ясные дни, как по в<нрзб.> терзают они друг друга, а потом с восторгом неким к каким-то разрешениям приходят и так чувствуют себя блаженно. Думаю, что большего самоуглубления и самоиспытания нельзя себе представить, чем это у них было. Тут уж не только последняя правдивость в душевных переживаниях наблюдалась, а и более того, — будто нарочно несуществующее и самое трудное выдумывали и разбирали, — а если, мол, так случилось бы, тогда бы, мол, оба мы что подумали бы? И опять мука и бичевание себя, а потом выход самый светлый и радостный из этой загадки... Все же несомненно, что любовь их всегда им выходы светлые и радостные уготовляла.

Отец и я, — хоть и не в такой мере, как они, но тоже до известной степени в стороне стояли. Или вернее — действующими лицами мы не были. Но все происходящее действие наблюдали с самым повышенным, даже мучительным вниманием. Я не знаю, что мы хотели. О себе скажу, что в то время по отношению ко всем действующим лицам у меня были равносильные чувства, заполнившие меня всего, — это злоба и жалость.

Чтобы окончательно отделить все побочное от главного, упомяну еще о Митяйке, который мрачно и усиленно стремился сделать Татьяне Александровне понятной свою любовь. Мне это было противно. Остальным могло бы быть смешно, если бы вообще в то время хоть что-нибудь могло смешным казаться.

Завидев издали в саду его долговязую фигуру, Татьяна Александровна пряталась, а он, не застав ее с нами, часами разыскивал по парку, карабкался по обрыву и под конец возвращался опять к нам, усталый, отчаявшийся и злой. Никто не надсмехался над ним после этих нелепых розысков, но все старались, чтобы он скорее ушел, будто посторонние мешали окончательной разборке наших событий. А как только мы одни оставались, так наступало упорное молчание, и все равно узел наш ни развязывался, ни разрубался.

В чем же дело? Деликатные все это вещи и имеют не только свой реальный смысл, а иное значение. Впрочем, попытаюсь объяснить в пределах своего разумения.

Татьяна Александровна, собственно, тоже в основной игре ни при чем. Не знаю точно, какие чувства руководили ею, — по виду, или вернее по тому, как она нам разрешала понимать эти чувства, — основное было, — товарищеское участие, нелюбовь к лживым и двусмысленным положениям и стремление вернуть все события на прямую и ясную дорогу.

Думаю, что это так. Но помимо этого было еще что-то, — не знаю, что именно.

Таким образом, исключив всех второстепенных, по крайней мере, посторонних лиц, я могу теперь говорить о главных персонах, принимающих в событиях непосредственное участие. Это были: Марья Сергеевна, Федя и Виктор Иванович.

С того самого памятного разговора у копны, когда Татьяна Александровна и Виктор Иванович в каком-то странном воодушевлении слишком много и болезненно

разоблачили себя, начались какие-то новые линии взаимоотношений.

Опять-таки, так как фактов нету, то я буду только ссылаться на глубокое убеждение мое в истинности этого положения... Убеждение это со мною разделял и Семен Алексеевич.

Дело в том, что, соприкоснувшись со всей Фединой компанией, Марья Сергеевна как бы постепенно начала ощущать, что основная бурная река идет где-то хоть и близко, но не совсем уж рядом. Федор же сам лежит как бы на отмели, и вряд ли можно будет надеяться, что волны его опять подхватят.

Видимо, для нее было совершенной мукой ощущать, что вот где-то что-то трещит и ломается, а Федор смотрит, как муравей с соломинки на соломинку переползает.

Странная она была женщина. Запал так силен в ней был. Лишь бы дотронуться до вещества, взрывам подверженного, — и взрыв будет. Ну, а Федор никак не мог почитаться таким существом.

Думаю я, что, обнаружив все это, Марья Сергеевна, наверное, предалась большому отчаянию и сожалению. Впрочем, никому этого по скрытности не показала и, видимо, решила, что дела уже не поправишь.

Несомненно, при всем ее азарте бешеном очень хранились у нее в тайне всяческие долговые обязательства и была она очень, как люди говорят, — порядочный человек, — никого обманывать не хотела и надеялась сама себя скрутить и на настоящее место поставить.

В это я верю.

Но постепенно она начала сдавать. Непосильным оказалось себя вновь искалечить и изломать. Основное, что она в жизни любила, — это простор и власть. И вот вся прошлая жизнь в этом отношении одной сплошной неудачей была — с Фединым вторжением надежда появилась, — единственный раз. Тут или выход, или возврат к старой потяготе с сахарными кульками Пелагеи Михайловны.

И выход этот, — увидела она, — оказался вполне обманным.

Ну, что ж? Казалось бы, отчаяние и смирение.

А тут, как для того, чтобы дразнить и соблазнять другими выходами, простором и властью, — эти загадочные слова Татьяны Александровны о точке приложения сил, о рупоре, который заставит громом прозвучать любой голос.

Бессознательно начала Марья Сергеевна свои силы тут пробовать; можно сказать, — шепотом начала твердить слова, которые рупор должен был сделать громоподобными. (Это, между прочим, уж не только рассуждения, а и наблюдения.)

И действительно почувствовала она, — может быть, не умом еще, а так, ощущением одним, — что права Татьяна Александровна, что во многих отношениях Виктор Иванович словно воск в руках тает, что вбирает он в себя все, — чужие мысли, и чужую волю, и чужой разум, — души чужие вбирает он в себя, и претворяет их в себя, и заставляет их по-новому жить и переливаться.

А почувствовав это, не могла уже Марья Сергеевна остановиться. Голова закружилась, дыхание сперло. Представила она себе, как умно, и умело, и властно заиграет она на этом волшебном инструменте, как умножит она себя им, как расцветит им разум свой, раздует волю свою, добьется всего, — простора и власти.

Не берусь я утверждать, что до такой степени сознательности доходила она в мыслях своих, но что основу ее мыслей я передаю правильно, в этом нет сомнения.

А подтверждением такому выводу могут быть два явления: первое, — это неу<нрзб.>ая и звериная тоска Федора. Прирос он к дивану своему, болтает босою ногой и говорит, как трещина на потолке на колдуна похожа. Однако тоска эта, — с покорностью известной и со стремлением уж лучше ничего не понимать.

А второе, еще более показательное, — это Татьяна Александровна.

С полной точностью могу сообщить, что однажды вечером взяла она Виктора Ивановича под руку, вышла с ним в сад к обрыву и довольно ясно предложила ему в ближайшие сроки покинуть Медовое.

На его удивленный вопрос, что это, мол, значит, она спокойно объяснила, что его пребывание, во-первых, нарушает Федино благополучие, а во-вторых, нисколько не способствует его собственному гордому самосознанию, так как Марья Сергеевна многой силы, — правда, в пустяках, — но все же добилась над ним.

Он был искренне этому обороту удивлен. Подумал недолго и обещал при первом случае уехать.

Случай же этот представился в таком виде. Объявил нам Алексей Алексеевич, что они с Катей венчаться в ближайшее время собираются, а потом и уезжать, что дела его всяческие ждут.

Мы удивлены не были, так как всего этого давно ожидали.

Перед самым венцом с Катей я долго беседовал, и вот тогда же и поручила она мне вести записи и жизнеописания, будто предчувствовала, что всему этому возврата не может быть.

Венчались они рано утром, в большом нашем синекупольном и золотозвездном соборе. И все было обставлено почти как секретное дело.

И у них и у нас всех это венчание вызвало чувство большой торжественности. У меня же кроме того еще сильнее определилось чувство жалости. Впрочем, за последнее время все во мне покрывалось и определялось этим чувством, так что я могу даже сказать, что жалость во мне приняла размеры серьезной и острой болезни.

С этим же чувством, ночью провожал я молодых на вокзале. С ними вместе уехал и Виктор Иванович.

В Медовом, будто после бури, все стало спокойнее и тише.

В конце сентября появились первые отцовские кривульки: рыболов один, очень безобидный человек, — просто мы даже забывали, что он существует, — и еще чахоточный и желчный скрипач Прокопенко. Он все искал себе правильного аккомпанемента; говорил, что его убивает немузыкальность большинства людей, и при этом харкал кровью. Потом притянулся и Максим Прокофьевич, по-старому выкидывал во все стороны руки и ноги, как будто их за веревочки дергают, и всячески дразнил

Татьяну Александровну тем, что для нее революция острый сырок после жирного обеда.

Уже после Рождества состоялась у нас и вторая свадьба — Федора и Марьи Сергеевны. Тут у меня не было жалости, а скорее досада какая-то. Хотя надо сказать, что в течение осени все будто наладилось и изменилось на хорошее. Даже Семен Алексеич однажды сказал мне:

— Знаешь, кажется, это мы на нее напрасно все. Еще толк будет.

Может быть, конечно, потому что отрицать нельзя у Марьи Сергеевны большой воли и против своих взбалмошностей, — сумеет и себя она в руках держать, если захочет.

После свадьбы и они уехали, — и с венчанием даже поспешили, потому что Федора по каким-то делам вызывали.

А Татьяна Александровна осталась у нас.

Стала она совсем своей в Медовом и от Митяйкиной любви перестала бегать, а лучше сделала: в ответ на эти его приставания — в дружбу с Ксенией Степановной вступила и тем его совсем обезоружила.

Жили мы тихо и январь и февраль. А тут уж пошло такое, что и Медовое все вверх дном перевернулось.

Во всяком случае, с первой вестью о начавшейся революции Татьяна Александровна от нас тоже уехала.

7

Если описание событий, имевших место на родной почве, порою казалось мне непосильно трудным, то легко

себе представить, с каким чувством приступаю я к описанию событий, по величине своей затмевающих все, что знала история, и по неожиданности своей, — чрезвычайно далеких от моих восприятий жизненной истины.

И вот, дабы не грешить невежеством и чрезмерной смелостью, я буду стремиться оставлять все события внешние в стороне, предполагая, что всякому они известны по более авторитетному источнику. Моей целью по-прежнему остается правильное жизнеописание характеров. А так как я по многим линиям подхожу уже к развязке, то и решаюсь самое <истори?>чески трудноописуемое время сделать фоном, на котором мое повествование протекает.

Надо сказать, что Федор и два его товарища, о которых я уже повествовал, довольно быстро заняли в нашем всем обширнейшем и богатейшем районе совершенно исключительную роль. Я не буду подробнее говорить о том, какие они должности занимали, потому что это уж и не столь важно, — скажу только, что их имена стали известны всей решительно России и часто их деятельность приводилась в пример, как образец для подражания центральным представителям власти.

Не вдаваясь в подробности и никому ничего не стремясь доказать, я все же должен упомянуть об одном чрезвычайно курьезном факте. Зять наш Алексей Алексеевич Столбцов заведовал всеми военными силами у нас в округе и при великом наличии всяческих генералов и полковников, свойственном военному времени, он, — чрезмерно штатский человек — был с головой погружен в какие-то комплектования, дисциплинарные проекты, борьбу с дезертирством, ускорение юнкерских выпусков и т. д.

Федор был очень занят, работал горячо и добросовестно, но, видимо, без всякого честолюбия, а потому оставался в тени. Его имя хотя и упоминалось, но более в наших провинциальных газетах, а столицам был он мало известен. Действовал он скорее по чувству долга и по старой привязанности к революционным начинаниям, чем по личному увлечению и азарту.

Но кто сразу превысил все расчеты и просто буйно в гору пошел, так это Виктор Иванович.

На этих вот трех беспристрастных определениях положения вещей я пока и остановлюсь. К этому лишь добавлю, что первые месяцы революции знал я все это по газетам и отчасти по Катиным письмам. И только в конце лета получил я от нее письмо, где она просила меня навестить ее, так как Алексей Алексеевич уехал, а ей очень тоскливо.

Я собрался к ней быстро. Отец меня поторапливал.

Катя меня очень удивила всеми теми внешними переменами в своей наружности, которые произошли за это время. На лице у нее были заметны какие-то желтоватые пятна, а под глазами основательные мешки. Руки стали не по ней тонкими и даже прозрачными. А походка еще тяжелее, чем раньше было. Посмотрев на нее, я почувствовал, что у меня сердце перевернулось.

А она, как и раньше всегда, угадала сразу мои мысли, поцеловала меня в лоб и сказала с ласковой усмешечкой:

— Глупый мой мальчик, я ребенка жду. Вот в чем дело.

И опять улыбнулась ласково и гордо.

Я немного смутился от этого ее признания, сам не знаю почему. А потом почувствовал, что сейчас вот люблю и жалею ее как никогда.

Но однако все эти личные мои чувства не относятся к делу.

Рассказав ей наши Медовые новости, я стал ее расспрашивать о их городских делах и надеждах, а главное, — о действующих лицах. Марья Сергеевна меня очень интересовала.

То, что Катя мне рассказала, хотя и имело довольно резкую форму, однако в существе дела неожиданностью не поражало.

Когда вся эта революция у них произошла, — объявилось одно главное действующее лицо всех событий, — толпа. Будь это толпа на улице, или толпа на званом ми-

тинге, или даже в Думе, — толпа гласных, или толпа Совета. Важно, что всяческая толпа стала главным действующим лицом. А помимо этого важно, что, желая действовать, она сама действовать хорошо не могла, ни воли, ни разума воплощенных у нее не было. От имени ее кто-то должен был говорить и работать, а она только покрикивать: «правильно».

Пишу это все и чувствую, что мне опять пора и за себя и за Катю извиниться, что наши ненаучные мнения я так свободно излагаю. Однако без них ничего объяснить во многих событиях не сумел бы.

Итак, сначала толпа выдвинула одного кузнеца-молотобойца. Одобряли долго и решительно каждое его слово, а он больше кулаками потрясал и глазами вертел довольно страшно. Потом уж выяснилось, что он очень дураком оказался, хотя с мыслями совсем правильными для большинства. Пришлось его скинуть. Тут Федор подвернулся. (Марья Сергеевна очень волновалась в те дни и уговаривала его взять на себя ответственность.) Ну, хоть он говорил все и умно, и подходяще, и правильно дело размечал, однако разных степеней азарты были у толпы и у него. Он все с прохладностью, а толпа от азарта стонет... Скинули.

Много было народу перепробовано. И до Алексея Алексеевича очередь дошла. Но ему удалось только два часа на высоком посту продержаться.

— Потому что рука у него тяжелая, — смеясь, объясняла Катя, — стал он шепотком своим извиняющимся говорить толпе. И через слово все: «должны» да «должны». А они никак никто и ничего сейчас не должны. Ну, и загудели — «долой! — долой!». Потом один подошел и говорит Алексею: «Вот что, товарищ, коли у нас пост начнется, мы вас пригласим обедню служить; а пока что, — у нас масленица. Великопостный трезвон совсем некстати».

Катя очень этому смеялась и говорила, что так оно и есть: занят сейчас Алексей Алексеевич подготовкой обороны, если масленица паче чаяния постом обернется.

Ну, а насчет этого самого вождя народного множества, пока еще ничего не выяснилось. Вчера Виктор Иванович приехал из центра, какой-то план у него новый будто есть.

Сегодня будут разговоры у Феди. Она звана к нему, и меня просит пойти.

Пошли мы с ней вечером. Опоздали немного. Комната была уже народом полна. Дым папиросный такими газовыми шарфами по комнате носился.

Марья Сергеевна встретила нас настороженно-сдержанно как-то, будто не тем ее мысли были заняты. Зато Федя просто тронул меня своею радостью по поводу моего приезда и сердечными расспросами об отце и обо всем нашем Медовом. Будто сейчас ему Медовое было гораздо ближе и важнее, чем проекты какой-то там резолюции, о чем шумно толковали и спорили в кабинете. Мы с ним уселись у дивана и вполголоса стали разговаривать.

Видимо, кого-то ждали. Особенно Марья Сергеевна. Катя сразу исчезла в других комнатах. Люди околачивались от разговора к разговору и тоже сознательно не поминали главного.

Наконец, вошли в комнату еще человек пять. Среди них Виктор Иванович.

Вот кто изменился. И не знаю я, в чем была главная перемена, а почувствовал я, что этот человек уже сам собою никак не владеет, что ветром несет его и сам он не знает, как этот полет кончится. Сила в нем большая ощущалась всеми, а вместе с тем, я-то, например, да и многие другие знали точно, что силы этой нет. Все это я быстро очень обдумал, определил и стал слушать и смотреть.

И тут пришлось мне увидеть и услышать самое удивительное. Может быть, кроме меня это было понятно только Кате. Федор мог слабо об этом догадываться и мучиться. А я видел воочию и удивлялся.

Я увидел бой. Бой скрытный и неявный, бой бессознательный и все же жестокий, между Марьей Сергеевной и

какими-то мне неведомыми людьми, много курящими, говорящими вперебой друг с другом и плохо знающими, чего они хотят.

Описать этих всех я вряд ли сумею. Но вот ощущение, какое осталось.

Марья Сергеевна, недавно еще такая тихая и скромная, закинув назад голову, слегка прищурив строгие глаза свои, — никому, — так, — в пространство — бросает: «Вы должны».

А потом <с> подлинным азартом и страстью начинает бичевать всех, — никто, мол, ничего не может, стихия оказалась сильнее всех, все плетутся в хвосте у событий. Революция не так идет, как ей идти нужно было бы, а это потому, что люди вокруг ленивые, безразличные, безвольные, не мудрые... и опять: «Вы должны».

Я сразу, по прежнему опыту, почувствовал, кому она бросает вызов. Посмотрел на Виктора Ивановича и понял, что он тоже все это чутьем своим уразумел, что уже начались в нем эдакие внутренние вихри взвихриваться. Вот, думаю, не дано нашей Марье Сергеевне быть Жанной Д'Арк от Русской революции, так она вот в другого человека перевоплотится и заставит его по правилам Великого Петра над самой бездной Россию вздернуть на дыбы... Подумал я так и жду, когда начнет могучий рупор Виктора Ивановича облекать воспринятые слова в гром. Татьяну Александровну и ее пророчества вспомнил.

Но тут выступила другая сторона. Эти вот неведомые, что говорили все сразу, оказывается, все это была советская публика, пришла обсудить совместно положение.

И вот, после отточенных и горячих слов Марьи Сергеевны начали они эдак мэкать и бэкать. Но мне лично за этим мэканьем и бэканьем устой какой-то крепкий почувствовался, а слова Марьи Сергеевны жидковатыми показались, — так, — женская истерика одна. Эти же вперебивку, вперебивку, а все в одну точку жарили.

Замечу, что в местном совете мало было настоящих натасканных мудрецов, потому что мещане многие от крестьян мало чем разнились, да и рабочие — грузчики речные — народ все был темный и непросвещенный.

— Нам, — говорят, — эта самая стихия, — оно самое и есть. Нам все хорошо. Только нужно, где следует, точки поставить, а где другие междометия по положению.

И хоть и упоминали они изредка всякие мудреные слова, а на самом деле все же весь смысл их речей был именно в этих междометиях к стихии.

Все курили и молчали, изредка с места на место переходили.

Федор устало закрыл даже глаза.

А Марья Сергеевна, уж и припомнить не могу сейчас точно, на каких основаниях, но в одиночку горячий спор вела с четырьмя представителями этого самого совета. Все они друг у друга оспаривали. И стал я замечать, что постепенно в ее голосе звенящем такая больная и надтреснутая нотка зазвучала.

С час, если не больше, этот спор длился. Наконец, Виктор Иванович прервал его:

— Хорошо, — говорит, — товарищи, вы говорите, что сейчас у вас это самое собрание комиссии. Так идемте же.

Будто Марья Сергеевна и не говорила ничего, будто ее и в комнате не было.

Встал Виктор Иванович, а за ним и спорщики эти советские, долго прощались, пересмеивались с кем-то о том, что вот пленника себе ведут Виктора Ивановича.

Марья Сергеевна молча смотрела на них. Потом и в переднюю вышла их проводить.

А после их ухода будто еще сильнее задымили сизые папиросы, и разговор пошел на непонятные темы о партийной тактике, о резолюции последнего съезда, о расколах, разногласиях, ответственностях, оборончестве, пораженчестве, поддержке власти и т. д.

Забегая вперед, скажу, что мне пришлось присутствовать в этот вечер при начале бурной и громкой карьеры Виктора Ивановича. До сих пор он как-то сознательно в тени был, будто связи прочной не мог установить с источником революционной силы и энергии. А тут на него как налетело что. Этой ночью он стал в совете всем, он воплотил в себе весь совет. Он и был именно тем, кого толпа революционная ждала в свои волеизъявители. И воистину, он вобрал в себя всю волю и всю мощь этой толпы, все ее чаяния оформил в себе и потом именем ее, а может быть и голосом ее, заявил: «Да будет». Толпою одержимым стал Виктор Иванович. А толпа эта стала лишь неисчерпаемым источником его силы. Сбылись слова Татьяны Александровны в полной точности.

Но это я коснулся того, что было в дальнейшем.

Тут же на наших глазах происходило мучительнейшее событие. Эта самая мэкающая и бэкающая толпа оказалась счастливой соперницей Марьи Сергеевны.

Признаюсь, что тогда у меня было мгновенное чувство злорадства. Получила, мол, не суйся, куда не спрашивают. А потом, подумав серьезно, я понял, что достойна Марья Сергеевна великой жалости. Она была, как поток многоводный. И вот хотелось ей завертеть своими водами могучими колеса и жернова, заставить стучать, двигаться и работать огромные машины, хотелось ей — сотворить и, — из своей силы пропустив ее через какое-то оформляющее и воплощающее начало, — сотворить нечто сущее, чтоб не оставаться вечно мутными, буйными и бесполезными волнами потока. И это ей не удавалось. А таким образом выходило, что вообще ей и вся жизнь не удалась окончательно.

В тот же памятный вечер, почувствовав решительное поражение, она собралась как-то вся в комок один и замолкла.

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что замолкла она надолго.

В тот приезд у Кати я прогостил довольно долго. Алексей Алексеевич еще застал меня, вернувшись из своего путешествия.

Наконец, получили мы письмо от отца, где он просил меня поспешить возвращением.

8

Сжав зубы и напрягая всю свою волю к выдержке, приступаю к этой самой страшной части моих жизнеописаний. Хоть и прошло значительное время после этих событий, однако вспоминать о них до сих пор нету у меня сил.

Итак, осень прошла у нас в Медовом очень глухо и спокойно. Только слухи о великих новшествах и переворотах в центре тревожили нас, а в глубинах российской глуши слухи эти продолжали оставаться слухами.

Единственное, что можно было считать признаком сильно устрашающим, — это быстрое уклонение главы нашей городской Медынской власти Ивана Андреевича Митяйко, — в сторону неявного сочувствия новым переворотам.

После Рождества я получил от Кати опять приглашение приехать к ней погостить, писала она, что время в городе очень тревожное, что со дня на день всяческих событий и выступлений ждут, а потому Алексей Алексеевич занят выше всякого предела организацией защиты, и она его почти не видит.

Я поехал. Одну станцию до города не доезжая, поезд наш товарный остановился; дальнейшее движение было отменено. Пришлось пробираться пешим способом и в самый город удалось мне попасть только глубокой ночью. Несмотря на полную темноту в окнах и потушенность уличных фонарей, — было довольно светло, потому что с севера полыхал отсвет какого-то большого пожара и освещал низкие облака, несущиеся очень быстро.

Дул сильный ветер. Срывались капли дождя. На улицах прохожие не встречались. Только вдали где-то раздавалась ружейная стрельба и отчетливое стрекотание пулемета.

Я пересек весь город, прежде чем пробрался к Катиной квартире. На мои длительные звонки никто мне не ответил. Я сел на лестнице у подъезда и задремал от усталости.

Когда я очнулся, начинало светать. Холод совершенно оковал меня. Воздух был еще меловым, розоватые облака реяли на востоке.

А передо мной, завернутая в какие-то серые платки, в огромных валенках, стояла Татьяна Александровна.

Я ей как родной обрадовался. Она обещала проводить меня к Кате, — та, мол, в каком-то комитете, — в комитете по обороне, — там все отсиживаются.

По дороге мы говорили мало. Видно, что Татьяне Александровне было так же холодно, как и мне. А кроме того, ей уж все было настолько ясно, что говорить, наверное, от этого не хотела.

Какими-то переулочками и кружащим путем мы пробирались долго. Мне все казалось, что главное стремление Татьяны Александровны, — это на выстрелы идти. Так оно, наверное, и было, потому что шли мы в центр обороны.

Потом пришлось в заборную дырку в один огромный сад пролезть, из него уже через забор, в другой сад, а тут в нем и дом этот самый, обороны, — оказалось юнкерское училище.

Мы шли по каким-то пустым сводчатым коридорам, подымались по лестницам; Татьяна Александровна шепотом переговаривалась со встречными: двумя юнкерами, очень спешащими куда-то с винтовками, с господином в золотых очках с козьей бородкой, потом еще с кем-то.

Пройдя множество коридоров и лестниц, мы оказались в темном проходе, битком набитом людьми. Вроде это приемной было. Все толпились у двери, у которой стоял навытяжку юнкер, выпуская из нее просителей и отрывисто выкрикивая:

— Следующий.

У другой двери Татьяна Александровна велела мне подождать, а сама исчезла.

Через пять минут она вернулась, бледная и взволнованная, и сказала мне, что скоро всему конец, что Алексей с Катей вышли во двор, а может быть, и на улицу, и что ей необходимо здесь остаться.

Я кинулся, как она мне указала, во двор. Тут юнкера, гимназисты, небольшая кучка штатских, — все с винтовками, строились и выходили в ворота. Я обогнал их бегом и кинулся на выстрелы по главной улице налево.

Вскоре на углу двух улиц я увидел лежащего на снегу убитого юнкера; он смотрел прямо в небо. И мне стало непонятно, как же это сюда мою Катю пустили.

Потом я мало что помню. Помню, как молния врезалось в мозг: у стены какой-то очень высокой и белой, в большой круглой шляпе и непонятно аккуратно одетый идет Алексей Алексеич, — лицо у него не белое, а молочное какое-то, как лунатик идет, за стену своими большими руками цепляется.

Я кинулся к нему и схватил его за руку.

Он будто и пристально взглянул мне в глаза, своими острыми глазами-гвоздиками, но не узнал и сказал очень спокойным шепотом:

— Это хорошо, дорогой товарищ, исполним свой долг.

И так же по-кошачьи, цепляясь огромными руками за совершенно гладкую стену, стал пробираться дальше.

Тут я увидел за ним мою Катю. Лицо у нее было прозрачное и щеки ввалились; волосы давно не чесаны. Было на ней мужское пальто какое-то, и я сразу отчего-то заметил, что на пальто этом только две пуговицы, да и то одна висит на нитке, а другая только застежкой и служит, охватывая тесно огромный Катин живот. А живот такой огромный, что юбка Катина сзади хвостом по снегу бьется, а спереди животом высоко приподнята.

И идет моя Катя, будто ничего в этом удивительного нет, будто вот именно так она и должна вдоль белой стены, среди смерти, беременная, за своим мужем брести.

Все это в одно мгновение через душу мою искрою пылающей прошло. Я кинулся к ней, стал целовать ее руки и плакать.

Она ласково гладила меня по голове. Потом, поначалу, взяла под руку, и я почувствовал, что, опираясь на меня, ей гораздо легче идти.

Но через минуту она как бы опомнилась и строго велела мне возвращаться назад.

Тут из-за угла начал отступать небольшой отряд гимназистов, и совсем близко застрекотал пулемет.

Около нас упал мальчик один, — совсем мальчик. Я нагнулся к нему. Тут кто-то стал бежать: меня толкнули. Закружилось все как-то. Не знаю я, по правде сказать, что в это время происходило.

Только когда удалось мне подняться со снега и пробиться среди бегущих навстречу мальчишек, увидел я на другой стороне улицы, вдоль серого дощатого забора, вкрадчиво, по-кошачьи перебирающего большими руками и медленно передвигающегося Алексея Алексеича, а за ним прямую, тяжелую Катю. В чужом пальто, в юбке спереди вздернутой.

Я хотел кинуться к ним.

Но тут на меня налетел верховой какой-то и закричал:

— Назад, назад!

Я хотел обежать его с другой стороны.

Опять где-то совсем надо мною раздалась стрельба. На меня надвинулась конская морда, потом я споткнулся о бревно какое-то и упал, стукнувшись со всего размаху о тротуарную тумбу.

Лежал я недолго. Минуты три, наверное.

А когда поднялся, никого живого вокруг не было. Солнце до боли блестело на снегу. Рядом со мной валялась

чья-то шапка, а немного подальше, у самых домов, подряд три мертвых человека, будто аккуратно уселись.

Я перешел через улицу, к серому дощатому забору.

Издали увидел, что там, поддержанные снежным сугробом, лежат двое.

Это были Алексей Алексеевич и Катя.

Я нагнулся над ними. Раны Алексея Алексеевича не было видно. Он широко разбросал свои большие руки по снегу и смотрел мертвыми глазами очень пронзительно и сосредоточенно.

А сестра моя закрыла лицо руками, и между пальцев застыли струйки крови. И снег под нею налился розовым, от пропитавшей его крови.

Я нагнулся над нею и отвел руки от лица. Глаза закрыты. Лицо такое же прозрачное, как три часа тому назад.

Потом этот ушиб об тумбу дал себя знать. Я перестал помнить все, что видел в ту минуту вокруг.

И только через некоторое время услышал, будто издалека, издалека, настойчивый шепот, вдруг перешедший в крик:

— Коля, Коля, Коля, Коля.

Я открыл глаза. Это Татьяна Александровна кричала над самым моим ухом и тянула меня за руку.

Я пошел за ней.

Опять какие-то переулочки, потом мост большой и яркое солнце на оснеженной реке, потом извозчичий двор пустой, с сильным навозным духом, потом еще подворотня и, наконец, комната какая-то.

Как из тумана выплыло откуда-то измученное лицо Федора. Он молча положил мне руки на плечи, потом неожиданно громко всхлипнул и отошел. Потом я разглядел у окошка почерневшую какую-то Марью Сергеевну. Она была совершенно неподвижна.

Потом какой-то юркий и маленький человечек раздавал всем по большому куску вонючей колбасы без хлеба. Потом

замелькали и засуетились вокруг какие-то люди; офицер один, полковник, наверное, все поправлял на носу пенсне и щурился близорукими глазами.

А в углу, со стариком мужиковатым таким, разговаривал повышенно громко и бодро Виктор Иванович. Я заметил, как изредка прыгает у него правая бровь, и это прыганье молнией такой по лицу и до уголка губы доходит.

Я сидел на пуховой кровати какой-то и смотрел. Мне дали чаю, горячего очень, в стакане без блюдечка, — я никак не мог приспособиться держать его, пальцы жег, — а потому торопился выпить, чтобы освободиться.

Под вечер Федя сказал мне, что я должен ехать с Татьяной Александровной в Медовое. Тогда я не понял, что это он так сказал, чтобы меня хоть чем-нибудь утешить, будто я должен ехать спасать ее в Медовом. А на самом деле просто она по доброте своей решила доставить меня к отцу, помочь нам с ним пережить эти страшные дни.

Сначала переулочками опять до проходного двора, потом через него на большую улицу, а там неожиданно нас грузовой автомобиль поджидал. На нем доехали за две станции от города и только там сели на товарный какой-то поезд.

9

Дома с большим трудом и напряжением воли мы с Татьяной Александровной все рассказали отцу. Он во время рассказа бороду свою неистово теребил и о каждой подробности переспрашивал несколько раз.

А потом ушел в свою комнату и заперся.

Я тоже не знал, где себе место найти. Ясно чувствовал, что теперь все уж кончилось. И странно в моих мыслях тогдашних, чрезмерно затуманенных горем, как-то начали сливаться два образа воедино: образ убитой моей сестры, такой исхудавшей и отяжелевшей, несшей ребенка, — и образ родины моей, тоже, мне казалось, — замученной, поруганной, убитой.

И так все это переплеталось, что, наверное, не удалось бы моему слабому разуму из этих теней выбраться, если бы на помощь не пришли внешние события.

Я уже раньше упоминал, что во главе нашей Медынской власти стоял Иван Андреевич Митяйко. А также говорил, что как отзвук на центральные события, начал и он свою политическую платформу менять и уклонился к перевороту.

Когда же вокруг повсеместно большевики заняли командные высоты и даже самая упорная организация нашего районного совета, возглавляемого Виктором Ивановичем и прославившегося в те дни своей стойкостью, <нрзб.> — когда, я говорю, даже этот районный совет попал в руки к восставшим и признал центральную большевистскую власть, Иван Андреевич по всему городу расклеил приказ № 23, в коем объявил, что он до времени только таился, а ныне доводит до всеобщего сведения о своей принадлежности к левым партиям и призывает всех граждан разделить с ним его политические убеждения, потому что в противном случае с ними будет поступлено по всей строгости закона, на каковой предмет в доме Мелкого кредита по Московской улице уже учреждена комиссия — по борьбе со спекуляцией и прочими преступлениями.

Я лично Митяйкиной подлости нимало не удивился.

Но признаюсь, что, приняв это все как должное, дальнейшим был и я немало поражен.

Митяйко знал чуть ни с первых дней о моем совместном с Татьяной Александровной возвращении в Медовое. Знал, по всей вероятности, и о причинах Катиной смерти. Таким образом, ему ничего не стоило, основываясь на новых своих политических устремлениях, отнести все Медовое в лагерь лиц, подлежащих рассмотрению комиссии.

Так оно и случилось. В полночь однажды он заявился к нам на какой-то подводе, окруженный десятком всадников, — и не понятно, откуда он их в Медыни выкопал.

Произвел он обыск, все каких-то зарытых пулеметов искал, — а потом объявил Татьяне Александровне, что она арестована, и увез ее в свою комиссию на подводе.

Мы с отцом поначалу совершенно растерялись. До утра ничего не могли придумать.

А утром решили, что нам самим надо пытаться на выручку идти.

В Мелком кредите еле пропуска добились к председателю комитета — тому же Митяйке. Народ во дворе толпился. Солдат с винтовкой в виде караула на сенокосилке сидел, а просители стояли около молотилок красных двух.

Принял нас Митяйко в бухгалтерской комнате. На стенах все те же плакаты висят о сельскохозяйственных орудиях Маккормика и кооперативные объявления: «Время — деньги» или что-то в этом роде.

Отец начал, волнуясь, к нему речь держать. Он слушал мало и все пальцами по столу барабанил.

Я говорить совсем не мог от волнующей меня злости.

А Митяйко покачивался на своих длинных ногах, засунув растопыренные руки в карманы, и открыто глумился над Семеном Алексеевичем.

Так мы от него ничего и не добились.

Отец совсем сразу ослабел как-то и на следующие дни на свидания с Татьяной Александровной мне пришлось ходить одному.

Сидела она в нашей медынской каталажке, в общей камере с какой-то воровкой. Камера была с выбитыми стеклами, нары без соломы, стены изрисованы возмутительными рисунками. Носы у всех арестованных были темные, потому что кто-то разбил стекло от единственной лампы, и теперь она по ночам без стекла горела и коптила так, что все просыпались с черными копотными зубками около носа.

Допрашивал Митяйко своих арестованных, наведя на них пулемет.

Когда я на свидание пришел, в соседней камере били кого-то. Слышно было: ж-ж-ж, потом стон: а-а-а! потом опять: ж-ж-ж, и опять: а-а-а.

А веселая девчонка встретила меня при этом не только спокойно, но и бодро.

Даже более того, увидав мой смятенный вид, она стала утешать меня и рассказывать о всяких невероятных случаях.

Говорила, как Прокофьев, железнодорожник, на допросе заявил, что он ориентируется на африканский пролетариат, как Пелагея Михайловна на допросе заявила, что считает себя пострадавшей за народ, и еще многое другое.

От нее я отправился к Ксении Степановне и стал просить ее заступничества. Она только рукой на меня махнула:

— Да что вы, голубчик, не понимаете? Что ли? Вспомните-ка, как Иван Андреевич меня в свое время умыкал. Теперь дело тем же пахнет. А я тут ни при чем, — и заплакала даже.

От этой мысли дурацкой об умыкании меня просто в жар бросило. Конечно, Татьяна Александровна не даст себя к стенке припереть, и от нее добровольного согласия Митяйко не добьется.

Ну, а если силком?

А главное, что при такой постановке дела ясно, что никакими просьбами и уговорами ничего не поможешь.

Но тут на наше счастье Митяйку вызвали на неделю в центр. На свой риск я собрал все деньги, которые в ту минуту в доме имелись, — двести шестнадцать рублей, — как сейчас помню, — и пошел к Митяйкиному заместителю Демиденкову, — бывшему сидельцу казначейства, деньги любящему. И за эти двести шестнадцать рублей удалось мне уговорить его отпустить вроде как на поруки Татьяну Александровну. А как только она вышла, мы сразу, конечно, переправили ее в другой город.

За все за это пришлось пострадать несколько и мне, потому что, по возвращении своем, Митяйко пришел в настоящую ярость и приказал арестовать меня.

Не буду описывать всех глумлений, каким я в каталажке подвергался.

Одно скажу: всего обиднее для меня было то, что в конце моего двухмесячного сидения в Медовое заезжал Федор с Марьей Сергеевной.

Они нелегально пробирались на восток, и Федя захотел перед окончательным отъездом с отцом и со мной попрощаться.

Потом отец мне рассказывал, что Марья Сергеевна будто заморозилась вся. Говорит мало, сидит по привычке своей навытяжку. Куда-то мечтательно в даль далекую большими глазами смотрит; впрочем, седая прядь на голове в два раза шире стала.

А Федя еще больше обленился как-то. Если же присмотреться повнимательнее, то будто получается впечатление, что и он не менее мечтательно и не менее далеко старается заглянуть.

Ну, да это уже наша с отцом философия обыкновенная.

10

Чтобы закончить мне эти жизнеописания, остается сказать немногое.

Виктор Иванович больше в Медовом, конечно, не появлялся. По обрывочным и ругательным сведениям наших новых местных газет, можно думать, что ему удалось выбраться из России, где он именно, — я не знаю, — точно так же не знаю, насколько можно верить всем сведениям о его измене первоначальным убеждениям.

Между прочим, об этом писали и по отношению к Федору. А так как я все же его знаю хорошо и совершенно ничего подобного допустить не могу, то думаю, что и относительно Виктора Ивановича все враки.

Верно только то, что и он, и Федя, и, наверное, Марья Сергеевна — за границей. Что они там делают, не знаю, потому что не имею никаких связей ни с кем из их товарищей.

Одно время я думал, что и Татьяна Александровна с ними. Но не так давно пришлось мне встретить ее имя в газетах по поводу усмирения какого-то бунта ссыльных. Ее-то главным образом и пришлось усмирять, потому что она всего этого движения душой была.

Митяйку однажды, когда наш город на шесть часов попал в руки к зеленым, — убили. Жена его куда-то уехала. Но это не важно, потому что на его месте сейчас точно такой же человек сидит. Впрочем, это я уж от злобы.

Дабы закончить мои жизнеописания достойно памяти тех лиц, кого я любил, — а особенно достойно памяти сестры моей Екатерины Семеновны Столбцовой, — последние страницы посвящу я Семену Алексеевичу.

Перенеся много невзгод, после отобрания и сожжения Медового, живя со мною вдвоем в тесной комнате у Пелагеи Михайловны и жалуясь на сильное потемнение зрения, он по внутренним своим душевным силам оставался все прежним человеком.

И вот однажды, очень рано утром разбудил он меня. Вижу, он уж одет как для выхода дальнего. И говорит мне:

— Вот тебе, Коля, письмо. В нем все написано... А я сам в одиночестве побродить по России решил. Иначе невмоготу... А ты не вставай. Я, было, тебя и будить не хотел, думал секретно уйти, а потом слабость одолела, — попрощаться с родным человечком захотелось.

Он нагнулся и поцеловал меня в лоб. А потом, уже не поворачивая ко мне лицо, быстро вышел.

Я глаза даже протер, — таким мне это все неожиданным показалось — не приснилось ли, — однако письмо на одеяле лежит.

Догонять отца я не стал, конечно, — его воля. А тут же, не одеваясь, разорвал конверт и стал читать письмо.

Привожу его дословно и на том заканчиваю повествование, ибо что могу я прибавить к отцовской мудрости, и какой памятник более полной любви могу я воздвигнуть душам наших близких, ушедших от нас.

Вот оно:

«Милый, лет двадцать тому назад плыл я по Черному морю на большом пароходе. На рассвете подошли мы к порту, где мне спускаться надо было. Пароход встал верстах в полуторах от берега.

Спустился я по трапу, сел в фелюгу, гребцы вскинули весла, поплыли мы. А из-за парохода, ото всех сторон туман белой стеной клубящийся и извилистый — на нас несся, будто густой пар от черной морской воды подымался.

И тут почувствовал я, что отделена моя жизнь от бездны морской тонкой досточкой фелюги этой... Ни в чем, — ни в тумане, ни в воде черной у меня опоры нет, только в этой досточке тончайшей. И тогда мне взвыть захотелось.

Но взял я себя в руки и подумал уже философски: можно такое соответствие провести между фелюгой и жизнью и между морем и смертью: кто верит, тот чувствует себя пассажиром, умеющим плавать, кто не верит в загробную жизнь, тот ощущает себя подобным ключу, опущенному в воду. А в общем и верующий, и неверный, и умеющий плавать, и не умеющий, — все это одна относительность, — вопрос лишь в том, сию минуту погибать или через несколько часов. Ибо и вера, и неверие человеческое слишком неразумно и ничтожно перед вечностью и не в силах этой вечности охватить.

Милый, пишу об этом, дабы мог ты легко мысль мою продолжить. Жизненный опыт подтверждает истинность предположения, что во всех, самых плотских, солнцем насыщенных делах наших, тонкой дощечкой отделены мы от вечности или небытия, — это как хочешь назови. Если ты веришь в бессмертие и говоришь "вечность", то по отсутствию подлинного содержания в этом понятии оно очень близко к понятию "небытия", о котором говорит тот, кто не верит.

Что такое жизнь, мой милый? Жизнь включает в себя два крута понятий. Один крут: это жестокость всегда стерегущего нас небытия, это жизненный жернов, дробящий кости, это смерть Кати и ее нерожденного младенца, это голодные дети на русских просторах сейчас, это убивающий и потом и сам убитый Митяйко. Понимаешь, о чем я говорю. Большая часть жизни отрицает справедливость,

глумится над радостью, уничтожает всякий смысл наших путей и наших достижений. Жизнь, зло, злость, обман, разуверение, глумление, обида, насмешка, отчаяние. Вот она, — большая часть жизни.

А наряду с этим есть минуты в жизни, которыми мы стремимся все оправдать. Иногда это с детства запомнившийся луч солнца, положивший квадраты оконных рам перед нашими ногами на пол. Иногда это час такой ночных размышлений, когда вдруг душа расширится и порвет все путы свои. Иногда это жалость к больному ребенку, который вдруг улыбнулся сквозь жар и беспамятство.

Или вот вспоминается мне такой миг: утро смерти моего отца, в далеком городе, летом, южным летом, на рассвете. Небо, алое от зари, на нем четко листья акации своими кругляшками удлиненными, на палочках чернеют. И воробьи проснулись, чирикать бодро и громко начали.

Вот и сейчас, через пятьдесят лет вспомнил, — и чувствую, — утвердили тогда эти воробьи жизнь над смертью.

Из-за этих, ничтожных и быстро преходящих минут, оплакиваем мы наших мертвецов. Не все ли равно, ждет ли их это непонятное нам бессмертие или идут они просто в ничто, — важно для нас, что они никогда, никогда, никогда не увидят солнца и не услышат чирикающего воробья.

И вот когда поймешь это, когда почувствуешь всю подлинную хрупкость нашей жизни, — до такой степени хрупка она, что если бы меня сейчас должны были бы казнить, я ощущал бы жизнь палача немногим прочнее своей жизни, — вот когда поймешь это, когда дашь волю этой последней нашей человеческой мудрости, перестанешь ее держать в клетке какой-то на дне души, на запоре, — тогда и настоящую, безудержную, все изгрызающую жалость почувствуешь, и не будет душе твоей никакого покоя.

Все всем раз навсегда простишь, потому что все ничтожно.

Всему раз навсегда перестанешь радоваться, потому что все ничтожно.

Ни на что не станешь надеяться, потому что все ничтожно.

И будешь только смотреть перед собою на свою дорогу и бояться еще одного лишнего муравья задавить, потому что уж слишком их много, этих задавленных муравьев, и некому отвечать за них.

Или, смотря перед собою на свою дорогу, будешь ждать, когда придет твой час, и тебя самого, как муравья, всею тяжестью своею задавит.

Смех же, радость, веселье и надежда, — это только игра молодой крови, это бывает тогда, когда человек еще подобен слепому щенку и не видит ничего.

И радость эту, и надежду так же я жалею, как горе.

Милый, мне хочется, чтобы, прочтя эти строки, ты понял главное: надо открыть свою душу всем дорогам, всем ветрам, — пусть бредет в нее беспрепятственно, как домой, каждый бродяга полевой, пусть будет она призрачным прибежищем каждому ищущему, где преклонить голову. Пусть постигнешь ты всю эту мою старческую мудрость и скорбь, чтобы могла душа твоя хоть чем-нибудь, хоть самою собою всемирный холод утешить.

Надолго прощай теперь.

Твой отец Семен Иконников».

К этому письму добавлять у меня нечего.

Письма и записные книжки

Письма

К А. А. Блоку

1
24 апреля 1912 г., Бад-Наугейм

[24.IV.1912. Бад-Наугейм]
Russland. Petersburg.
Россия. Петербург
М. Монетная, 9, кв. 27
Александру Александровичу Блоку.

Привет из Наугейма.

Елиз. Кузьмина-Караваева

2
<Конец апреля — начало мая 1912 г., Бад-Наугейм>

[Конец апреля – начало мая 1912.
Бад-Наугейм]

Мне хочется написать Вам, что в Наугейме сейчас на каштанах цветы к<а>к свечи зажглись, что около градинеру воздух морем пахнет, что тишина здесь ни о жизни, ни о смерти не знает: даже больные в креслах забыли обо всем. Я сидела целый час на башне во Фридберге. Меня там запер садовник, чтобы я могла много рисовать. Мне кажется, что много в Ваших стихах *я люблю* еще больше, чем раньше *любила*; думала об этом и смотрела с Иоганнисберга на город: на старое кладбище и буро-красные крыши около него, на парк и серые крыши *вилл*. Знаете *ли* Вы здесь потерянную среди полей и яблонь Hollur's Kapelly? Я ее

нашла и обрадовалась. Кажется, что тишина, как облако неподвижное, и в мыслях моих неподвижными крыльями облако распласталось. И не верю, что этому конец будет. И усталость, которая была и которая есть, только радует, как радует туман иногда. Я думаю, что полюбила здесь, может быть, не то, что Вы нашли и полюбили, но во всяком случае рада, что полюбила и что могу Вам это написать.

Если смогу, то хотела бы Вас порадовать, написав о том, что Вы здесь знаете; как оно живет и старится. Если смогу ответить, то спросите. На озере лебеди плавают, а на маленьком острове на яйцах белая птица сидит и при мне лебедят выведет. Мое окно выходит на Иоганнисберг, и по ночам там белые фонари горят, а внизу каштаны свечами мерцают. Я не верю, что в Петербурге нет каштанов, и красных крыш, и душного, сырого воздуха, и серых дорожек, и белых, с черными ветками, яблонь. Тишина звенит; и покой, как колокол вечерний. Во Фридберге, — знаю, — был кто-то печальный и тихий, и взбирался на башню, где всегда ветренно и где полосы озимей внизу дугами сплетаются.

Очень, очень хочу порадовать Вас, прислать Вам привет от того, что Вы любили. Не знаю, увижу ли это, за тем, что уже увидала и полюбила. Если захотите спросить и поверите, что смогу дать ответ, напишите.

Мой адрес: Bad Nauheim. Britaniestrasse. Villa Fontana.

Привет.

Елиз. Кузьмина-Караваева

3
<27 ноября 1913 г., Москва>

[27.XI.1913. Москва]

Я не знаю, как это случилось, что я пишу Вам. Все эти дни я думала о Вас и сегодня решила, что написать Вам

необходимо. А отчего и для кого, — не знаю. Мучает меня, что не найду я настоящих слов, но верю, что Вы *должны* понять.

Сначала вот что: когда я была у Вас еще девочкой, я поняла, что это навсегда, а потом жизнь пошла как спираль, и снова, и снова, — выше, — но на том же самом месте бывала я. О себе не хочу писать, потому что *не для себя* пишу. Буду только собой объяснять. Кончался круг, и снова как-то странно возвращалась я к Вам. Ведь я в первый раз и не знала, зачем реально иду к Вам, и несла стихи как предлог, потому что боялась всего, что не может быть определено сознаньем. Близким и недостижимым Вы мне тогда стали. Только теперь я имею силы верить, что это Вам нужно. Пусть не я, но это неизбежно. В каждый круг вступая, думала о Вас и чувствовала, что моя тяжесть Вам нужна, и это была самая большая радость. А тяжести я ищу.

С мужем я разошлась, и было еще много тяжести после этого. Иногда любовь к другим, большая, настоящая любовь, заграждала[12] Вас, но все кончалось всегда, и всегда как-то не по-человечески, глупо кончалось, потому что — вот Вы есть. Когда я была в Наугейме — это был самый большой перелом, самая большая борьба, и из нее я вышла с Вашим именем. Потом был год совершенного одиночества, дома, в глуши, на берегу Черного моря. (Вот не хочется описывать всего, потому что знаю, что и так Вам все ясно будет.) И были Вы, Вы. Потом к земле как-то приблизилась; — и снова человека полюбила, и полюбила, полюбила по-настоящему, — а полюбила, потому что знала, что Вы есть. И теперь, месяц тому назад у меня дочь родилась, — я ее назвала Гайана, — земная, и я радуюсь ей, потому что — никому неведомо, — это Вам нужно. Я с ней вдвоем сейчас в Москве, а потом буду с ее отцом опять, и что дальше будет, — не знаю, но чувствую — и не могу объяснить, что это

[12] Было: *заменяла.*

путь какой-то, предназначенный мне, неизбежный; и для Вас все это нужно. Забыть о Вас я не могу, потому что слишком хорошо чувствую, что я только точка приложения силы, для Вас вошедшей в круг жизни. А я сама, — ни при чем тут.

Теперь о другом: *не надо чуда*, потому что тогда конец миру придет. Христос искупил мир, дав нам всем крестную муку, которую только чудо уничтожит, и тогда мы будем мертвые. И целить людей нельзя. Недавно слышала о Штейнере и испугалась, вспомнив Вас; потом стыдно своего страха стало, потому что верю, верю и верю, что это не нужно Вам. И верю, что Вы *должны* принять мое знание и тогда будет все иначе, потому что Вы больше человека, и больше поэта; — Вы несете не свою, человеческую тяжесть; и потому что чувствую я, всегда и везде чувствую, что избранная, может быть, случайно — я, — чтобы Вы узнали и поверили искупленью мукой и последней, тоже нечеловеческой любовью.

Боюсь я, что письмо до Вас не дойдет, потому что адреса я Вашего не знаю; — вот уже 2 года, как узнать его мне не от кого; но почему-то кажется мне, что я верный адрес пишу. Слишком было бы нелепо и глупо, если бы письмо пропало. Хотя, может быть, время еще не пришло: — и не исполнилась мера радости и страданий. Ведь Вы все это знаете? Всякие пояснения были бы слабой верой.

Если же Вы *не хотите* понять этого, то у меня к Вам просьба: напишите хоть только, что письмо дошло. Я буду знать, что не от случая все осталось без перемены, а от того, что мало муки моей, которая была; что надо еще многие круги спирали пройти, может быть, до старости, до смерти даже. Во всяком случае я почувствую, где бы я ни была, что Вам все это нужно стало. Хорошо, что, — самый близкий, — Вы вечно далеко, — и так всегда.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Если бы я, я человеческая осмелилась, я бы издала 2-ую книжку, чтобы взять к ней эпиграфом: «Каждый душу разбил пополам и поставил двойные законы».

Е. К.-К.

Москва. Собачья площадка, Дурновский пер., д. 4, кв. 13.

Пошлю письмо и буду каждый час считать, ожидая Вашего ответа, что Вы его получили.

4
19 января 1914 г., Москва

19.I.1914

Москва. Собачья площадка.
Дурновский пер., д. 4, кв. 13

Месяц тому назад я решила издать вторую книгу стихов; тогда мне уже приходила в голову мысль попросить Вас просмотреть книгу до того, как я отдам ее в печать. Но по очень запутанным соображениям я решила, что этого делать не надо: дело в том, что я не знаю, *как* отдам Вам ее на просмотр: с тем, чтобы потом напечатать ее, приняв во внимание Ваши указания, или чтобы только узнать[13] Ваше мнение и уже не печатать книги. Все это у меня очень запутанно в письме выходит, но яснее я не умею сказать.

Теперь я виделась на днях с Толстым, который знает, что в своих стихах я не умею разбираться, и он мне сказал, что видел Вас, что он Вам говорил о моей новой книге, и Вы ничего не имеете против, если я Вам ее пошлю в рукописи.

В книгу эту, как я ее Вам посылаю, вошла четвертая часть написанного за это время.

Если Вы мне скажете, что ее издавать можно, то мне хотелось бы это сделать до конца марта, потому что потом

[13] Было: *получить*.

мне придется уехать, и я думаю, что не вернусь в большой город несколько лет.

Есть два пути: один, — он ясно выражен в отделе «*Вестников*»[14], а другой, — более долгий и трудный, но приводящий к целям первого, — определяет тот порядок, в котором распределены отделы книги. Чтобы видеть, верить, ну — главным образом, — мочь, — надо отречься от непосредственного постижения; так кажется мне. Если человек может, но не делает, — он дважды может. И обратно. А потому я хочу на долгое время уйти от самой себя, от того пути, который мне близок. Надо еще научиться ненавидеть, надо мне научиться не только не бояться греха, но и преодолеть его, совершив. Не умею я Вам это точно сказать, но, может быть, по стихам моим это будет яснее.

Сегодня же посылаю Вам мою книгу и буду ждать Вашего ответа; если же Вас это почему-либо затруднит или просто по прочтении не захочется высказываться, то пришлите рукопись обратно без всяких пояснений.

Я много думаю о Вас[15].

Елиз. Кузьмина-Караваева

5
15 февраля 1914 г., <Москва>

15.II.1914. [Москва]

Уже давно хотела написать Вам, чтобы поблагодарить за просмотр стихов; но все это время моя дочь была при смерти больна.

Прежде чем писать о чем-либо другом, хочу сказать Вам, что мои письма к Вам, — вот уже третье, — каждый

---

[14] Слово «Вестников» подчеркнуто Блоком, сверху поставлен вопросительный знак.

[15] Подчеркнуто Блоком.

раз неожиданны для меня; каждый раз я думаю, что пишу Вам последнее письмо или, вернее, последнее сейчас, потому что совершенно ясно знаю, что когда-нибудь, через долгий промежуток, будут новые письма к Вам.

Я читала Ваши заметки на полях рукописи; и за ясными и определенными словами, почти всегда техническими, я узнавала[16] то, что заставило меня написать Вам тогда, осенью, что заставит еще много раз, *почти*[17] всегда, думать о Вас.

Я знаю, что в моей жизни пути только намечаются, но даже и поэтому так ясно, что все двойственно. Вы писали мне: жар души и хлад ума; — есть в человеке еще и жар ума; не знаю, как это иначе выразить; но потому что он есть, я узнала, что не только свободно создаю свою жизнь, но и свободно вылепливаю душу свою, ту, которая будет в минуту смерти. И для ее жизни надо, чтобы было много *бездольности*, греха, падений.

И еще вот о чем хотела написать Вам: самое радостное состоянье, — *одиночество*[18]; но одиночество, когда нет никаких привязанностей, когда сознаешь его только в минуты спокойного рассужденья; и есть другое одиночество, неправильно так названное: с первой привязанностью к кому-нибудь мир как-то пустеет, и одиночество становится мучительным. Хорошо сознавать человека[19], любить, чувствовать его, не боясь потери, — чтобы потеря была невозможной. И поэтому, когда я мучаюсь тем, что кто-нибудь забыл или забыт мною, или когда радуюсь чувству, которое неизбежно завтра исчезнет, — мне хорошо думать, что нет в жизни ничего, что бы могло удалить или изменить для меня Вас. Вы знаете, я бы не могла и Гайану свою любить,

---

[16] Было: *искала.*

[17] Подчеркнуто Блоком.

[18] Подчеркнуто Блоком.

[19] Было*:* *без.*

если бы не знала, что Вы вечны для меня. И так же твердо знаю я, что это Вам необходимо: не сейчас, и *не мое* отношение; не мое, если понимать это как мое отношение к друзьям, к отцу моего ребенка и к остальным людям.

У меня сейчас опять, — всю эту зиму, — перепутье. Поэтому мне необходимо, исключительно для себя, издать книгу. Попытаюсь переработать ее соответственно Вашим указаниям и издам.

Вот и теперь я опять уверена, что это последнее на долгое время письмо к Вам. И ответа опять ждать не буду[20]. Весной уеду, буду жить чужой жизнью, говорить о революции, о терроре, об охоте, о воспитании детей, о моей любви к тому человеку, куда я уеду, — и думать о Вас. *И так будет долго, долго*[21].

Елиз. Кузьмина-Караваева

6
<Начало декабря 1914 г., Петроград>

[Начало декабря 1914. Петроград]

Я сегодня с самого утра засуетилась; может быть, поэтому мне кажется, что произошло что-то скверное. Дело было так: мои родные, от которых я звоню к Вам, знают, что есть такой номер телефона; шутки ради они хотели узнать, чей он. Все это, может быть, слишком[22] просто и глупо, чтобы огорчаться; но мне хочется объяснить Вам сейчас же.

А огорчилась я потому, что у меня слишком бережливое отношение к нашему; много нежности и поэтому застенчивости (даже не перед Вами, а перед собою скорее).

Мне и хорошо, — очень хорошо, — и тяжело. Как смешно быть одновременно уверенной и сомневаться в пустяках.

---

[20] Подчеркнуто Блоком.

[21] Подчеркнуто Блоком.

[22] Было: *очень*.

Я очень хочу Вас видеть, но это не значит, что это нужно, потому что теперь так выходит, что я буду хотеть Вас видеть и сегодня, и завтра, и уезжая от Вас, и не видя Вас несколько лет. Но это тоже хорошо, потому что является доказательством уверенности, что все идет, как необходимо, и все верно, — никакой лжи нет. *Вы с этим моим желаньем не считайтесь никак.*

В субботу позвоню.

Ваша Елиз. Кузьмина-Караваева

Милый Александр Александрович, ведь ничего скверного не произошло? Мне, наверное, так кажется по моей глупости?

7

21 декабря 1914 г., <Петроград>

21.XII.1914. [Петроград]

Дорогой Александр Александрович, мне надо Вам написать, потому что я опять чувствую право на это, и не только право, но и необходимость. Весь этот месяц шла борьба. Вожжи, о которых я Вам говорила в последний раз по телефону, были отпущены совсем. А у меня это всегда совпадает с чувством гибели — определенной, моей гибели, — потому что вне того пути, о котором Вы уже знаете, я начинаю как-то рассыпаться, теряюсь в днях, в событиях. Если Вы верите, что Вы тесно связаны в моих мыслях с тем путем, который все другое уничтожает, то Вы поймете, что все это было из-за Вас: я была сама виновата, конечно; я дала слишком много свободы тому человеческому, чего так страшилась. Мне так хотелось изменить все, и отречься, чтобы иметь возможность просто сказать: ничего не осталось, потому что есть у меня одна радость: знать, что я Вас люблю, что я видела Вас и, может быть, еще увижу, что я могу думать о Вас. Только этого я и хотела.

Я не боюсь сейчас, и не отрекаюсь от этого. Но я знаю, что это *только* не мешает, и *даже* не мешает, потому что главное неизмеримо больше: оно все должно покрыть. Это очень тяжело, почти нестерпимо тяжело, но совершенно неизбежно. И я могу поэтому спокойно говорить, что мне хорошо, зная, что Вы этому должны поверить. Пусть очень холодно и мертво подчас вокруг, — но это только путь. Видя срок и веря в цель пути, разве можно страшиться этой тяжести? Тут только один вопрос: надо стараться быть все время совершенно собранной. И все, сказанное многим (что Вам так чуждо показалось), — это только тяжелая работа, и потому что в мыслях своих я никак не могу сочетать Вас и их, а знаю, что это необходимо: не для Вас и не для меня, а для того, чтобы Ваше имя не загородило цель.

Когда я припоминала вечером слова, которые Вы мне говорили по телефону, я сообразила, что Вы мне сейчас не верите или не хотите верить. Сначала мне было от этого тяжело, и я решила, что сама виновата, дав волю своему человеческому; а потом я сообразила, что это нелепость какая-то, что Вы не можете не верить мне: ведь все это так реально, как то, что я живу сейчас, и так связано тесно с Вами, что если бы *Вы* не верили, просто пришлось бы как-то внутренне исчезнуть.

Время идет очень быстро, и многое узнается теперь как-то сразу. Узнала и я многое: главное в области практического поведенья. А так как мне[23] совершенно ясно, что все это тесно связано с Вами, то у меня есть к Вам дело, но о нем сейчас писать не буду, потому что для этого надо, чтобы Вы *перестали хотеть* мне не верить.

Елиз. Кузьмина-Караваева

[23] *Было*: у меня.

7а
12 апреля 1915 г., Петроград

12.IV.1915. Петроград

Александру Александровичу Блоку с приветом.

8
10 июля 1916 г., Дженет

10.VII.1916. Дженет

Сегодня прочла о мобилизации и решила, что Вам придется идти. Ведь в конце концов это хорошо, и я рада за Вас. Рада, потому что сейчас сильно чувствую, какую мощь дают корни в жизнь. У меня эти корни совсем иначе создались, но создались прочно. В них самое удивительное всегда то, что появляются они со стороны, — будто кто-то на рельсы поставил, и приходится только катиться. И только потом начинаешь понимать, что разливается моя сила везде, и я получаю силу отовсюду.

Когда я думаю о Вас, всегда чувствую, что придет время, когда мне надо будет очень точно сказать, чего я хочу. Еще весной Вам казалось, что у меня есть только какая-то неопределенная вера. Я все время проверяла себя, свои знания, и отношение к Вам, и — не додумалась, — а формулировала только. И хотела бы, чтобы это было Вам понятно. Если я люблю Ваши стихи, если я люблю Вас, если мне хочется Вас часто видеть, — то ведь это все не главное, не то, что заставляет меня верить в нашу связанность. И Вы знаете тоже, что это не связывает «навсегда». Есть другое, что почти не поддается определению, потому что обычно затеняется определимыми чувствами. Веря в мою торжественность, веря в мой покой, я связываю Вас с собою. Ничего не разрушая и не меняя обычной жизни, существует посвященность, которую в Вас я почувствовала в первый раз.

Я хочу, чтобы это было понятно Вам. Если я скажу о братовании или об ордене, то это будет только приближенным, и неточным даже. Вот церковность, — тоже неточно, потому что в церковности Вы, я — пассивны; это слишком все обнимающее понятие. Я Вам лучше так расскажу: есть в Малой Азии белый дом на холмах. Он раскинут, и живущие в нем редко встречаются в коридорах и во дворе. И там живет женщина, уже не молодая, и старый монах. Часто эта женщина уезжает и возвращается назад не одна: она привозит с собой указанных ей, чтобы они могли почувствовать тишину, видеть пустыню. В белом доме они получают *всю* силу *всех;* и потом возвращаются к старой жизни, чтобы приобщить к своей силе и других людей. И все это больше любви, больше семьи, потому что связывает и не забывается никогда. Я знаю, что Вы будете в доме; я верю, что Вы этого захотите.

Милый Александр Александрович, вся моя нежность к Вам, все то большое и торжественное чувство, — все указание на какое-то родство, единство источника, дома белого. И теперь, когда Вам придется идти на войну, я как-то торжествую за Вас, и думаю все время очень напряженно и очень любовно; и хочу, чтобы Вы знали об этом: может быть, моя мысль о Вас будет Вам там нужна, — именно в будни войны.

Я бы хотела знать, где Вы будете, потому что легче и напряженнее думается, если знать, куда мысль свою направлять. Напишите мне сюда: Анапа. Ящик 17. Мне.

Мне кажется, что Вам сейчас опять безотрадно и пусто, но этого я в Вас не боюсь и принимаю так же любовно, как все. Итак, если Вам будет нужно, вспомните, что я всегда с Вами, и что мне ясно и покойно думать о Вас.

Господь Вас храни.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Мне бы хотелось сейчас Вас поцеловать очень спокойно и нежно.

9
20 июля 1916 г., Дженет

20. VII.1916. Дженет

Мой дорогой, любимый мой, после Вашего письма я не знаю, живу ли я отдельной жизнью, или все, что «я», это в Вас уходит. Все силы, которые есть в моем духе: воля, чувство, разум, все желания, все мысли, — все преображено воедино, и все к Вам направлено. Мне кажется, что я могла бы воскресить Вас, если бы Вы умерли, всю свою жизнь в Вас перелить легко. Любовь Лизы не ищет царств? Любовь Лизы их создает, и создаст реальные царства, даже если вся земля разделена на куски и нет на ней места новому царству. Я не знаю, кто Вы мне: сын ли мой, или жених, или все, что я вижу, и слышу, и ощущаю. Вы — это то, что исчерпывает меня, будто земля новая, невидимая, исчерпывающая нашу землю.

О Георгии и о Надежде Вы пишете. Если бы Бог помог Вам родиться скорее, и облегчил бы Вас. И я не знаю, кем надо мне стать сейчас и как смириться, чтобы это было принято (не Вами даже). И хочу, чтобы Вы знали: землю буду рыть за Вас, молиться буду о Вас, все, что необходимо для равновесия, — сделаю. И Вы должны, должны это принять, и помнить, что это есть, потому что, повторяю, это исчерпывает меня, это моя радость, это мне предназначено, велено.

И Вы не заблудитесь, потому что я все время слежу за Вашей дорогой, потому что по руслу моему дойду до Вашего русла. Только когда Вы говорите о скором конце искания, я вижу, какая мне дана сила (может быть, не власть). Вот верьте, что такая преобразившая все в одно, голая душа многое может. И если Вы только испугаетесь, если Вам станет нестерпимо, — напишите мне: все, что дано мне, Вам отдам.

Мне хочется благословить Вас, на руках унести, потому что я не знаю, какие пути даны моей любви, в какие формы облечь ее.

Я буду Вам писать часто: может быть, хоть изредка Вам это будет нужно.

Вот пишу, и кажется, что слова звучат только около. А если бы я сейчас увидала Вас, то разревелась бы, и стала бы Вам голову гладить, и Вы бы все поняли по-настоящему, и могли бы взять мое с радостью и без гордости, как предназначенное Вам.

Поймите, что я давно жду Вас, что я всегда готова, всегда, всегда, и минуты нет такой, чтобы я о Вас не думала.

Господь Вас храни, родной мой. Примите меня к себе, потому что это будет только исполнение того, что мы оба давно знаем.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Я чуть было не решила сейчас уехать из Дженета разыскивать Вас. И не решилась только потому, что не знаю, — надо ли Вам. Когда будет нужно, — напишите.

10
26 июля 1916 г., <Дженет>

26.VII.1916. [Дженет]

Вы уже, наверное, получили мой ответ на Ваше письмо. И пишу я Вам опять, потому что мне кажется, что теперь надо Вам писать так часто, как только возможно. Все эти дни мне как-то смутно; и не боюсь за Вас, а все же тоскливо, когда о Вас начинаю думать; может быть, просто чувствую, что Вам тяжело и нудно. И буду Вам писать о всех тех мыслях, которые у меня связаны с Вами.

Начинается скоро самая рабочая моя пора, — виноделие; а потом будет, как всегда, тишина; все разъедутся, и я одна буду скитаться по Дженету. И самое странное то, что эти осенние дни ежегодно совершенно одинаковы, — как бы ни прошло время, их разделяющее. Тогда проверяется

все; и очень трудно не забыть, что это не круги, а медленно восходящая спираль, что душа не возвращается к старому месту, а только поднимается над ним.

Если же помнить это, то вообще утверждается все пройденное и самое восхождение. А потом становится ясно, что только в рамке дней отдельных движение кажется медленным. И «скучно» только в днях, а за ними большой простор, и влекут нас быстро.

И насчет нашего пути знаю я, что мы теперь гораздо ближе стали, вот за самое последнее время; ближе и друг к другу, и к концу. Мне никогда ни к кому не стать так близко, к<a>к к Вам. Будто мы все время в одной комнате живем, — так мне кажется; и еще ближе, — будто меня по отдельности нет. И нелепо выходит, что Вы этого не знаете.

После Вашего письма писала я стихи. Если Вы можете их читать как часть письма, то прочтите; если же нет, — то просто пропустите. Они тогда выразили точно то, что я хотела Вам сказать:

Увидишь ты не на войне,
Не в бранном, пламенном восторге,
Как мчится в латах, на коне
Великомученик Георгий.
Ты будешь видеть смерти лик,
Сомкнешь пред долгой ночью вежды;
И только в полночь громкий крик
Тебя разбудит; зов надежды.
И белый всадник даст копье,
Покажет, как идти к дракону;
И лишь желание твое
Начнет заутра оборону.
Пусть длится напряженья ад, —
Рассвет томительный и скудный, —
Нет славного пути назад
Тому, кто зван для битвы чудной.
И знай, мой царственный, не я
Тебе кую венец и латы:

Ты в древних книгах бытия
Отмечен, вольный и крылатый.
Смотреть в туманы, — мой удел;
Вверяться тайнам бездорожья,
И под напором вражьих стрел
Твердить простое слово Божье,
И всадника ввести к тебе,
И повторить надежды зовы,
Чтоб был ты к утренней борьбе
И в полночь, — мудрый и готовый.

Все это ясно, и все это Вы теперь наверное уже знаете. А вот «дни» Ваши, тот предел, который надо одолеть, Ваша скука, оторванность, нерожденность, — это так мучительно издали чувствовать, и знать, что это только Ваше, что Вам надлежит одиноко преодолеть это, потому что иначе это не будет преодоленьем.

Только одного хочу: Вы должны вспомнить, когда это будет нужно, обо мне; прямо взаймы взять мою душу. Ведь я же все время, все время около Вас. Не знаю, как сказать это ясно; когда я носила мою дочь, я ее меньше чувствовала, чем Вас в моем духе. И опять не точно, потому что тут одно другим покрывается.

Елиз. Кузьмина-Караваева

11
27 августа 1916 г., Дженет

27. VIII.1916. Дженет

Я, наверное, останусь всю зиму в Анапе; только в октябре поеду одна в Кисловодск подправить сердце. И уже заранее знаю, как вся зима пройдет. В Петербург мне ехать теперь не надо. Буду скитаться и думать, думать. Все постараюсь распутать и выяснить. Только боюсь я, что изменить уже ничего нельзя, и не в своей я власти. Настало время мне

совсем открыто взглянуть на то, что будет, и не только знать, но и делать.

А Вы так далеко: как-то особенно это чувствуется, когда неизвестно, где именно Вы сейчас. Будто на другую планету пишу письма. Но все равно; ничего этим не меняется. Ведь сейчас будни. И так трудно говорить о том, что праздник будет, особенно говорить Вам: Вы ведь сами знаете о празднике, и у Вас будни.

Я суечусь, суечусь, устаю, — будто так должна проходить каждая жизнь. Но это все нарочно. И виноделие мое сейчас, где я занята с 6-ти утра до 1 ч. ночи, — все нарочно. И все это более призрачно, чем самый забытый сон. Вот и людей много, и командую что-то нелепое; а знаю твердо, что на всей земле только Вы и есть по-настоящему. И когда теряю нити настоящего, внутреннего знания, то становится непонятно, что будет дальше, как сможет все быть на фоне вот этой жизни. Только и в такие минуты помню, что все это неизменно, и что нет ничего такого в призрачном, что не было бы с Вами связано. Будто каждый шаг для Вас делается.

Хотела бы я много говорить сейчас о Вас, смотреть на Вас. Мой милый, мой любимый, как Вам сейчас? И скоро ли кончится этот дурной сон? Ведь все время чувствую я, что Вам какие-то бездны мерещатся. И если бы это были не Вы, я бы боялась и думала, что скоро конец. Когда я была этой зимой у Вас, мне одну минуту было очень жутко, потому что Вы будто призраками окружены, и по-человечески, может быть, даже по-женски, я думала в ту минуту, что от Вас мне отойти нельзя, что призраки от моей любви к Вам все уйдут. Но знаю, что это не так: Вы сами должны их разогнать, потому что иначе они уйдут, но вернутся и не будут обессилены. Значит, мне надо опять ждать. И как мучительно ждать, когда хочется помочь, и кажется, что помочь можно. А когда настанет время, Вы мне скажете.

Елиз. Кузьмина-Караваева

12
5 <сентября> 1916 г., Дженет

5. [IX.]1916. Дженет

Начинается моя любимая осенняя тишь, и все, бывшее в году, подсчитывается. И кажется мне, что я узнала, отчего возможно сочетание ясности и трудности, уверенности и тоски: в начале дней каждому дана непогрешимость, то, где нет «моей» воли, где я знаю: так надо, и выполняю чужую волю; это благодать, осеняющая человека, без его ведома. Но потом для того, чтобы эта непогрешимость воплотилась, чтобы она стала действенной в этой вот жизни, надо воле стремиться к личной святости. (Я, может быть, не те слова употребляю.) Тут только слабо помнится, что «так надо». А в жизни действует только человек, принявший благодать, и каждый час не знает, так ли надо. И от этого тоска и трудность; и чем больше первоначальная благодать и непогрешимость, тем труднее, потому что тем больше пропасть между нею и личной святостью. Особенно трудно сознанье, что каждый только в возможности вестник Божий, а для того, чтобы воплотить эту возможность, надо пройти через самый скудный и упорный труд. И кажется мне, что если это достигнуто, то наступает сочетание, дающее полную уверенность в вере и полную волю, тогда закон, данный Богом, сливается с законом человеческой жизни.

Когда я думала, что мне дано, и от меня кроме данного ничего не потребуется, было очень легко и ясно. А теперь к этой ясности примешивается действительная, человеческая жизнь, требующая моего личного решения каждую минуту.

Пишу это Вам, потому что знаю, что у Вас большая данная воля и власть, и знаю, что она не воплощена личной Вашей волей. И потому что знаю, как Вам томительно и трудно, и верю, что это только начало второго периода.

На зиму окончательно остаюсь в Анапе. Только в октябре поеду в Кисловодск сердце поправить немного. Здесь мне будет особенно хорошо думаться о Вас.

А Вы как, родной мой? Не могу себе представить Вашей жизни, и это меня отчего-то мучает.

Елиз. Кузьмина-Караваева

13
14 октября 1916 г., Анапа

14.X.1916. Анапа

Все эти дни, — такая тоска. И о Вас даже мало думаю, потому что не во время тоски мне о Вас думать. Вы для меня всегдашняя радость. Пусто на душе сейчас, и вокруг кажется куда ни посмотришь, — никого нет, никого. Шататься по Анапе уже ноги устали. Была сегодня на кладбище, где отец мой похоронен: и там не так, как всегда, не покой, а тоска деятельная; она покою не знает. Если сейчас совершается большое, то так далеко; только отзвуки доходят. А от этого еще тоскливее.

Вот не хотела я Вам никогда о грустном своем говорить, хотела подходить к Вам только, когда праздник у меня, внутренне принаряженная. А теперь пишу о тоске. Может быть, и не сказала бы, а написать хочется. Так же, как только кажется мне, что если бы Вы были сейчас здесь, я бы усадила Вас на свой диван, села бы рядом, и стала бы реветь попросту, и Ваши руки гладить. А окажись Вы сейчас здесь, — наверное, я начала бы убеждать Вас, что все очень хорошо, и только издали смотрела бы на Вас.

Все — ничто. И жизнь впустую идет; и эти жизненные ценности, — побрякушки какие-то. Знаю, знаю и помню все время, что они только прикрывают настоящее. Но если у меня есть земные глаза, то они хотят видеть то, что им доступно, и уши мои земные должны земное слушать. Так что зная о том, другом, хочу его знаки здесь на всем видеть.

Солнца много сейчас у нас. Но ни к чему это. Вот и брожу, брожу, будто запрягли меня и погоняют.

Милый Вы мой, такой желанный мой, ведь Вы даже, может быть, не станете читать всего этого. А я так хочу Вас, так изголодалась о Вас. Вот видеть, какой Вы, хочу; и голос Ваш слышать хочу, и смотреть, как Вы нелепо как-то улыбаетесь. Поняли? Даже я, пожалуй, рада, что Вы мне не говорите, чтобы я не писала: все кажется, что значит Вам хоть немного нужны мои письма. Все как-то перегорает, все само в себе меняется. И у меня к Вам многое изменилось: нет больше по отношению к Вам экзальтации какой-то, как раньше, а ровно все и крепко, и ненарушимо, — и проще, может быть, даже стало. Любимый, любимый Вы мой; крепче всякой случайности, и радости, и тоски крепче. И Вы самая моя большая радость, и тоскую я о Вас, и хочу Вас, все дни хочу.

Где Вы теперь? Какой Вы теперь?

Ваша Елиз. К.-К.

14
22 ноября 1916 г., <Анапа>

22.XI.1916. [Анапа]

Только что вернулась из Новороссийска и Ростова, куда ездила по делам и брата проводить. Мучает меня, что мои письма не доходят к Вам; хочу это даже послать по петербургскому адресу. Мудрено мне как-то. Вот наряду с тишиной идут какие-то нелепые дела: закладываю имение, покупаю мельницу, и кручусь, кручусь без конца. Всего нелепее, что вся эта чепуха называется словом «жить». А на самом деле жизнь идет совсем в другой плоскости, и не знает, и не нуждается во всей суете. В ней все тихо и торжественно. Как с каждым днем перестаешь жалеть. Уже ничего, ничего не жаль; даже не жаль того, что не

исполнилось, обмануло. Важен только попутный ветер; и его много.

Мне приходит мысль, что Вы еще в городе. Так ли это? Господи, в конце концов, все равно ведь. И для Вас более безразлично, чем для других, потому что Вам все предопределено.

Не могу Вам сейчас писать (хотя хочу очень), потому что ничего не выговаривается.

Е. К.-К.

15

4 мая 1917 г., <Петроград>

4.V.1917. [Петроград]

Дорогой Александр Александрович, теперь я скоро уезжаю, и мне хотелось бы Вам перед отъездом сказать вот что: я знаю, что Вам скверно сейчас; но если бы Вам даже казалось, что это гибель, а передо мной был бы открыт любой другой самый широкий путь, — всякий, всякий, — я бы все же с радостью свернула с него, если бы Вы этого захотели. Зачем — не знаю. Может быть, просто всю жизнь около Вас просидеть.

Мне грустно, что я Вас не видала сейчас: ведь опять уеду, и не знаю, когда вернусь.

Вы ведь верите мне? Мне так хотелось побыть с Вами.

Если можете, то протелефонируйте мне 40–52 или напишите: Ковенский 16, кв. 33.

Елиз. Кузьмина-Караваева

К Б. А. Садовскому
3 декабря <1913 г., Москва>

3.XII.[1913. Москва]
Здесь
Тверская
Меблированные комнаты Михеевой
бывший Фальцфейк № 35
Борису Александровичу Садовскому

Многоуважаемый Борис Александрович, хочу Вам напомнить о Вашем обещании познакомить меня с издателем «Альционы». Просматривала свои тетради и пришла к заключению, что книжка вместит по крайней мере 70 стихов. Одно меня пугает: я совершенно не умею критически относиться к своим вещам. Это очень затруднит выбор.

Пятого, наверно, увидимся в Эстетике.

Жму руку.

Елиз. Кузьмина-Караваева

К С. П. Боброву
27 февраля 1914 г., <Москва>

27.II.1914. [Москва]

Многоуважаемый Сергей Павлович,

посылаю Вам не те стихи, о которых говорила, но Вы дали мне возможность свободно выбрать, что послать, — и я этим воспользовалась. Надеюсь, что переписала я их достаточно четко.

Привет

Елиз. Кузьмина-Караваева

К И. С. Книжнику-Ветрову
4 июня 1915 г., <Анапа>

4 VI.1915. [Анапа]

Я так затормошилась перед отъездом, что не дала Вам никаких вестей о себе, Иван Сергеевич.

Хотела написать Вам давно, но и здесь было много суеты.

Как мой Юрали живет у Вас?

Думала начать большую новую вещь; мне казалось, что она в большой степени исправит Юралины недостатки. А получается скверно: вроде какого-то романа для юношества.

Думаю, что это происходит потому, что каждый пишущий должен проникаться не только теоретическими мыслями своего труда, но и подчинить им жизнь.

Как это ни нелепо, но Юрали был тесно связан с моею жизнью; а то, что теперь пишу, — так трудно выполнимо.

Можно даже сказать парадокс: гораздо легче создать что-нибудь и проникнуться этим, чем подчинить себя чужому, даже такому, что теоретически принято.

Вот продолжаю я заниматься своими академическими лекциями и так ясно чувствую, что это самое меньшее из того, что надо делать, а кроме того — побочное. Это то же, что выбирать обстановку, не начав строить фундамента дома. А если приняться, как нужно, то камня на камне не останется не только от всего уклада жизни, но и от воспоминаний всех даже.

Я здесь дома, и любила я всегда жизнь здесь за тишину. Но никогда здесь не было такой неподвижной тишины, как теперь. А чем тише, тем острее ждешь необходимого.

Пишите мне, Иван Сергеевич, если найдете время и охоту.

Мой адрес: Анапа, Кубанской области. Ящик 17. Мне.

Привет.

Елиз. Кузьмина-Караваева

Из записных книжек

7.03.1926 г.

Столько лет, — всегда, — я не знала, что такое раскаяние, и сейчас ужаснулась ничтожеству своему. Еще вчера говорила о покровности, все считала себя властной обнять и покрыть собою, а сейчас знаю, что просто молиться, — умолять, я не смею, потому что просто ничтожна.

Если материя едина и неизменна, то мне нужно ощущать духовное всеединство, как здание без крыши, внизу мы отделены материей, а вверху все сливается воедино. Это говорю так, потому что хочу, а в действительности сейчас даже не могу почувствовать своего окончательного единства с моей маленькой, с моей маленькой Натилой.

Не только «да будет первый последним», но и во всем так. Если сильно верить в радость жизни (оптимизм), — то смерть совершенно нельзя оправдать, и вся вера принимает мрачный оттенок; и обратно: пессимистический взгляд на прелести жизни дает легкость смерти, — создает настоящую гармонию.

Рядом с Настей я чувствую, как всю жизнь душа по переулочкам бродила, и сейчас хочу настоящего и очищенного пути, не во имя веры в жизнь, а чтобы оправдать и понять и принять смерть. И чтобы, оправдывая и принимая, надо вечно помнить о своем ничтожестве. О чем и как ни думай, — большего не создашь, чем три слова: «любите друг друга», только до конца и без исключения, и тогда все оправдано и вся жизнь освящена, а иначе мерзость и тяжесть.

* * *

Противоположное

У людей разная походка, у людей разный голос, разное зрение. Иное видит близорукий, иное, — дальнозоркий.

И не может сказать дальнозоркий близорукому, — то, что ты видишь, — не существует, также не может сказать близорукий дальнозоркому: того, что ты видишь, нет. Но часто так укоряют люди и возмущаются, — как это может быть, что другой видит то, чего я не вижу. Простая человеческая мудрость заключается в том, чтобы позволить ходить людям разной походкой, говорить разными голосами, видеть разное. И эта мудрость встречается не часто, но все же во внешней жизни она встречается. Гораздо менее ее в жизни духовной. Тут каждый придает своему собственному пути абсолютное значение и хочет, чтобы все совершенно так же развивались и двигались, а остальному не верить...

* * *

Вспомнила. В Риге молодой человек из очень трагической семьи купца. Он бездельник. Разводит голубей. Потерял веру в Бога, потому что крыса ночью отъела голубенку ноги, — как ножом срезала. Голубенка пришлось убить, — а веру потерял, потому что это несправедливость, которую Бог допустил. Если же Бог несправедлив, то просто нет Бога. Это даже сильнее, чем слезинка ребенка у Достоевского, потому что ребенок как-то с человечеством Адамовым связан, органически связан, а тут и вся тварь стенает и страждет... Много говорила с ним о том, что его чувство справедливости только отражение Божественной справедливости, что его отношение к Богу такое: *капля просит океан: «Будь мокрым»*.

* * *

Молитва из посланий апостола Павла к Римлянам (8:35–39)

«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день,

считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

Истину говорю, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным за братьев моих».

* * *

Есть люди инструментальные для Бога. Он не творит их, а творит ими. Тут уже не приходится думать о своей маленькой душе, а лишь о том, чтоб всегда быть в воле Его, орудием Его.

Литературно-художественное издание

Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна

Избранное

16+

Ответственный редактор *Е. Романова*
Верстальщик *С. Мартынович*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru